

BARRETT

WALKER

## Annotation

В четвертый том собрания сочинений Валентина Катаева вошли повести: «Я, сын трудового народа...», «Жена», «Электрическая машина», «Сын полка», «Поэт».

<http://ruslit.raumlibrary.net>

---

- [Валентин Петрович Катаев](#)
  - [Я, сын трудового народа...\\*](#)
    - [Глава I](#)
    - [Глава II](#)
    - [Глава III](#)
    - [Глава IV](#)
    - [Глава V](#)
    - [Глава VI](#)
    - [Глава VII](#)
    - [Глава VIII](#)
    - [Глава IX](#)
    - [Глава X](#)
    - [Глава XI](#)
    - [Глава XII](#)
    - [Глава XIII](#)
    - [Глава XIV](#)
    - [Глава XV](#)
    - [Глава XVI](#)
    - [Глава XVII](#)
    - [Глава XVIII](#)
    - [Глава XIX](#)
    - [Глава XX](#)
    - [Глава XXI](#)
    - [Глава XXII](#)
    - [Глава XXIII](#)
    - [Глава XXIV](#)
    - [Глава XXV](#)
    - [Глава XXVI](#)

- [Глава XXVII](#)
  - [Глава XXVIII](#)
  - [Глава XXIX](#)
  - [Глава XXX](#)
  - [Глава XXXI](#)
  - [Заключение](#)
  - [Жена\\*](#)
  - [Электрическая машина\\*](#)
  - [Сын полка](#)
  - [Поэт\\*](#)
  - [Комментарии](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
-

**Валентин Петрович Катаев**  
**Собрание сочинений в девяти томах**  
**Том 4. Повести**

**Я, сын трудового народа...\***

## Глава I

### Бомбардир-наводчик

Шел солдат с фронта. На войну уходил молодым канониром, возвращался в бессрочный отпуск бомбардир-наводчиком. На руках имел револьвер, наган солдатского образца, штук десять к нему патронов и бевут – кривой артиллерийский кинжал в шагреновых ножнах с медным шариком на конце.

Это казенное оружие было перечислено в демобилизационном удостоверении за голубой батарейной печатью с куцом орлом Временного правительства (*без короны, державы и скипетра*), отслужившим свой недолгий срок.

Кроме того, подхватил еще наш батареец на всякий случай по дороге драгунскую винтовочку и пару ручных гранат-лимонок.

Сунув на глаза папаху из телячьих лапок, в аккуратной шинельке, раздутой в бедрах, маленький и бойкий, шел Семен Федорович Котко по замерзшей к вечеру степной дороге, подкидывая спиной ранец, туго набитый всякой всячиной.

Давно бы уже следовало ему сделать привал: переобуться и скрутить папиросу из крупно нарезанного румынского тютюна. Но каждый шаг приближал его к дому. А дома он не был больше четырех лет.

Чем ближе к родному селу, тем проворнее двигались ноги. Места становились знакомее. Последние восемь верст не шел солдат, а почти бежал.

Револьверный шнур морковного цвета болтался на груди. Подошвы горели.

В небе стоял ледяной месяц с острой звездой, которая, казалось, слетела с него вбок да так, на лету, и вмерзла в синий воздух, не достигнув земли. Февральский ветер, поднявшийся к ночи, с сухим шелестом пролетел в кукурузной ботве.

Скоро послышался собачий лай. Показались хаты. Семен узнал длинную кузню. Вязка подков висела на костыле, вбитом в облупленную стену, голубую от лунного света. Он обогнул знакомую

коновязь, обгрызенную лошадьми. Знакомая телега со снятыми дробинами стояла среди знакомого двора в косой тени мазанки.

Солдат остановился и перевел дух. Затем с детскими ужимками он подобрался на цыпочках, стукнул в темное окошко и тотчас отскочил в сторону, прижавшись ранцем к стене. Он расставил руки и задрал подбородок. Не в силах вздохнуть от волнения, он закусил небритую губу. Загадочная улыбка остановилась на его круглом лице с крепко зажмуренными глазами. Сердце стучало в ключицы.

Четыре года он предвкушал эту шутку. Четыре года снилось ему: вот он возвращается с фронта домой, вот он подбирается на цыпочках к родной мазанке и стучит в родное окно; мать выходит из хаты и спрашивает: «Кто там? Чего надо?» Она сердито смотрит на незнакомого солдата, а он по-походному, грубо и весело, кричит: «Здорово, хозяйка! Принимай на ночлег героя-артиллериста, георгиевского кавалера! Вынимай из печки галушки или что там у вас есть в казане! Бомбардир-наводчик хочет исты!» Она невесело смотрит на него и все-таки не узнает. Тогда он вытягивается во фронт, прикладывает руку к головному убору и отчетливо рапортует: «Ваше высокоблагородие, так что из действующей армии сего числа прибыл в бессрочный отпуск Семен Федорович Котко, ваш законный сын. Накрывайте на стол, давайте борща, и больше никаких происшествий не случилось!» Мать вскрикнет, схватится за грудь, повиснет на шее у сына, – и пойдет веселье!

Но из хаты никто не выходил. Остатки высохшего снега мерцали вокруг села, как слюда. Вдруг брякнула щеколда. Дверь открылась. На пороге стояла высокая костлявая женщина в домотканой спиднице и суровой рубахе, раскрытой на жилистой шее.

Без страха и удивления она посмотрела на солдата, притаившегося в тени.

– Кого надо? – сказала она простуженным голосом.

Звук материнского голоса коснулся солдатского сердца, и сердце остановилось.

Солдат выступил из тени, обеими руками снял папаху и виновато опустил стриженую голову.

– Мамо, – сказал он жалобно.

Она посмотрела на него пристально и вдруг положила руку на горло.

– Мамо, – сказал он еще раз, рванулся, обхватил ее костлявые плечи и вдруг, прижавшись носом к рубахе, от которой пахло сухой овчиной, заплакал, как маленький.



## Глава II

### Фрося

Семен Федорович выпался на славу. Уже было позднее утро, когда он открыл глаза. Но что за странное пробуждение для солдата: проснуться от жары! Яркий солнечный свет смешивался с розовыми отблесками печки, затопленной сухими кукурузными кочанами. Стеклам тоже было жарко – они потели.

Семен Федорович скинул с себя ватное ситцевое одеяло, чересчур большое, тяжелое и плоское, как галушка. Старая еловая кровать затрещала. Бедная хата была наполнена превосходными солдатскими вещами.

Одежда и оружие занимали стены и подоконники, так что за ними скрылась вся домашняя утварь: сита, часы-ходики, картинки, восковые пасхальные писанки.

«Ишь чего только может нанести с фронта домой один солдат! – не без хвастовства подумал Семен Федорович, опоминаясь ото сна. – Полная хата вещей! Да еще полный ранец!»

Между тем девочка лет четырнадцати, повязанная коленкорovým платком, откуда ее лицо выглядывало, как из фунтика, в теплом мужском пиджаке рыжего домотканого сукна и громадных чеботах, уже давно с дерзким любопытством смотрела из-под руки, как на солнце, то на Семена Федоровича, то на раскиданные повсюду солдатские вещи.

Солдат заметил девочку. С некоторым недоумением он рассматривал ее.

– Тю! – вдруг воскликнул он с радостным изумлением. – А я смотрю и думаю: что это за такая кукла? Откудова она взялась? А это, оказывается, наша Фроська! Смотри ты, как выросла... Ну? Чего же ты молчишь, сестричка? Язык скушала? Да ты Фроська или вовсе не Фроська? Отвечай, как полагается по уставу!

– Фроська, – сказала девочка смело, ничуть не смущаясь тем, что разговаривает с солдатом.

– Где ж ты была вчера, что я тебя не заметил?

– А на печке. Вы меня не бачили, зато я вас бачила. Вы – кавалер?

– А, чтоб тебя! Кавалер! – захохотал Семен. – Такая малявка, а уже понимает, что за такое кавалер... Где ж это ты видишь, что я кавалер?

– У вас на груди крест, – сказала девочка, подходя к солдатской гимнастерке, раскинутой рукавами врозь на столе. Она потрогала крестик, пришитый к карману. – Беленький. Без бантика. Значит, четвертой степени. Георгиевский. Скажете – нет? Ой, что это! Накажи меня бог – драгунская винтовка! – продолжала Фрося болтать, не обращая внимания на брата.

Он смотрел на нее во все глаза, дивясь тому, как она выросла за эти четыре года: уходил на войну – была совсем маленькая, незаметная; возвратился – и на тебе: высокая, ничего не стесняется, с дерзкими глазами (*как у той козы*), а главное, понимает солдатские дела, – хоть замуж выдавай!

– Дивитесь, – говорила девочка, переходя от вещи к вещи, – дивитесь, сколько богатой справы! Бачьте – какие сапоги: юфтовые, и головки совсем ще целые! А нож какой кривой! Артиллерийский. Скажете – нет? Ух ты, а ранец! Тяжелый. Двумя руками не подынешь. Целый чемойдан. Что в нем такое?

– Не касайся до ранца.

– Та я ж не касаюсь. Я только побачу и положу на место.

– Ой, Фроська, заработаешь по рукам!

– Ни. Вы меня с кровати не достанете.

– А ну, где мой пояс с медной бляхой? Он достанет.

– Нема вашего пояса с медной бляхой, – хохотала девочка, – я его на горище закинула!

– Ну тебя к черту, на самом деле! Положь ранец. Хочешь хату подорвать, чи що? Может, в этом ранце ручные гранаты лежат, откуда ты знаешь?

– Лимонки или бутылки? – быстро, с живым любопытством спросила Фрося, не выпуская из рук ранца.

Солдат всплеснул руками.

– Что вы скажете? – ахнул он. – Лимонки или бутылки! Где это ты научилась понимать? Допустим, что лимонки. Ну?

– Я знаю! Лимонку сначала надо об такую маленькую терочку чиркнуть, а без того она все равно не подорвется. Скажете – нет?

– А вот я тебя сейчас чиркну по одному месту, – пробормотал Семен и вдруг выскочил из постели с проворством, которого никак нельзя было угадать по его лицу – блаженному и слегка опухшему от долгого и счастливого сна.

Но Фрося оказалась еще быстрее и проворней брата. В мгновение ока со страшным визгом она шмыгнула в сени, – платок упал с головы и повис на крепком маленьком плечике, только довольно длинная тугая коса, заплетенная ситцевой лентой, мелькнула перед носом Семена.

Из темноты сеней на солдата смотрели блестящие глаза, круглые и настороженные.

– А вот не споймаете!

– Очень мне это надо, – с напускным равнодушием сказал Семен.

Он хитрил. Ему до страсти хотелось поймать нахальную девчонку и шлепнуть ее для примера, чтобы она имела уважение к воинскому званию.

Но он хорошо понимал – нахрапом тут ничего не выйдет. Надо действовать осторожно.

Не обращая внимания на Фросю, он озабоченно прошелся по хате, как бы разыскивая какую-то нужную ему вещь. Он даже нарочно отошел как можно подальше от двери и копался на подоконнике, чтобы усыпить всякие подозрения.

– Все равно не споймаете, – послышался сзади Фроськин голос.

Он покосился через плечо. Нахальная девочка стояла уже одной ногой в хате, держась на всякий случай за щеколду, чтобы в любой момент захлопнуть дверь перед самым носом брата.

– Очень мне это надо, – бормотал он, неторопливо перебирая вещи, а самого так и подмывало кинуться и схватить девчонку.

– А вот все равно не споймаете.

– Очень надо. Захочу, так споймаю. Вот сейчас надену сапоги и шаровары, возьму в руки пояс...

– Ни!

– Тогда побачишь.

Семен лениво потянулся к шароварам и вдруг, сделав страшное лицо, кинулся за Фроськой. Но она уже, как ветер, мчалась через сени. Упало коромысло, загремели ведра. Брякнула щеколда наружной двери. Солдат не сдержался и, как был, в бязевых кальсонах, выскочил

во двор и побежал босиком по мокрой, холодной земле, ослепительно сверкавшей под сильным солнцем февральской оттепели.

Несколько любопытных дивчат и бабенок с ведрами, уже с утра околавивавшихся возле хаты, чтобы посмотреть на вернувшегося с войны мужчину – котковского Семена, – с визгом кинулись в разные стороны, притворно закрываясь платками и крича на всю улицу:

– Черт, бесстыдник! Ратуйте, люди добрые! Караул!

Семен заслонился рукой от солнца. Ему показалось, что среди бегущих дивчат одна, в короткой черной жакетке и сборчатой юбке, особенно часто оглядывается, особенно громко хохочет и особенно стыдливо закрывается концом розового платка с зелеными розами, блестя из-под него черными, как вишни, глазами.

И вдруг все его широкое, добродушное, с мелкими чертами лицо пошло бурым солдатским румянцем. Он схватился за распахнувшийся ворот, стыдливо подтянул кальсоны и, погрозив Фроське кулаком, рысью побежал в хату.

– А что, поймали? – раздался с улицы Фроськин голос.

## Глава III

### Нерушимое слово

«Кто ж это был: Соня или не Соня?» – размышлял Семен, рассматривая в зеркальце свой неделю не бритый подбородок. Намылив самодельным алюминиевым помазком щеки, он задумался: оставлять усы или не оставлять? Усы, если сказать правду, были неважные. Редкая рыжеватая щетина. Росли они только по краям рта. Под носом же ничего не росло. Так что можно было свободно сбрить. Но, с другой стороны, Георгиевский крест и воинское звание безусловно требовали усов. Усы для бомбардир-наводчика были такой же необходимой принадлежностью, как две белые лычки – одна поперек, другая вдоль погона. И хотя погоны Семен спорол давно, еще на позициях, но расставаться с усами не хотелось.

– Только усов не режьте, пускай остаются, – жалобно сказал из сеней Фроськин голос. – У всех у наших у солдат, которые повозвращались с фронта, отросли усы.

– Ты опять тут?

– Тут.

– Чего ж ты прячешься? Заходи в хату.

– Хитрые!

– Ничего, заходи.

– А вы будете биться?

– Не буду.

– Перекреститесь.

– А если я в бога не верю?

– Ни. Верите.

– Откудова ты знаешь?

– Вот знаю. Которые с артиллерии – те чисто все в бога веруют, а которые с пехоты или же с Черноморского флоту матросы – те все чисто не верят.

– Смотри на нее: все она знает. А, например, с кавалерии или же с инженерных войск, то те как: верят или не верят?

– Те – я не знаю. С кавалерии и с инженерных у нас ще не возвращалось.

Разговаривая таким образом с братом, Фрося мало-помалу вошла в хату и доверчиво остановилась совсем недалеко от него, глядя во все глаза и наслаждаясь увлекательным зрелищем бритья.

Ловко вывернутая бритва сверкала в руке Семена, разбрасывая вокруг себя по хате зеркальных зайцев. Лезвие осторожно очищало с подбородка мыло. Под ним обнаружилась чистая, до красноты натертая кожа.

Девочка склонила набок голову и, затаив дыхание, прислушалась.

– Слушайте... Не слышите? Все равно как сверчок.

– Что?

– А бритва. Верещит. Тонюсенько-тонюсенько. Кая сверчок. Скажете – нет?

– Это, наверное, у тебя в носе сверчит.

Фрося фыркнула и сконфузилась.

Некоторое время она молчала, переминаясь с ноги на ногу. Ей уже давно надо было сказать брату одну вещь. Но вещь эта была такая важная и секретная, что девочке все никак не удавалось среди шуточного разговора кинуть нужное словечко. Кроме того, мешала мать, которая не отходила от печи, стряпая сыну добрый борщ из кислой капусты, пшена и свинины. Но вот она вышла из хаты за салом.

Фрося завернула руку за спину, подошла вплотную к брату и подергала себя за рыжую косу. Рыжие брови ее строго нахмурились. Вокруг пухлого рта сошлись морщины оборочкой, как у старухи.

– Слышь, Семен, – быстро сказала она, косясь на дверь, – посылает тебе один человек поклон – а какой человек, ты сам знаешь, – и пытается тебя той человек: какие дальше твои думки? Будешь ты посылать до нее сватов или не будешь? Или, может, ты уже забыл про того человека вспоминать?

Дернулась бритва в руке у Семена.

– А, чтоб тебя! – сердито сказал он. – Гавкаешь под руку глупости. Свободно мог порезаться!

Сердце его горячо ёкнуло. Он изо всех сил наморщил лоб, старательно вытирая бритву бумажкой.

– Передашь тому человеку, – сказал он, глядя в сторону, – что, может, она забыла про меня вспоминать, а я про нее никак не забыл, и мое слово как было, так и есть – нерушимое.

Фрося важно кивнула головой. Но вдруг, в один миг, лицо ее стало хитрым и оживленным, как у старой деревенской сплетницы. Она припала к плечу брата и жарко зашептала в самое его ухо, на котором, шурша, сохло мыло:

– Приходи сегодня на вечерку в хату до Ременюков; только не до тех Ременюков, которых баштан коло баштана Ивасенку, а до тех Ременюков, у которых двух сыновей на фронте в пехоте убило, которых хата сейчас за ставком. Сегодня очередь Ременюковой Любки. Там можешь встретить того человека. Гроши у тебя е, чтоб дивчат пряниками угощать?

– Гроши найдутся.

– Не надо. Я смеюся. С демобилизованных дивчата ничего не берут.

А уже в хату входила мать, на вытянутых жилистых руках подавая сыну вынутый из сундука праздничный утиральник, богато вышитый в крестик черной и красной бумагой.

## Глава IV

### Хозяин

Давненько не ел Семен такого густого и горячего борща с красным перцем, с чесноком, с хорошей картошкой. Серый плетеный хлеб из чистой пшеничной муки грубого помола показался ему вкусней белых румынских булок.

От сала трудно было оторваться. Сало это специально хранилось для него с прошлой пасхи, когда в последний раз кололи кабанчика. Густо посыпанное крупной солью и завернутое в полотняную тряпку, оно было закопано глубоко в землю и в таком виде могло лежать не портясь хоть три года. От долгого лежания в земле оно только становилось нежным, как масло.

Какое наслаждение было делить его толстый мраморный брус на тонкие ломти, счищая походным ножиком землю и соль и срезая твердую кожу, желтоватую и полупрозрачную!

Добре наевшись и запив обед кружкой чаю внакладку, – в ранце у Семена нашлись и заварка, и поряточная торба колотого сахару, – солдат встал из-за стола, поклонился низко матери, – мать тоже низко ему поклонилась, как хозяину, – кинул на плечо ватную стеганую телогрейку, которая опять-таки нашлась у него все в том же ранце, и вышел во двор хозяйновать.

Конечно, сегодня он мог бы и погулять. Но обычай требовал в первый день не отлучаться со двора. По этому признаку общество отличало человека достойного и положительного.

До этого дня Семен еще никогда не чувствовал себя хозяином вполне. Хотя батька умер года за два до войны, но оставался еще крепкий дед, который вместе со своей дочерью – матерью Семена – свободно управлялся в кузне. А ему было семьдесят с лишним лет.

Вот это был человек так человек! Высокий, сухой, – все зубы на месте, – он шутя мог пронести на плечах из конца в конец через все село два мешка пшеницы, по пяти пудов каждый. И если бы в начале войны его не ударила в грудь гусарская лошадь, которую он ковал, то жить бы ему да жить. Но удар оказался чересчур сильный. Дед стал



кашлять кровью, слег, да так уже и не встал. На второй год войны его похоронили, и кузню заперли на замок.

Земли не было. Скота не было. Приходилось кое-как перебиваться. Не случись в семнадцатом году Октябрьская революция – неизвестно, чем бы кончилось дело.

Теперь же дела поправились. Землю, взятую осенью у помещика Клембовского, общество разделило поровну между всеми незаможными дворами, и вдове Котко отрезали полоску десятин в шесть – по две десятины на душу. Из запасов того же помещика Клембовского земельный отдел помог семенами, а при дележе скота дал лошадь, корову и трех овец. Так что теперь две десятины были засеяны озимой пшеницей, а остальные четыре дожидались Семена, как он решит – сажать ли на них подсолнух, поднимать ли баштан или целиком пустить под овес и жито.

Все эти новости мать, не торопясь, рассказала Семену за обедом, и теперь, выйдя во двор, он с удовольствием принялся осматривать свое хозяйство.

Прежде всего он отправился в сарай, где помещалась новая лошадь. Ему не терпелось посмотреть на кобылку, которая еще так недавно стояла в барской конюшне и хрустела барским ячменем, а теперь стоит в сарайчике бедняка бомбардир-наводчика Семена Котко и понятия не имеет, на какую работу поставят ее завтра: пахать ли бывшую землю помещика Клембовского под овес или запрягаться в подводу и ехать на речку за очеретом для новой крыши. Семен уже успел заметить, что крыша на хате порядком подгнила и не мешало бы ее перекрыть заново.

Новая кобыла очень понравилась Семену. Она оказалась гораздо лучше, чем он предполагал. Он потрогал ее за нежный, бархатный храп, погладил под брюхом и тут же пожалел, что не сообразил захватить с собой с батареи щетку и скребницу. Корова оказалась так себе. От помещичьей коровы можно было ожидать большего.

Что касается овец, то две из них только что объягнились. Семен подобрал с соломы тяжеленького курчавого ягненка с костяными копытцами и твердой, как бы из дерева точеной мордочкой, широко улыбаясь, подул ему в нос и закричал хозяйственно:

– Эй, мамо, надо будет, чтобы вивцы ночевали в хате, а то еще, не дай бог, ягняточки померзнут!

## Глава V

### Соседи

Семен отомкнул кузню. Здесь было темно и холодно. Наковальню покрывала могилка старого, обледеневшего снега, нанесенного в трубу.

Семен потянул за ржавый дрот. Тяжко заскрипела, вздохнула тугая гармоника мехов. Ветер дунул по очагу, подняв тучу золы. Нищенский запах холодного железа и каменного угля наполнил кузню. Сразу стало печально и скучно. Семен машинально перекрестился и вышел, осторожно притворив за собой дверь – широкую, как ворота.

Тут, возле двери, должен был лежать жернов, знакомый с детства. И верно: жернов лежал на своем месте. И тотчас Семен вспомнил, как интересно бывало летом, хорошенько натужившись, приподнять этот жернов с травы и заглянуть, что под ним делается. А под ним всегда кишел и копошился целый мир каких-то бесцветных, прозрачных червячков, личинок, букашек и бледно прорастали жалкие, лишенные солнечного света корешки и травинки, такие же бесцветные, как и эти червячки.

Сейчас, хотя уже начиналась весна, камень еще крепко вмерз в землю. Стало опять печально и скучно.

Но яркий февральский день был так прелестен, – он весь казался вылитым из чистейшего льда: синий в тени и текучий, сверкающий на солнце, – что Семен веселым командирским взглядом окинул свой двор и, заметив посредине двора смерзшуюся кучу навоза, которому здесь было не место, взялся за вилы.

Отвыкнув от настоящей полезной работы, – ведь не работа же для человека, на самом деле, все время ездить и ездить со своим орудием по чужим полям, копать блиндажи и, припав глазом к панораме, торопливо искать точку отметки, а потом, по команде орудийного фейерверкера: «Третье, огонь!», дергать за шнур и отскакивать от оплывшей и ослепившей пушки, – отвыкнув от настоящей полезной работы, Семен с удовольствием поднимал вилами легкие пласты навоза и переносил их за сарайчик.

Иногда он останавливался и, вытирая рукавом лоб, думал: «Нет, за такого самостоятельного человека можно смело отдать наикрашую дивчину на селе!» Эта дума и подогривала его в работе.

Выпуклые глаза девушки, черные и блестящие, как вишни, ее сморщенный от улыбки носик не выходили у него из ума. Чем ниже склонялось солнце, тем настойчивей становились думы Семена. Нетерпеливое беспокойство охватило его.

Между тем с улицы к плетню то и дело подходили соседи повидаться с Семеном. Этому также требовал обычай. Подходили, не торопясь, на согнутых ногах один за другим старики, любопытные, как бабы, в просторных ватных пиджаках, просаленных, вытертых до глянца, и в лохматых бараньих шапках, насунутых на лохматые брови. Переложив стариковскую палку из правой руки в левую, они протягивали Семену через плетень сложенную дощечкой черствую руку и говорили, сочувственно кивая: «Семену Федоровичу», или: «Нашему кавалеру», или: «Бог помощь».

Не выпуская из рук вил, Семен подходил к плетню, где на боку стояла исправная борона с зубьями, увешанными плечиками, и здоровался с людьми, отвечая на вопросы и восклицания. Отвечать требовалось бойко, за словом в карман не лезть, в чем также был признак человека самостоятельного и свойского.

– Григорию Ивановичу, – отвечал Семен старикам, снимая папаху и почтительно кланяясь. – Дал бог побачиться. Взаимно и вам, Кузьма Васильевич.

Подходили бабы, любопытные, как старики. Их приветствия были не так церемонны и простосердечны и содержали в себе порядочную порцию женского перца: «Здравствуйте, Семен Федорович! Очень приятно вас видеть. Слава богу, что вы наконец возвратились. Мы уже думали, что вы как погнались за немцем, так доси бегаετε. А это, говорят люди, он за вами бегает. Ну, слава богу». – «С приездом. Что вы так мало на фронте крестов заслужили?» – «Кавалер, где твои погоны?»

– Никак нет, – мелкой скороговоркой отгрызался он от баб. – Зачем мне казенные патроны даром на немцев расходовать, когда лучше дома на печке по внутреннему врагу, по бабам, крыть прямой наводкой? Мне тама, на позициях, давали ще один крест, только

деревянный, а я не схотел. А погоны я на табак поменял у одного дурня.

Старые деревенские приятели-сверстники, по большей части уже давно успевшие «демобилизироваться» из армии и вернуться в село, выставляли из-за плетня солдатские груди, увешанные знаками отличия, заломив походные фуражки, а некоторые были в желтых стальных французских касках, – они первым делом протягивали кисеты или жестяные коробочки с табаком и бумажкой. Только скрутив вместе с Семеном по сигарке, затянувшись и сплюнув, они приступали к приветствиям и расспросам: «Здоров, годок! Как дело?» – «Что слыхать на позициях? Окончательно замирились или ще стреляют?» – «Ты какой части, шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, чи шо? Я как раз восьмого гаубичного. Зимой шестнадцатого мы рядом с вами стояли на Вилейке под Сморгонью. Только вы по правую сторону от дороги, а мы по левую, аккурат на повороте за деревней Бялы». – «Не слыхал там, Ленин ще заправляет делами?» – «Керенского ще не споймали?»

– Здоров, земляк, – отвечал Семен годкам своим. – Наши дела – лишь бы хата цела. По приказу верховного главнокомандующего ровно с двенадцатого сего февраля полное замирение по всем фронтам и полная демобилизация действующей армии. Первой батарее шестьдесят четвертой бригады, и зимой шестнадцатого года, верно, стояли под Сморгонью по правой стороне дороги, коло самого березового лесочка. За Ленина слыхать, что он сидит на своем старом месте, заправляет всеми делами и увольняться по чистой не интересуется. А гадюку Керенского так-таки и не споймали, потому что ему англичане фальшивый литер выписали, и он с тем фальшивым литером теперь ездит по всем железным дорогам, переодетый или в женщину, или в гимназиста.

Мальчишки, подталкивая друг друга, жались у плетня и кричали придушенными голосами:

– Дядя Семен, чи вы не большевик?

– Дядя Семен, у вас нема какого-нибудь патрона чи старой люминиевой фляжки? Позычьте нам!

– Е для вас добрый ремешок с медной бляхою на конце! – кричал Семен мальчишкам, притворно сердясь. – А ну, голота, отойдите мене от плетня и не балуйте, а то нарву уши!

И мальчишки с топотом разбегались во все стороны, только из-за углов хат торчали красные носы да блестели любопытные глаза.

Наконец, настал вечер.

## Глава VI

### Вечерка

Шел на убыль февраль, а вместе с ним кончалась и зима. Какая-нибудь неделя, не больше, оставалась до первого весеннего месяца – марта.

Чуя впереди тяжелые работы в степу, хлопцы и дивчата торопились досыта нагуляться. Каждый день то в одну хату, то в другую собирались они на вечерку.

Сегодня держать хату был черед Любы Ременюк. Она дополнила налила керосином, заправила и засветила большую висячую лампу с двенадцатилинейным стеклом, чисто-начисто подмела мазаный пол, расставила скамейки, убрала из хаты лишнее, а сама, в будней юбке и кофте, скромно села за прялку.

Проворные пальцы ущипнули кудель. Побежала из-под пальцев ссученная нить. И, вися на конце этой тоненькой нити, шибко закрутилось веретено, то опускаясь до самого пола, то волшебным поднимаясь к играющим, будто намагниченным пальцам.

Скоро стали собираться дивчата. Они рассаживались вдоль стен и, сбросив с плеч платок, тотчас вынимали из-за пазухи какое-нибудь рукоделье, начатое еще поздней осенью и специально предназначенное для работы на вечерках.

Издавна повелось, чтобы дивчата на вечерках не сидели без дела. Здесь каждая могла щегольнуть перед хлопцами своим мастерством и предстать перед избранником в лучшем виде.

Едва только последняя девушка вошла в хату, как за окошком послышался вкрадчивый и вместе с тем небрежный перебор гармоники. В стекло легонько стукнули. Несколько мужских лиц мелькнуло снаружи. Но девушки в хате и бровью не повели, как будто все это их никак не касалось. Глаза были холодно опущены к рукоделью, лбы прилежно наморщены, и только одна, общая для всех, еле уловимая усмешка пролетала по лицам, мимолетно трогая край то одного, то другого ротика.

За окошком послышалось шушуканье, приглушенный смех. Дверь осторожно приоткрылась. В нее вдвинулось сначала плечо с широким

ремнем гармоника, а потом и стриженная лобастая голова в матросской фуражке на затылке. Матрос, как лисица, повел по сторонам конопатым носом.

Девушки не удостоили его ни одним взглядом, целиком поглощенные работой.

– Ноль вниманья, фунт презренья, – многозначительно заметил матрос, мигая хлопцам, напирившим сзади из сеней.

Девушки оставались равнодушными. Матрос двумя руками снял фуражку и льстиво раскланялся.

– Разрешите до вас зайти?

– Заходите, если вам интересно, – ледяным тоном ответила хозяйка, не глядя на матроса, и пожала плечом, заодно поправив им сползающий платок. – Мы свою хату ни от кого на замок не запираем.

Она презрительно сложила жесткие губы.

– Очень приятно, – сказал матрос.

Он опять мигнул хлопцам, видно собираясь отпустить по адресу высокомерных дивчат какое-нибудь особенно ядовитое замечание. Но не успел. Сзади на него надели, поддали коленкой, и гурьба нетерпеливых кавалеров с молчаливым смущением вступила в хату.

Когда явился Семен, вечерка была в разгаре. Правда, дух чинного, даже несколько чопорного присутствия все еще царил в хате. Однако кое-кто из кавалеров, наскучив подпирать плечом стенку, подсел, как бы нечаянно, на самый краешек скамьи, шепча своей красавице всякие секреты. В свою очередь и дивчата уже не так прилежно следили за иголкой, протыкавшей толстую бумажную канву, и уже не на одном рассеянно уколотом пальце висела смородинка крови. Общее строгое молчание нарушилось. Хлопцы лениво перебрасывались с дивчатами как бы незначительными замечаниями, за которыми иной раз угадывалось столько скрытой игры, что многие щеки уже горели жгучим до слез румянцем.

Даже сама рассудительная хозяйка хаты Любка Ременюк позабыла на минуту свою прялку, прижалась плечом к матросскому бушлату и сидела так, с бледным очарованным лицом, полузакрытыми глазами и блуждающей улыбкой, точно нанюхалась дурману, машинально перебирая дрожащими пальцами георгиевские ленты матросской фуражки.

Семен остановился у двери, незаметно отыскивая глазами ту, ради которой сюда пришел. Но первая, кого он увидел, была... Фроська. Это было так удивительно, что в первое мгновение ему даже показалось, не обознался ли он. Как? Сестра Фроська!

...Два белых гуся, качаясь, идут один другому в затылок, а за ними поспевают босиком по колючкам голенастая девчонка с длинным прутом березы в руке. Под носом запачкано, на голове торчит косичка, тонкая, как мышиный хвост. Именно такой сохранилась в представлении Семена Фроська... И вдруг – на тебе! Сидит теперь эта самая Фроська на вечерке среди взрослых дивчат-невест, такая важная, глазом не сморгнет... Тю, черт, подросла как!

А Фрося и вправду сидела в большой ситцевой кофте, с гребенкой в волосах и с чрезмерной серьезностью четырнадцатилетней невесты старательно подрубала большой старинной иглой мужскую рубаху.

Мало того. Рядом с ней, неловко сложив на коленях длинные руки, сидел лохматый хлопец лет восемнадцати, в белой свитке – видать, не успевший попасть под мобилизацию, – и тревожно смотрел в сторону.

При виде этого Семена разобрал такой смех, что он топнул сапогом, воскликнул: «А, чтоб вас!» – и уже собирался отпустить насчет Фроськи подходящее замечание, как вдруг слово застряло у него в горле. Вылетели из головы всякие шутки. Он увидел Софью.

Девушка искоса следила за ним из-под выпуклых век вишневыми глазами. Маленькая ямка дрожала на одном краю натянутых губ, чуть открывших чистые зубы – тесные, как зерна молодой кукурузы.

Четыре года думал солдат об этой встрече. Теперь он стоял в замешательстве, не зная, как себя держать.

Хлопцы многозначительно покашливали. Дивчата украдкой бросали на Софью красноречивые взгляды. Фроська поглядывала на брата с нежным, но лукавым сочувствием.

Софья с досадой повела плечом, медленно залилась румянцем и закрылась рукой с наперстком, делая вид, что поправляет на лбу волосы. Богатый рушник тонкого городского полотна, который она вышивала по канве шелком, скользнул с колена.

Семен готов был пропасть. Но в это время матрос, который знал все на свете не только матросские, но и солдатские песни, тронул гармонику и запел подходящую к случаю артиллерийскую:



Раз ко мне пришел  
Артиллерист и речь такую мне завел:  
«Здравствуй, милая моя,  
Вот скоро кончится война...»

И вечерка продолжалась как ни в чем не бывало.

Но вот хозяйка зевнула, посмотрев на лампу. Дивчата спрятали за пазуху рукоделье и стали одна за другой выходить из хаты. Следом за ними лениво, сохраняя достоинство, потянулись и хлопцы. Это был долгожданный миг проводов до дому, законная возможность побыть наедине.

Хлопец и дивчина встречались в темных сенях. Слышался скорый шепот. Через минуту две тени, обнявшись, уже шли по темной улице.

Наконец, вслед за другими поднялась со своего места и Софья. Она прошла близко мимо Семена, мелко переступая козловыми башмачками и опустив небольшую красивую голову. Он посмотрел на нее. Она мимолетно опустила веки. Он подождал для приличия минутку и, не торопясь, вышел за ней в сени. Она ждала его.

Невидимые в темноте руки обхватили его за плечи. Голова в платке прижалась к солдатской груди.

– Ой, Семен! – прошептал обессиленный голос. – Ой, Семен, любый мой, целый, не убитый!

Далеко за полночь ушел блестящий по-зимнему месяц. Спала деревня. Семен провожал Софью. Бережно прижавшись друг к другу под артиллерийской шинелькой внакидку, держась за руки, шли они по безмолвной улице, медленно, будто ослепли.

Семен, притаив дыхание, вел девушку с осмотрительной нежностью по обледеневшим колеям улицы.

И все же он не был спокоен. Привычное сомнение смущало его горделивую радость. Согласится ли Ткаченко отдать за него дочку? Не отступит ли от своего слова? Но для того, чтобы понять все эти сомнения, надобно знать, кто таков был Ткаченко и почему боялся Семен отказа.

## Глава VII

### Богатая невеста

Ткаченко принадлежал к тому типу крестьян, которые, будучи однажды призваны в солдаты, быстро привыкали к солдатской жизни, находили в ней выгоду и не скоро возвращались домой, добровольно оставаясь на сверхсрочную службу лет на пять – десять, а то и на все пятнадцать. В свое время Ткаченко был призван в артиллерию, окончил действительную службу в звании бомбардира, на сверхсрочную перешел младшим фейерверкером, за русско-японскую войну получил два Георгиевских креста, третью нашивку и, таким образом, незаметно превратился в господина взводного, строгого службиста, правую руку своего офицера и грозу батарейцев, – словом, в то, что называется – шкура.

Раз или два в год приезжал он на побывку в село, где у него были жена и хата. Он привозил с собой все накопленное в батарее жалованье и с толком вкладывал его в хозяйство. А денег каждый раз было рублей восемьдесят – девяносто. Деньги по деревенской жизни – громадные. Жена его, простая бедная баба, – он взял ее сиротою, которую в первые годы его сверхсрочной службы все очень жалели, – вдруг, к собственному удивлению, оказалась одной из самых богатых хозяек села. Теперь уже люди ей завидовали и ее уважали. Но она, кроткая, неграмотная и чистая сердцем, никак не могла привыкнуть к своему новому положению, да вряд ли его как следует и понимала.

Она продолжала ходить так же просто и даже бедно, так же работала, не разгибая спины, и в доме своего мужа скорее казалась наймичкой, чем хозяйкой. Она мужа любила и боялась, как существа высшего. Он ее снисходительно терпел. У них родилась дочь. Он прислал из части письмо, приказав окрестить девочку в честь жены командира дивизиона Софией.

Девочка росла, воспитываемая матерью в простоте и любви. Отец для нее был тоже существом высшим. Накануне войны ей исполнилось шестнадцать лет. Два года она уже считалась невестой и гуляла с Семеном.

Хотя он был беден, а она богата, препятствий не предвиделось. Мать Софьи была рада выдать дочку за хорошего, работающего человека.

Сговорившись с девушкой и разузнав стороной о настроении ее матери, Семен уже было решил посылать сватов. Но как раз в это время на побывку приехал сам Ткаченко, только что произведенный в фельдфебели. Он узнал о предстоящей свадьбе и пришел в ярость.

В его планы никак не входило выдавать единственную дочь за бедняка. Наоборот. Он давно уже мечтал породниться с кем-нибудь побогаче, повыше, купить через банк хороший, большой хутор, уволиться, наконец, из части и стать если не помещиком, то, во всяком случае, вроде того.

Он велел передать Семену, что переломает ему руки и ноги, если когда-нибудь увидит его около своей хаты; жену обозвал старой макитрой, а дочку хотел добре перетянуть по лопаткам ножнами новой фельдфебельской шашки – и даже уже замахнулся, – но, увидев ее красивые черные глаза навывкате, круглые от испуга, пожалел свое дитя, налился кровью и закричал страшным голосом непонятное, но явно оскорбительное слово: «Хивря!»

В ближайший же праздник, надев полную парадную форму, при шашке, крестах и оранжевой медали за трехсотлетие дома Романовых, фельдфебель лично повез невесту на базар в Балту. На низко склоненной голове девушки был надет батистовый чепчик с числом, вышитым малиновыми нитками. Число это показывало, сколько рублей дается в приданое за невестой. Таков был старинный сельский обычай, от которого не пожелал отступить Ткаченко.

Базар ахнул. Обычно на чепцах местных невест скромно значилось: 35, 50, много – 75. Цифра 100 вызывала почтение. Вокруг 150 собирались любопытные, и об этом толковали потом целый год. На чепце Софьи крупной школьной прописью было вышито 300.

Народ столпился вокруг новой зеленой повозки с рессорной коляской, расписанной розочками. Слезы смущенья и обиды текли по пунцовым щекам девушки. А отец стоял перед повозкой, как перед своей батареей, ни на кого не глядя, и, по-фельдфебельски отставив ногу в вытяжном сапоге со шпорой, тремя пальцами разглаживал темные усы.

## Глава VIII

### Солдатское лихо

Но честолюбивые мечты не сбылись. Ударила всеобщая мобилизация. Ткаченко срочно отбыл в часть. Началась война. Семена забрали. Он тайком попрощался с Софьей, плакавшей у него на плече. И случилось так, что попал он именно в ту самую артиллерийскую бригаду, в тот самый дивизион и даже в ту самую батарею, где был фельдфебелем Ткаченко.

Тут, очутившись на позициях, да еще под властью своего врага, Семен узнал, почем фунт солдатского лиха.

С того самого дня, когда Ткаченко, заложив руку за пояс, впервые прошелся перед фронтом батареи и с недоброй усмешкой покосился на вытянувшегося изо всей мочи канонира Котко, и вплоть до семнадцатого года не было часа, когда бы Семен не чувствовал на себе подавляющей власти фельдфебеля.

Ткаченко назначал его в самые тяжелые наряды – на земляные работы, на рубку леса. Он взыскивал с него за малейшее упущение. Часто приходилось Семену выстаивать под ранцем с полной походной выкладкой. Еще чаще назначали его не в очередь на кухню чистить картошку, что считалось работой хоть и легкой, но унижительной.

К счастью для себя, Семен не пал духом и не опустился. Иначе бы он пропал. Наоборот. От природы настойчивый и смысленый, он понял, что ему остается одно: тянуться. Он так и сделал. Скоро он стал, несмотря ни на что, одним из самых исправных солдат батареи.

Между тем Ткаченко продолжал идти в гору. За бои в Восточной Пруссии он получил Георгиевский крест второй степени. За Августовские леса – первой.

В конце пятнадцатого года, после отступления, под Молодечно состоялся царский смотр. Батареям выдали новые шинели. Маленький бородатый полковник в полном походном снаряжении, с белым крестиком на груди, пропустил мимо себя армейский корпус. Крича «ура» и не слыша собственного голоса, Семен мельком увидел над лошадиной мордой желтое лицо с узкими глазами в лучистых морщинах. Лицо было знакомое – точь-в-точь как на полтиннике.

После смотра посыпались награды. На батарею пришлось десять крестов. Командир бригады, торопливо обходя фронт, прищипил Семену «Георгия», похлопал его по рукаву и сказал: «Молодец!» Семен был в недоумении. Однако он поднял подбородок и крикнул: «Рад стараться, ваше превосходительство!»

В этот же день Ткаченко произвели в подпрапорщики. Он надел на солдатскую шашку офицерский темляк, вставил в папаху офицерскую кокарду и нашил на погоны широкий золотой басон.

Это был предел, выше которого нижний чин подняться уже не мог.

Таким образом, Ткаченко превратился из господина фельдфебеля в господина подпрапорщика. Новое звание окончательно отделило его от солдат, ничуть не приблизив к офицерам. Ткаченко перестал курить деревянную люльку с жестяной крышечкой и перешел на дешевые папиросы. Вместо спичек он стал пользоваться зажигалкой, сделанной из патрона. У него завелся собственный холуй вроде денщика, которого он взял из обоза второго разряда.

Война продолжалась.

Однажды, в шестнадцатом году, под Сморгонью, проходя по батарее, Ткаченко увидел Семена. Семен сидел на корточках перед небольшим костром, в котором калился шрапнельный стакан. В этом стакане плавилась немецкие алюминиевые дистанционные трубки. Семен отливал из алюминия ложки.

Ткаченко незаметно остановился за спиной Семена, рассматривая весь этот маленький литейный двор с земляными формами и готовыми ложками, белыми и ноздреватыми, остывавшими рядом в песке. Вокруг никого не было. Пользуясь затишьем, батарейцы занимались каждый своим делом: кто стирал белье, кто играл в скракли<sup>[1]</sup>, кто писал письмо на самодельном шашечном столике, вбитом в землю возле орудия, обсаженного елочками маскировки.

Розовый майский вечер просвечивал сквозь молодую зелень столетних берез вдоль знаменитого Смоленского шоссе, по которому некогда двигалась армия Наполеона. С тугим жужжанием пролетал иногда над ухом майский жук, и, как бы отзываясь ему, издали доносилось слабое стрекотанье немецкого аэроплана, летевшего с разведки.

– Хозяйство делаешь? – спросил Ткаченко.

Семен вздрогнул и вскочил, вытянувшись перед фельдфебелем. Ткаченко прищурился, погладил тремя пальцами усы и, не торопясь, прошелся мимо Семена туда и назад, как перед фронтом. Наконец, он остановился боком и отставил ногу.

– Ну что, Котко, – трогая ребром руки козырек фуражки, сказал он, пасмурно усмехаясь, – выбросил ты уже из головы или еще не выбросил?

– Не могу знать, господин подпрапорщик, – ответил Семен, опуская глаза.

Ткаченко помолчал. Его худощавое мускулистое лицо с лилово-сизым румянцем выразило зловещую задумчивость.

– Как хочешь. Твое дело. Помни.

Ткаченко, не торопясь, подошел к оружию Семена, открыл затвор и заглянул в дуло.

– Так. Очень приятно. На два пальца грязи. Возьмешь четыре наряда не в очередь.

– Слушаюсь, господин подпрапорщик! – молодежато крикнул Семен, вычистивший свое оружие керосином не больше часа назад.

Скоро начались солдатские отпуска. Нижние чины по очереди уезжали домой на двадцать один день. Перебывала на побывке вся батарея. Но Семен так и не дождался очереди.

Кончилось лето шестнадцатого года.

## Глава IX

### Семнадцатый год

Шел третий год войны. Бригаду бросали с фронта на фронт. Всюду гремели бои. Леса вдоль Вилейки были выжжены на пятнадцать верст удушливыми газами. Они стояли сухие и желтые, как осень.

За Барановичами, под Двинском и дальше, до самой Риги, целыми неделями, без передышки, тряслась земля. По ночам над брошенными, гибнущими полями висело скалистое зарево ураганного огня.

По раскаленным улицам Черновиц, перегоняя обозы, мчались грузовики с резервами наступающего Брусилова. Дорна-Ватра гремела молниями.

Пыльные сливы висели в садах Буковины.

В августе Румыния вступила в войну. Русский корпус переправился через Дунай и быстро прошел через всю Добруджу. Уже с наблюдательного пункта артиллеристы видели за кукурузными полями и баштанами минареты болгарского города Базарджик.

Но тут превосходящими силами ударил Макензен. Все смешалось. Немецкие самолеты пронеслись бреющим полетом над открытыми степными дорогами, расстреливая из пулеметов походные колонны. Старинные румынские пушки, запряженные волами, вязли в грязи. Немцы брали их голыми руками. Осенняя луна холодно освещала валявшиеся в кукурузе раздутые трупы и раскиданную амуницию.

Неподвижные чабаны в высоких бараньих шапках, с высокими посохами в руках, стояли, окруженные овцами, возле каменных колодцев, круглых, как жернова. Они равнодушно смотрели на армию, в беспорядке кочующую по степи.

Водянистое солнце слабо светило на желтую листву, устилавшую подножья буков.

Непроглядная осень висела над Дунаем. Сквозь пресный речной туман еле-еле виднелись зубчатые отроги Карпат. Оттуда слышалась канонада. Конца войны не было видно. «Из терпенья вышла окопная

мука солдата», – писал зимой Семен на село матери. В конце февраля в Петрограде восстали рабочие. Царь отрекся от престола. Солнце сверкало в льющихся ручьях. Синее небо, отражаясь в медных трубах полковых оркестров, выглядело зеленым.

Откуда взялось столько шелковых красных бантов и кумачовых полотнищ! Комиссары Временного правительства – солидные штатские господа в хороших драповых шубах и каракулевых шапках – в сопровождении секретарей разъезжали по обозам первого разряда митинговать. Возбужденные солдаты не спали по ночам и толковали в блиндажах о земле и мире. Семен ходил одуревший от нетерпения. Всем казалось, что война кончена.

Первое время Ткаченко был весьма смущен. Он еще не мог сообразить, выгодно это все для него или невыгодно. Но скоро понял, что вернее всего – выгодно. Отменяя сословные привилегии, революция открывала для него возможность стать офицером.

Он надел на грудь красный бант. Его выбрали в батарейный комитет.

Весна прошла в дурмане. Наступало лето. Измученные солдаты с минуты на минуту ожидали мира. Вместо этого Керенский объявил о наступлении. Маршевые роты с развернутыми красными знаменами прибывали из запасных частей на фронт.

Опять появились комиссары Временного правительства. Теперь это были патлатые крикуны в пенсне и крагах, с морскими кортиками вместо шапек, увешанные биноклями и полевыми сумками. Их сопровождали вольноопределяющиеся батальонов смерти с черепами на рукавах.

Они пробирались в окопы по ходам сообщения, кланяясь шальным пулям, задевая плечами углы и поднимая страшную пыль.

В то лето батарея стояла в Румынии, за Яссами, под высотой 1001. День и ночь по узкоколейке катились вагонетки с огнеприпасами. В склоне горы были вырыты погреба, тесно заставленные ящиками с французскими тротильными гранатами и зажигательными бомбами. Саперы бетонировали площадки для дальнобойных орудий Виккерса. В пехотных окопах минометы устанавливались сотнями.

Зной жег перекопанную землю.



В дивизию приезжал сам Керенский, по-штатскому сутулый, – висячий нос бульбой, – в суконном английском картузе с отстегнутым козырьком, с больной рукой в замшевой перчатке, прижатой к нагрудному карману френча; он стоял в штабном автомобиле, окруженный любопытными солдатами. Глубоко разевая бритый рот, он сипло кричал на них, именем свободы и революции требуя наступать.

Он кричал, по крайней мере, полчаса. Солдаты молча слушали. Некоторые устали стоять и сели на землю.

Во время длинной паузы, когда Керенский, опираясь здоровой рукой о красный погон шофера, обводил слушателей медленным взглядом «гражданина и вождя», вдруг раздался хотя и смущенный, но вместе с тем довольно бойкий вопрос, произнесенный тульским говорком:

– В роте спрашивают: замирение-то скоро выйдет? А то домой надо.

Керенский быстро оборотился и увидел коротенького пехотинца в большом французском шлеме, из-под которого торчали загнутые детские уши, черные от румынской пыли снаружи и особенно внутри. Он смиренно сидел по-турецки в первом ряду на выгоревшей траве.

– Молотить пора, – разъяснил он соседям.

В толпе раздался смешок. Зацыкали.

– Ничего нет смешного, – сказал кто-то ворчливо, – все интересуются. Молотить надо.

А пехотинец продолжал сидеть как ни в чем не бывало и, задрав замурзанное лицо, простосердечно смотрел на главковерха, жмурясь от солнца.

– Товарищи солдаты! – очнувшись, закричал Керенский. – Свободные граждане! Братья! Революция дала вам крылья. История вложила в вашу руку меч. Вы победите. Но среди вас есть предатели, для которых личное благополучие дороже великих идеалов свободы. Вот один из них! – Главковерх раздраженным жестом протянул здоровую руку к пехотинцу, который уж не рад был, что ввязался в разговор с начальством. – Вот один из этих предателей. Скажите мне сами: что сделать с этим человеком? Предать революционному суду? Расстрелять на месте, как изменника?

Солдаты молчали, чувствуя неловкость.

Керенский повернулся и посмотрел в упор на пехотинца.

– Ступайте! – крикнул он вдруг, делая трагический жест.

– Никак нет, – жалобно проговорил солдатик, вставая и складывая руки лодочками по швам.

– А я вам приказываю именем революции: ступайте! Ступайте домой. Я лишаю вас высшего звания – солдата русской армии. Вы свободны.

Пехотинец топтался с ноги на ногу, растерянно вертя головой по сторонам. А плавковерх уже опять обводил митинг «гражданским» взглядом.

– Может быть, здесь есть еще трусы? В таком случае пусть они все уходят домой. Они свободны. Мы с презрением отворачиваемся от них. Революции не нужны предатели. Уходите же!

И тут произошло нечто до такой степени неожиданное, что Семен долго потом не мог очухаться. Рядом с ним стоял немолодой канонир Биденко, ничем не замечательный, многосемейный и малограмотный, молчаливый ездовой. Во все время, пока Керенский митинговал, лицо его было мучительно сморщено, как у больного. Вместе с тем он жадно прислушивался к каждому слову. Было похоже, что он несколько раз порывается что-то сказать. Когда же Керенский произнес последние слова: «Революции не нужны предатели. Уходите же!» – и сделал паузу, Биденко вдруг застонал, странно оскалился, плюнул и, сказав довольно громко: «А нехай они все с тою войною идут у болото», как был в стеганой телогрейке и с недоуздом в руке, повернулся пропотевшей спиной и ушел пешком с позиции домой, в Херсонскую губернию.

## Глава X

### Вольноопределяющийся Самсонов

Восьмого июля вечером началась артиллерийская подготовка. Свыше ста батарей легкой и тяжелой артиллерии работало в течение трех суток без перерыва на небольшом участке одной дивизии. Солдаты оглохли. Три дня земля была покрыта тяжелым, как ртуть, удушающим дымом. Три ночи молнии не сходили с неба. Проволочные заграждения немцев были начисто уничтожены ураганным огнем. На рассвете одиннадцатого вдруг наступила полная тишина. Пехота вышла из окопов. В последнем порыве, страшном в своем молчании, русские войска ворвались в первую линию баварских окопов. Вторую линию заняли через двадцать минут. Немцы бросали батареи. Вспаханное снарядами поле было покрыто трупами рослых баварцев в нательных сетках под расстегнутыми мундирами. Они лежали в разных позах, уткнувшись в развороченную землю, пахнущую жженым гребнем. Каски в серых чехлах и тесаки валялись всюду. Русские прорвали третью линию и стали окапываться. Но в это время по ним с правого фланга вдруг ударило шрапнелью. Это было совершенно неожиданно, а главное – необъяснимо. В первое мгновение всем даже показалось, что батарейцы не успели перенести огонь вперед и случайно бьют по своим. Из дыма рвущихся снарядов раздался крик отчаяния. Сигнальные ракеты полетели вверх. Но огонь не прекращался. С каждой минутой он становился сильнее. Цепи, лежавшие на открытом месте без прикрытия, пришли в смятение. Снаряды летели неизвестно откуда. Они ложились точно, за один раз уничтожая целые взводы. Пехота побежала и смешалась с резервами. Почти сейчас же к ним присоединились батареи, менявшие в это время позиции. Беспорядочное скопление людей, лошадей, зарядных ящиков, пушек и санитарных двуколок, окутанных черным дымом взрывов, представляло ужасное зрелище. Никто ничего не понимал. Прапорщики бегали среди солдат, размахивая револьверами. Началась паника, которую не скоро удалось остановить. Тем временем немцы подтянули резервы и ударили в контратаку. Бойня продолжалась пять суток без передышки. 16 июля все было кончено. Русские и немцы,

обессиленные, стояли друг против друга на исходных позициях. Впоследствии выяснилось, что произошло. В то время когда русская пехота пошла в наступление и заняла три линии немецких окопов, рядом румынская дивизия задержалась и тем самым обнажила правый фланг русских. Этим воспользовалась неприятельская артиллерия и сбоку, почти сзади, ударила по русским. Высшее же командование не учло этого, растерялось и не приняло никаких мер. Неслыханными потерями заплатили солдаты за глупость генералов.

С начала войны не было в батарее Семена столько раненых и убитых. Два орудия и четыре зарядных ящика разнесло в щепки. Восемь батарейцев остались лежать неподвижно, как куклы, в черных шароварах и хороших сапогах, припав восковыми щеками к черствой румынской земле. Двенадцать человек, наскоро перевязанных розовыми индивидуальными бинтами, увезли санитарные двуколки. О пехоте нечего и говорить. Ее потери были страшны. В иных батальонах уцелело всего несколько человек.

Требовались пополнения. Они приходили туго. Маршевые роты разбегались по дороге на фронт. Части пополнялись без всякого плана – кем попало. Главным образом это были возвратившиеся из госпиталей раненые и молодежь последнего призыва. Они приносили с собой грозные требования тыла. В частях объявилось множество большевиков.

Личный состав батареи резко изменился. Она имела совсем не тот вид, что месяц назад. Офицерам больше не доверяли. Их ненавидели. Ненавидели всех, желавших продолжать войну.

Из госпиталя в батарею неожиданно вернулся раненный в шестнадцатом году вольноопределяющийся, из студентов, Самсонов, любимец солдат. Он вернулся с обритой головой, худой и возмужавший, слегка опираясь на палочку. Его юношески голубые глаза дерзко улыбались. Он небрежно явился к фельдфебелю и тотчас отправился в палатку команды телефонистов-наблюдателей, по спискам которой числился младшим фейерверкером.

Всю ночь в палатке горела большая керосиновая лампа, та самая, которую хозяйственные телефонисты раздобыли еще в конце пятнадцатого года в залитых окопах второго гвардейского корпуса. Слышались смех, говор и дрымбанье балалайки. Никто во всей бригаде не мог соперничать с вольноопределяющимся Самсоновым в

игре на этом инструменте. Раза четыре кипятили на костре и заваривали чай в знаменитом ведерном чайнике телефонистов, добытом все в тех же окопах гвардейского корпуса под Сморгонью. Вся батарея побывала в гостях у вольноопределяющегося, всем хотелось послушать тыловые новости. И было чего послушать. Где только не побывал Самсонов за это время: и в Москве, и в Петрограде, и в Одессе.

На другой день вся батарея только и говорила что о большевиках и о Ленине. Последними словами ругали Керенского. По рукам ходила партийная газетка «Солдат».

Ткаченко вызвал к себе вольноопределяющегося, заложил руку за пояс, отставил ногу и долго молчал, пронзительно всматриваясь в его юное лицо своими красивыми карими, почти черными глазами. Вдруг он налился кровью и закричал:

– Вы здесь кто такой, чтоб агитировать на батарее?

– А вы кто такой?

Ткаченко немножко подумал.

– Председатель батарейного комитета.

– Я вас не выбирал.

– На пятнадцать суток!

– Меня?

Самсонов стиснул зубы и сделался белый.

– У меня на руках мандат армейской военной организации большевиков.

Он вырвал из наружного кармана гимнастерки вчетверо сложенную бумагу и протянул подпрапорщику.

– Наденьте очки, если вы неграмотный.

Слово «очки» в применении к нему и студенческие глаза вольноопределяющегося привели фельдфебеля в ярость. Но он подавил ее.

– У нас на батарее пока, слава богу, большевики еще не командуют, – сказал он и подмигнул столпившимся вокруг солдатам: видали, мол, гуся? Но никто не улыбнулся.

На другой день батарейный комитет был переизбран. Теперь его председателем стал Самсонов. В резолюции, принятой большинством, говорилось: «Мы, собравшиеся 4 сентября солдаты второй батареи, заявляем, что будем стоять: 1) за немедленное оглашение тайных

договоров, 2) за немедленные переговоры о мире, 3) за немедленную передачу всех земель крестьянским комитетам, 4) за контроль над всем производством, 5) за немедленный созыв Советов. Мы, артиллеристы, хотя и не принадлежим к партии большевиков, но за все требования и лозунги будем умирать вместе с ними».

Хотя, правду сказать, Семену не хотелось умирать вместе с кем бы то ни было, а больше всего на свете хотелось жить и ехать домой, все-таки он с удовольствием поднял вверх руку, ставшую от солнца табачного цвета, и долго держал ее над фуражкой. Ткаченко смотрел на него с ненавистью. Командир бригады подал рапорт о болезни и уехал с фронта. За ним последовали многие офицеры.

Наступала осень четвертого года войны.

## Глава XI

### Фельдфебель

В лесах металась гнилая листва. Черная ночь, полная дождя и ветра, висела над фронтами. По дорогам в размокших обмотках шли дезертиры. Прячась в шумящих кустах, солдаты подбирались к офицерским землянкам и подслушивали у окон.

Изредка ухал орудийный выстрел.

Однажды ночью в дивизии восстал полк. Солдаты не захотели идти из резерва в окопы. Командир корпуса приказал окружить их и расстрелять из пулеметов. Пулеметная команда отказалась.

В три часа ночи на батарею явился в плаще с капюшоном капитан – командир батареи. За ним шел старший офицер – поручик. Фельдфебель освещал им дорогу электрическим фонариком.

– Батарея, к бою! – скомандовал старший офицер.

Номера выскочили из землянок и, дрожа под дождем, бросились к орудиям. Капитан поднес к глазам карту в целлулоидной рамке. Фельдфебель осветил ее фонариком. Капитан справился с компасом, подумал и приказал два орудия второго взвода выкатить из блиндажа и повернуть назад. Припав глазом к панораме, он лично выбрал точку отмерки и установил угол.

– Шрапнелью, – спокойно сказал он и, отойдя, еще раз взглянул на карту: – Прицел семьдесят пять, трубка семьдесят. Третье и четвертое, огонь!

Не сообразив спросонья, что происходит, Семен привычным движением поставил прицел, выровнял горизонт, хлопнул затвором и уже готов был рвануть за шнур, как вдруг сзади раздался страшный крик:

– Стой! Не стреляй!

Семен замер со шнуром, зажатым в кулаке.

Размахивая над головой фонарем, из телефонного окопа, шинель внакидку, бежал вольноопределяющийся Самсонов. Он расшвырял орудийную прислугу, – откуда только взялась сила, – и, подойдя вплотную к командиру, взял его за горло.

– А вы сказали товарищам солдатам, в кого им приказано стрелять? Сказали?

В тот же миг Ткаченко развернулся и ударил Самсонова кулаком по лицу. Вольноопределяющийся упал.

– Огонь! – закричал капитан.

Наводчики медлили. Тогда капитан шагнул к Семену, сказал «виноват» и вынул из его оцепеневшей руки шнур.

– Поручик, потрудитесь стать к четвертому орудью наводчиком. Огонь! – крикнул капитан – и тут же свалился с простреленной головой.

Вторая пуля уложила наповал поручика. Кто стрелял – осталось неизвестным. А уже на батарею, с развернутым красным флагом на палке и винтовками наперевес, шла депутация от восставшего полка.

Телефонисты держали Ткаченко за руки. Другие срывали с него револьвер и шапку. Он был тут же арестован. Самсонов встал, шатаясь, с земли, выплюнул кровь и приказал взять фельдфебеля под стражу. Его отвели в пустой блиндаж и поставили часового, с тем чтобы утром отправить Ткаченко в штаб восставшего полка. А в то время солдаты шутить не любили.

Перед рассветом на пост к арестованному заступил Семен. Взяв обнаженный бебут к плечу, Семен несколько раз прошелся туда и назад вдоль блиндажа.

В крошечном окошечке, из-под земли, виднелся свет. Семен наклонился и заглянул туда. Ему хотелось знать, что делает Ткаченко в эти последние часы своей жизни.

Отец Софьи сидел без пояса на нарах, положив руки и голову на маленький дощатый столик, вбитый в землю. Фуражка с офицерской кокардой лежала рядом. Керосиновая коптилка, висевшая на столбе, освещала черную с сединой голову и вишнево-красные уши. Лица не было видно. Виднелся только краешек черного уса с искрами седины.

Семен сам себе покачал головой и опять принялся ходить. Минут через тридцать он еще раз заглянул в блиндаж. Ткаченко сидел все в том же положении. Семену показалось, что подпрапорщик плачет. Ему стало его жалко. Семен отошел от окошка, раздумывая, не зайти ли к арестованному и не дать ли ему табачку на закурку.

Начало развидняться. На черном небе слабо проступала водянистая туча.



Вдруг из блиндажа постучали в окошко. Глухой голос фельдфебеля требовал, чтобы его вывели оправиться. Семен немного подумал, потом спустился по земляным ступенькам вниз, отпер дверь и, сказав: «Только без всяких глупостей», пропустил фельдфебеля вперед.

В предутреннем свете фельдфебель узнал Семена. Они молча отошли на несколько шагов в сторону, за кусты.

– Ну, раз-раз, и готово, – сказал Семен.

Фельдфебель стоял, опустив голову. Семен увидел его лицо. Это было жалкое лицо уже немолодого человека, только что плакавшего. Слезы еще висели на опустившихся усах.

– Слушай, Семен, – через силу сказал Ткаченко, – я тебя знаю, и ты меня добре знаешь. И хоть я перед тобой и перед людьми, может показаться, сильно виноватый, но то не моя вина, а вина всей нашей воинской жизни. Ты еще сосал мамкину цицьку, а я уже проходил учебную команду. Отпусти меня с батареи. Тебе ничего через это не будет, а мне... – Он всхлипнул. – Как-никак с одного села. Возьми это одно. И другое. Говорю, как перед истинным богом: вернешься домой целый – посылай сватов.

Он снял фуражку и длинным движением вытер глаза рукавом шинели, из-под которого потекли слезы.

Душа у Семена перевернулась. Он боязливо посмотрел по сторонам. Батарея спала.

– Слышь... – сказал он шепотом и решительно махнул рукой, – бежи. Я не видел.

Ткаченко осторожно вошел в кусты и в ту же минуту пропал из глаз.

Когда наутро за Ткаченко пришли из штаба полка, Семен просто сказал:

– А его уже в помине нет. Пошел до ветру и доси не возвращался.

– И пускай, ну его к чертям! – неожиданно воскликнул депутат полкового комитета, счищавший с обмоток щепкой слой жидкой грязи. – Еще руки марасть об всякую шкуру! А что, товарищи батарейцы, нет ли у кого табачку на одну закурку?

Семен с охотой достал из кармана шаровар жестяную коробочку, но в руки ее полковому депутату не дал, так как хорошо знал

пехотные привычки, а открыл сам и положил в протянутую ладонь с черными линиями ровно одну щепотку.

При этом он вздохнул и сказал:

– С одного села. Как-никак. А на бумажку разживитесь у кого-нибудь другого.

## Глава XII

### Конец войны

Двадцать пятого октября пришел конец окопной муке солдата. Вся власть перешла Советам.

«Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

Эти слова, сказанные Лениным на Втором Всероссийском съезде Советов, пронесли по фронтам.

Теперь уже никто не сомневался насчет мира. Не сомневался в этом и Семен.

Однако, пока шли мирные переговоры с немцами, минуло еще три месяца. Правда, многие солдаты с оружием в руках уходили домой, не дожидаясь приказа. Остановить их было невозможно. Они шли отнимать у помещиков землю.

Части редели. Фронт еле держался. Но совесть не позволяла Семену бросить родное орудие без хозяина. Не подобало бомбардир-наводчику, старому солдату и георгиевскому кавалеру, уходить из батареи, не имея на руках увольнительной бумаги за подписью командира с приложением казенной печати.

Наконец, 12 февраля верховный главнокомандующий подписал приказ о демобилизации.

В это время бригада стояла в глубоком резерве под Каменец-Подольском. Штаб батареи помещался в пустой конюшне сгоревшей помещичьей усадьбы. Дверь конюшни была отодвинута. За грубо сколоченным сосновым ящиком батарейной канцелярии, на походном офицерском сундучке, обшитом брезентом, сидел осунувшийся, но чисто выбритый вольноопределяющийся Самсонов – только что выбранный солдатами командир батареи.

Батарейный писарь стоял возле него на коленях и рылся в папках. На ящике, заменявшем стол, были разложены списки, готовые

удостоверения, печати, пачки керенок в открытой несгораемой шкатулке.

Самсонов, в папахе без кокарды, в шведской кожаной куртке без погонов, но в полном вооружении, сидел, вытянув далеко больную ногу.

Ветер вносил со двора сухие снежинки. Они летали, не тая, в темноватом воздухе конюшни.

Один за другим входили батарейцы, одетые по-походному, с вещевыми мешками и ранцами. С некоторой неловкостью останавливались они возле ящика и получали документы и деньги.

– Ну, Котку, надумали вы что-нибудь? – спросил Самсонов, когда Семен в свою очередь подошел к нему.

Семен замялся.

– Ну? Больше жизни!

– Ничего не выходит, товарищ батарейный командир, – со вздохом сказал Семен, – домой надо. Сеять.

– Да? Ну что ж. Ничего не попишешь. Жаль. Хороший наводчик. А может, еще переменишь? Вон, смотри – Ковалев остается, Попиенко остается, Андросов остается. Человек двадцать остается. Жалованье пятьдесят рублей в месяц. Все-таки как-никак Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

– Обратно воевать?

– Может случиться.

– С кем же это, когда скрозь со всеми замирились?

– Эх, друг ты мой ситный! – со вздохом сказал Самсонов и задумался, облокотившись щекой на кулак. – Ну, да ладно. Вольному воля. Расписывайся в получении и жарь сеять.

Семен получил бумагу и деньги – демобилизационные, за Георгиевский крест, приварочные и жалованье, всего рублей больше сорока: две желтые керенки да несколько почтовых марок, ходивших в те времена вместо мелочи. Он крепко заховал все во внутренний, специально для этого случая пришитый карман шаровар, вытянулся, отдал командиру батареи честь и, повернувшись через левое плечо, вышел из конюшни.

Во дворе стояло шесть пушек с передками. Возле них с обнаженным бебутом ходил незнакомый часовой с красной лентой поперек папахи. Семен узнал свое орудие. Он узнал бы его среди

тысячи других по множеству отметинок, знакомых ему, как матери знакомы все родинки, пятнышки и кровинки на теле своего ребенка. Сердце сжалось у Семена.

– Хорошая была орудия, – строго нахмурившись, сказал он незнакомому часовому. – Произведено из нее три тысячи восемьсот двадцать девять боевых выстрелов. Всего-навсего.

И, не дожидаясь ответа, решительно пошел со двора, подкидывая спиной ранец.

Он шел и про себя пел известную фронтовую песню:

Шумел, горел лес Августовский,

То было дело в феврале.

Мы шли из Пруссии Восточной,

За нами немец по пятам.

## Глава XIII

### У плетня

Уже давно перестали лаять собаки. По селу пропели петухи. А Семен и Софья все никак не могли расстаться.

Добрых два часа назад поцеловались они на прощанье, и Софья вошла к себе в палисад, заложив за собой калитку дрючком. Да так и осталась возле плетня, как приклеенная.

– А батька что? – в десятый раз шепотом спрашивал Семен, норовя поверх плетня прикрыть ее плечо краем шинельки.

– Батька пришел с фронта в середине октября, – в десятый раз отвечала она шепотом.

– Злой?

– Хуже собаки.

– За меня не вспоминал?

– Ни.

– А может, вспоминал, только у тебя из головы выпало?

– Ей-богу, ни. Ну и с тем до свиданьчика. А то у меня уже ноги таки совсем замерзли. Побежу в хату.

– Подожди. А старый знает, что я тут?

– Его дома нема. Вчера в Балту на базар поехал. Ну, я побегу. А то, бачь, у людей из труб дым начинает идти.

– Та постой, ще успеешь...

Семену сильно хотелось рассказать девушке все, что произошло у него с ее баткой на позициях. Но он понимал: говорить об этом не следует. Мало ли какие дела могут быть между собой у двух человек с одной батареей. Кого это касается? С другой стороны, ему не терпелось поскорее узнать намерения Ткаченки: не думает ли он «сыграть назад» – отказаться от своего нерушимого солдатского слова. От такой шкуры всего можно ожидать.

Вдруг Софья схватила его руку и крепко сжала.

– Что, мое серденько? – нежно спросил он, заглядывая ей в глаза.

– Шш... – чуть внятно шепнула она, прислушиваясь. – Шш...  
Ничего не слышишь?

Семен повернул голову. В предутренней тишине раздавался звук едущей подводы. Звук этот слышался уже давно. Сначала он был очень далек и слаб – еле слышное однообразное брнчанье по твердой степной дороге. Теперь же он раздавался совсем близко. Ухо явственно различало шарканье копыт, подпрыгивающий стук колес и болтанье ведра.

Подвода уже ехала по улице, приближаясь к хате.

– Папа вертается с базара, побей меня бог, – сердито сказала Софья. – Доигралися, ну тебя, на самом деле, к черту! Бежи до дому, – и, в последний раз обхватив шею Семена, бросилась в хату.

Семен отошел на несколько шагов, притаился у плетня. Подвода остановилась. Раздался знакомый голос, насмешливый и властный:

– Эй, друзья! Жинка! Кто там есть в хате, отчиняйте ворота!

В офицерской папаше из серых смушек и брезентовом дождевике с капюшоном поверх тулупа, делавшего его чересчур толстым, Ткаченко, с кнутом в руках, возвышался над бричкой. Рядом с ним на мешках сидел, закутавшись в рваный кожух, незнакомый Семену худой крестьянин с давно не стриженной узкой головой, насколько было заметно при слабом свете – не старый.

– Приехали, – сказал Ткаченко и тронул спутника за плечо.

– Я не сплю, – ответил тот, не шевелясь.

Бричка въехала в ворота, открытые босой заспанной бабой в старой спиднице.

«Кто ж бы это мог быть?» – размышлял Семен, возвращаясь домой.

Подходя к своей хате, он заметил две фигуры. Одна стояла по ту сторону плетня, другая – по эту.

– Ну, с тем и до свиданьчика, – услышал Семен быстрый и рассудительный голос Фроськи, – а то у меня уже ноги замерзли. Побегу в хату – пора печку топить.

– Та подожди одну минутку.

– За одну минутку украл черт Анютку. Спокойной вам ночи, приятного сна.

– Та, Фросичка!..

– Кому Фросичка, а кому Евфросинья Федоровна. Еще один раз до свиданьчика. А то увидит наш Семен – руки-ноги переломает.

– Кому?

– Тебе.

– Мене? Ге! Еще не родился на свете тот человек!

– Вот тогда побачишь. Как споймает да как перетянет батарейским поясом с медною бляхой...

– Что ты меня пугаешь солдатом? Я сам свободно мог на позиции поехать, только до моего года очередь так-таки и не дошла.

– А ну, покажись, кто тут солдата не боится? – страшным голосом сказал Семен, появляясь рядом.

Долговязая фигура дернулась, будто ее тронули сзади шилом. Хлопец отскочил от плетня и кинулся по улице, пригнув голову и размахивая длинными руками, чтобы не поскользнуться.

Семен, не сходя с места, грозно потопал ему вдогонку сапогами. Фроська помирала со смеху, припав головой к плечу, сидящему на дрючке плетня.

– Это какой же? – строго спросил Семен.

– А Ивасенковых Микола.

– Тот, который до войны ходил подпаском за клембовскими коровами?

– Эге.

– Тю! Ему ж тогда, дай боже, чтоб тринадцать лет было! Ну что ты скажешь: пока мы там четыре года трубили, тут уже все байстрюки женихами заделались. Давно с ним гуляешь, Фроська?

– Сегодня первый день, – застенчиво сказала девочка. – Еще года два-три погуляю, а там посмотрю: может, замуж пойду, – прибавила она, подумав.

– Кому ты сдалась, рыжая!

– Я не рыжая.

– А какая же ты?

– А каштановая.

– А, чтоб тебя! Много ты видела тех каштанов!

– А вот видела. Один матрос с города Одессы на побывку приезжал до Ременюков – он и доси тут коло Любки крутится – с посыльного судна «Алмаз», так он самых тех каштанов для дивчат привез пуда, может, полтора-два.

Семен сел на призбу и скрутил папиросу.

– Слышь, Фрося, седай, посидим. Воротился только что с Балты старый Ткаченко. И с ним на бричке сидел еще один. Кто такой, не



знаешь?

– В порвато́м таком кожухе?

– Да.

– Это они себе недавно работника взяли.

– Видать, не из наших?

– Ни. Его старый Ткаченко гдесь по дороге с фронта подхватил. Он чи с Польши, чи шо. Вроде беженец. Тоже солдат. Его губернию немцы заняли. Ему некуда было увольниться.

– Наделала тая война делов! – вздохнул Семен.

Брат с сестрой еще немножко посидели и, зевая, пошли в хату. Уже было утро. Так и не пришлось ложиться.

– Думаю я, – сказал за обедом Семен, играя скулами и сосредоточенно морща лоб, – думаю я посылать сватов до Ткаченко по Софью. Как будет ваш совет, мамаша?

Мать, не торопясь, вытерла алюминиевую ложку хлебом, – с тех пор как воротился Семен, в доме пошли в ход алюминиевые ложки, – не торопясь, повернула длинное костлявое лицо к сыну.

– Скажу только: слава богу, и больше ничего, – быстро сказала она, крестясь. – А Ткаченки наших сватов примут?

– Это мы побачим, – многозначительно ответил сын, поднимая брови. – Бывает, что и примут.

И в доме Котко поднялась возня.

## Глава XIV

### Сваты

Узнав от людей стороной, что Котко вернулся на село с войны целый и невредимый, Ткаченко не сказал ничего. Как будто до него это вовсе и не касалось. Только на сильном его лице яснее обозначились волоски жилок, тонкие, как волокна в промокательной бумаге.

За последнее время Ткаченко научился молчать. Весь день он занимался хозяйством: сам ходил в погреб, смотрел, пофельдфебельски отставив ногу, как работник чистил и «напувал» лошадей, задавал им по артиллерийской норме ячменя, обмеривал лес для нового сарайчика, – словом, всячески старался по дому, как бы торопясь нагнать упущенное за время военной службы. Все это – молча, с неторопливым упорством и точностью сверхсрочного солдата.

И только вечером, когда жена поставила перед ним миску вареников с творогом, эмалированную кружку сметаны и отдельный прибор, – Ткаченко поставил свой дом почти на офицерскую ногу, – а сама, как обычно, пригорюнилась возле двери, он не выдержал.

– Что это за такое, я не понимаю, – сказал он, сильно пожимая плечами, – другим людям на позициях сразу голову отрывает снарядом, а другие всю войну до одного дня сидят на батарее и только над этим насмежаются. Какая-то глупость. – Ткаченко покосился на жену. – Как там дело: выкинула Сонька из головы или еще мечтает?

Жена щепоткой вытерла глаза.

– А кто их теперь знает, Никанор Васильевич! Такое время, что все дивчата прямо-таки посказились.

– Хивря! – изо всех сил гаркнул Ткаченко и смахнул со стола кулаком кружку.

Тем часом Семен искал сватов, так называемых «старост». Дело это было далеко не простое. Оно требовало ума. А то на самом деле: пригласишь старост, не подумав, кое-каких, а норовистый фельдфебель, может, с ними и разговаривать не захочет, в хату не пустит. Нужно выбирать людей почтенных, для Ткаченки подходящих.

Вообще полагалось в старосты брать родственников или друзей жениха. Но родня у Семена была незавидная.

Друзей, правда, было множество. Но все они – те, конечно, которые вернулись с фронта живые, – для такого дела не годились: как ушли на войну рядовыми, так рядовыми и пришли назад; хоть бы для смеха кто-нибудь заслужил ефрейторские лычки.

А Семену при его сложных обстоятельствах требовались такие старосты, чтобы Ткаченке некуда было податься.

Недели две, не меньше, ломал себе голову Семен, не зная, кого выбрать. Наконец, он решил кланяться, во-первых, тому самому матросу Цареву, которого видел на вечерке и с которым уже успел добре подружиться, и, во-вторых, председателю сельского Совета большевику Трофиму Ивановичу Ременюку, но опять же не тому Ременюку, чей баштан около баштана Ивасенков, и не тому Ременюку, у кого двух сынов убило в пехоте (*вообще, надо сказать, половина села были Ременюки*), а тому Ременюку, который в семнадцатом году вернулся с бессрочной каторги, где он отбывал за убийство урядника.

Хотя матрос Царев в это время сам сватался и ходил совершенно очумелый, но, чтобы оказать другу одолжение, а также и для того, чтобы не пропустить случая погулять на хорошей свадьбе, быстро согласился.

Семен рассказал ему все, что у него произошло с Ткаченко.

– Ах, шкура! Ну что ты скажешь на эту шкуру! – воскликнул матрос почти с восхищением. – У нас в Черноморском флоте то же самое. Такие, знаешь, попадались гады, что одно – прикладом по голове, и в Черное море. Безусловно. Ну ничего, браток. Будет наша. Сделаем тебе зарученье.

Громадный человек без двух пальцев на правой руке, с вытекшим и давно уже зарубцевавшимся глазом, отчего ужасное лицо его казалось и вовсе незрячим, Трофим Иванович Ременюк в первый миг даже не совсем понял, чего от него хочет Семен.

В бывшей хате сельского старшины, с раскиданными по глиняному полу старорежимными делами в выгоревших на солнце папках и обрывками универсалов Центральной рады, с разломанной золотой рамой царского портрета, засунутой за еловый шкафчик, среди козухов, солдатских шинелей и свиток, пришедших по делу и без дела, в махорочном дыму орудовал Трофим Иванович, возвышаясь

над малюсеньким столиком присутствия. Здесь быстро, тут же, на месте, с суровым беспристрастием революции, именем Украинской Советской Республики совершалась воля народа.

Печатка сельского Совета, закопченная на свечке и приложенная к восьмушке косо разлинованной и закорючками исписанной бумаги, сажай утверждала правду, сотни лет снівшуюся деревне.

Трофим Ременюк уставился на Семена белым глазом. Толстая морщина поднялась по изуродованному лбу и волной прошла дальше под кожей наголо обритой, голубой головы.

Семен повторил просьбу. Ременюк подумал и согласился, хотя при этом сказал:

– Смотрите пожалуйста! Понимает солдат, кого надо в старосты просить. Дурной-дурной, а хитрый.

## Глава XV

### Непрошенные гости

Через несколько дней, под воскресенье, голова и матрос двинулись от хаты Котко на другой конец села – к Ткаченко. Они шли, не торопясь, посредине улицы. Бабы провожали их любопытными взглядами. Мужики молчаливо кланялись.

Ткаченко увидел их еще издали. Он сразу понял, что это сваты: в руках у них были полученные от жениха посохи, знак посольства, – свежесвыструганные батожки из белой акации. Кроме того, у матроса из-за пазухи выпядывал штоф, заткнутый кукурузным кочаном, а голова держал под мышкой круглый плетеный хлеб из пшеничной муки самого тонкого помола.

Ткаченко не успел хорошенько очухаться, как старосты стояли уже возле хаты, постукивая батогами: матрос в заломленной на затылок бескозырке и голова-циклоп в брезентовом пальто с клапаном и капюшоном, длины и ширины необъятной.

– А мы до вас, Никанор Васильевич, – сказал голова, поверх плетня подавая бывшему фельдфебелю беспалую руку.

– До вас, товарищ Ткаченко, до вас – и ни до кого больше... – болтливо начал матрос, но голова остановил его взглядом.

Вообще, надо сказать, Ременюк оказался вдруг большим знатоком деревенских обычаев. Согласившись быть свадебным старостой, он принялся за дело солидно, не пропуская ни одной мелочи. Он потребовал, чтобы жених вручил ему и матросу по посоху, чтобы мать Котко спекла хлеб и чтобы у матроса был штоф наилучшего сахарного самогона – все честь по чести, как полагается по старому обычаю, не роняя достоинства жениха и оказывая уважение дому невесты.

Перед тем как тронуться в путь, Ременюк прочитал суетливому матросу длинное наставление, как надо себя вести и что говорить – опять-таки все по обычаю.

Мать Котко не нарадовалась на такого умелого свата. Шутка сказать: без малого двенадцать лет человек провел на страшной царской каторге, вид крестьянский потерял, а все обычаи помнит.

Видно, не раз и не два в тайге, под высокими сибирскими звездами, снилось ему родное село, родная крестьянская жизнь.

– Прошу вашего одолжения, – сказал Ткаченко, подумав и примерившись к гостям соколиным взглядом.

С этими словами он собственноручно снял перекладину и отчинил ворота. Голова и матрос вошли через ворота, хотя свободно могли бы войти и в калитку. Но таков был обычай.

– Заходите в комнаты.

Ткаченко не сказал: «в хату». Этим он давал понять непрошеным сватам, что они пришли в дом к человеку не простому, а привыкшему жить на богатую ногу.

И точно: домик Ткаченки не вполне можно было назвать хатой. Хотя был он и глиняный и мазаный и окошечки имел, обведенные синькой, как все прочие хаты села, но все же не было в нем того простодушия, какое придают украинской хате камышовая крыша, размалеванная розочками призва и подкова, прибитая на счастье к порогу.

Крыша Ткаченкового домика была железная, голубого цвета; вместо призва стояла длинная скамейка; над дверью имелся навес, подпертый шестью тонкими столбиками, как в волостной почтовой конторе.

Все это придавало жилищу Ткаченки вид хотя и богатый, но какой-то казенный.

Сваты мимолетно переглянулись. Подтолкнув друг друга локтями, они следом за хозяином вошли в хату.

Здесь также все было не так, как у других. Над раскладной походной кроватью, застланной новой попоной, висела длинная артиллерийская шинель и фуражка с темным пятном на месте кокарды. Стоял канцелярский столик. Вокруг него три еловых стула – неуклюжее произведение деревенского столяра – с высокими спинками, решетчатыми, как лестница. У стены помещался городской комод с гипсовой вазой. Из нее торчало два султана ковыля, крашенного анилином: один – ядовито-розовый, а другой – зеленый до синевы. Над комодом на стене виднелась в узкой рамке под стеклом глянцеви́то-лиловая фотографическая группа учебной команды, где, если хорошенько поискать, можно было найти и самого молодого Ткаченко, сидевшего перед командиром в первом ряду на

земле, скрестив по-турецки ноги в новых сапогах со шпорами. На окнах висели тюлевые занавески, но не было ни одного цветка. И было скучно.

– Извиняйте, – сказал Ткаченко. – Можно садиться на стулья.

Хозяин и сваты сели.

– Вполне как в городе, – заметил матрос, осторожно покосившись на Ременюка.

Но на этот раз голова, видимо, вполне одобрил политичное вступление матроса. По обычаю полагалось, прежде чем приступить к делу, потолковать о разных посторонних вещах.

– Что это вы, Никанор Васильевич, до нас в сельский Совет никогда не зайдете? – спросил Ременюк, кладя на столик хлеб и поглаживая его своей беспалой лапой.

– Отчего ж, можно будет зайти, – ответил Ткаченко, проводя по усам тремя пальцами, сложенными как бы для крестного знамения, – только я не знаю, что я в том сельском Совете могу для себя иметь? Чужих лошадей мне не треба, потому что я, слава богу, пока что имею собственных. То же самое и без чужой земли я не страдаю.

– Они стоят на аграрной платформе правых социалистов-революционеров, а то и обыкновенных кадетов, – пожав плечами, заметил матрос, обращаясь к голове. – Они не согласные с нашим лозунгом: забирай обратно награбленное. Как вы скажете, товарищ Ременюк?

– Я скажу, что среди местного крестьянства еще попадаются сильно-таки несознательные люди.

Пожелтели от ярости темные глаза Ткаченки. Каждый мускул стал отчетливо виден на его лице. Но и только. Больше ничем не выдал себя бывший фельдфебель.

– А я скажу обратно, – проговорил он небрежно, – чересчур все стали сознательные.

Здесь разговор застрял. Хозяин и гости долго молчали. Наконец, помолчав столько, сколько допускало приличие, Ткаченко, не торопясь, повел речь о новом сарайчике, который собирался строить.

Но тут голова и матрос вдруг нетерпеливо застучали посохами. Этого мига больше всего боялся Ткаченко.

– Кланяется вам молодой князь, – сказал голова решительно.

– Известный вам товарищ Котко, Семен Федорович, – торопливо прибавил матрос, – человек вполне справный, здоровый, холостой, хоть сейчас может обкрутиться с кем угодно...

– Ты! – зловеще сказал матросу Ременюк. – Заткнись, ради бога. Поперед батьки не суйся в пекло! – и любезно продолжал, обращаясь к Ткаченке: – Кланяется вам молодой князь и просит спытать у вас, Никанор Васильевич, отдадите вы за него свою дочку, Софью Никаноровну?

– Ну, и то же самое, – пробурчал матрос. – А я что говорю?

– Привяжи свою балалайку... И мы, его старосты, так же точно кланяемся вам и просим уважить, чтоб нам не пришлось вертаться без зарученья обратно через все село, насмех людям.

Ременюк бил навERNЯКА. Отказать таким сватам было не под силу хитрому Ткаченке. Ткаченко и сам понимал это. Однако он медлил, подперев кулаком подбородок.

– Знаете что, загадали вы мне задачу, – тянул он, жмурясь. – Не ожидал я такого дела.

Была б Софья моложе, он сумел бы отговориться ее годами. Но девушке исполнилось девятнадцать. Возраст для деревенской невесты критический. Почти старая дева.

– Дайте подумать.

– Чего там подумать! – недовольно сказал матрос, для которого всякие формальности и волокита были хуже черта. – На самом деле! Девушка согласная? Согласная. Семен согласный? Согласный. А что касается папы, то папа тоже согласный. Папа свое нерушимое слово давал Семену еще на румынском фронте. Там у них один разговор был. Не молчите, папа, подтвержайте факты налицо или же начисто отрицайте.

– Я своего слова не вертаю. Как дочка, так и я, – сказал Ткаченко, не поднимая глаз. – Пускай она сама за себя скажет. – И с этими словами вышел.



## Глава XVI

### Заручение

Софья дожидалась решения своей судьбы во второй из двух комнат. Это была чистая, нежилая половина, со свежесмазанным глиняным полом, с ярко выбеленной печкой и припечкой, размалеванной цветами в горшках и птицами в коронах, как у павлинов. Вокруг бедной иконы киевского письма и по стенам висели на гвоздиках пучки и мешочки сухих, сильно пахучих трав и цветов: чернобрицев, чабреца, васильков, тмина, полыни. На печи была навалена груда прошлогодних маковых головок. Тут же стояли две волнисто расписанные поливенные миски: одна с горкой голубого мака, другая – налитая до краев темным медом, в котором плавали крылышки пчел.

И до того была не похожа эта горница на комнату, где помещался хозяин, до того была она милой и простодушной, так славно, так прохладно пахло в ней Украиной, что трудно было поверить, что находятся они рядом, в одной хате, и покрывает их одна крыша.

Софья, в козловых башмаках на резинках с торчащими ушками и в калошах «Проводник», и ее мать, босая, сидели на полу возле сундука с приданым, открытого впопыхах. *(Едва только сваты вступили в дом, женищины бросились сюда, крестясь и роняя шпильки.)*

Софья успела надеть новые башмаки, калоши и коленкорovou кофту. Мать не успела ни во что принарядиться.

Ткаченко вошел и запер за собой дверь.

– Ну? – сказал он.

– Пожалей свою дочку, Никанор Васильевич.

– С тобой не разговаривают, – прошептал он придушенно, чтобы в соседней комнате не услышали скандала, и пнул сапогом старуху. – Тебя спрашиваю, Сонька! Ну?

Софья проворно вскочила на ноги и прислонилась к припечке, вздернув вверх лицо – белое, в красных пятнах. Ее сухие, полопавшиеся губы дрожали.

– Я согласная! – крикнула она сорванным голосом и закрыла лицо рукой, как бы обороняясь от удара.

– Тшшш, – зашипел отец, – тшшш, дура... Убери с лица руку. Не моргай. Тшшш. Слышу, что ты согласная. А ты сварила своими мозгами, на что ты согласная? За кого собираешься идти? Какого мне зятя устраиваешь? Может быть, ты мечтаешь, что этот тарарам будет продолжаться в России еще десять лет? Так я тебе говорю – не мечтай. Позабирали клембовскую землю, поделили клембовский скот, клембовский дом стоит на горе пустой, с забитыми окнами, – и они себе радуются, песни играют. Советы депутатов сделали. Думают без хозяина обойтись. С одними каторжанами. Вряд ли. Я тебе говорю, через какой-нибудь, может быть, месяц все обратно станет – и что ты тогда будешь робить со своим лядащим Семеном, и с теми краденными клембовскими коровами, и с тою нахально посеянной клембовской землей? Под суд вместе со всеми хочешь попасть? На каторжные работы? Под расстрел? И меня через это на всю жизнь замарать?

Софья стояла перед отцом, неподвижно устремив на него выпуклые глаза.

Он смягчился, приняв ее молчание за согласие.

– Слышь, – сказал он, – ты ему не верь, что он тебе поет. Я лучше его понимаю дело. Слава богу. Сюда скоро до нас немцы вступят, а за ними и государя императора недолго будет дожидаться. Верные люди говорили, с Балты, которые знают. Трошки подожди. – Он еще более понизил голос. – Если даст бог, то найдется тогда для тебя один человек...

Испуг мелькнул в ее глазах.

– Не треба мне от вас никакого другого человека, – скороговоркой сказала она и вдруг опять крикнула с отчаянием и дерзостью: – Отчепитесь от меня, папа, бо я все равно ни за кого другого, кроме Семена, не пойду, и годи!

Он подошел к ней вплотную. Она уперлась ладонями в его грудь и изо всех сил оттолкнула.

– Скаженная!

– Сами вы скаженный! Последней совести человек решился! Не трожьте меня, идите, вас там сваты дожидаются.

Он смотрел с изумлением на ее бешеное лицо с закушенными до крови губами. Но Софья не помнила себя. В беспамятстве она билась

за свое счастье. Он никогда не предполагал, что она может быть такая. Он испугался.

– Тшшш, ну тебя к черту! Не делай мне тут в хате шкандал. Сполосни морду водой и зайдешь до нас.

Он вернулся к старостам, всем своим видом стараясь показать, что ничего особенного не произошло.

– Женские слезы, – сказал он, с иронией кивнув на дверь.

– Обыкновенное дело, – подтвердил матрос. – Одна соленая вода. Как у нас, в Черном море. Не больше.

Явилась Софья с матерью. В ушах у старухи болтались большие серебряные серьги, похожие на кружочки лука. На ногах скрипели новые чеботы, причинявшие страдание. Лицо Софьи было бесстрастно.

Женщины поклонились гостям.

– Кланяется вам молодой князь, – с легким раздражением сказал матрос, – известный вам человек Семен Федорович, под фамилией Котко. Какой будет ваш ответ? – и при этом посмотрел на Ременюка: – Так?

– Нехай так.

Ткаченко исподтишка посмотрел на дочь яростными глазами на усмехающемся лице. Он еще надеялся. Ей стоило только спеть:

Не ходи ко мене,  
Не суши ты мене.  
Коли я тобі не люба –  
Обойди ты мене.

Это бы означало отказ.

Софья сделала угловатое движение плечом, поправляя неудобную кофту, и стала перед отцом и матерью на колени.

– Благословите меня за Семена.

– Сеанс окончен, – сказал матрос и поставил на стол штоф.

## Глава XVII

### Жених

С той самой минуты, когда сваты, оставив Семена дома дожидаться своей судьбы, отправились к Ткаченкам, Фрося засуетилась и захлопотала неслыханно. У нее сразу же оказалась куча дел. Первым делом приходилось подсматривать в окошки Ткаченовой хаты, следя за ходом событий. Вторым делом следовало все новости тотчас передавать по селу. Наконец, третьим делом надо было как можно скорее собрать дивчат – подружек невесты, – с тем чтобы в нужный миг они появились в хате Ткаченки.

Фрося носилась по селу, как скаженная, гукая громадными чеботами. Платок съехал с головы. Рыжая коса металась за худыми плечами. Козьи глаза стояли неподвижно на отчаянном лице, таком красном, точно его натерли кирпичом.

Со стороны можно было подумать, что это именно ее и сватают, – так она суетилась.

– Гей, Фроська, что там слышно? – кричали бабы из-за плетней. – Уже заручили?

– Ще ни! – отвечала она, с трудом переводя дух. – Ще только разговаривают. – И мчалась обратно к Ткаченовой хате подсматривать.

А через минуту опять бежала, размахивая длинными руками:

– Заручают! Заручают! Заручают, чтоб мне провалиться!

Едва только Софья навязала на рукава сватов рушники, вышитые красной бумагой, а мать приняла от Ременюка в дрожащие руки хлеб, – в комнату вошли, скрипя башмаками, подружки, умирающие от стеснения и любопытства. Они обступили невесту.

На столе появились холодец из телячьих ножек, квашеные зеленые перчики и четыре граненых стакана.

Матрос крикнул и, подмигнув дивчатам, среди которых находилась и его собственная невеста Любка, налил по первой.

– Ну, товарищи переплетчики...

Но голова бросил на него уничтожающий взгляд.

– Опять двадцать пять, – пробормотал матрос грустно.

Голова взял тремя целыми пальцами стаканчик, подумал и сказал:

– Нехай будут счастливые. С зарученьем вас. Прошу покорно не отказать.

Он осторожно стукнул своим стаканчиком другие стаканчики, выпил и закусил перцем. Его примеру последовал матрос, но к закуске не притронулся, так как считал это ниже своего достоинства. Ткаченко выпил, ни на кого не глядя. А мать лишь приложила к стаканчику собранные в оборочку лиловые губы, закашлялась с непривычки, поперхнулась и залилась счастливыми слезами.

Матрос проворно взялся за штоф.

– Та подожди ты, ради бога, – плачущим голосом сказал голова. – Человек с Черноморского флота, а доси ни об чем не имеет понятия. Как дитё. Поставь вино на свое место.

Тут подружки запели:

Что вы, старосты, сидите?  
Чом до дому не идете?  
Ще ж Соничка не ваша – наша,  
Хоть заручена, да не звинчана,  
Ще ж вона таки наша.

– Теперь можешь наливать, – сказал голова. – Понятно?

– Чего ж непонятно? Понятно. – И матрос мрачно налил.

Все выпили по второй.

Мать вынесла и подала голове другой хлеб в обмен на тот, который получила от него. Затем сваты церемонно раскланялись и пошли сообщить жениху, что предложение его принято.

Семен сидел с матерью в хате и ждал. Иногда он выходил во двор посмотреть вдоль улицы, не идут ли старосты.

Уже все село знало, что зарученье произошло. Лишь один Семен ничего не знал. Обычай не позволял ему выйти со двора и спросить людей.

Наконец, показались сваты. Семен сразу распознал голову и матроса с полотенцами на рукавах, хотя до них еще было без малого полверсты. Вот когда пригодился Семену верный глаз наводчика!

– Можешь радоваться, – сказал Ременюк, входя во двор и отдавая Семену хлеб Ткаченко. – Сделали тебе зарученье. Старый черт покрутился-покрутился, ну только видит, что все равно нашла его коса на камень.

– Ты скажи спасибо, браток, мне, – прервал его матрос, – я этой сверхсрочной шкуре такой намек сделал, что под ним с одного разу земля загорелась.

Семен и его мать низко и важно поклонились сватам.

– И вот что, – сказал голова, – я и так из-за этих ваших плупостей целый день потерял. У меня в Совете дело стоит. Надо еще списки составлять на клембовские сельскохозяйственные машины. А то люди не смогут вовремя посеять. Так что будем это дело скорее кончать. Зарученье сделал, теперь тем же ходом сделаю змовины, а дальше крутите сами, только, за-ради бога, в церкву меня с собой не тащите, бо все равно не пойду.

## Глава XVIII

### Змовины

Тем же вечером Семен в походной форме, с Георгиевским крестом и бебутом на поясе, но, конечно, без погонов, в сопровождении старост, матери, Фроси и еще некоторых соседей, приглашенных в «бояре», вступил в дом Ткаченки.

– Ну что ж, Котко, здравствуй, – сказал бывший фельдфебель.

– Здравия желаю, Никанор Васильевич.

– Пришлось-таки нам с тобою еще раз побачиться.

– Так точно.

– Давно с батареи?

– Прошлого месяца пятнадцатого числа уволился по демобилизации.

– Очень приятно. Орудия и коней, звычайно, со всеми обозами так и покидали немцам?

– Кони и орудия остались на месте, только они уже теперь считаются Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

– Вот оно какое дело. Так, так. Значит, батарея целая. Кто же за командира?

– За командира наш вольноопределяющий Самсонов.

Ткаченко чрезвычайно высоко поднял брови и, сделав детски невинные глаза, обернулся к гостям.

– И вы подумайте только, – восхищенно пропел он тонким голосом, – вы подумайте только, господа, – чи, извиняйте, товарищи, – какая теперь в армии интересная служба пошла. Обыкновенный вольноопределяющийся целой батареей командует. Ну и ну! Довоевалися. Когда так, ты бы себе, Котко, мог под команду взять не меньше как артиллерийскую бригаду. Очень свободно. Что ж вы, дорогие сваты и гости, стоите на ногах? Седайте на стулья.

– Ваша хлеб-соль, наша шнапс, – сказал матрос, вытаскивая из-за пазухи новый штоф. – Итого один да один – два. Арифметика.

Тут как бы впервые соединились два хозяйства – жениха и невесты. И начался пир.

Пока голова и Ткаченко вяло сговаривались насчет приданого, пока матрос, еще не разыгравшись, осторожно прохаживался пальцами по басовым клапанам своей гармоники и бросал томные взгляды на Любку, пока обе матери, утирая новыми, еще не стиранными платками мокрые от слез носы, говорили друг другу в уголке ласковые слова, вспоминали молодость и считались родней, пока дивчата застенчиво пересмеивались, не решаясь запеть, – Семен сидел, задвинутый столом в угол, и старался не смотреть на Софью.

Она, как ей и полагалось по обычаю, одиноко стояла у порога. Маленькая слеза висела на ее слипшихся ресницах.

Но вот она одернула кофту, подошла к жениху, поклонилась ему и молча подала на тарелке платок.

– Правильно, – заметил голова.

Семен встал и в свою очередь молча поклонился Софье. Он взял с тарелки платок и заткнул за пояс рядом с бебутом.

Некоторое время жених и невеста не дыша стояли друг против друга. Наконец, она обхватила его за шею и прижалась губами к солдатской щеке, жесткой, как доска. Он неловко поцеловал ее в соленый глаз. Потом, обнявшись, они долго целовали друг другу руки.

Тем временем дивчата, собравшись с духом, запели страстными голосами:

Рано, раненько!  
Ой, на гори новый двур,  
А в том двуре змовины,  
Там брат сестру змовляе,  
Да змовляючи пытае:  
– Кто тобі, сестра, мылейше?  
– Мылий мини батенько.  
– Се твоя, сестра, неправда,  
Рано, раненько!

Каждое слово этой старинной песни нежно отдавалось в сердце Семена.

Он обнял Софью за талию. Как бы желая снять его руку, она схватила его за пальцы, осторожно крутила их и еще теснее



прижимала к своему боку.

Они сидели рядом за столом, прямые, неподвижные, охваченные блаженным стыдом.

Малиновое солнце низко прокатилось по окнам и спряталось за далеким степным курганом с ветряком, точно вырезанным из черной бумаги.

– А ну, кавалер, давай теперь свою саблю, – сказал голова, вытаскивая из ножен бебут Семена.

Услужливые руки дивчат тотчас прилепили к рукоятке принесенную матросом восковую свечу-тройчатку. По обычаю, ее следовало украсить васильками, калиною, колосьями. И хотя на дворе стоял месяц март, явились, как по волшебству, и васильки, и калина, и колосья – правда, сухие, но все же сохранившие свои сильные краски. Лето само вошло в хату.

Голова хозяйским глазом осмотрел дивчат.

– Требуется нам теперь добрая светилка.

На эту должность обыкновенно выбиралась девочка лет двенадцати – тринадцати и хорошенькая. Это было самое поэтическое лицо свадьбы – эмблема девичьей жизни.

– А ну, кто из вас подходящий?

Как только голова произнес это, Фрося вспыхнула до корней волос. Даже руки ее стали красные, как бурак. Сердце остановилось. Недаром же она целый день так хлопотала, старалась, била подметки и с плеч роняла платок.

Она уже давно тайно и страстно, мечтала хоть разок в жизни побывать на свадьбе светилкой.

Девочка изо всех сил прикусила губу. Ее рыжие брови поднялись. Глаза вытаращились. Зеленые и неподвижные, они с отчаянием смотрели на Ременюка, просясь в самую душу: «Возьмите мене, дядечка! Возьмите мене, дядечка!»

Голова посмотрел на девочку ужасным глазом и взял ее тремя пальцами за пунцовую щеку.

– Ты кто здесь такая?

– Евфросинья, – одними губами прошептала она. – Котковых. Семена сестра.

– Годишься. Саблю в руках удержишь? Держи. Будешь светилкой.

И вдруг такой страх напал на Фросю, что она кинулась в угол, закрыла лицо руками и затопала чеботами.

– Ой, ни! Ой, ни! – трясая косой, запищала она. – Ой, дядечка, ни! Я стесняюсь.

Но, впрочем, через минуту она уже, важная и от важности бледная, сидела рядом с головой, обеими руками держа перед собой кинжал с горящей свечой, украшенной колосьями, васильками и калиной.

Чистое пламя раскачивалось из стороны в сторону. Воск капал на подол нового Фросинового платья. Ясно и выпукло освещенное лицо девочки, казалось, качается из стороны в сторону, как бы волшебным образом написанное в воздухе водяными красками.

А дивчата продолжали петь:

Ой, рано, раненько!  
За городом дуб да береза.  
А в городе червонная рожка.  
Там Сонечка да рожку щипае.  
Пришла до ей матюнка:  
«Покинь, доню, да рожку щипаты,  
Хочу тебе за Семена отдаты».  
«Я Семена сама полюбыла,  
Куда пошла, перстень покотыла.  
А где стала – другой положила...»

## Глава XIX

### Новый работник

Несколько раз гости вставали с мест, собираясь уходить по домам, но каждый раз Ткаченко, злобно покосившись на свечку, говорил:

– Ничего. Сидите. Еще свечке много гореть.

По обычаю, следовало сидеть до тех пор, пока не сгорит большая ее часть. Матрос же, не любивший уходить из гостей рано, где-то раздобыл и принес свечку весом фунта на полтора, чем обеспечил танцы и ужин по крайности до двух часов ночи.

Давно выпили один штоф и другой. Посылали уже за третьим, за четвертым. Успели станцевать раза по четыре польку-птичку, и просто польку, и польку-кокетку, и специальную солдатскую польку, вывезенную из Восточной Пруссии. Спели «И вихри в дебрях бушевали», и «Позарастили стежки-дорожки», и, конечно, «Шумел, горел лес Августовский», «Реве тай стогне Днипр широкий» и «Ой, на гори тай жнецы жнуть».

Потом голова и матрос станцевали новый, еще не успевший дойти до деревни, очень модный танец «Яблочко», слова которого вызвали восторг, так как запоминались с одного раза, прямо-таки сами собой. Откуда ни возьмись появился скрипач и запиликал на своей скрипке. А свечка догорела едва до половины. Часу во втором голова, выходящий из хаты подышать свежим воздухом, заметил во дворе фигуру какого-то человека.

– Стой! Ты кто такой есть? – закричал он громовым голосом, но тут же сообразил, что это новый работник Ткаченки. – Тю, черт, обознался. Ты что тут один во дворе стоишь, а в хату не заходишь? Это при Советской власти строго запрещается. У нас теперь, при Советской власти, все люди одинаковые – нема ни хозяев, ни работников. Идем выпить и закусить. Видал у меня на рукаве полотенце? Как я здесь староста, должен мне подчиняться.

С этими словами голова сгреб его под мышку и, как тот ни отказывался, втащил в хату.

– Гуляй с нами, – сказал матрос и подал ему полный стакан. – Пей, не журишь. Наш верх!

Гости с любопытством рассматривали нового работника. Хоть он жил на селе давно, люди видели его редко. Он никуда почти не выходил со двора. Если же и выходил, то ни с кем не заговаривал, а на вопросы отвечал односложно и бестолково.

Теперь он стоял посреди хаты со стаканом в белой, как у больного, руке и вопросительно смотрел на своего хозяина. На нем были разношенные солдатские валенки и кожух, грубо сшитый из разных кусков овчины. Болезненное узкое лицо его заросло жидкими усами и бородой. Несколько месяцев не стриженные волосы лежали на сальном вороте кожуха, как у дьячка. И никак нельзя было понять, сколько ему лет: двадцать пять, девятнадцать или пятьдесят. Словом, у него был вид неграмотного и опустившегося солдата нестроевой команды, выписавшегося недавно из околотка. Но вместе с тем в самой глубине его темно-голубых, почти синих глаз светилось нечто до такой степени непонятное, что, глядя на него, каждый человек невольно загадывал себе: и в какой это губернии родятся такие люди?

Ткаченко с неудовольствием смотрел на своего работника. Видно, сильно не по душе пришлось бывшему фельдфебелю, что на змовинах его дочка присутствует его же собственный батрак. Однако он кивнул ему головой и сказал:

– Ничего. Надо выпить, раз люди просят.

– Будем здоровы, – сказал работник, непонятно усмехнулся и одним духом опрокинул в себя полный стакан.

Часа в два ночи свеча сгорела на три четверти.

– Эх, – сокрушенно вздохнул матрос, – не тую свечку принес! Совершенно не тую! Ну ничего. Буду сам змовляться – так на два пуда чистого воску расстараюсь. Верно, Любка?

Гости стали прощаться. Ткаченко их не задерживал. По селу пели петухи. Так окончились змовины.

## Глава XX

### Сон

*И снится чудный сон Татьяне...*

*Пушкин*

За змовинами полагались розгляды. Отец и мать невесты со всеми родственниками должны были отправиться в дом жениха посмотреть его житье-бытье. Здесь жених и невеста впервые вместе хозяйничали, принимая гостей. Эта часть сватовства являлась решительной. Жених и его хозяйство должны были предстать перед родителями невесты в наилучшем виде. От этого мог зависеть исход всего сватовства.

Как ни хотелось Семену поскорее сыграть свадьбу, как ни торопился он исполнить все формальности, все же пришлось ему на несколько дней отложить розгляды: надо было сделать новую крышу, съездить в Балту за подарками невесте и ее родичам.

Покончив с крышей, Семен заложил в подводу лошадей: свою клембовскую кобылу, успевшую к тому времени получить новое, очень интересное имя Машка, и клембовского же мерина Гусака, которого одолжил ему для такого случая Микола Ивасенко – Фроськин кавалер; попрощался с Софьей и поехал в город.

Он поехал, а Софья рано легла спать, и ей приснился сон.

Снилось ей, что она проснулась в своей хате, там же, где и легла спать, проснулась и смотрит, а вокруг никого нет – ни отца, ни матери, ни Семена. И это недаром. Это все что-то значит. Решила она тогда пойти в парадную горницу, туда, где на печке мед и мак, – может быть, там кто-нибудь есть. Но тут же вспомнила, что комната, где она проснулась, и есть эта самая парадная горница, а другой у них в хате и сроду не бывало. Те же на стене пучки сухих пахучих трав, те же букетики калины, васильков, жита. Но всю мебель повыносили. А на полу стоит восковая свеча и тихо горит. Наверное, только что зажгли – еще фитиль не почернел. Страх напал на Софью, и она поскорее вышла во двор. Может быть, во дворе кто-нибудь есть живой? Двор чисто подметен, даже еще видны свежие следы метелки,

но вокруг – ни души. Может быть, хоть кони в конюшне есть? Но ни коней не видно, ни самой конюшни нигде нету. И стоит над пустым двором пыльный, скучный день, такой душный, как будто собирается пойти дождь. А посреди двора горит восковая свеча, и фитиль у нее уже почернел, и с одного боку капает воск. «Что ж это, на самом деле, такое делается?» – подумала Софья, ломая руки, и тотчас увидела работника. Он шел мимо нее, не глядя, но кивал ей головой. Софья сразу поняла, чего он хочет. Он звал ее пойти с ним в степь скорее, пока никого нема. Еще страшнее стало Софье. Стараясь, чтоб он не услышал, она выбежала босиком на улицу. Там было совершенно пусто. Не то что людей – ни одной курицы, ни одной собаки, ни воробья не было видно. И все село, из конца в конец, стояло, как на серой ладони, с церковью, погостом и сухими скирдами – пустое, до тошноты тихое. А работник уже подходил сзади, молча показывая в степь голубыми глазами.

– Чего ты за мной ходишь?

– А я за тобой не хожу, – ответил он по-турецки.

Вокруг стало еще серее и пустынное. Софья поняла, что надо бежать до Семена, пока не поздно. Но едва она пробежала полдороги, как стало ясно, что уже поздно. Все было потеряно. Тогда она решила спрятаться в кузне. Тут дверь кузни растворилась, и навстречу ей вышел работник. Софья заметила, что посреди кузни на наковальне стоит свеча, сгоревшая уже наполовину. А работник показывает глазами в степь.

– Не ходи за мной, – заплакала Софья.

– А я за тобой не хожу.

И Софья увидела вдруг его черствую улыбку. Тут уже не страх – ужас охватил ее и потряс с головы до ног. Слово вихрь ударил ей в спину и немного приподнял от земли. Она изо всех сил побежала по воздуху, мелко-мелко семеня ногами и отталкиваясь иногда от подвернувшегося снизу холмика или камня. Так она, не помня себя, влетела в пустынную комнату с саблями на стене. Она со звоном захлопнула за собой дверь из разноцветных стекол, прижала ее плечом, два раза повернула ключ и тут же поняла, что попалась. Посреди комнаты пылала почти до конца истраченная свеча. Работник стоял в сером углу, сам серый, плохо видимый. Он торопливо снимал – нога об ногу – валенки.

– Пожалей меня! – закричала Софья, но не услышала своего голоса.

Он молчал. Теперь она поняла, что это не человек, а нечистая сила. Надо было сейчас же, не медля ни минуты, перекреститься. Но она вся оцепенела и стояла как каменная. Вдруг правая рука ее стала прозрачной, невесомой, как бы сделанной из света. Сама собой она поднялась и перекрестилась. И в тот же миг Софья увидела, что стоит в пустой церкви перед запертыми и задернутыми царскими воротами. А вокруг нее страшными, ангельскими голосами воет невидимый хор, поет панихиду. Все выше, все сильнее поднимаются голоса. А свечка уже совсем догорела. Один только язык пламени сам собой качается на каменных плитах. И вдруг царские ворота с силой распахнулись. Из алтаря воровато выпянул работник. Увидев, что в церкви, кроме них двоих, больше никого нет, он сбежал по ступенькам и, уже не таясь и не притворяясь, потянул ее к себе. Совсем близко она увидела ненавистные глаза. С неожиданной, последней яростью она схватила работника обеими руками за ременную завязку на горле и порвала ее. Кожух распахнулся. Обнажилась шея. И на ней Софья увидела что-то: не то крест, не то ладанку.

– Ага, открылся! – закричала Софья злорадно.

А он вдруг стал бледный, красивый, печальный и стал бессильно никнуть, таять на глазах, расплываться, как ладан, пока совсем не пропал. И сон кончился.

## Глава XXI

### В Балте на базаре

Через несколько дней воротился Семен и привез новость: немцы наступают на Украину.

Слухи об этом давно ходили в народе. Но толком никто ничего не знал. Теперь же из газеты многое стало известно достоверно. Центральная рада, на которую в конце января восставшие рабочие и крестьяне так нажали со всех сторон, что ее духа не осталось на Украине, в начале февраля очутилась в Житомире. Отсюда она обратилась к Германии с официальной просьбой о вооруженной помощи против большевиков, и германские войска вторглись в пределы Советской Украины.

Газетку, где это было напечатано, Семен позычил в Балте, на базаре, у одного солдата-барахольщика, суетливо продававшего отличную, почти новую палатку, четыре английские ручные гранаты и живую свинью, которая билась в мешке и кричала так страшно, как будто в нее воткнули нож.

Котко тут же прочитал сообщение и попросил газетку себе, чтобы повезти на село. Солдату ужасно жалко было отдавать зазря газетную бумагу. Он долго и мучительно морщил толстую переносицу, передвигал фуражку со лба на затылок и с уха на ухо, несколько раз вытирал рукавом мелкие росинки пота, выступившего на скулах, тронутых оспенными тяпками, но в конце концов согласился.

– Забирай! – закричал он на весь базар охрипшим голосом и так отчаянно ударил рукой по воздуху, точно отдавал с себя последнюю рубаху. – Пушай люди узнают, как буржуи продают их направо и налево немцам. Пушай узнают!..

Семен бережно сложил газетку и спрятал ее в шапку, за подкладку.

Тут же, на базаре, узнал он и многое другое. Было доподлинно известно, что по договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна была отпустить Германии до конца апреля тридцать миллионов пудов хлеба, а также разрешить свободный вывоз руды. Об этих условиях, правда, соглашались вести переговоры и большевики,



но немцы предпочли заключить союз с изгнанной радой. А это значило, что немцы рассчитывали не только выкачать украинский хлеб, но главным образом задуть на Украине Советскую власть, признанную всем трудовым народом, вернуть старый режим.

– От це тоби и рада, – говорили, крутя головой, сельчане, приехавшие на базар по своим делам. – Она рада, только народ не радый, – и спешили назад до дому сообщить людям новости.

Очевидцы рассказывали, что севернее Волочпска идет наступление широким фронтом в направлении на восток и отчасти на юго-восток: Луцк, Ровно, Сарны, Коростень, Киев.

Одна мешанка, приехавшая на румынский фронт разыскивать пропавшего мужа и вместо этого в суматохе попавшая в Балту на базар, божилась, что собственными глазами видела немецкие эшелоны в Шепетовке и Казатине. Она даже показывала людям пропуск, написанный на пишущей машинке, по-видимому по-немецки, за печатью с чудачким немецким орлом и подписанный немецким комендантом.

– Впереди всех, – говорила она, проворно затыкая под платок растрепавшиеся волосы несгибающимся пальцем с серебряным кольцом, – впереди всех идут гайдамаки в смушковых шапках с красным верхом и желто-блакитными бантами на грудях, за теми гайдамаками идут какие только завгодно офицера – тут тебе и русские с погонами и кокардами, тут тебе и польские – с чисто белым орлом на фуражке с розовым околышком, и мадьярские, и украинские, и галичанские. Ну злые все беспощадно! За теми офицерами идут военные-пленные галичане и украинцы. А уже за теми военными-пленными начинаются самые германцы. И чего только у ихних у эшелонах нема! Один полк – кавалерийский, один полк – королевский, один полк – чисто весь на велосипедах, один полк такой, что все германцы сидят в броневиках – ни одного человека на платформе не видно... – Мешанка вдруг сморщила нос, по носу побежали слезы, заголосила: – Пропала наша Россия! Ратуйте, люди! Ратуйте! – и повалилась грудью на чей-то воз, заставленный мешками и кукурузой.

«Эге», – подумал Семен и, не теряя времени, поворотил лошадей назад.

Тревога охватила его. Не жалея кнута, он лупил лошадей, в особенности бывшую клембовскую Машку, как бы вымещая на ее боках всю свою злобу.

– Вот халява! – кряхтел он и, не надеясь больше на самый кнут, стучал, став на колени, по Машкиному хребту кнутовищем. – А еще помещицкая лошадь называется. Доси бежать, как полагается, не научилась. Ничего, я тебя научу!

Но едва Семен очутился в степи, как тревога мало-помалу улеглась. Все вокруг было так обычно, так спокойно.

Он ехал остаток дня и всю ночь по пустынной дороге, окруженный мартовской чернотой земли и с детства знакомыми звездами, по которым бежал широкий степной ветер. Перед рассветом ему стало холодно. Он лег в сено, натянул на голову по-солдатски кожух, угрелся и заснул в повозке, как в люльке. Когда же он, сырой от росы, проснулся, то увидел, что восходит солнце и он подъезжает к своему селу.

Телесным золотом светился крест на церкви. В неподвижном ставке отражался еще темный берег, несколько синих хат и журавель, уже ярко-розовый на самом конце. А вокруг раскинулись поля: огненно-зеленые полосы озимой и черные, как древесный уголь, клинья, приготовленные под яр. На горизонте, против самого солнца, двигался на высоких колесах длинный ящик. Приложив к глазам ладонь, Семен всмотрелся и узнал новенькую двенадцатирядную сеялку из экономии Клембовского. На ней сидел и правил лошадьми Фроськин жених Микола Ивасенко. Всюду виднелись фигуры людей, вышедших сеять. И надо всем этим невидимо бился в засиявшем небе ранний жаворонок.

«Пора и мне уже выходить сеять», – подумал Семен. Вчерашняя тревога показалась ему просто глупостью. Все же, распрягши лошадей и покушав, он пошел в сельский Совет и показал Ременюку газетку. Голова прочитал ее несколько раз молча. В полдень, когда люди воротились с поля, он созвал сход. Коротко, но не торопясь, он рассказал, что произошло, и, рассказав, вдруг закричал во весь голос:

– Товарищи селяне! Слушайте все и понимайте. Сюда до нас идет немец, а вин шутковать не любит. Он хочет взять в кабалу рабочих, забрать землю у крестьян, отнять волю у народа. Он хочет выкачать хлеба тридцать миллионов пудов и всевозможное продовольствие в

Германию, хочет задушить Украину и Россию. Таковые цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Теперь не время разговаривать много. Надо робыть. Товарищи селяне, мы должны теперь показать на деле, что мы не продажные шкуры, а будем до конца бороться с нашествием иноплеменников, – как и наши предки боролись, например сказать, со шведами, которые тоже один раз, слава богу, заскочили до нас на Украину и не знали, как потом оттуда вытягнуть ноги. То же самое французский контрреволюционер Наполеон Бонапарт, нарвавшийся мордой об стол. Что это значит? Это значит – не давать им продовольствия, заморить их, к черту, голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам! Все, как один человек, встаньте на защиту революции и свободы!

## Глава XXII

### Розгляды

А на другой день перед вечером в хату к Коткам пришли на розгляды всем семейством Ткаченки.

Хозяйство жениха было представлено в наилучшем виде. Новая крыша, толстая и аккуратная, связанная из отборного очерета, свежо золотилась на солнце. Хата была начисто выбелена, и земля вокруг нее хранила еще яркие подтеки извести. На дворе не виднелось ни одного птичьего пера, – так чисто он был выметен новым просяным веником. Стол, покрытый гвардейской палаткой, лучшей из всех палаток, принесенных Семеном с войны, мог удовлетворить самую богатую и требовательную родню.

На том столе по порядку были расставлены немецкие, австрийские и румынские алюминиевые фляжки, – обшитые серым сукном или вовсе не обшитые, – вычищенные песком, точно серебряные. За фляжками шли разных фасонов манерки со складными ручками и без ручек – тоже алюминиевые. Два медных стакана, сделанные из трехдюймовых русских гильз. И, наконец, баварские офицерские судки, состоящие из четырех жестяных тарелок, складного ножа, ложки и вилки и складного же стаканчика в кожаном футляре.

Главную же красоту и гордость стола составляла дюжина алюминиевых ложек, собственноручно отлитых Семеном из неприятельских дистанционных трубок и отделанных с терпением и вкусом. Это не были копии круглых деревянных ложек. Это были настоящие продолговатые городские ложки, отлитые по форме офицерской столовой ложки, найденной Семеном все в тех же знаменитых брошенных окопах второго гвардейского корпуса под Сморгонью.

Но только та офицерская ложка была куда беднее. Она была гладкая. Ложки же Семена были богато украшены веточками и каемками, выцарапанными шилом. И на одной из них, особенно чисто сделанной, виднелась надпись: «Софія».

Кругом по всей хате – и в жилой ее половине и в парадной – лежали разложенные напоказ: шанцевый инструмент, почти новая попона, летние и зимние гимнастерки, немецкие дождевики и пыльники, палатки, английские башмаки, шаровары, бинокль Цейса, кожа на подметки, бязевые рубахи, ватные кацавейки, пачки румынского тютюна, кожаная австрийская амуниция и многое другое, поместившееся в ранец и вещевой мешок, – словом, самые разнообразные трофеи, подхваченные хозяйственным Семеном на полях сражений.

Софья, которая, по обычаю, впервые в этот день хозяйничала в доме своего будущего мужа и принимала гостей, не могла отвести глаз от всего этого богатства. Со скрытой гордостью она кланялась пирующим и ставила на стол миски, говоря изредка:

– Кушайте, мамо, ложкой, не обращайтесь внимания.

Или:

– Наливай себе, Фросичка, в люминевый стаканчик.

Семен же, натужив скулы и тесно, изо всех сил сдвинув клочковатые брови, что, по его мнению, придавало человеку вид справного, самостоятельного хозяина, с небрежной строгостью бывалого мужа замечал:

– Что ж ты стоишь, София, я не понимаю, и руки сложила? Может быть, дорогие гости ще хотят исты? Там мама поставила у погреб холодец с телячьих ножек. Знаешь, где наш погреб? Принеси и поставь на стол, будь ласковая.

А сам изредка посматривал на старого Ткаченка, будущего своего тестя, – какое на него производит впечатление их хозяйство?

Но бывший фельдфебель и бровью не вел, как будто ни на столе, ни в хате ничего не было достойного внимания. Лишь один раз, как только вошел в хату, покосился на вещи и сказал:

– Ну и купил себе наш Котко предметов полный цейхгауз. На все гроши. Ничего не забыл. Дорого заплатил?

Лошадью, коровой и овцами будущий тесть и вовсе не поинтересовался. На просьбу матери Семена посмотреть, какая у них скотина, он ответил:

– А чего мне смотреть? Я ее добре знаю. С того времени, как она еще была клембовская, – и пасмурно усмехнулся.

Другой на месте Семена, может, и почувствовал бы в словах Ткаченки лютую, неистребимую ненависть, скрытую за этой короткой усмешкой. Но не до того было Семену, занятому своим счастьем.

После розгляд полагалось назначить день свадьбы. Тут уж дело целиком зависело от тестя. Все, а главным образом Семен и Софья, хотели сыграть свадьбу как можно скорее. Но шел великий пост. Надо было дожидаться красной горки. С этим и приступили к Ткаченке. Однако он решительно заявил, что раньше чем уберут с поля хлеб – о свадьбе нечего и говорить. А там как бог даст.

Всем стало ясно, что Ткаченко нарочно тянет. Но ничего нельзя было поделывать. Это было его право.

Семен, впрочем, попытался нажать на тестя. Ткаченко посмотрел на Семена со странной лаской и сказал:

– Сперва ты меня, Котко, уважил. Потом я тебя. Теперь ты меня обратно уважь. Не так ли?

И Семен понял, что уломать упрямого фельдфебеля – мертвое дело. На этом покончили.

Семейство Котков проводило Ткаченка до палисада. Семен отчинил ворота, и Ткаченки, минуя калитку, вышли гуськом на улицу через ворота.

Не отошли еще Ткаченки от хаты Котко и на десять шагов, как по улице пробежали, задрвав головы, два хлопчика и одна девочка, крича в восторге:

– Ой, бачьте, иэроплан летит!

Высоко в чистом и нежном небе над селом летел аэроплан.

Село было глухое, дальнее, и появление аэроплана заинтересовало всех. Люди выбежали из хат и подняли головы вверх.

Аэроплан летел в глубь страны. Невысокое солнце отчетливо освещало его светлые ребристые крылья, немножко загнутые на концах назад. И на этих крыльях люди увидели два черных креста невиданной формы.

– Герман! – сразу сказал Семен и побежал в хату за биноклем.

Аэроплан скрылся из глаз, но скоро появился с другой стороны, опять пролетел над селом назад, блеснул и пропал окончательно.

Люди молча переглянулись.

Это был немецкий военный самолет.

В ту же ночь Ткаченко заложил коней и выехал со двора. Вернулся он лишь на другой день к вечеру.

Но прошел день, другой, третий. Все вокруг было тихо-спокойно... И село, занятое работой в поле, перестало думать о немцах. Перестал думать о немцах и Семен. За все четыре года войны он не видел немцев ни разу вблизи как следует и никак не мог себе представить, что они вдруг могут появиться тут, на селе. Это было невероятно. Нет. Наверное-таки, люди даром подняли панику. Как-нибудь, наверное, это минет.

Весна шла быстро и разворачивалась. Незадолго до пасхи, управившись с яровыми и засеяв небольшой баштан, Семен в первый раз пошел вечером к Софье в гости. Обычай давал ему это право. Тут уж фельдфебель ничего не мог поделаться.

Они долго сидели, как брат и сестра, обнявшись, и шепотом разговаривали о своем будущем хозяйстве, о своих будущих детях. Он настаивал на хлопчике. Она застенчиво шептала жесткими губами в самое его ухо:

– Я боюсь.

– Чего ж ты, дурная, боишься?

– А вдруг как не выживу?

– Чего ж ты не выживешь?

– А кто его знает?..

– Не думай за это. Еще ничего не было, а ты уже так себя распускаешь.

– Слышь, Семен, а как мы будем его крестить? По дедушке Федору или как?

– Кого?

– Хлопчика.

– Якого?

– Та нашего ж.

Он тихонько засмеялся.

А Софьиная мать сидела тут же на полу, возле припечки. Она прислушивалась к шепоту и уже чувствовала у себя на руках внука, завернутого в богатое одеяльце. Она уже слышала сонный скрип коляски и видела круглое личико ребенка с носиком, маленьким, как горошина. Слезы кусали ее морщинистый нос, но она боялась высморкаться, чтобы не спугнуть сосватанных.

## Глава XXIII

### Казнь

Прошел великий пост. Прошла поздняя пасха. Южная весна кончилась роскошно и уже сторонилась, уступая лету пыльную дорогу, заросшую по краям будяком и бледно-розовыми граммофончиками повилики.

И вот однажды бабы, выдиравшие из зеленого жита перекасти-поле и молочай, увидели на шляху трех человек в серых мундирах, с винтовками на ремне. Они шли в село.

Поравнявшись с бабами, окаменевшими от страха и любопытства, один из них – по солидности, видать, ихний старшой – приложил руку к бескозырочке блином, пошевелил задранными вверх усами тараканьего цвета, надул тугие щеки и низким басом буркнул нараспев, как из желудка:

– Мо-оэн!

– Бок помочь! – крикнул другой, приподнимая над головой свой блин с круглой кокардочкой, малюсенькой, как точка.

Бабы упали в жито и, накрыв головы спидницами, кинулись утیکать.

Прежде чем чужие солдаты добрались до кузни, все село уже знало, что пришли немцы.

Из-за плетней и палисадов, с призб и порогов смотрели сельчане вдоль улицы скорее с любопытством, чем со страхом, на троих солдат с касками, привязанными сзади к толстым поясам.

Немцы шли посредине широкой деревенской улицы, поросшей кучерявой летней травкой, хоть и в узких, но вместе с тем мешковатых мундирах с расходящимся разрезом сзади и в толстых сапогах с двойным швом.

Судя по этим пыльным сапогам, порыжевшим от украинского солнца, и по ядовитым пятнам под мышками, было ясно, что немцы уже прошли верст не менее пятнадцати.

Время от времени они останавливались возле какого-нибудь двора, и тогда старшой прикладывал толстую руку к бескозырке, надувал щеки и бурчал нараспев:



– Мо-оэн!

После этого вперед выступал другой, по-видимому считавшийся у немцев знатоком русского языка, и, приподняв над головой блин, бодро кричал:

– Бок помочь, казаин! Добри ден! Как есть здесь идти находить деревенски рада, пожалуйста?

Но хозяин или хозяйка – а то и хозяин и хозяйка вместе, да еще в придачу с парой голопузых хлопчиков, уцепившихся за мамкину юбку, – смотрели на гостей с молчаливым любопытством.

Постояв немного у палисада, немцы шли дальше.

Так они вежливо ходили по селу часа полтора, пока не попался старик Ивасенко, на двадцать верст кругом известный своим образованием и способностью говорить по любому поводу до тех пор, пока у собеседника не заболит голова.

– Так что же вы хотите? – начал старик Ивасенко и, предвидя интересный и длинный разговор, попрочнее установил локти на плетне. – Так что же вы хотите, господа? Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или – теперь одно и то же – сельская рада?

– Так есть, – радостно кивнул головой знаток русского языка.

– Ще подождите радоваться, – строго заметил старик Ивасенко, который совершенно не выносил, чтобы его перебивали, – ваше слово ще впереди. Так что же вы таки хотите? – назидательно продолжал он, наслаждаясь плавностью и красотой своего слога. – Вы хотите – или, то же самое, – вам треба явиться согласно воинского приказа до нашей сельской рады. Так я вам на это могу ответить только одно: того сельского присутствия, или, то же самое, той сельской называемой рады, у нас уже нема в помине с сего января месяца. Теперь, вы можете спросить, где ж оно, тое присутствие, или, то же самое, называемая рада? На это я вам отвечу так: ее нема. Ее уже нема. Ее уже нема давно, потому что она благополучно кончилась, или, то же самое, разогната сего месяца января. А ее место доси заступает присутствие, или, то же самое, но только теперь не называемое сельская рада, а называемое теперь сельский Совет рабочих и крестьянских и солдатских депутатов. А рады уже нема в помине. В помине нема уже рады. Теперь. Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или, то же самое, теперь

сельский Совет? То на это я вам могу ответить одно, но только не сразу, а трошки подумав...

Немцы слушали-слушали, а потом, не дослушав, поправили винтовки и пошли себе дальше, шаркая тяжелыми сапогами по вьюнкам.

Старик Ивасенко долго смотрел им вслед с ядовитой обидой в глазах и презрительно качал головой.

– И нехай. Когда они все такие умные – нехай шукуют сами. Нехай. Побачим.

Наконец, немцы кое-как добрались до сельсовета.

На камышовой крыше, рядом с аистом, стоявшим на одной ноге возле своего гнезда, они увидели похилившийся красный флажок, порядочно выгоревший на солнце.

По-видимому, это их очень удивило, так как старшой долго смотрел на флажок, потом надул щеки, высоко поднял брови и сказал желудочным басом:

– О!

Затем они вошли в хату.

В хате, как всегда, околачивалось много народа. Ременьюк в своем неизменном брезентовом пальто с капюшоном, которое он не снимал ни зимой, ни летом, как ни в чем не бывало сидел за столиком и старательно вырисовывал водянистыми чернилами ведомость на распределение клембовского сельскохозяйственного инвентаря между незаможными дворами.

– Бок помочь! – хотя уже несколько утомленно, но все еще довольно бодро воскликнул знаток русского языка, снимая свой блин. – Добри ден.

С этими словами он строго обернулся лицом в угол и размашисто перекрестился слева направо на новенький московский цветной плакат, изображавший попа с лукошком яиц и стишками Демьяна Бедного:

Все люди братья –  
Люблю с них брать я.

После этого старшой произнес свое утробное «мо-оэн» и положил на стол бумагу, вынутую из внутреннего кармана.

– Биттэ.

– Пожалуйста, – перевел лингвист.

Ременюк развернул добре-таки пропотевшую бумагу и прочел, не торопясь, вслух напечатанное на машинке по-русски требование начальника императорского и королевского соединенного отряда в трехдневный срок доставить на склад полевого интендантства 1200 пудов жита или пшеницы, 200 пудов свиного сала, 3750 пудов сена и 810 пудов овса. В случае невыполнения этого приказа виновные будут арестованы.

При общем молчании Ременюк сложил бумагу вчетверо, провел по сгибу ногтем, твердым, как ракушка, сунул ее себе под локоть и снова, наморщив лоб, принялся вырисовывать ведомость.

– Альзо? – после длительного молчания сказал старшой.

– Герр унтер-официр, – перевел знаток языка, – что есть по-русский – господин унтер-официр имеет знать от вас, господин, ответ для герр обер-лейтенант.

– Скажи ему, что безусловно, – ответил голова равнодушно, продолжая лепить свои закорючки.

Старшой одобрительно кивнул головой, но затем строго надулся, поднял вверх толстый указательный палец и отрывисто произнес желудочное слово:

– Абер!..

– Можешь не сомневаться, – сказал голова.

Немцы еще немного потоптались, суюсь по углам. Как видно, искали напиток. Но воды не нашли. Затем переводчик опять перекрестился на попу с лукошком, сказал общительно:

– Добри ден. Спокойночи. – И, провожаемые молчаливыми взглядами, немцы вышли из Совета.

На обратном пути они зашли в один двор напиток. Пока старшой с наслаждением купал усы в ведре ледяной криничной воды, знаток русского языка успел перемолвиться словечком с хозяйкой, подававшей это ведро.

– Немножко кушить, – сказал он, делая красноречивые жесты. – По-русский то будет – собаки так есть голодни, как мы.

Хотя еще совсем недавно сельчане единогласно поднимали на митинге руки – ни в коем случае не давать немцам хлеба и гнать их чем попало вон с Украины, однако хозяйка по старой женской привычке пожалела солдатиков. Особенно пожалела она третьего из них – самого дохлого и маленького, с сухой морщинистой головкой черепахи и в круглых стальных очках, обмотанных ниткой.

Хозяйка сходила в хату и подала немцам на троих четверть буханки хлеба и порядочный шматок сала.

Ободренный удачей, знаток русского языка заходил по дороге из села еще в несколько дворов и там вступал в некие переговоры. Так что, когда немцы проходили мимо кузни, на штыке переводчика уже болтался довольно увесистый узелок, связанный из чистого носового платка с красной готической меткой.

Те же бабы, половшие жито, видели, как немцы, выйдя из села, присели под курганом и поснидали. А поснидавши, достали чудацкие фаянсовые, украшенные переводными картинками пипки с длинными чубуками и зелеными кисточками и сделали перекурку.

Потом они отправились дальше, причем старшой шел уже в расстегнутом мундире, под которым виднелась серая егерская рубаша с перламутровыми пуговичками, а также ладанка от насекомых. А дохлый, в очках, бабьим голосом спивал немецкие песни.

Одним словом, на селе немцы скорее понравились, чем не понравились. И о них забыли. Но ровно через четыре дня они появились снова и прямо направились в Совет. На этот раз Совет был заперт на замок, а на двери имелась прилепленная житным мякишем записка: «Кому меня треба, то я нахожусь старостой на змовинах матроса Царева у хате Ременюков за ставком. Председатель сельского Совета Ременюк».

Знаток языка читать по-русски отнюдь не умел, и немцы стояли перед запертой хатой в некотором затруднении.

Но тут, невдалеке за ставком, им явственно послышались звуки скрипки, гармоники и бубна. Немцы посоветались и побрели по направлению музыки. Обогнувши ставок, они сразу наткнулись на палисад, в котором происходили змовины матроса Царева с Любкой Ременюк.

Матрос пировал широко. Хата не вместила гостей. Столы поставили на дворе. Ременюк хотя и был занят выше горла – все же не

мог отказать матросу. Голова сидел на видном месте с посохом и с полотенцем на рукаве и неторопливо вел змовины.

Старшой немец подошел ближе к столу, в упор выкатил на председателя глаза, светлые, как пули, страшно надулся, двинул усами и гаркнул по-немецки так, что со стола свалилась ложка.

– Герр унтер-официир спрашивает, – объяснил переводчик, – где есть должны продукты?

– Якие продукты? – сказал голова.

Унтер-офицер достал из бокового кармана записную книжку, раскрыл ее и грозно постучал по страничке химическим карандашом с резинкой на конце.

– Айн таузенд цвай хундерт, – сказал переводчик, – то по-русски будет одна и две сот тисача пуд пченица и две сот пуд свинске сало и три и семь сот пятьдесят тисача пуд сено и восемь сот диесать пуд овес. Где есть эти?

– Та вы что, смеетесь над нами, чи шо? – воскликнул матрос после некоторого общего молчания. Затем он налил из штофа полный стаканчик и подвинул унтер-офицеру. – Лучше на – выпей, чтоб дома не журились. Такого у вас в Германии нет и не будет.

– Найн! – сказал унтер-офицер и ребром ладони решительно, но вместе с тем осторожно, чтобы не разлить, отставил стаканчик, после чего произнес довольно длинную фразу и снял с плеча винтовку.

Переводчик немного помялся, оглядываясь на многочисленных подруг, гостей, любопытных и музыкантов. Он сделал осторожно улыбку и отступил шаг назад.

– Герр унтер-официир обладает сделать, господин председатель, что вы есть сейчас арестованный и должный иметь направление в комендатуру.

– Я! – сказал унтер-офицер. – Штейт ауф! – и взял винтовку на руку.

– Та вы что, на самом деле, смеетесь? – простонал матрос, чуть не плача от раздражения, что ему мешают змовляться, вырвал из рук унтер-офицера винтовку, молниеносно ее разрядил и с такой силой зашвырнул за погреб, что по дороге туда она вдребезги разнесла собачью будку и положила на месте серого гусака, подвернувшегося на тот несчастный случай.

Гости повскакали с мест, и через минуту остальные две винтовки тоже пронеслись через двор, подскакивая, как палки, пущенные в городки.

Немцев заперли в погреб и дали им туда большую миску холодца из телячьих ножек с чесноком, целый хлеб и манерку вина.

Змовины шли своим чередом.

Сначала немцы страшно стучались кулаками в дверь и что-то кричали. Но мало-помалу успокоились. А к вечеру из погреба уже слышался бабий голос «дохлого», спивавший немецкие песни.

Змовины кончились на рассвете, и тогда немцев выпустили из погреба. Они потребовали обратно свои винтовки. Но винтовки пропали.

До утра немцы ходили по дворам, спрашивая, не видел ли кто-нибудь их винтовок. Сельчане молчали. Тогда унтер-офицер приложил руку к бескозырке, пробурчал «мо-оэн», сделал своей команде знак поворачивать и зашагал из села с трясущимися от негодования щеками. А на другой день не взошло еще солнце, как за селом на шляху встало облако пыли.

Село было окружено немцами.

Пока серые солдаты снимали чехлы с четырех пулеметов, поставленных кругом на возвышенностях, взвод драгунов ворвался в село. Возле церкви он разделился на три части. Один разъезд, не меняя аллюра, поскакал прямо к сельсовету. Другой – к хате Ткаченка. Третий остался на месте и спешился.

На этот раз немцам было прекрасно известно расположение села.

Старик Ивасенко, страдавший бессонницей и поднимавшийся раньше всех, видел, как Ткаченко разговаривал со старшим немецкого разъезда, остановившегося около его хаты.

Сельчане еще не успели проснуться и выскочить на улицу, как драгуны, ездившие к сельскому Совету, уже на рысях возвращались обратно. За разъездом, в брезентовом пальто, разодранном сверху донизу, спотыкаясь и дергаясь, бежал голова Ременюк, скрученный по рукам веревкой, концы которой держали драгуны.

Сейчас же следом за первым разъездом показался второй, волочивший матроса Царева. Вид его был ужасен. Из разбитого прикладом рта на полосатый тельник широко падала кровь. Наполовину вырванный чуб прилип ко лбу, вывалившемуся в землю.

Скрученная веревкой рука судорожно сжимала лохмотья гармоник, которой матрос отбивался, и на длинной георгиевской ленте, попавшей под веревку, болталась и била по босым ногам матросская шапка.

Перед церковью стояла старая сухая груша, в прошлом году разбитая молнией. Под ней, привстав на стременах, медленно поворачивался немецкий вахмистр.

Драгуны окружили пленных и накинули на них петли. Вахмистр махнул палашом. Казнь совершилась в ту же минуту. И тотчас раздался женский крик такой силы, что на колокольне явственно дрогнула и зазвучала медь большого колокола.

Любка Ременюк вытянула вперед руки, остановилась как вкопанная и с остекленевшими глазами на равнодушном лице рухнула навзничь, пяти шагов не добежав до груши.

В село при звуке рожков, с кухнями и обозами, входила немецкая пехота.

## Глава XXIV

### Золотое оружие

Обер-лейтенант фон Вирхов, немецкий комендант уезда, прибыл в мятежное село после полудня. Рядом с ним, в пыльном экипаже с ефрейтором на козлах, сидел молодой чиновник нового правителя Украины гетмана Скоропадского.

В дороге было жарко.

Обер-лейтенант снял замшевые перчатки, – почти белые, но со слабым лимонным оттенком, – вывернул их наизнанку и повесил на эфес сабли, поставленной между колен. Чиновник позволил себе расстегнуть форменный сюртук с погончиками и снять белую фуражку, мокрую внутри. Но при въезде в село обер-лейтенант снова натянул перчатки, а чиновник министерства земледелия застегнулся и надел фуражку.

Часовой в глубокой каске, ходивший под деревом, на котором, уронив головы, висели Ремень и матрос, остановился и сделал руки по швам.

Обер-лейтенант, не переставая смотреть вперед, приложил два пальца к фуражке. Чиновник искоса взглянул на грушу и, достав из узкого кармана брюк плетенный из египетской соломы портсигар с эмалевым жучком-скарабеем вместо монограммы, решительно кинул в рот коричневую папироску Месаксуди.

Экипаж прокатил через село и въехал в экономию Клембовских, где уже был расквартирован штаб.

Во дворе дымилась кухня. Команда связи расставляла на желтых лакированных палках телефонный провод. Драгунские лошади у коновязи свистели хвостами, отмахиваясь от слепней. На открытом крыльце стоял пулемет.

Часовые вытянулись. Обер-лейтенант поднялся по ступеням и сбросил на руки вестового серый плащ. Чиновник министерства земледелия рысью следовал за комендантом, на ходу сбивая с ботинок пыль носовым платком.

Не входя в дом, обер-лейтенант отвел руку назад и щелкнул пальцами. На крыльце тотчас появились два стула. Офицер уселся,



закинул ногу за ногу и воздушным движением посадил в глаз стеклышко монокля.

Все внимание его было устремлено на большую палатку, разостланную посреди двора.

На палатке лежали две заржавленные обоймы трехлинейных винтовочных патронов русского образца, казачья шашка без ножен с кожаным темляком, старинная берданка и дробовик, из числа тех, которые сторожа на баштанах заряжают против хлопчиков солью.

Время от времени во двор входил кто-нибудь из сельчан – мужик или баба – и, пугливо озираясь, присоединял к этой коллекции и свой дар – ручную гранату или штык.

Старик Ивасенко пришел одним из первых. Ему и принадлежала упомянутая уже берданка – свидетельница турецкого похода Ивасенки.

Теперь старик стоял, опираясь на дрючок, в толпе сельчан перед крыльцом и пространно рассказывал, как он видел утром Ткаченка, который показывал немецким драгунам хату Ременюков, где в то время находился матрос Царев. Но рассказывал он, по своему обыкновению, так подробно и неинтересно, что его никто не слушал.

Обер-лейтенант посмотрел на часы. Было половина первого. По приказу, объявленному утром, все оружие, имевшееся на руках у населения, должно было быть сдано до часа дня. После этого срока каждый, у кого оно будет обнаружено, предавался военно-полевому суду и подлежал расстрелу.

В числе прочих пришел и Семен – положить свое оружие. Он пришел в чистой рубахе с расстегнутым воротом. Лицо его было белое, как та рубаха. В неподвижных глазах стояло и не кончалось видение страшного дерева, на котором висели его сваты.

Как только весть о казни дошла до него, он тотчас закопал в кузне свой револьвер системы наган солдатского образца, патроны к нему, пару ручных гранат-лимонок, а также драгунскую винтовку – все это аккуратно смазанное салом и завернутое в холстину. Бебут Семен пока что оставил в хате. Теперь, чтобы отвести от себя подозрение, он – хотя и жалко ему это было и оскорбительно, – принес на клембовский двор свой бебут и, положив его в кучу другого оружия, сказал сокрушенно:

– Це все. Больше оружия нема.

И отошел в сторону к сельчанам.

За ним Фрося с сощуренными глазами положила на палатку штык, служивший в хозяйстве колом, к которому привязывали кабанчика.

– Запишите ще мой штык. Больше ниякого оружия нема, хоть переройте всю хату! – дерзко сказала она вахмистру, который переписывал трофеи в записную книжку.

Но вахмистр не понимал по-русски.

Больше не подходил никто.

– Маловато, маловато, – жидким, но крикливым голосом сказал чиновник министерства земледелия. – Эть, народ! Натаскали с фронта полное село оружия, а сдают всякую дрянь. Не понимают, чудаки, что такое военно-полевой суд, а?

И он замурлыкал под нос романс, по-видимому имевший для него какое-то важное значение:

На пляже за старенькой будкой  
Люлю с обезьянкой Шаритт  
Меня называет Минуткой  
И мне постоянно твердит:  
«Ну постой, да ну погоди, моя Минуточка,  
Ну погоди, мой мальчик пай...»

В это время во двор вошли Ткаченко и его новый работник.

Ткаченко был в погонах, в фуражке с кокардой и при всех своих четырех «Георгиях», лежавших оранжевой полосой поперек груди. Под мышкой он держал узкую конторскую книгу.

Если бы работник шел позади, как и полагается работнику идти позади своего хозяина, то, может быть, работника не сразу бы и заметили. Но работник шел впереди Ткаченко, и бывший фельдфебель следовал за ним почтительно, как за командиром батареи.

Работник был чисто обрит, причесан и вместо обычных валенок на ногах имел хромовые вытяжные сапоги с маленькими шпорами. Он нес перед собой на вытянутых руках офицерскую шашку с золотым эфесом и георгиевским темляком.

Он подошел к крыльцу и протянул коменданту золотое оружие.

При виде этого странного крестьянина в рваном кожухе обер-лейтенант откинулся на спинку стула и удивленно произнес:

– О?

– Вы позволите мне говорить с вами по-французски? – сказал по-французски работник.

– Натюрельман, – ответил комендант, вставая.

– Я – штаб-ротмистр бывшей русской армии Клембовский, сын покойного генерала Клембовского и владелец этого поместья. Было бы слишком скучно объяснять вам сейчас историю этого маскарада. Теперь же позвольте мне, исполняя ваш приказ, вручить вам мое оружие.

И штаб-ротмистр Клембовский наклонился одной головой – узкой, с выдающимся затылком.

Обер-лейтенант почтительно взял шашку, подержал ее некоторое время перед моноклем и затем широким движением вернул обратно.

– О нет! Я прочитал здесь надпись: «За храбрость». Такое оружие не берут голыми руками. Оставьте его у себя. Немецкая армия умеет ценить благородного противника. Но извините меня за то, что я без позволения занял ваш дом.

– Я предлагаю его до тех пор, пока он будет вам нужен.

Обер-лейтенант, чиновник министерства земледелия и Клембовский вошли в дом. Входя, Клембовский три раза перекрестился.

За ними закрылась дверь, но тотчас открылась опять, и Клембовский крикнул:

– Эй! Ткаченко! Никанор Васильевич! Зайдите, голубчик, к нам.

Фельдфебель крепко заправил гимнастерку под пояс и прижал локтем книгу. Решительно потупившись, он прошел среди подавшихся на две стороны сельчан и скрылся в доме. Через десять минут чиновник министерства земледелия вывел Ткаченко на крыльцо.

– Вот что, братцы, – сказал чиновник министерства земледелия, – у всех законов имеется свой обычный первоначальный смысл, и ни в одной стране мира грабеж не может быть узаконен. Власти, издавшие закон на право грабежа, отступив от общего смысла мировых законов, сами по себе беззаконны. Дурак тот, кто мечтает получить что-либо даром, будь то земля, или скот, или сельскохозяйственный инвентарь,

или что-нибудь другое. Земли бесплатно вы не получите: это так же верно, как то, что два и два четыре, а не пять. А теперь, вот вам будет новый староста. Нравится? Действуй, Ткаченко. До свиданья.

Оставшись на крыльце один, с глазу на глаз с сельчанами, Ткаченко задумчиво прошелся туда и обратно, как в былое время прохаживался он перед выстроенной батареей, затем отставил ногу, заложил руку за пояс и сказал такие слова:

– Вот что, друзья. Не скажу – товарищи, бо этого дурацкого слова у нас уже больше нема, а я его и раньше никогда, слава богу, не знал и знать не хотел. Так вот что, друзья односельчане. Безобразие кончилось. Хотите вы того или не хотите, а оно таки так. Различные непрошенные сваты, – вы сами знаете, где они сейчас находятся. Они находятся высоко. А если кто-нибудь из вас не видел, то еще имеет время посмотреть, потому что они так высоко будут находиться три дня, согласно приказу немецкого коменданта. И это сделано только для того, чтобы люди видели и выбросили у себя из головы всевозможные тому подобные глупости. Слава богу, теперь до нас вернулся обратно его высокоблагородие ротмистр Клембовский, так что без законного хозяина мы не останемся. Теперь. Многие из вас, друзья, воспользовались, благодаря случаю, кто чем успел, из чужого имущества, принадлежащего экономии Клембовского. Так это все, безусловно, надо вернуть, чтобы опять не вышло каких-нибудь происшествий еще хуже, чем были сегодня утром. А кто, может быть, тое имущество – коров там, или лошадей, или овец – не уберег, то те пускай приготовят гроши по установленной цене. Землю же клембовскую, нахально захваченную и засеянную, обязаны по закону до осени обрабатывать и снимать урожай, который пойдет полностью законному хозяину земли, Клембовскому, а люди получают только гроши за работу, как батраки. Так что приготовьтесь к этому. Что же касается оружия, то скажу, что сдаете вы его плохо. И предупреждаю. Но это пускай с вами имеет дело военная власть наших теперь союзников и друзей – германцев, пришедших к нам на помощь против всяких безобразий. Вы это себе подумайте. Сегодня я вам больше ничего не скажу. А завтра созывается сход на одиннадцать часов утра. Будет с вами опять разговаривать чиновник с министерства земледелия. Быть всем. И выбросьте из головы. Понятно?

Ткаченко прошелся несколько раз туда и назад, не глядя на народ.

– Разойтись! – сказал он, наконец.  
Сельчане разошлись, поглядывая на небо.

## Глава XXV

### Четыре чарки

Иссиня-черная, пороховая туча заходила с края, поднимаясь над прошлогодними скирдами и неподвижными акациями села.

В этот день большая честь выпала дому Ткаченок. Проголодавшееся начальство не погнушалось отобедать у нового старосты.

Никогда еще хата фельдфебеля не видала у себя таких именитых гостей. Господин обер-лейтенант фон Вирхов, его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский, чиновник министерства земледелия Соловьев попробовали в этот день молочного супа, вареников со сметаной и жареной свинины подпрапорщика Ткаченки. Красавица Софья, бледная как смерть и оттого еще более прекрасная, подавала гостям блюда, не смея поднять слипшиеся ресницы.

Отец приказал ей для такого случая надеть лучшую юбку и лучшую кофту и лучшие свои монисты повесить на шею. Он осмотрел ее с ног до головы и, осмотрев, сказал:

– Одно: не выкинешь из головы – убью; ступишь за порог – убью; скажешь лишнее слово – убью.

Туча закрыла солнце. Ветер побежал и дунул жарким запахом конопли.

Лучшего девяностосемиградусного спирта, в меру разбавленного кипяченой водой, поставил на стол Ткаченко. Три чарки выпили гости. Первую чарку поднимал его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский.

– Пью эту чарку, – сказал он, – за спасителя моего, Никанора Васильевича Ткаченко, верного моего слугу и друга; а также пью я за то, чтобы вперед господ помещики знали, как надо владеть и править своей землей, не чурались бы деревенской жизни, водили хлеб-соль с богатыми и преданными людьми и жен себе брали из наикращих сельчанок, не стесняясь их крестьянством; потому что за землю надо держаться не одной рукой, а двумя, а то не удержишь.

При этих словах его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский как бы вскользь окинул взглядом застывшую у дверей

Софью и одним духом выпил свою чарку.

Вторую чарку поднимал чиновник министерства земледелия господин Соловьев.

– Эту чарку, господа, я предлагаю выпить за любовь.

И гости выпили по второй чарке.

Третью чарку пил обер-лейтенант фон Вирхов.

– За Индию! – сказал он по-французски и, заметив, что от него ждут продолжения, продолжил: – Да, господа. Здесь, в этой далекой украинской деревне, за этим грубым крестьянским столом, я пью за Индию.

Его глаза налились прозрачной голубой пустотой. Они были устремлены вдаль.

– Мы даем вам успокоение. Вы даете нам хлеб и открываете безопасный путь на Индию. Англия задушила нас на Западе. Но путь на Восток идет не только через Стамбул – Багдад. Он также идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь. Оттуда германские корабли идут на Батум, Трапезунд. Я вижу Месопотамию. Аравийский ветер дует в лицо германских солдат! И – Индия! Индия! Мы вырвем у Англии сердце. За Индию!

Четвертую чарку поднял хозяин.

– Покорнейше вами благодарный, что не отказались от моего посильного угощения. Пью эту чарку за то, чтобы оправдать ваше доверие и справиться с народом.

В хате стало темно. Мимо окон пронеслась вырванная из акации ветка, до последнего листка освещенная на лету небывалой молнией. Гром взорвался, как бомба, попавшая в зарядный ящик, и посыпался на железную крышу.

Гости выпили четвертую чарку.

Ливень плющился о стекла.

Дымные водопады ливня один за другим пробегали по селу. Хаты стали тотчас с одного бока черно-лиловые. Улица вздулась, как река. По серой воде среди пузырей и сметья буря гнала в ставок убитую грозой ворону.

Небо, со всех сторон подоженное молниями, ежеминутно рушилось на потрясенную землю.

Тем часом по селу, закинув вверх слепое, но оживленное безумьем лицо, шла против ветра мокрая до ниточки Любка Ременюк.

Она шла не спеша, в длинной праздничной юбке, в сорочке с расшитыми рукавами, вся в монистах и лентах. Буря вырывала их из слипшихся волос, черных, как деготь.

На каждом шагу она останавливалась и простирала к хатам руки, о которые вдребезги разбивался ливень.

Она пела страстным голосом нечеловеческой высоты и однообразия:

Ой, рано, раненько!  
За городом дуб да береза,  
А в городе червонная рожка.  
Там Любочка да рожу щипае.  
Пришла до ей матюнка:  
«Покинь, доню, да рожу щипаты,  
Хочу тебе за Василька отдаты».  
«Я Василька сама полюбыла,  
Куда пошла, перстень покотыла,  
А где стала – другой положила...»

И она продолжала брести, шатаясь и расталкивая коленями сильную воду.

Гроза гремела за полночь, то уходя из села, то вновь в него возвращаясь.



## Глава XXVI

### Повстанцы

Поздней ночью в хату Котко постучали. Семен бросился к окну. При судороге отдаленной молнии он узнал платок Софьи. Он торопливо отчинил дверь. Она вбежала и обхватила его трясущимися руками. С ее волос на его рубаху текла вода.

– Семен, бежи!

– Что? Батька?

– Батька.

– Лютует?

– Хуже собаки. Ой, меня больше ноги не держат.

– Сядь.

– Бежи, за-ради бога!

– Пей воду.

– Бежи, я тебе говорю...

Семен нашарил похолодевшей рукой на загнетке коробку серников. Она зашуршала.

– Стой. Не зажигай света. Может, с улицы смотрят.

Фрося и мать неслышно метались по хате, закладывая окна.

– Теперь свети, – прошептала Фрося, дрожа всем телом.

Маленькое беспокойное пламя каганца осветило хату с окнами, заложеными красными подушками.

Софья сидела на скамейке под печкой, быстро крутя на груди стиснутые руки, и облизывала губы. Ее глаза блестели сухо и дико на бледном лице, заляпанном грязью.

– Бежи, Семен, – говорила она скоро и монотонно, как в беспамятстве. – Бежи сегодня, бо завтра уже будет поздно. Бежи, пока ночь. За-ради святого господа Исуса Христа, запрягай лошадей. Той старый черт, той проклятый сатана батька доказал на тебя немецкому коменданту. Он бумагу на тебя подавал, и немецкий комендант сказал: гут.

– Так, – сказал Семен, глядя в землю, и губы его горько тронулись. – Так. Выходит дело, что должен я темною ночью запрягать в подводу коней и выезжать потихоньку, как тот вор, со

своего же собственного двора. Было у меня родное семейство: мама-вдова, сестричка-сиротка и дивчина, с которой мы по нерушимой любви заручались. Была у меня какая ни есть хата, и хозяйство, и земля, моими руками поднятая и потом моим политая. А теперь, выходит дело, налетели на нас откуда ни возьмись те злыдни, стали поперек крестьянской жизни и выжидают меня от моего счастья к чертовой матери, куда глаза смотрят, в ту темную ночь кочевать по степу, все равно как бродягу-цыгана или того серба с обезьяной. И должен я, не дожидаясь солнца, тикать из села, все на свете покинув – и мать родную, и сестричку-сиротку, и землю посеянную, и дивчину зарученную, и сватов своих, без погребенья повешенных на добычу воронам. – Тут Семен вспомнил свою батарею, командира Самсонова, прощальные его слова – и заплакал с досады.

Насухо вытер он концом бязевой солдатской рубахи слезы, выпил полную кружку воды и, стиснув мелкие зубы, заиграл скулами.

– Так нет же, злыдни, не дожидаетесь вы такого позора! Идите, мамо, на двор, положите в повозку сала и хлеба и потихонечку выведите из сарайчика клембовскую Машку. А ты, Фросичка, надень на ноги чеботы и раз-раз бежи до Ивасенков. Скажешь своему черту Миколу, чтобы он той же секундой потихонечку завел до нас во двор своего Гусака. Я его думаю запрягать вместе с Машкой. Бо все равно того Гусака завтра заберут обратно в экономию.

Фроська проворно сунула ноги в громадные чеботы, но бежать ей не пришлось.

Дверь, которую забыли заложить палкой, приоткрылась, и в хату заглянула лохматая голова самого Миколы. Он увидел, что в хате не спят, но не удивился. Вряд ли в какой-нибудь хате люди ложились спать в эту проклятую ночь.

– Извините, что заскочил в такое неподходящее время. Я до вас, дядя Семен...

С того дня, как Микола стал гулять с Фросей, он проникся к Семену страхом и уважением. Он не называл его иначе, как «дядя».

Микола был одет как для дальней дороги, и его молодое, еще ни разу не бритое, почти детское лицо было полно суровой решимости.

– Я вам, дядя Семен, давал своего Гусака, когда вы ездили в Балту. Теперь позычьте мне вашу Машку. Я ее думаю запрягать вместе с Гусаком.

– А я только что до тебя Фроську посылал с тем же самым.

Семен внимательно посмотрел на хлопца.

– Собираешься куда-то ехать?

– Собираюсь.

– Посреди ночи?

– Эге ж.

– Куда?

– Куда бы ни было. И еще, дядя Семен, низко вам кланяюсь и не откажите. Видел я у вас добрый револьвер, наган с патронами...

– А ну, выйдем на одну минуту из хаты, – сказал Семен, не дав Миколу договорить.

Они вышли, а не больше как через полчаса за кузней стояла подвода Семена, запряженная Машкой и Гусаком. Семен выносил из кузни и клал в подводу выкопанное оружие и шанцевый инструмент. Микола закладывал их соломой.

Софья кинулась к Семену на грудь.

– Не кидай меня тут. Забери с собою!

– Ни, Соню. За это и не мечтай. То не ваше женское дело, а наше – солдатское. Дождись меня, не журишь. Даст бог, скоро побачимся. Ще недолго тем злыдням хозяйновать на нашей земле. С тем до свиданья.

Они обнялись и долго целовали друг другу мокрые от слез руки, как и в тот счастливый час их змовин.

Затем Семен низко поклонился матери, и мать низко поклонилась ему. А Фросе достался добрый братский тумак по спине.

Семен и Микола уселись в солому. Подвода тронулась. Но едва она обогнула кузню, как Фрося, легче ветра полетела за ней и вскочила на ступицу.

– Так-таки мне ничего напоследок не скажешь? – шепнула она Миколу.

– Скажу то же самое: дождись и не журишь. Скоро побачимся.

– Куда ж вы, скаженные, едете?

– Будем живые – услышишь.

Микола ударил по коням, и подвода пропала в непроглядной темноте.

– Ну, кавалер, у тебя еще душа в теле или уже вышла наружу? – вполголоса спросил Семен своего будущего шурина, когда подвода

выехала на площадь против церкви.

Ни одной звезды не виднелось на небе. Но дождя уже не было. Старая груша еле выделялась из темноты.

– А я не чую, что такое за душа, – пробормотал шурина, вдруг осаживая лошадей. – Я еще не воевал.

– Хальт! – раздался вдруг рядом с подводой повелительный возглас немецкого часового.

И в тот же миг страшный удар прикладом обрушился на его голову в шлеме. Оглушенный часовой свалился без звука. Семен с драгунской винтовочкой в руках и Микола с солдатским наганом выскочили из подводы, наклонились над телом. Семен успел перехватить руку шурина.

– Не стреляй, дурень. Тихо. Без паники.

Микола сорвал с головы часового шлем и несколько раз подряд изо всех сил ударил по ней рукояткой револьвера. Потом он неслышно взобрался на дерево и перерезал складным ножом веревки. Два несгибающихся тела тяжело, но мягко свалились на мокрую травку.

Шурья уложили их на подводу, заложили соломой, а сверху поспешно кинули труп часового и погнали лошадей. Возле ставка они остановились и, раскачав немца, зашвырнули его в воду подальше от берега.

Осторожно выбравшись из села, они своротили с дороги в жито, сделали по степу несколько громадных кругов, чтоб сбить со следа, и, наконец, подались в гущу уезда, что есть мочи погоняя коней.

На рассвете, проехав верст восемнадцать, если не все двадцать, они достигли узкой и глубокой балки и спустились в нее. Место было глухое. Отсюда, продвигаясь по дну балки, можно было незаметно добраться до одного, не многим известного лесочка.

Стало развидняться. Солнце поднималось среди туч уходящей грозы. На колеса медленно наворачивались толстые шины грязи с прилипшими к ней степными цветами.

Микола сидел, опустив голову и закрыв лицо руками.

– Боже ж мий, боже, – шептали его побелевшие губы, – прости мене кровь, пролитую моими же собственными руками.

– Вот и сразу заметно, что ты еще настоящей войны не чул, – строго сказал Семен. – Бога не проси, бо он тебе все равно не уважит.

Даже разговаривать с тобой, с дурнем, не схочет. А люди тебе простят. Еще спасибо скажут.

Желтое солнце мутно сияло в узеньких серебристых, как бы суконных листиках дикой маслины, на которой качалась сонная горлинка.

За полдень они въехали в лесочек, и в ту же минуту из орешника выскочило человек пять с поднятыми ручными гранатами и винтовками наперевес.

– Стой! Кто такие?

– Сельчане.

– Це нам подходит. Куда едете?

– Туда, где злыдней нема.

– Ще больше подходит. Значит, до нас. Оружие е?

– Револьвер-наган солдатского образца, драгунская трехлинейная винтовка, две ручные гранаты-лимонки и четыре немецких ружья – бис его знае, сколько они линейные.

Семен говорил чистую правду. Немецких винтовок было действительно четыре. Одна доставшаяся от часового, а три остальные – как раз те самые, что пропали у немецкого патруля на змовинах матроса Царева и Любки Ременюк. Их тогда потянул и сховал в соломе не кто иной, как Микола.

– Це добре. Патроны до немецких винтовок тоже е?

– Патронов до немецких винтовок нема. Не сообразили разжиться.

– От, ей-богу, люди! И таскают, и таскают, и таскают теи немецкие винтовки, а чтобы кто-нибудь за патроны побеспокоился, то того нема. Продовольствие е?

– Сало е, хлеб.

– Це у нас у самих до чертовой матери. А случаем пулемета якого-нибудь нема?

– Пулемета нема.

– От, ей-богу, люди! Все равно как маленькие дети! А ще что лежит в подводе?

Семен и Микола отгорнули солому. Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки. Кое-кто перекрестился.

– Наша Советская власть, – потупившись, сказал Семен. – Оба мои сваты. Оба меня заручали, и оба меня змовляли. А на свадьбе

гулять так и не пришлось. Ни им обоим не пришлось, ни мне. Налетели откуда ни возьмись теи злыдни и порушили всю нашу крестьянскую жизнь.

А подводу уже окружало не пять, а по крайности человек сорок беглых селян, собравшихся сюда из разных волостей и сел, в которых хозяйничали гайдамаки и немцы, для того чтобы с оружием в руках встать за свою долю.

В молчании, поскидав шапки, фуражки и шлемы, проводили они подводу в глубину леса, где были разбиты землянки и в казанах варился кулеш, и тут на поляне, под молодым дубом, схоронили матроса Царева и председателя сельского Совета Ременюка, а на дубе вырезали их имена, крест и прибили матросскую шапку.

## Глава XXVII

### Под красные знамена

Лето кончалось. Шел последний летний месяц – август.

«Товарищи! – говорилось в воззвании съезда революционных комитетов и штабов Киевской губернии к рабочим и крестьянам Украины в середине августа. – Пять месяцев тому назад Украинская Центральная рада, состоявшая из правых эсеров и меньшевиков, поддерживавших помещиков и капиталистов Украины, позвала немецкие штыки и с их помощью уничтожила Советскую власть. Уже пять месяцев господствуют они на Украине, и все пять месяцев их господства льется рабоче-крестьянская кровь во имя торжества капитала. За это время ими вырваны у трудового народа и растоптаны каблуком Гинденбурга все революционные завоевания Советской власти.

Земля отнята у крестьян и снова возвращена помещикам. Мало того: в каждую деревню были посланы гайдамацко-немецкие карательные отряды, и обнаглевшие помещики с их помощью отбирают у крестьян последний хлеб и последнюю копейку. Они сторицей вернули себе то, что отнято у них было Советской властью в дни господства трудового народа.

Их жадность ненасытна, и ненасытна их месть».

...От Ростова до Троянова вала и от Курска до Джанкоя и дальше, вплоть до самого Черного моря; по-над батькою Днепром, по-над тихим его братом Доном и по-над быстрым его братом Днестром; среди шведских могил и скифских курганов; вокруг мазанных мелом хат, примостившихся в тени пирамидальных тополей и акаций; вокруг одиноких степных ветряков; вдоль некошенных балок, где за полдень, как в люльке, спит лиловая тень тяжелого облачка, – словом, по всей богатой, обширной и красивой Украине в свой срок заколосились хлеба, зацвели, побелели на зное, склонились, и скоро украинские поля из края в край устались соломенными ульями копиц, и вся Украина, как необозримая пасека, заблестела под убывающим солнцем.

Но не радовались люди в этот страшный год красоте и обилию своей земли. Сеяли свободными, а убирать урожай довелось рабами...

«Теперь для всех трудящихся Украины стало ясно, что они потеряли с Советской властью», – говорилось дальше в том же воззвании.

«И сердце рабочих и крестьян снова горит желанием бороться за Советскую власть, штурмом взять себе прежнюю крепость революции.

Не сегодня-завтра немцы увезут весь хлеб с крестьянских полей.

Хлеб останется только у богатых. Рабочие и бедные крестьяне хлебобродной Украины будут умирать с голоду, а помещики будут считать марки и кроны за крестьянский хлеб. Всем должно быть ясно, что если еще хоть неделю похозяйничают немцы и помещики со Скоропадским во главе, то нам неминуемо грозит голодная смерть!

Теперь или никогда!

Через неделю будет поздно. Мы должны немедленно поднять массовое восстание, вступить в бой с врагами трудового народа. Кроме цепей, нам терять нечего. Или мы, как рабы, как скот, будем умирать голодные, умирать под ликование мировой буржуазии, или, на радость мировому пролетариату, мы сбросим наших угнетателей и завоюем царство труда и свободы – Советскую власть. В этот момент уже началось восстание по селам и деревням».

Бил народ панских сынков гетмана Скоропадского под Коростенем. Богунцы под Киевом и Щорс вместе с батькой Боженко на Черниговщине наводили ужас на гайдамаков и немцев, захотевших попробовать украинского хлеба и меда. На север от Могилева-Подольского, в области Куковки и Немирца, восстало две тысячи селян. Той же ночью под Проскуровом под откос свалился поезд.

Луганский слесарь Клим Ворошилов, бившийся с врагами весной под Змиевом, теперь собрал вокруг себя целую армию и с боем пробивался к Царицыну.

И где только ни показывались над степью его выжженные солнцем и пулями порванные знамена, всюду навстречу им выходили рабочие и селяне.

Выходили из-под земли и шли навстречу по рельсам отвыкшие от белого света шахтеры. Шли, таща за собой пулеметы и ведя крестьянских коней, одичавшие в лесах, до самых глаз заросшие и



пять месяцев не выдавшие бани партизаны. Шли целыми взводами беглые солдаты ненавистной гетманской армии. Шли с Кубани и Дона казаки, вставшие за свою долю.

Шли и становились под те славные знамена и нашивали поперек шапок червонные ленты.

## Глава XXVIII

### Венчанье

*Копав, копав криниченьку  
Неділеньку, дві.  
Кохав, кохав дівчиноньку  
Людам – не собі.*

#### *Украинская песня*

В том лесочке, где под молодым дубом схоронили матроса Царева и председателя сельского Совета Ременюка, теперь уже пряталось не сорок человек, а жило, самое малое, человек полтора, если не считать двух отчаянных баб, не захотевших далеко отпустить от себя своих чоловиков и основавшихся тут же, вместе с детьми и овцами.

Это уже была не маленькая шайка беглых, но хорошо вооруженный повстанческий отряд с собственным штабом, походной кухней, пулеметной командой, конницей и артиллерией.

Артиллерию представляла горная пушка, которую наш богатый партизанский отряд выменял у пробиравшегося мимо лесочка другого, бедного партизанского отряда на два ручных пулемета, четыре немецкие винтовки, австрийскую палатку и шесть фунтов сала.

Пушка была без передка, без зарядного ящика, и к ней не имелось ни одного патрона. Но ходили слухи, что за восемнадцать верст, в селе Песчаны, у одного человека в погребе закопан целый лоток подходящих патронов, так что была надежда как-нибудь выменять и этот лоток.

Пушкой командовал Семен Котко. Он учил молодых, еще не побывавших на войне хлопцев ставить прицел и обращаться с оптическим прибором.

В лесочке, возле молодого дуба, под брезентом стояли отбитые у немцев интендантские повозки, двуколки, мешки с мукой и сахаром, ящики табака, бочки керосина. Если бы не пулеметы, расставленные

на опушке, и не кони под военными седлами, привязанные к деревьям, то легко можно было подумать, что это раскинул свою лавочку странствующий бакалейщик.

Теперь лесочек, как полагается по всем правилам позиционной войны, соединялся с балкой глубоким и со стороны незаметным ходом сообщения. На дереве с рогатой трубой день и ночь сидел наблюдатель. У входа в землянку, с надписью на фанерном листе химическим карандашом «Штаб отряду», стоял на коленях Микола Ивасенко в солдатской фуражке козырьком на ухо и плачевным голосом кричал в полевой телефон Эриксона:

– Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Наблюдательный! Та наблюдательный же, ну тебя, на самом деле, к бису.

Но наблюдательный не отвечал.

Микола обругал «той проклятой эриксон, чтоб ему на том свете так разговаривать», и пошел проверять линию.

В тот день штаб отряда с нетерпением ожидал конного разведчика, тайно посланного для связи с подпольным губернским ревкомом. Уже давно отряд был готов к выступлению. Не хватало только артиллерии и точной боевой задачи. Но еще на прошлой неделе губернский ревком сообщил, что на соединение с отрядом идет легкая батарея Красной Армии, застрявшая на Украине и пять месяцев отсиживавшаяся от германцев и гетманцев по лесам и глухим пограничным уездам Приднестровья.

Сейчас это может показаться невероятным, но в то легендарное время, когда в иных крестьянских дворах, случалось, были спрятаны в сене, дожидаясь своего часа, четырехсполовинойдюймовые гаубицы с полным комплектом снарядов, – ничего необыкновенного в этом никто не видел.

Таким образом, за артиллерией дело не стояло. Батарея должна была приехать вот-вот. На крайний случай можно было бы ударить и так, с одними пулеметами.

Дело стояло за боевым приказом. Легко можно себе представить, с каким нетерпением весь отряд дожидался конного разведчика.

Между тем наблюдательный пункт не отзывался по довольно простой причине: наблюдатель, сидя на дереве, разговаривал с худой рыжей девчонкой лет четырнадцати, вдруг появившейся на опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густым слоем тяжелой августовской пыли. Длинные босые ноги с черными, сбитыми в кровь пальцами показывали, что она пробежала не один десяток верст. Пот бежал по черному носу и по костистым вискам. Рот, открывшийся, как у рыбы, дышал тяжело. Зеленые глаза на воспаленном лице казались почти белыми.

Если бы не аккуратная ситцевая лента в рыжей косе, не круглый железный гребешок в волосах надо лбом, ее можно было бы признать за деревенскую побирешку.

– Стой! – закричал наблюдатель.

– Стою, – ответила девочка.

– Подойди к дереву.

– Уже подошла.

– Ты что в нашем лесочке делаешь?

– Брата своего шукаю.

– Та у тебя повылазило, чи шо? Какой может быть брат, когда тут позиция! Вертай назад, откуда пришла.

– А тут кака позиция? Гайдамацкая чи селянская?

– Селянская.

– Мне селянскую позицию и треба.

– Фрося?! – произнес вдруг Микола, как раз вышедший в это время к наблюдательному пункту. – Накажи меня бог, Фроська... – И он, повернувшись лицом к лесочку, закричал: – Гей, Семен! Бросай орудю, – до нас Фросичка прийшла!

С этими словами он отвел девочку на бивак. Она еле шла, при каждом шажке покусывая губы.

Едва Семен увидел сестру, как предчувствие несчастья охватило его.

– Здравствуй, Фрося. Что там у вас случилось? Какое происшествие? – сказал Семен, всматриваясь в ее лицо.

– Все, слава богу, пока благополучно, – ответила Фрося, озираясь по сторонам блуждающими глазами. – У вас тут нигде нема водички напиться?

Она крепко зажмурилась, как бы перемогаясь, оскалила стиснутые зубы, но не перемоглась, и вдруг рыданья вырвались и потрясли ее с ног до головы.

– Ой, люди! Нема больше сил терпеть, что теи проклятущие злыдни над нами роблят. Позабирали все чисто, куска хлеба нигде не оставили. Люди в степь идут – панский хлеб убирать, – так не могут идти, от голода падают на землю. А гайдамаки их прикладами поднимают и гонют, та еще насмежаются. Люди все с себя поскидали и последнюю вещь из хаты на базар отнесли, чтобы гроши собрать на уплату Клембовскому. А у кого грошей нема заплатить, тех не пожалели никого – ни старого старика, ни маленького хлопчика, ни женщину с грудным дитём. Всех чисто загнали на двор в экономию Клембовского, поодиночке вызывали в сарай и тама клали на мешок с овсом, пороли. Два человека держали за руки, два – за ноги, один – за голову, а один бил до тех пор, пока человек уже не уставал кричать. Бил кого батогом, а кого шомполом. Ой, Семен, брате мий родный! Все чисто у нас позабирали. Ничего не оставили. И за лошадь ще триста карбованцев наложили заплатить, а как у нас грошей не было, то и нас с мамой тоже таскали в тот сарай и били батогами, пока мы не устанем кричать. Меня еще, слава богу, били недолго – бо я скоро устала кричать и сомлела. А маму, как она кричать не схотела, то били ее долго и над нею насмехались гайдамаки. Совсем ее покалечили, так, что она уже больше работать не может. И она тепер с торбою ходит по волости по всех дорогах, просит у людей, кто что подаст. И ей никто не подает, потому что самим нечего кушать. А Софью Ткаченко ее батька выдает за самого помещика Клембовского.

Помутилось в глазах у Семена.

– Стой! Сама Софья схотела?

– Ни. Ее батька насильно заставляет. Он ее в погреб посадил и держит вторую неделю. Запрошлую ночь я потихоньку до Ткаченок во двор порелезла – с Сонькой через замок разговаривала. И она через замок сильно плакала и мне сказала: «Ради бога, сказала, бежи, Фросичка, до Семена, найди его где хочишь и передай, что злыдни нас разлучают. Передай ему, что, может, он за меня уже и думать перестал, но я за него ночей не сплю и все думаю и надеюсь на него одного, что он меня отобьет. И еще передай ему – пускай торопится».

– Когда свадьба?

– Зараз. Сегодня вечером в нашей церкви будут венчаться.

– Ще мы это побачим! – закричал Семен и было поворотился, чтоб бежать до командира, но тут же увидел его самого вместе с

штабом и всех бойцов, в молчании стоявших вокруг. – Товарищ командир и товарищи бойцы, слухали вы все это?

– Слухали.

– А когда слухали, то чего ж вы доси стоите и не садитесь по коням? Товарищ командир, Зиновий Петрович, подымай отряд!

– Ни, Семен. Без приказа губревкома и без артиллерии поднять отряд не имею права. Бо этот отряд принадлежит не нам с тобой, а принадлежит он всему трудовому народу и в первую очередь Советской власти. Такая есть воинская дисциплина. Ты это, Котко, как старый солдат, должен добре сам понимать.

– Значит, выходит дело, что через тую воинскую дисциплину пропадает моя доля?

– Ни, Семен. За свою долю бейся сам. Забирай любую бричку с нашего парка, запрягай пару каких завгодно коней, хоть самых наилучших, ставь пулемет с патронами. И с богом. Я против этого ничего тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего куреня, как уже из лесочка вылетела наилучшая поповская бричка на паре наилучших трофейных коней.

Микола и Фроська сидели на козлах. Семен, припав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденье. Скамеечка против него пока что была пустая и в любой момент могла принять четвертого пассажира.

А солнце уже перешло за полдень. Степной ветер свистел в ушах. И навстречу наилучшим трофейным коням Семена, высоко над жнивьем, распутив гривы и надув белоснежные груди, летели в пустынном небе кочевые табуны облаков.

Солнце совсем наклонилось. Вот оно скользнуло по далеким курганам и кануло за край степи.

Суслик в последний раз выпянул из своей норки и нежно посвистел.

– Микола, погоняй, не жалея! Давай им хорошего кнута!

– Я не жалею!

Пена срывалась с лошадиных морд, улетала вверх и садилась в степи на бессмертники.

Красная звезда Марс показалась в небе.

Тем же ходом, как выскочила за полдень из лесочка, влетела бричка в темное село. Одна церковь посреди него горела золотыми

кострами окон. Народ на паперти ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил из брички с лимонкой в каждой руке.

– Повенчали?

– Ще ни. Только что жениха встретили.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел Софью. Убранная монистами и лентами, с головою, покрытой серпянкой, она стояла перед аналоем рядом с Клембовским. Жених был в алом ментике с доломаном и с украшенной вензелями лядункой у лакированного голенища.

Положив перед собой лазурную руку на саблю, а другою рукой прижимая к груди боевую гусарскую фуражку, Клембовский выставил колено и чуть наклонил узкую голову, над которой чья-то рука в белой перчатке держала венец.

Трескучий жар множества свечей непривычным заревом наполнял бедную деревенскую церковь. Даже всевидящее око в треугольнике желтых лучей и бог Саваоф посреди звездного неба, грубо написанного синькой в куполе церкви, – были ясно видны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все остальное слилось для него в одно безотчетное впечатление печального праздника.

– Сонька, бежи до мене! – закричал Семен, поднимая над головой гранату.

Софья как будто только этого голоса и дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув, она проворно обернулась и, расталкивая людей, бросилась навстречу Семену. Она подбежала и схватила его за рукав.

– Подожди. Не чипляйся, – с досадой пробормотал он. – Бежи зараз на улицу в нашу бричку.

Один миг – и девушка уже была на улице. Но общее оцепенение прошло. К Семену кинулись. Семен увидел близко возле себя Ткаченко в полной парадной форме. Форма эта была странная. Гайдамацкая. Четыре Георгиевских креста по-прежнему лежали поперек груди. Погоны были старой армии, но только не фельдфебельские, а офицерские, золотые, с одной звездочкой.

Семен ударил Ткаченко локтем в грудь и замахнулся гранатой.

– Побережись, бо покалечу! – крикнул он.

Люди шарахнулись от него. Он выбежал на паперть и оттуда через открытые настежь двери с силой швырнул гранату назад, в

самую середину церкви.

Страшным рывком воздуха задуло свечи. Стекла выскочили из рам. Паникадило посыпалось.

А Семен уже вскакивал в бричку, где, обхватив пулемет окоченевшими руками, лежала Софья.

– Езжай!

– Езжаю!

Кони помчались.

С паперти вслед беглецам захлопали выстрелы. Пули пропели почти неслышно, заглушенные свистом ветра.

Бричка поравнялась с кузней. Дальше открывалась степь. И в тот же миг из-за кузни наперерез бричке ударил конный разъезд гайдамаков. Бричка стала. Семен не успел опомниться, как был повален на землю и скручен. Двое гайдамаков рубили шашками постромки. Трое – тащили с козел Миколу, который отбивался кнутом. Сомлевшая Софья неподвижно лежала поперек дороги, рядом белела в темноте упавшая с головы серпянка. Через пять минут все было кончено.

И никто не заметил Фроськи.

Как только разъезд гайдамаков ударил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву.

Трофейные кони, волоча обрубленные впопыхах постромки, прошли мимо нее. Она подобралась к одной из лошадей, схватилась за гриву, вскарабкалась, взмахнула локтями, ударила изо всех сил босыми пятками под брюхо и пропала в темноте.

Пленников отвели в село.



## Глава XXIX

### Суд

*Страшно впасти у кайдани.  
Умирать в неволі...*

*Шевченко*

А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встала черная туча пыли. На этот раз шла не только немецкая пехота и кавалерия, – немецкая гаубичная батарея снималась с передков в полуверсте от села на кургане.

И едва только над степью брызнули первые солнечные лучи, как в хрустальном воздухе заиграл военный рожок.

Десять гаубичных выстрелов сделали немцы по селу. Пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Котко, подняли его на воздух и срыли с лица земли, только черная яма осталась. Другие пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Ивасенко, подняли его на воздух и тоже срыли с лица земли, только черная яма осталась.

И военный рожок сыграл отбой.

А возле полудня в село на двух экипажах, окруженных драгунами, въехал немецкий суд.

На открытом крыльце клембовского дома поставили стол и четыре стула. Стол покрыли привезенным с собою синим сукном и разложили карандаши и бумаги.

На стулья сели председатель военно-полевого суда обер-лейтенант фон Вирхов, докладчик – прокурор господин Беренс и защитник – агрономический офицер лейтенант Румпель.

Четвертый стул занял переводчик, чиновник министерства земледелия гетмана Скоропадского, господин Соловьев. Правая рука его висела на черной косынке. Как шафер он находился в церкви и был оцарапан при взрыве. Вследствие этого он вынимал портсигар и закуривал левой рукой.

Два свидетеля находились тут же. Раненный в голову ротмистр Клембовский лежал, забинтованный, на походной кровати. Рядом с

ним стоял навтыяжку прапорщик Ткаченко – целый и невредимый.

Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

– Альзо, – сказал обер-лейтенант фон Вирхов и воздушным движением посадил в глаз свое стеклышко.

– Не теряя времени, – перевел Соловьев, закуривая левой рукой.

Суд продолжался четверть часа.

– Так вот какое дело, братцы, – сказал наконец Соловьев, вставая, и приблизил к глазам лист бумаги, исписанный карандашом. – Объявляется приговор. «Крестьянин Семен Котко и крестьянин Николай Ивасенко за нападение и убийство немецкого часового – раз, за незаконное хранение оружия – два и за налет на церковь во время богослужения, при котором от взрыва ручной гранаты ранены ротмистр Клембовский и чиновник министерства земледелия Соловьев, что полностью подтверждается свидетельскими показаниями, а также признанием самих подсудимых, – германским военно-полевым судом приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение публично через два часа. Председатель суда обер-лейтенант фон Вирхов». Все. До свиданья.

Обер-лейтенант махнул перчаткой. Семена и Миколу увели обратно в сарай.

– Ну, теперь я тебя могу спросить, – с трудом размыкая очерстневшие губы, сказал Микола, когда они остались одни и сели на солому, – у тебя ще душа в теле, чи ни?

– Моя душа уже с четырнадцатого года вышла наружу, – пытаюсь улыбнуться, ответил Семен.

– А моя ще держится, – прошептал Микола и вдруг положил голову на плечо Семена. – Ой, боже ж мий, боже! Разве гадал я ще на прошлой неделе, что не минует меня сегодня германская пуля! – И он заплакал про себя, как ребенок.

– Цыц, – строго сказал Семен. – Нехай люди не чуют.

Он отвалился головой к стене сарая, раскинул по соломе ноги и, поправив за спиной связанные руки, запел вызывающе громко и вместе с тем заунывно старую украинскую песню, знакомую смолоду:

Бул у ме-ене коняка,  
Бул коняка-разбийжака,

Була сабля, тай ружниця,  
Тай дивчина-чаровница...

Время двигалось странно. То оно несло с неслыханной скоростью, так, что леденело сердце, то вдруг останавливалось и повисало над головой всей своей непереносимой тяжестью. Так прошел один час, и уже второй час был на излете. Недалеко на селе проиграл военный рожок.

Загремел засов. Дверь отворилась. В гайдамацкой шапке с красным верхом вошел Ткаченко.

– Что, Котко, песни спиваешь? – сказал он, остановившись против Семена. – Торопись спивать, а то время у тебя уже мало остается.

Ничего не ответил ему на это Семен. Ткаченко прошелся перед ним туда и обратно, как перед фронтом, и снова остановился, тремя пальцами разглаживая ус.

– Не хочишь со мной разговаривать? Довольно глупо. Может быть, ты до меня что-нибудь имеешь, а я до тебя ничего не имею. Жалко мне тебя, Котко, в твой последний час.

– Пожалел волк кобылу, оставил хвост тай гриву. Не треба мне этого. Вертай назад, откуда пришел, чтоб я в свой последний час не видел твоей поганой морды.

– Опять же глупость. Дурак ты, Котко, дурак. Как был всегда дураком, так дураком и выйдешь сейчас перед пехотным взводом.

– Жалко, что руки мне теи злыдни поскручивали, – прошептал, скрипя зубами, Микола.

Но Ткаченко даже прямым взглядом его не удостоил, а лишь только покосился с усмешкой.

– И, если хочешь, Котко, я тебе могу сказать в твой последний час, – продолжал он, – в чем есть твоя деревенская дурость. Не понял ты, Котко, политики. Не сварил котелок. Залетел ты в своих думках чересчур высоко. Захотелось тебе сразу получить все счастье, какое только ни есть на земле. Очи у тебя, Котко, сильно завидующие, а руки еще сильней того загребущие. Увидел ты красивую дивчину и сразу же до нее своими лапами – цоп! И не сварил твой котелок, что, может быть, тая дивчина – богатая дочка образованного человека, твоего непосредственного начальника, и она до тебя, бедняка, не пара. Затем

увидел ты клембовскую гладкую худобу и клембовскую хорошую землю и сразу же их своими холопскими лапами – цоп! И не сварил твой котелок, что эта гладкая худоба, и эта хорошая земля, и эти новые сельскохозяйственные машины есть священная, нерушимая собственность хозяина нашего, царем и богом над нами поставленного господина Клембовского. Но и этого показалось мало завидующим твоим глазам и загребушим твоим рукам. Увидел ты дальше, Котко, власть; власть – надо всем, что только ни есть на земле, под землей, в воде и на море: понравилась тебе тая власть, и ты пошел до своих сватов, до разбойников-большевиков, в их Совет депутатов и вместе с ними подлыми своими руками тую божескую власть – цоп! И вот до чего тебя это все привело, Котко. А умные люди как поступают? Возьми меня. Я присягу свою свято исполнял. Я в думках своих чересчур высоко не залетал, а если когда и залетал, то держал это при себе. Я начальству своему уважал. Я чужую священную собственность сохранил как зеницу ока. Я муку через то от людей принимал. И я достиг. А ты не достиг. Кто теперь есть ты и кто я? Я теперь получил за верную службу от его светлости ясновельможного пана гетмана Скоропадского эти офицерские погоны. Я Соньку выдам за дворянина и сам дворянином, даст бог, сделаюсь по прошествии времени. А ты в неизвестной могиле сгинешь, как тая падаль.

– Брешешь! – закричал Семен, вскакивая. – Брешешь, шкура! Я из могилы выроюсь за свое счастье и костями буду душить вас, гадов!

Тут во второй раз проиграл на селе военный рожок.

– Мало твоего остается, Котко, мало. Может быть, и до десяти минут не хватит. Попрощаемся лучше навеки, как нам господь наш Иус Христос советует, ничего не имея друг на друга. Один раз ты меня уважил...

– Вот тогда я был главный дурак, когда уважил.

– Другой раз я тебя уважил. Третий раз опять ты меня уважил...

– И опять был дурак.

– Теперь я тебя в последний раз уважу. Закури, Котко, чтоб дома не журились.

Ткаченко вынул серебряный портсигар, достал из него папиросу и протянул ее к лицу Семена, желая вложить в рот. Но Семен резко отвел голову.

– Не треба! – крикнул Семен. – А за все твои слова, шкура, плюю в твои поганые очи.

И Котко плюнул в лицо Ткаченки.

Ткаченко отвернулся, вытерся носовым платком и ударил Семена нагайкой наотмашь поперек лица.

## Глава XXX

### Зиновий Петрович

Фрося скакала через степь, не останавливаясь.

Она изо всех сил колотила пятками лошадь, надеясь как можно скорее доскакать до отряда и выпросить помощь. Но не отъехала она от села и пятнадцати верст, как по степи показались огни.

На всем скаку трофейный конь внес ее в лагерь. Вокруг горели походные костры. Стояли пушки, не снятые с передков. Конь радостно заржал и остановился. Девочку окружили люди.

При свете костров многие лица показались Фросе знакомыми. Один отчетливо напоминал ей наблюдателя, с которым она разговаривала утром на опушке лесочка; другой был вылитый командир отряда; две бабы с детьми на руках и черные овцы со связанными ногами в повозке стояли перед глазами, как сон, приснившийся во второй раз.

Фрося сползла с лошади, пробормотала: «У вас тут нигде нема водички напиться?» – легла на землю и в тот же миг заснула.

Это был действительно тот самый повстанческий отряд. Через час после отъезда Семена прискакал наконец разведчик, привезший в шапке приказ губернского ревкома выступать. Отряд немедленно выступил и только что соединился с подоспевшей батареей.

Командир взглянул на обрубленные построения, крикнул, подхватил спящую девочку под мышки и положил на подводу с бабами и овцами. Затем кинул на свои командирские плечи бурку и поднял отряд.

Отряд двигался медленно и осторожно. На рассвете он остановился в балке, верстах в семи от села. За одну эту ночь отряд увеличился втрое. Сельчане со всех сторон выходили в степь ему навстречу с конями и оружием и надевали поперек шапок червонные ленты. Теперь в отряде уже было не меньше как пятьсот бойцов, не считая батарейцев.

Разведка, высланная вперед, побывала в селе и к полудню вернулась. Она донесла, что Семен и Микола сидят, запертые в клембовском сарае, и ждут немецкого полевого суда.

Одну сотню командир поставил на правый фланг и одну сотню – на левый. Одну сотню послал в глубокий обход и приказал появиться у злыдней с тыла. Нового командира батареи попросил быть настолько ласковым поставить свои пукалки возможно ближе и крыть по злыдням так, чтоб из них душа наружу. Себе же взял остальное, с тем чтобы со всеми бричками, пулеметами, бабами и кухнями ворваться в село с фронта.

В третий раз на селе проиграл рожок.

И вдруг с колокольни раздался набат. Кто-то с поспешным отчаянием колотил в церковный колокол.

Ткаченко прислушался.

В это время низко над сараем со свистом пронесся снаряд и в тот же миг посредине двора разорвался. Ухо артиллериста не могло ошибиться: била русская трехдюймовая пушка. Второй снаряд попал в скирду. Из нее повалил густой опаловый дымок. Протяжный вой сотни голосов долетел из села. Его прострочила короткая очередь пулемета. Третий снаряд пролетел над сараем и ударил в клембовскую крышу. Ткаченко согнулся и бросился вон.

Послышалась торопливая немецкая кавалерийская команда. Немецкий эскадрон рысью выезжал со двора.

От горящей скирды несло жаром. Семен и Микола переглянулись и осторожно вышли из сарая. Часовых не было. Двор был пуст. Набат не переставал ни на минуту.

Едва ударило первое орудие и над степью резнул первый снаряд, как с правого фланга и с левого, с тыла и с фронта, со всех четырех сторон, с воем и свистом посыпались в село партизанские сотни.

И впереди всех, сидя боком на бричке, с раздутыми усами и в железных очках, въехал в село командир Зиновий Петрович, похозяйски закутанный от пыли в бурку.

Соединенный гайдамацко-немецкий отряд отступил в панике. Комендантские экипажи насилу выскочили из села, увозя немецкий суд, а вместе с ним и ротмистра Клембовского.

А церковный колокол продолжал звонить и звонить без устали, точно в него с нечеловеческой силой и упрямством колотил внезапно сошедший с ума пономарь. Две женские фигуры метались на колокольне. Одна – высокая, костлявая старуха в лохмотьях и с торбой

на спине; другая – молодая, вся в монистах и лентах, с развевающейся за плечами серпанкой.

Это были мать Семена и Софья. Взявшись за руки, они без передышки, как заводные, раскачивали язык колокола, крича во весь голос одно и то же:

– Ратуйте, люди! Ратуйте, люди! Ратуйте!

Их силой оторвали от веревки и стащили вниз.

Первые же хлопцы, на бричке с пулеметом вскочившие в клембовский двор, развязали Семена и Миколу. Они подхватили на бричку своих пропавших товарищей, которых и не чаяли видеть живыми, и поскакали к церкви, где Зиновий Петрович тем часом уже разбил ставку и занимался своим любимым делом – принимал пленных и трофеи.

– Ну что, герой, отвоевал свою долю? – спросил Зиновий Петрович, глядя строго поверх очков на Семена.

Но ничего не успел ответить Семен своему командиру по той причине, что как раз в самую эту минуту увидел свою мать и Софью, пробивавшихся к нему сквозь толпу. Они подошли и остановились близко, рассматривая его с ужасом, как привидение.

– Ой, Семен, – бормотала Софья, крутя и выворачивая на груди руки, – ой, Семен, любый мой, целый, не убитый...

Она рванулась к нему, но Семен, покосившись на командира, строго натужил скулы и сказал:

– Та подожди ты, ради бога, Соня. Видишь – я как раз с командиром разговариваю. Стань пока рядом с мамою. Эти бабы! Через них только одна паника, и ничего больше.

В этот миг народ подался на стороны, и пять хлопцев поставили перед командиром прапорщика Ткаченко, только что захваченного в степи.

– Це что такое за диво? – сказал командир, с ног до головы оглядывая Ткаченко. – А ну, человек, поверотись трошки, покажись людям, – может, они тебя узнают и щось про тебя хорошее скажут. Чтоб мы знали, куда тебя отсюда отправлять – направо или налево.

– Свободно может не повертаться, – сказал Семен. – Мы с этой шкурой добре знакомы. Не один раз бачились. Совсем недавно, может час назад, в том смертном клембовском сарае он со мной разговаривал. Ще зарубка на морде держится.



– На твою совесть, – сказал Зиновий Петрович. – Как скажешь, так и сделаем. Направо или налево?

– Налево, – сказал Семен.

Услышал эти слова Ткаченко, упал на колени. Но хлопцы подхватили его под руки и поставили.

– Налево, – сказал Зиновий Петрович.

Ткаченко увели за церковь.

Софья закрыла глаза руками и отвернулась. За церковь ударил выстрел.

– Теперь так, – сказал Зиновий Петрович своему штабу, – война наша еще далеко не кончена, а лишь начинается. Думаю я, пока немцы не очухались, очистить село и прямым ходом рвать под станцию Кодыму, сделать им на железной дороге неприятность, чтобы до ихней Германии не доехало наше украинское жито. А ты, Семен, пока наша артиллерия меняет позицию, бежи и явись в распоряжение батарейного командира, а то он там горько плачет без хороших наводчиков. Стой. Еще не все. Два слова за твоих баб. Они могут сесть на подводу и находиться при обозе второго разряда, где у нас уже, слава тебе господи, есть тех отчаянных женщин боле, чем треба. Теперь сполняй.

## Глава XXXI

### Шел солдат с фронта...

Пушки стояли в степи за селом среди еще не вывезенных копий жита.

Командир шагал по стерне с буссолью под мышкой, разбивая фронт батареи. Это был хромой человек в черных шароварах с красным кантом и в шведской куртке с бархатными артиллерийскими петлицами. Громадная русая борода казалась привязанной к коричневому от солнца лицу с белым пятном на том месте, которое закрывал козырек. Но в степи было жарко, и командир батареи держал фуражку в руке. В его белой, наголо обритой голове отражалось солнце.

При виде трехдюймовых пушек Семен подтянулся и по старой артиллерийской привычке подскочил к батарейному чертом:

– По приказанию товарища командира соединенного партизанского отряда явился в ваше распоряжение бомбардир-наводчик Котко.

Веселое изумление мелькнуло в юношески голубых глазах командира батареи.

– Очень приятно, Семен. В таком разе принимай свое третье орудие. Ставить прицел не разучился?

– А вы кто такой будете?

– Кто такой буду, не знаю, а сейчас девки дразнятся – Самсоновым. Да ты чего на меня вылупился? Аль борода моя тебе не показалась?

– Вольноопределяющий Самсонов! – закричал Семен.

– Он самый. Борода для красоты.

– А батарея?

– Она самая. Дорогая, полевая, трехдюймовая.

– И орудия моя?

– Тут.

– Ах ты ж, боже мий! Ни за что бы на свете не подумал того! – воскликнул Семен, вытирая ладонью глаза. – Ну что ты скажешь? Шел солдат с фронта тай пришел обратно на фронт!

- Я ж тебе предлагал, чудаку, остаться. Ну чего ты поперся?
- Сеять.
- И что же, посеял?
- Посеял.
- А собирали другие?
- Другие.

– Видишь, какие дела. Ну, да ладно. А сейчас мы с тобой молотить начнем. Становись к своему орудию. Сдается мне, что вон по тому бугорку какие-то упряжечки к нам спускаются. – И Самсонов, надев быстро фуражку, закричал молодецки: – Батарея, к бою! Прицел семьдесят. Прямой наводкой. По немецкой гаубичной батарее. Гранатой! Не подкачай, Семен. Два патрона беглых!

Припал Семен – плечо к колесу – к своему орудию, и даже сердце у него захолонуло. Каждую отметинку, каждую царапинку на щите и на колесе узнавал он и считал, как мать узнает и считает каждую кровинку на теле своего ребенка.

В один миг навел Семен орудие, вогнал унитарный патрон, хлопнул затвором и взялся за шнур.

– Огонь!

Сноп красного огня выскочил из подпрыгнувшей пушки. Батарея ударила два патрона беглым. Один – и следом за ним другой. Прильнул Семен глазом к прицелу.

Шесть черных деревьев выросло из земли перед самой немецкой батареей по первому выстрелу. И шесть черных деревьев выросло из земли по-за самой немецкой батареей по второму выстрелу.

– Огонь!

И шесть черных деревьев выросло из самой немецкой батареи по третьему выстрелу. Полетели вверх обломки зарядных ящиков. Полетели колеса. Упали и забились, запутавшись в постромках, уносные лошади. Побежала прислуга.

– Молодец, Семен! Молоти еще! Домолачивай! Два патрона беглых. Огонь!

А уж с горки, наперерез откуда ни возьмись появившейся немецкой цепи, сыпалась сотня за сотней, и впереди всех, на бричке, ехал Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный в черную бурку.

И побежали немцы во второй раз за этот день. Но, как правильно сказал Зиновий Петрович, война еще была далеко не кончена, она

лишь начиналась.

Два месяца пришлось еще бить немцев и с фронта и с тыла, и с правого фланга и с левого, прежде чем они окончательно и навсегда не очистили Украину. Рассказать же об этом во всех подробностях – дело не поэта, но историка.

Мы к своему рассказу можем прибавить только то, что отряд Зиновия Петровича сначала превратился в бригаду, затем в дивизию и со славою кончил свою немецкую кампанию в конце октября, целиком вступив под знамена Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Батарея товарища Самсонова развернулась в дивизион; Семен Котко был назначен командиром одной из батарей. Он взял к себе старшим телефонистом друга своего Миколу Ивасенку. Что касается до баб, – до Софьи, Фроси и Семеновой мамы, – то бабы еще долго ездили за отрядом в обозе второго разряда. Это, конечно, не полагалось по уставу, но Зиновий Петрович сделал исключение и уважил Семену во внимание к его храбрости. В том же обозе второго разряда в середина девятнадцатого года Софья родила Семену сына. В честь товарища Ременюка, зверски замученного интервентами первого председателя сельского Совета и первого Семенова свата, того сына назвали – Трофим.

## Заключение

Прошло без малого двадцать лет. Много незваных гостей побывало за это время на Советской земле. Иные из них уже добирались до самой Москвы. Но никто не минул участи шведов и участи немцев.

Давно уже в том селе, где некогда стояла бедная хата Семена Котко, – большой и богатый колхоз, а заправляет тем колхозом Микола Ивасенко. И есть в том богатом и большом колхозе образцовая и знаменитая на весь Советский Союз свинарня, а заправляет той знаменитой свинарней супруга товарища Ивасенко – Евфросинья Федоровна, или попросту говоря – Фроська.

И лесочек невдалеке от села стоит на своем месте. Остался до сих пор в том лесочке молодой дуб, под которым лежат славные кости Трофима Ременюка и друга его, матроса Василия Царева. Их имена заросли корой, и следа не осталось от гвоздя, которым когда-то была прибита к дубу матросская шапка. Но люди эти имена знают, поминая в песнях.

И молодой дуб блестит вырезными своими листьями над тихой могилой. Мы говорим – «молодой дуб». Он как был молодым, так молодым и остался. Потому что много времени надо дубу, чтоб постареть. И что такое для дуба – двадцать лет? А слава о героях и вовсе никогда не стареет.

И вот, ежегодно, весной, едва только на Спасской башне окончат играть куранты, на Красную площадь выезжает принимать первомайский парад народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Клим Ворошилов. На изящном коне золотистой масти объезжает он войско и здоровается с частями, неподвижно застывшими, точно вырубленными из серого гранита. Потом он слезает с коня, отдает ординарцам поводья и поднимается на левое крыло мавзолея.

Оттуда, в потрясающей тишине, раздается его сильный, отчетливый и неторопливый голос:

– Я, сын трудового народа...

И молодые бойцы повторяют за ним слова присяги – неторопливо, отчетливо и сильно:

– Я, сын трудового народа...

Семен Федорович Котко и жена его Софья Никаноровна стоят на правой трибуне у мавзолея. Став на носки, они всматриваются с напряжением в шеренгу молодых бойцов Пролетарской дивизии, чтобы увидеть среди них своего сына. Они специально для этого приехали на один день из Запорожья, где Семен Федорович заворачивает заводом алюминиевого комбината. Семен Федорович мало изменился, хотя потолстел, и в клочковатых бровях его блестит седина. На нем кожаная фуражка, синее непромокаемое пальто, которое он надел, так как с утра собирался дождь. Но погода разгулялась, стало жарко, и Семен Федорович расстегнул пальто. На лацкане пиджака виднеется орден Красного Знамени, а на локте висит желтая самшитовая палка, купленная в прошлом году в Сочи. Софья Никаноровна одета так, как в Запорожье одеваются все не слишком молодые жены директоров: она в маленькой фетровой шляпке и габардиновом пальто с кроличьим воротником под котик и с манжетами того же меха. Она тоже потолстела, и в волосах ее тоже нет-нет да и блеснет седина. Возле глаз лежат добродушные сухие морщинки, но сами глаза все так же молоды, выпуклы и вишневые.

– Ой, Семен, – шепчет она скороговоркой, – честное слово, я вижу! Вон он, вон. Во второй шеренге четвертый слева. Накажи меня бог! Бачь! Еще рядом с ним один точно в таком же шлеме и точно в такой же гимнастерке, ну только совсем бледный блондин, а наш Трофим каштановый.

– Ей-богу, Соня, ты меня удивляешь. Как это можно в таком количестве бойцов увидеть одного человека? Не конфузь меня перед публикой. Смотри на парад и не открывай лучше рот. Ну и где ж, по-твоему, Трофим?

– Так вон же. Во второй шеренге, четвертый с краю.

– То не наш Трофим.

– А я тебе говорю, что то наш Трофим.

– Хорошо. Нехай будет наш Трофим, если тебе так угодно, – вежливо говорит Семен, напрягая скулы.

А по площади отрывистым, сильным вздохом катится:

– Я, сын трудового народа...

И вздох этот отдается всюду.

«Я, сын трудового народа...» – гремят зеркальные плиты мавзолея.

«Я, сын трудового народа...» – говорят седые стены Кремля. «Я, сын трудового народа...» – звенит бронза Минина и Пожарского. «Я, сын трудового народа...» – поет потрясенный воздух...

«...Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни».

– Я, сын трудового народа!..

*Сентябрь 1937 г.*

*Москва*

Грузовик прыгал по разбитой дороге. Снаряды стучали в ящиках. Мне приходилось все время напрягаться, чтобы не вылететь за борт. От встречных и попутных машин над дорогой стояла густая пыль. Мы мчались в ее душных облаках, черных в середине. Шинель, накинутая на голову, нисколько не защищала от пыли. Под шинелью было еще жарче. Пот лился из-под козырька и щекотал брови. Я видел свой почерневший нос. При каждом толчке с высохших березовых веток маскировки в глаза летели хлопья пыли.

Небо было затянуто сухими серыми тучами, тонкими и жаркими. Вокруг до горизонта стояла очень высокая и необыкновенно густая рожь, уже сильно побелевшая и казавшаяся еще белее на фоне аспидного неба. Во многих местах она была повалена и раскидана вокруг свежих воронок, покрытых внутри сизой окалиной.

Иногда в небе появлялись шестерки или девятки немецких бомбардировщиков. Тогда наш водитель – молоденький сердитый ефрейтор с медалью за Сталинград – высовывался из окна кабины по пояс и задирали лицо вверх. Со сдержанной яростью он рвал рычаг скоростей, нажимал изо всех сил на газ. Машина как будто делала прыжок и еще быстрее неслась вперед. А взрывная волна жарко била сзади, валила на пол, и взрывы один за другим зловеще вставали над рожью в стороне от дороги.

Когда машина останавливалась и водитель со злым лицом наливал из ведра в кипящий радиатор воду, на западе слышались слитные раскаты оружейной пальбы.

Был третий день нашего наступления на Орел. Я вышел из штаба танковой армии после обеда и рассчитывал на одной из попутных машин засветло добраться до передовой. Но так как армия все время находилась в движении, то маршрут мне дали самый



приблизительный, а карты у меня не было. Машин по дороге шло очень много, но подходящей для меня не попадалось. Машины забирали меня, везли километра два-три, а потом сворачивали в сторону, так что я опять оставался один на перекрестке и стоял с поднятой рукой, нетерпеливо поджидая попутную машину. Таким образом я уже переменил четыре машины, а в промежутках между ними прошел километров шесть пешком. Наконец, мне повезло. Подвернулась колонна со снарядами. Она шла именно туда, куда мне было нужно.

Между тем начинало смеркаться. Чем ближе к передовой, тем мрачнее становился пейзаж. На каждом шагу виднелись ужасные следы вчерашней битвы. Ветер нес с загаженного, вытоптанного поля смрад неубранных трупов, невероятно быстро разлагавшихся от июльской жары. Возле брошенных среди поля немецких пушек и обгорелых зарядных ящиков валялись кучи пустых гильз. Иногда в поваленной ржи виднелось исковерканное алюминиевое туловище «юнкерса» с желтыми и черными крестами и высоко поднятым большим легким хвостом с мельничкой свастики. Всюду лежали раздавленные каски, пулеметные ленты, простреленные железные бочки. На черном от пыли придорожном бурьяне висели лохмотья серо-зеленой одежды. Не было вокруг ни одной пяди земли, на которой бы война не оставила своего мрачного отпечатка.

Но особенно запомнился мне небольшой клочок земли на выезде из одной, сожженной дотла, деревни. Пепел еще курился, под его толстым серым слоем дышал и нежно просвечивал бледно-розовый жар. Обычно из пожарища торчат только трубы. Но здесь не было даже труб. Все сровнялось с землей. Лишь одно обугленное дерево косо стояло над печным мусором. Но на том клочке земли, который я увидел на выезде из деревни, не было даже пепла. Можно было подумать, что на этой земле вообще ничто уже не может существовать, даже огонь. Это была абсолютно мертвая земля, превращенная в черный камень, вся как бы облитая лавой. И на этом мертвом камне лежало два немецких трупа, раздувшихся, оплывших, как будто сделанных из смолы, с белыми лопнувшими глазами и рыжими обгоревшими волосами, прикипевшими к земле. Четыре разбитых танка в разных положениях стояли близко друг к другу – три немецких и один наш, из развороченного люка которого торчала

наружу нога в сапоге, подбитом светлыми гвоздями. Немецкая обозная кляча, покрытая зелеными мухами, стояла на дрожащих ногах с крупными разбитыми копытами. Белая, слепая, с длинными зелеными соплями под мордой, она стояла посреди дороги, как привидение. Она не в состоянии была двинуться с места, и машины ее объезжали.

Трое крестьян – старик, старуха и молодая с ребенком за пазухой – торопливо гнали корову и толкали тележку на маленьких железных колесиках, нагруженную узлами. Косясь на трупы и переступая через них, они почти бежали по этой мертвой зоне.

Тотчас за выездом был перекресток, и на нем с поднятой рукой стояла молодая миловидная женщина с портфелем. На ней было хорошо сшитое синее пальто с широкими внизу рукавами, а на голове надет модный клетчатый платок. Она резко бросалась в глаза несоответствием своей внешности и места, где она находилась. Если бы не пыль, покрывавшая ее с ног до головы, то можно было бы подумать, что она стоит в Москве, где-нибудь на площади Свердлова, и дожидается троллейбуса.

Водитель не склонен был лишний раз останавливаться. Он сделал вид, что не замечает, и хотел проскочить. Я постучал кулаком в кабину. Водитель затормозил.

Она подошла к борту машины и попросила ее подвезти.

– А куда? – спросил я.

– Видите ли, – сказала она с растерянной улыбкой, – теперь я уже, собственно, и сама не знаю – куда. Я разыскиваю одну воинскую часть. Но сейчас все в движении, никто ничего не знает. Я еду в самого утра и никак не доеду. Может быть, вы знаете, где воинская часть... – и она назвала номер полевой почты.

– К сожалению, не знаю.

– Так что же мне делать? – сказала она почти с отчаянием.

– Вы, вероятно, вольнонаемная? Едете к месту службы?

– Нет. Я разыскиваю могилу своего мужа. Он погиб на фронте в марте прошлого года. До сих пор его могила была на территории, занятой немцами. А теперь, когда началось наступление, я надеюсь...

– Пропуск у вас есть?

– Ах, простите. Я все забываю.

Она привычным движением достала из сумочки бумажку и протянула мне. Это был формальный пропуск, выданный штабом фронта на имя Нины Петровны Хрусталевой.

– В порядке. Что же это за воинская часть, куда вы едете?

– Истребительный авиационный полк, которым командовал мой покойный муж. Там у меня есть друзья. Мне бы только до них добраться, а там уж... Как же быть? Ужасно дикое положение!

Она посмотрела вокруг прекрасными, зеркальными глазами, в которых было больше горечи, чем страха.

– Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете?

– Единственное, что я могу вам предложить, это довезти вас до командного пункта той части, куда я сам еду. Возможно, что там знают позывные вашего истребительного полка, и можно будет созвониться. Им известно, что вы едете?

– Конечно. Они меня ждут.

– Так вот. Решайте.

– Хорошо.

Она решительно подобрала пальто и поставила ногу на колесо. Я протянул руку и втащил ее в машину. Она села рядом со мной на свой портфель, уперлась спиной в кабинку, а ногами в ящик со снарядами, и мы поехали, подсакивая на колдобинах. Стемнело. Желтая луна слабо и душно светилась в пыльном небе. Со всех сторон на горизонте стали видны пожары. Горели деревни и хлеба, подоженные отступающим врагом. Вместе с запахом гари ветер продолжал нести удушающую, фосфорную вонь трупов. Но иногда в нее врывалась нежная, прохладная струя совсем другого воздуха. Это был легкий, прелестный дух цветущей гречихи.

– Вы посмотрите, – вдруг сказала Нина Петровна громко, желая быть услышанной за грохотом машины. – Ведь это наша родная, орловская земля. Сердце России. Вдумайтесь только в это. Поймите. И вдруг – немцы. Что-то чудовищное! Почему они здесь? По какому праву? Нет, с этим невозможно примириться. Без ярости об этом нельзя подумать. Что они только сделали с нашей землей!

Она сжала кулаки возле рта. Ее прелестное лицо, серое от пыли, смотрело на меня неподвижными глазами, в которых отражалось зарево пожаров.

– Ну, я им не завидую, – сказала она сквозь стиснутые зубы. Быстро вынув из сумочки платок, она стала с силой вытирать лицо, как бы стараясь стереть под глазами пыль. – Они нам за все это заплатят. Абсолютно за все. За каждый клочок нашей испоганенной ими земли. За каждую нашу слезу. Будьте уверены. За каждую!

## II

Небо непрерывно светилось. В тучах судорожно подергивались багровые сполохи. Необыкновенно яркие желтые люстры светящихся бомб висели над всем западным горизонтом. Линия фронта тянулась и блестела, как ярко иллюминированное шоссе.

Мы повернули и стали спускаться в темную балку, где шло какое-то быстрое тайное движение множества людей, пушек и танков.

Скоро грузовик остановился.

– Как будто здесь, – сказал водитель, выходя из кабины и осматриваясь.

Мы вылезли, разминая сомлевшие, гудящие ноги. К нам тотчас подошли три темные фигуры с автоматами. На миг нас осветил электрический фонарик и погас.

– Комендантский патруль, – сказал негромкий голос. – Пропуск?

– Затвор, – сказал я.

– Куда следуете, товарищ подполковник?

– В хозяйство Нечаева.

– Тут.

– Проводите меня к начальнику штаба.

– А женщина?

– Со мной.

Небо заметно расчистилось. Луна светила довольно ярко. Левая сторона балки во всю длину была освещена луной. Правая – тонула в тени. Нас повели по теневой стороне. Потом мы стали подниматься по отлогому склону, упиравшемуся в лунное небо, покрытое остатками дневных облаков. На середине склона перед нами вырос большой темный куст. В кусте бегло и четко хлопала пишущая машинка, отзванивая концы строчек. Неторопливый голос диктовал:

– ...и, запятая, обойдя названную высоту с северо-востока, запятая, продвинулись до полотна железной дороги, запятая, где обнаружили...

Патрульный постучал в какую-то дверь. Она приоткрылась. На нас упала полоса затемненного света. Патрульный стал на подножку автобуса, со всех сторон заставленного срубленными сосенками. Он вполголоса доложил о нас.

– Одну минуту, – сказал голос и быстро додиктовал: –...где обнаружили три неприятельских танка и две самоходные пушки, запятая, прикрывавшие левый фланг отступающего противника. Точка. Войдите!

Мы вошли в автобус, где под крошечной затемненной лампочкой за столиком сидела девушка в пилотке, положив русую голову на громадную каретку своего ундервуда, и уже спала, воспользовавшись минутным перерывом.

– Только, пожалуйста, проходите скорее и закрывайте дверь, а то тут, знаете, и днем и ночью летают, – сказал начальник штаба в габардиновой гимнастерке стального цвета, с двумя орденами – Ленина и Красной Звезды – и белыми танками на широких полевых погонах.

Он погладил себя по мясистой, круглой, наголо выбритой голубой голове, крепко зажмурился и протянул руку за моим удостоверением. Он взял его, приблизил к лампочке под фунтиком из газетной бумаги, надел круглые роговые очки, отчего его темное, красное от загара лица стало вдруг старым и добрым, и, не торопясь, прочитал его два раза от доски до доски. После этого он аккуратно сложил бумагу вчетверо и вручил мне.

– Я знаю, – сказал он, – мне уже сообщили из штаба армии. Как доехали? Благополучно? По дороге не бомбили? А на нас вчера налетело на марше двенадцать. Вывели из строя шесть человек и одну легковую машину. Начали проявлять активность. Товарищ с вами?

Нина Петровна вынула из сумочки и подала свой пропуск. Полковник прочитал его так же внимательно, затем сложил в четыре раза и вернул, сказав:

– Как же это вы к нам попали? Заблудились? Бывает.

Она коротко рассказала свою историю. Полковник покрутил ручку штабного телефона в кожаном желтом футляре и сказал в

трубку:

– Дайте туберозу. Это тубероза? Говорит седьмой. У вас уже есть какая-нибудь связь с Енисеем? Так давайте. Ну, как в Москве? Художественный театр уже возвратился? – обратился он ко мне и сейчас же, не дожидаясь ответа, сказал в трубку: – Это Енисей? Седьмой у аппарата. Это кто? Здравствуйте. Вы уже переселились? Ну, так с новосельем. Слушайте, вот какое дело. Вы к себе никого в гости не ожидаете из тыла? Ждете? Так посылайте машину ко мне, она сидит у меня в автобусе и слушает, как рвутся мины. Некрасиво. Нина Петровна, совершенно точно. Эх вы, джентльмены! Не знаю, как это случилось. Вам лучше знать. Хорошо. Передам. У вас тихо? У нас пока тоже. Не знаю, что будет завтра. До свиданья.

Он положил трубку и покрутил отбой.

– Так что ж, Нина Петровна, все в порядке. Утречком за вами заедут. А пока не знаю, что вам и предложить. Мы, знаете, на марше. У нас даже палаток при себе нет. Все во втором эшелоне. Спим под кустиками. Можно, конечно, устроить вас здесь, так сказать, в канцелярии. Но только вряд ли вы здесь уснете: то телефон, то машинка.

– Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, – сказала Нина Петровна. – Большое вам спасибо. Я лучше побуду на воздухе. Ночь такая теплая.

– В крайнем случае могу вам дать свою шинель. У меня чудесная теплая шинель из генеральского драпа. А что касается вас, товарищ писатель, то вам я тоже советую устроиться где-нибудь тут под кустиком, недалеко от щели. Вздремните. Все равно генерала еще нет. Он объезжает бригады. Танки сейчас как раз занимают исходное положение. Когда генерал придет, я вам дам знать. Спокойной ночи. Надеюсь, завтра у вас будет масса впечатлений.

– Что-нибудь намечается?

– Да ведь как вам сказать? Наступаем помаленьку. Он, конечно, не хочет, сопротивляется. Приходится драться. Вот он, например, сейчас зацепился за одну речушку. Два километра отсюда. Ну, нам это, конечно, не нравится. Придется завтра его попросить немного подвинуться. Приятных сновидений.

Полковник разбудил машинистку. Она посмотрела на него из-под волос заспанными детскими глазами и сердито положила руки на

клавиши. Мы вышли и, выходя, слышали, как он диктовал:

– С красной строки. За истекшие сутки неприятельская авиация проявила большую активность, запятая...

Луна светила еще ярче. На прозрачном лунном небе черно и отчетливо стоял западный гребень балки с кустиками маскировки и фигурой часового, наблюдающего за воздухом. Я раскинул свою большую солдатскую шинель на траве возле щели. Ничуть не жеманясь, Нина Петровна легла на край шинели, положила под голову портфель, поджала ноги и затихла. Я лег на другой край шинели, положил под голову полевую сумку, а ухо прикрыл фуражкой. Все вокруг было сравнительно тихо. Разумеется, настолько тихо, насколько это может быть ночью, перед атакой, в двух километрах от противника. Артиллерийский огонь почти прекратился. С нашей и с немецкой стороны стреляло всего несколько пушек. Снаряды пролетали высоко над нами. Их регулярный шум был похож на звук заржавленного флюгера и почти не беспокоил. Изредка немец пускал по гребню нашей балки одну или две тяжелые мины. Они с отвратительным кряканьем разрывались, наполняя балку запахом жженого целлулоида. Но это был не прицельный, а так называемый тревожащий огонь, который – как мы с Ниной Петровной заметили – никого не тревожил. Далеко по лунному небу иногда начинали бегать розовые звездочки зениток. Стрекотал вдалеке танк. Но за всеми этими звуками таилась такая настороженная тишина, что спать совершенно не было сил. От скуки я часто курил, свертывая толстые папиросы из сухого табака, который прокалывал бумажку. Огонь спички казался мне громадным, как костер. Он освещал всю балку. И каждый раз, когда я закуривал, сердитый голос кричал откуда-то:

– А ну, там, полегче с огоньком. А то здесь все время летает и летает.

Нина Петровна все время ворочалась, не находя себе удобной позы. Наконец, она села, обхватила колени руками и положила голову на колени.

– Что ж вы не спите? – сказал я. – Спите!

Она повернула руку к луне и посмотрела на большие часы-браслет.

– Ноль часов двадцать две минуты, – сказала она, очень громко зевая. – Абсолютно не в состоянии заснуть.

– Вам, наверное, неудобно лежать на покатом.

– Я умею спать где угодно. Не в том дело. Но вы представляете, какое у меня сейчас состояние? У нас нынче июль сорок третьего, а мой муж погиб в марте сорок второго. Считайте: шестнадцать месяцев. И каждый день я неотступно думала об одном: когда я наконец увижу его могилу. И вот завтра... вы понимаете... Может быть, даже нынче... Ох, если бы вы знали, как это трудно переживать. Места себе не нахожу. Знаете, мы с ним так чудесно жили, – вдруг сказала Нина Петровна так просто и так доверчиво, как можно только говорить с полужнакомым человеком в потемках и притом в не вполне обычных обстоятельствах. – У него был простой, веселый нрав. С ним было очень легко и приятно жить. На мою долю выпало большое, хотя и недолгое счастье любить его и быть любимой, – продолжала она, неподвижно глядя прямо перед собой, как бы сказывая длинную старую сказку. – Он был моим самым лучшим товарищем, самым любимым, дорогим другом. Он писал мне с войны не слишком часто, но аккуратно. Эти письма были для меня всем. Я ими дышала. Каждое письмо подтверждало мне, что он жив. Мне казалось, что без его писем я умру. И вот эти письма однажды прекратились. Я, конечно, хорошо понимала, что такое война. Давно, с самых первых ее дней, я приготовилась ко всему самому худшему. Но когда оно – это самое худшее – случилось, я не поверила – до того неправдоподобна, противоестественна, чудовищна была мысль, что он мертв, что его уже не существует на спето. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра – никогда. Ужасаясь и не веря своим глазам, я прочитала извещение несколько раз подряд. Потом меня охватило оцепенение. Но сейчас же вслед за оцепенением я почувствовала потребность немедленной деятельности. Мне казалось, что надо сейчас же, не теряя ни секунды, куда-то бежать, телеграфировать, писать, ехать, выяснять. Мне казалось, что я еще могу как-то спасти, вернуть, поправить что-то. И вместе с тем со всей ужасающей ясностью я понимала, что это непоправимо.



Я быстро надела валенки, шубу, повязалась платком, стала искать сумочку, деньги, карандаш. «Но, главное, чтобы о моем несчастье не узнал никто, – почему-то все время думала я. – Не надо, чтобы это знали другие. Это – мое. И я все сделаю сама». А что я должна была сделать, я и сама не знала.

Я осторожно заперла свою комнату и в сенях положила ключ за кадку с водой. Я слышала, как хозяйка возится в кухне с бидонами. Я боялась, что она меня окликнет. Но, слава богу, она не окликнула.

Я вышла во двор. Кончался март. Но стужа была, как в январе. Я забыла, зачем я вышла. Вместо того чтобы пройти на улицу, я повернула в другую сторону и пошла через двор назад к Волге. Во дворе зимовала заваленная сугробом лодка. По старому, твердому снегу я пошла через огород к обрыву. «Поклонись Волге», – сказал Андрей, когда мы прощались в январе месяце в Москве. Теперь я вспомнила эти слова. Это были его последние слова. Он произнес их уже после того, как мы простились, в последний раз поцеловались и он – в короткой кожаной шубе, с большим планшетом через плечо и маленьким чемоданом в руке – спускался по широкой лестнице гостиницы «Москва». Я стояла на площадке и смотрела вниз, в широкий пролет, где на поворотах мелькала его фигура, толстая от шубы и от меховых сапог. Вдруг он остановился, задрал голову и, озорно блеснув синими глазами, крикнул: «Поклонись Волге!» У него был сильный, густой голос, и говорил он, как истый волжанин, с ударением на «о». «Поклонюсь непременно!» – крикнула я весело. Звук наших голосов в последний раз смешался и прошумел по широким вестибюлям и пролетам гостиницы.

Я вернулась в наш номер. Впрочем, он уже был не наш. Дверь была открыта настежь. Две горничные прибирали постель и мели сор. Но в умывальной еще был беспорядок и слышался теплый запах душистого мыла, одеколona и трубочного табака «Золотое руно». Здесь только что Андрей брился, по своему обыкновению не выпуская изо рта трубки.

Ах, если бы вы знали, какие три чудесных дня провели мы с Андреем в этом номере! Мы встретились в Москве совершенно случайно, не сговариваясь. Меня послали из Куйбышева в Москву в главную контору Чермета по делам нашего завода, а он приехал с фронта получить из рук Калинина свою золотую звездочку. Можно

было подумать, что судьба, перед тем как разлучить нас навсегда, подарила нам три дня полного, незабываемого счастья. И вот они прошли – эти три дня. Андрей уехал. Да и мне пора было складывать вещи: срок моей командировки кончился.

Как грустно, как одиноко было досиживать последние часы в нашем номере, который был уже не ваш. Но разве можно сравнить это одиночество с тем, какое я испытывала тогда, стоя среди сугробов над Волгой!

За Волгой горел невероятно яркий закат. На него больно было смотреть, а ледяной восточный ветер еще пуще раздувал его красное, желтое, зеленое пламя, охватившее полгоризонта. Я забыла дома варежки. Руки мои совершенно ооченели. Пальцы не сгибались. Я изо всех сил прижимала их к груди. Я не отрываясь смотрела на запад. Мне казалось, что там пылает сама война. Синие тени танков – казалось мне – проносились взад и вперед над горизонтом. Подергивались зарницы артиллерийского боя. Огонь рвался из соломенных крыш. Рушились стропила. И все это совершалось в подавляющем, сводящем с ума безмолвии.

Я вернулась домой и, не зажигая огня, легла на свою койку. Как была – в шубе и валенках, – я легла лицом к стенке. Меня знобило. Я крепко поджала ноги и, продолжая прижимать руки к груди, безостановочно повторяла: «Какое горе, какое горе, какое горе». Вдруг я испугалась, что меня услышат. Тогда я стала шептать про себя все то же: «Какое горе, какое горе». Однако скоро я забылась и начала говорить опять громко. Но меня никто не слышал. Я была одна во всем мире, наедине со своим горем, к которому я еще не привыкла и всю глубину которого даже еще как следует не поняла. Это были ужасные часы. Ужасные потому, что то, что случилось со мною и с ним, продолжало оставаться для меня – несмотря на всю свою очевидность и естественность – невероятным, неестественным, диким, бесчеловечным. «Как же это так? Что же это такое? – думала я, постепенно согреваясь, конечно, не такими словами, но такими мыслями. – Вот был чудесный, неповторимый человек. Мы так любили друг друга. Нам так хорошо было вместе, в нашем молодом мире. У нас могли быть детишки – веселая, дружная семья. Нам бы с ним вместе жить да жить. А вот он погиб. Я больше никогда в жизни не увижу его, не поцелую, не услышу его голоса. Он мертв. Его нет.

Он исчез. Его просто больше не существует. И самое ужасное в том, что с каждым днем он будет слабеть в моей памяти. Будет как будто все отдаляться и отдаляться от меня. О том, что его больше не существует, я узнала лишь сегодня. А в действительности его уже нет на свете две недели, пока шло извещение. Но ведь для меня его не стало гораздо раньше. Он исчез для меня в январе, в гостинице „Москва“, в тот миг, когда я в последний раз увидела его на последнем повороте лестницы. И каждая минута уносит и будет уносить от меня все быстрее и быстрее частицы его, потому что разве в состоянии человеческая память угнаться за временем? Вот, например, его голос... Какой он был?» Страшно признаться, но я уже не совсем точно помнила его голос. Я его представляла, но услышать его в себе уже не могла.

Так, изводя себя воспоминаниями, я провела свою первую сиротскую ночь.

Было семь часов утра. Я могла еще отдыхать до восьми. Но больше не было сил оставаться одной. Я умылась в сенях ледяной водой и вычистила зубы. Хозяйка выплянула из кухни.

– Это вы, Нина Петровна?

– Да, это я.

– А я думала, что вы нынче опять не ночевали дома.

Я действительно часто не ночевала дома, оставаясь на заводе, в цехе. Но хозяйка не верила этому. Она думала, что я где-то гуляю.

– Нет, я сегодня ночевала дома, – сказала я.

Я не любила своей хозяйки. Это была сварливая, недоброжелательная мещанка. Она считала, что сделала для меня величайшее одолжение, сдав мне за двести рублей в месяц каморку с косым низким потолком, оклеенным желтыми газетами. Она смотрела на меня, как на беженку. Она презирала меня за то, что я – жена Героя Советского Союза – работаю на заводе и приношу домой так немного продуктов. Первое время она учила меня жить, но, получив отпор, стала донимать мелкими придирками. Кроме того, она потихоньку таскала мой сахар и отпивала мое молоко. Она входила в мою комнату, когда меня не было дома, рылась в моих вещах, читала мои письма. Это, конечно, были мелочи. Я старалась их не замечать. Но иногда меня это сильно злило. Я мечтала найти себе другой угол.

Я положила извещение в сумочку, чтобы хозяйка в мое отсутствие не прочла его, заперла комнату и положила ключ за бочку.

– Что-то вы, Нина Петровна, нынче рано собрались, – сказала хозяйка. – Ай работы много?

– Работы хватает, – сказала я.

– Сводку вчерашнюю слышали?

– Не слыхала.

– И я не слыхала.

Она глубоко вздохнула и собрала губы в оборочку.

– Говорят, опять что-то неладно под Севастополем. Не знаете?

– Не знаю.

– Да... Дела.

На этот раз она особенно раздражала меня. С Крымом и Севастополем у меня были связаны самые лучшие воспоминания моей жизни. И у меня сердце обливалось кровью... но это не важно.

Когда я проходила через контрольную будку, вахтер остановил меня и потребовал пропуск. Это был хорошо мне знакомый старичок, инвалид Сергей Сергеевич. Он меня отлично знал и никогда не спрашивал у меня пропуск. Я с удивлением остановилась.

– Батюшки! – воскликнул Сергей Сергеевич. – Да ведь это наша Нина Петровна.

– Не узнали?

– Не узнал. Обмишурился. Богатой быть. Проходите, добрейшая, проходите.

Выйдя на территорию завода, я остановилась и посмотрелась в зеркальце. Как непохоже было мое лицо на лицо той девчонки, которая сравнительно так недавно – всего какие-нибудь два года тому назад – под знойным крымским солнцем ехала на линейке из Севастополя в Георгиевский монастырь! Нехорошее, желтое, со следами бессонной ночи. Неужели это были мои щеки, мои губы, мой лоб? Нет, это была не я. Это была какая-то очень родная, но еще совсем незнакомая, новая женщина со странными глазами под шерстяным платком, вдова Героя Советского Союза Хрусталева. «Вдова». Как страшно назвать себя первый раз этим словом, как больно!

Так началась моя новая жизнь, в которой не было ничего нового, кроме того, что теперь я была вдовой. Жизнь моя с этого времени как бы разделилась на две жизни. Одна была простая, грубая и ясная, жизнь сегодняшнего дня, другая – жизнь воспоминаний. Я жила одновременно этими двумя жизнями. Они не сливались во мне. Они как-то текли одна сквозь другую. Теперь я почти каждый день ночевала в цехе. Мне было мучительно оставаться одной в своей камере, загроможденной хозяйкиными сундуками, дрянными этажерками с множеством старомодных безвкусных безделушек, с какими-то никому не нужными пятнистыми раковинами, бронзовыми собаками, гранеными хрустальными яйцами, в которых эта комната отражалась сотней крошечных изображений со всей ее скукой и чепухой.

С поразительной ясностью помню я первый день моего вдовства. Помню, как, одеревеневшая от горя, я шла через заводской двор, заваленный металлическими отходами и неубранным снегом.

До войны здесь были кавалерийские казармы. Теперь в длинных конюшнях помещались цехи. Не заходя в контору, я отправилась прямо в роликовый цех, который недавно перешел на обработку новой детали. Я открыла набухшую дверь, и тотчас – как всегда – меня охватило ветром и сонным шумом станков.

Ничего не изменилось здесь со вчерашнего дня. Так же в синих утренних сумерках сияли голые тысячесвечовые лампы. Так же под ногами по канавкам бежала отработанная эмульсия, отсвечивая перламутром. Так же с точильных камней внутри автоматов сыпались искры. Так же, возвышаясь над своим станком, стояла на специальном ящике маленькая ремесленница Муся, в большой черной шинели с подвернутыми рукавами, из-под которой выглядывали ножки в чулках и поверх чулок еще в носках, напущенных бубликами на новые тапочки. Так же строго и повелительно смотрели на меня военные плакаты и лозунги.

Все было по-старому. Только я одна была новая, со своим новым горем. Но об этом горе не знал никто.

Я подошла к Мусе и поздоровалась. Девочка кивнула головой, не отводя глаз от бункера станка, куда она прилежно, равномерно сыпала из горсти маленькие стальные цилиндрики – ролики – ту новую

деталь, на обработку которой перешел цех. В то же время Муся другой рукой набирала из корзины следующую порцию роликов. Когда же из правой руки в бункер упал последний ролик, девочка ловко повернулась вполборота и, не потеряв ни одной секунды времени, стала высыпать в бункер из левой руки, а пустую правую тотчас отвела назад и опустила в корзину, набирая новую порцию роликов.

Это была новость!

Некоторое время я постояла возле Муси, любясь точностью и быстротой ее движений.

– Молодец, Муся. Давно придумала?

Она с досадой помотала головой и ответила не сразу.

– Сегодня придумала, – сказала она нетерпеливо. – Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, – продолжала она шевелить пухлыми губами.

Я сразу поняла. Она считала ролики по десяткам и боялась сбиться со счета. Я вытерла рукавом ее хорошенький носик, запачканный сажей. Она мельком взглянула на меня краешком глаза и гордо подняла подбородок. Это я тоже поняла. Она похвасталась. Вот, дескать, какая я. И правда, Муся была чудесная девчушка.

Однажды к нам на завод приехали иностранные журналисты. Сытые, гладкие, красные от русских морозов, в легких, но теплых шубах, в меховых перчатках и толстых канадских башмаках, дымя сигаретами, они шли вместе с директором нашего завода и с переводчицей в леопардовом жакете по обледенелому цеху, фантастически озаренному багровым пламенем костров.

Проходя мимо Муси, они остановились и некоторое время с любопытством наблюдали, как она работает. Вероятно, эта смешная и хорошенькая русская девочка-ремесленница с испачканным носиком, которая стояла у станка на ящике в большой черной шинели, заинтересовала их. Они выразили желание поговорить с Мусей. Директор, улыбнувшись, похлопал Мусю по спине.

– Здорово, Муся. Как дела?

Она повернула к нему свое сосредоточенное, нахмуренное личико подростка с запачканным носом. Некоторое время она беззвучно шевелила пухлыми губами, про себя считая ролики по десяткам, а потом сказала:

– Не мешайте. Я занята.

И отвернулась к станку, продолжая прилежно сыпать ролики в бункер из своей маленькой обмороженной руки. Она это сказала, конечно, без малейшей рисовки, без всякого желания как-то особенно выгодно показать себя перед директором. Она просто сказала то, что сказала бы всякому, кто стал бы ей мешать. Очевидно, то дело, которое она делала, было для нее важнее директора, важнее переводчицы в леопардовой кофте, важнее американцев, важнее всего на свете. Вот она и сказала то, что сказала.

А ведь надо понять, что такое в глазах любого рабочего значит директор завода! Ого! Это, знаете, не шутка.

Директор юмористически развел руками. Ничего, мол, не поделаешь. Переводчица перевела. Иностранцы громко захохотали и захлопали в ладоши. Они приветствовали мою Муську, как балерину. А она даже не обернулась. Она о них в ту же минуту просто забыла, всецело поглощенная своим счетом, своими роликами, своими обмороженными руками и своим носиком, который чесался и который не было времени почесать.

Надо всем сказать, Муся соревновалась с одним чудеснейшим парнишкой, тоже ремесленником, испанским мальчиком по имени Хозе, которого все попросту называли Хозя. У этого Хози были золотые руки. В цехе работало несколько ребят, но никто не мог угнаться за Хозей. Когда Хозю вызвала на соревнование Муся, все засмеялись. Теперь между ними шла битва не на живот, а на смерть. Все-таки, я думаю, Муся несколько переоценила свои силенки. Шли дни, и еще ни разу красный флажок не перешел с Хозиного станка на Мусин, хотя бы на сутки.

Кончался месяц. Над Мусей уже подтрунивали. От досады Муся даже немного осунулась. А Хозя держал себя с великолепной небрежностью истинного артиста.

Казалось, он работает рассеянно. Он часто отходил от станка. Он закуривал, разговаривал с соседями. Он как будто нарочно отставал. И вдруг, решительно выплюнув сигарку и раздавив ее каблуком, подходил к станку и в какие-нибудь полчаса не только нагонял упущенное время, но и настолько перегонял его, что опять мог позволить себе немного поваландаться. При этом он смотрел куда угодно, но только не в сторону Муси. Для него Муся не существовала в природе.

Я подошла к Хозе как раз в то время, когда он сунул в станок стальной прут и приложил его к точильному кругу. Для экономии спичек это у нас был довольно распространенный способ добывать огонь для закурки. Искры густо сыпались, отражаясь золотой пылью в Хозиных глазах. В цехе было прохладно, но Хозя работал без шинели, как заправский рабочий. Ворот его черной сатиновой рубахи был расстегнут. Рукава подвернуты до локтей. Кроме этих желтовато-смуглых рук, черных глаз да, пожалуй, грязного клетчатого платка, накрученного на шею, в Хозе ничего не осталось испанского. С некоторого времени он даже перестал отпускать себе бачки. Теперь это был обыкновенный русский мальчишка-ремесленник.

Мы поздоровались.

– Здравствуй, Хозя.

– Почет и уважение, – сказал Хозя, явно кому-то подражая.

– Покуриваешь?

– Покуриваю, Нина Петровна. Мировецкий самосад. Десять рублей стакан. Закурить не желаете?

– Я тебе закурю, – сказала я строго, сдерживая улыбку.

– Что ж вы сердитесь, Нина Петровна? Разве я вас когда-нибудь подводил? Смотрите, у меня все в полном порядке.

Ничего не скажешь. У него действительно все было в порядке, у этого тореадора: станок чистенький, рабочее место аккуратно подметено, – на гвоздике возле тумбочки новый просяной веник – и на стенке красный флажок, а на ящике для инструмента, в металлической самодельной рамке – таблица суточного задания, всегда перевыполненного.

Но я знала, что излишняя строгость никогда не мешает. Я сделала Хозе замечание за неаккуратное расходование эмульсии. Он тотчас подвернул кран. Я захватила из ящика несколько готовых роликов и пошла проверить их на миниметре. Брака не было. Когда я вернулась к станку, Хозя еще продолжал курить.

– Гляди, Хозя, как бы тебе в конце концов не осрамиться. Ты себе знай покуриваешь, а Муся вон чего придумала.

– Чего она придумала? – спросил Хозя небрежно.

Он выплюнул сигарку, крутнул ее каблуком и подмел веником.

– А ты погляди.

– Тоже! – сказал Хозя.



Он подошел к станку и стал необыкновенно ловко и быстро, один за одним, сыпать ролики из горсти в бункер.

– Ну, как знаешь, – сказала я, невольно любуясь его сноровкой.

## V

Я прошла по пролету, останавливаясь у некоторых станков и проверяя их наладку.

Вероятно, для человека нового ряды пощелкивающих станков-полуавтоматов, выкрашенных в прочную темно-серую краску с красными номерами и линейками, могли показаться очень однообразными. Но для меня каждый станок был слишком хорошо знаком.

Я знала эти станки еще тогда, когда они стояли в сияющих залах новенького знаменитого московского завода, отражаясь в плиточных полах и кафельных стенах.

С каким счастьем, с какой гордостью носилась я – еще совсем молоденькая студентка-практикантка – по широким лестницам и звучным коридорам, мимо громадных, как стена, клетчатых окон всех этих бесчисленных заводских корпусов, казавшихся мне хрустальными. Конечно, это было для меня больше, чем завод, чем место моей практики. Для меня это был громадный мир, в котором я с наслаждением жила. Каждый миг я открывала в нем все новые и новые увлекательные подробности. Каждый миг находила новых друзей. Здесь я постепенно превращалась из девочки в девушку и быстро зрела для счастья.

Говорили, что у меня открытый, легкий характер. Это верно. В то чудесное, незабываемое время я была очень общительная и очень веселая комсомолка. У меня было масса друзей. Сказать точнее, моими друзьями были все. Я всех любила, и все любили меня.

И вот их теперь вокруг меня не осталось почти никого. Их развеяло, разнесло в разные стороны.

– Да, – сказала Нина Петровна задумчиво, – развеяло – разнесло в разные стороны. Многих и на свете уже давно нет. Пришли к нам на завод новые люди! Трудно было к этому привыкать. Все же привыкла.

Я шла мимо станков, и все люди, работавшие на них, были мне уже хорошо известны. Мы здоровались, как старые знакомые. Я наперед знала, кто мне что скажет и что я отвечу.

Вот, например, Зинаида Константиновна Вороницкая, или – как все ее называли – тетя Зина, пухлая пожилая женщина, тепло и опрятно одетая, в сером шерстяном платье и вязаных перчатках с отрезанными пальцами, как у кондукторши, – бывшая домашняя хозяйка. На ее рабочем столике, аккуратно застланном газетой, всегда стояла жестяная банка с каким-нибудь цветочком или зеленой веткой, а рядом с банкой на специальном пюпитре – открытая книжка.

Тетя Зина обыкновенно в обеденный перерыв читала. Ее белое доброе лицо с тонкими очками на кончике круглого носа все время озабоченно поворачивалось к проходившим мимо людям.

Поздоровавшись, я сказала ей то, что обычно ей говорили все:

– Ну что, тетя Зина? Где лучше: у плиты или у станка?

– У станка, разумеется, у станка, – ответила она рассеянно, как обычно.

При этом горькая складка легла у ее рта.

Я понимала ее, эту пожилую интеллигентную женщину, жену провинциального врача-хирурга, добрую мать семейства и домашнюю хозяйку, которая вдруг на старости лет осталась одна. Она пошла работать на завод потому, что это было необходимо для родины. Но об этом она никогда не говорила. А если ее спрашивали, то говорила так:

– Скучно одной дома сидеть, вот и пошла. Чем я хуже других? Да и дело, в общем, не особенно мудреное. А здесь даже очень мило.

Она работала не слишком быстро, но свою норму всегда выполняла, и работа ее отличалась необыкновенной точностью и аккуратностью. Все в ней вызывало во мне чувство нежности и глубокого уважения: и ее теплый платок, и перчатки с отрезанными пальцами, и банка с пахучей веточкой можжевельника, и потрепанный роман Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», который она прилежно читала.

Кладя в бункер ролики, она посмотрела на меня внимательно и сказала:

– Что-то вы сегодня, Ниночка, на себя не похожи. Не больны ли вы?

Точно бритвой полоснуло по моему сердцу.

– Нет, ничего. Спасибо.

Я поспешно отошла, сделав вид, что мне нужно по делу. Мне захотелось как можно скорее убежать, скрыться, остаться одной. Но в это время меня окликнули. Это был наш начальник снабжения Абраша Мильк – очень шумный и очень суетливый товарищ с высокой головой, лысой и продолговатой, как дыня. Лето и зиму он ходил без шапки, но зато в толстой кофте, сшитой из клетчатого одеяла, с застежкой «молния», из-под которой вылядывала верблюжья фуфайка. На его широкой груди болталась большая новенькая медаль «За трудовую доблесть».

Как всегда, Абраша Мильк ужасно спешил и был окружен толпой шумящих агентов и уполномоченных.

Его глаза с косматыми, очень черными бровями сверкали безумно и грозно, как у полководца.

– Деточка, – сказал он взволнованно, беря меня под руку и увлекая за собой. – Надо иметь совесть. Нельзя так, кошечка. Я снабжаю не только один роликовый цех. У меня на шее весь завод. Этак мы скоро без штанов останемся. Вы понимаете, что такое в наших условиях эмульсия? Это же золото! Птичье молоко! А вы тут у себя ноги моете в эмульсии. Заявляю вам категорически, – закричал он вдруг с яростью, – можете сдохнуть, а до пятнадцатого апреля вы у меня не получите ни одного лишнего литра! И крутитесь, как вам угодно. А нет – будете иметь дело с партийной организацией. Все? Все!

После этого он вдруг сразу успокоился и нежно заглянул мне в лицо.

– Ну, как дела, Ниночка? Твой тебе пишет что-нибудь? – сказал он уже совсем другим голосом, улыбаясь и показывая стальные зубы, и, не дожидаясь ответа, ринулся из цеха, окруженный агентами и уполномоченными.

И я опять осталась одна... Чувство отчаяния, прямо-таки ужаса, охватило меня с новой, страшной силой. Это была такая душевная пустота, такая нечеловеческая боль, что даже теперь страшно об этом вспомнить.

Нина Петровна замолчала, остановившимися глазами следя за красной ракетой, которая медленно поднялась на горизонте и погасла. За восточным гребнем нашей балки сильно вспыхнуло. Потом ударил

пушечный выстрел. Над нами высоко пролетел снаряд. Через некоторое время после того, как шум снаряда постепенно стих, далеко на западе слабо вспыхнуло. Донесся звук взрыва. Покатилось эхо. И опять надолго все стихло.

– Это что? – спросила Нина Петровна.

– Вероятно, пристрелка, – сказал я.

И она опять стала рассказывать своим ровным голосом, как бы поверяя – не мне, а кому-то третьему – самые свои сокровенные чувства.

– По правде вам сказать, мне страшно было оставаться одной. Мне казалось, что жизнь кончена, жить больше не стоит. Я просто боялась за себя. И действительно, теперь я вижу, что я была очень близка к большой беде.

Меня спасла другая моя жизнь, жизнь воспоминаний. В этой жизни был он – мой Андрей, живой, любящий и любимый. Эта жизнь все время, безостановочно протекала в самой глубине моего сознания. Видения этой жизни вдруг начинали как-то просвечивать. И я, незаметно погружаясь в них, сама становилась видением. Иногда достаточно было одного слова, одного звука, запаха, случайного соединения вещей для того, чтобы тотчас в моем воображении возникала какая-нибудь счастливая картина прошлого.

Сначала мои воспоминания шли беспорядочно, трудно, все время останавливаясь и повторяясь на одном и том же месте. Но вдруг я вспомнила, даже не вспомнила, а как-то необыкновенно ярко, со всеми подробностями увидела, ощутила – знойный, летний московский день после обеда. Знаете, один из тех июльских дней, когда каблуки вязнут в асфальте и всюду скользят и летают зеркальные отражения трамвайных стекол и никелированных частей автомобилей и велосипедов.

В этот день я покупала в шумном и душном универмаге Мосторга фибровый чемодан.

## VI

Это было за два года до войны и буквально за несколько дней до моего знакомства с Андреем. В то лето я и Дуся, моя подруга, тоже

девушка-студентка, купили в рассрочку путевки в один из крымских домов отдыха. Смешно вспомнить, до чего мы суетились. Я в первый раз уезжала из Москвы так далеко. Хотя я и считала себя вполне самостоятельной, но эта поездка представлялась мне чем-то в высшей степени смелым, даже дерзким. Я бы ни за что не решилась ехать. Но Дуся уговорила меня. Дуся была девушка независимая, решительная, как говорится, с характером и, как мне тогда казалось, немолодая: ей шел двадцать второй год. Она уже встречалась с одним человеком. Мне же едва исполнилось девятнадцать лет, и я еще никого не любила.

И вот мы поехали.

Помню, как я боялась потерять билет. Помню, как, ожидая Дусю, я сидела на Курском вокзале, в тесном проходе, отгороженном от буфета громоздкими резными стульями. Я сидела на своем фибровом чемодане, в котором лежала всего одна стоящая вещь: мое единственное выходное маркизетовое платье. Мне было дурно от жары, страшно одной, и я радостно расплакалась, когда увидела наконец в толпе Дусю. Мы спустились вниз и, возбужденные, бежали по грязному кафельному туннелю, боясь опоздать, хотя до отправления оставалось еще минут двадцать.

После того как мы нашли свои места и я водворила свой постыдно легкий чемодан на полку, я вышла на перрон. Не решаясь отойти, я прислонилась к вагону спиной, чувствуя жар его раскалившейся обшивки.

Шла веселая, беспорядочная посадка. Помните, как было весело до войны летом на вокзалах, откуда уходили поезда на юг?

Все пассажиры нашего севастопольского были курортники, народ большей частью молодой, так же, как и мы с Дусей, – студенты или с производства. Явилось множество провожающих. Они шумели больше всех. Они лезли в вагоны. Проводники их не пускали. Тогда они, подсаживая друг друга, пытались забраться в окна. Болтались ноги в сандалиях. Какой-то шутник с преувеличенным отчаянием обнимал свою девушку. Она вырвалась и, выставив вперед локти, старалась спасти свою свеженькую кофточку. Упали цветы и были тотчас потоптаны.

Дусю пришел провожать тот самый человек, с которым она встречалась. Я увидела его впервые и очень удивилась. Я представляла себе солидного, может быть, даже женатого дядьку, а он оказался

совсем молодым пареньком в синих резиновых тапочках и лиловой футболке под пиджачком внакидку. Нырьющим шагом он подошел к своей Дусе сзади, вдруг подхватил ее под мышки и повел, толкая перед собой. Они быстро стали гулять таким образом взад-вперед по перрону: она впереди, а он сзади, заглядывая ей в лицо то через правое плечо, то через левое. Они разговаривали. Он – озабоченно. Она – сердито. Со стороны можно было подумать, что они ссорятся. Но я знала – речь идет об отдельной комнате, которую ему уже давно обещало заводское управление и в которой они страстно мечтали наконец поселиться вместе и строить семью.

Я стояла одна. Меня никто не провожал. Мне даже было немного неловко, но ничуть не грустно. Наоборот. Я чувствовала тот особый подъем, прилив всех душевных сил, ту беспричинную, захватывающую, даже какую-то жуткую радость, которая совершенно точно, безошибочно предсказывает приближение первой любви. «Его» еще не было, но уже воздух любви окружал меня, и я им дышала. Замечательное состояние. Оно бывает только раз в жизни.

Вдруг я увидела своего отца. Он пробирался вдоль состава, заглядывая в окна. Он искал меня. Это было неожиданно. Я крикнула от радости. Он обнял меня, заглядывая в глаза, стал гладить меня по щеке. От его руки знакомо пахло железом. Я чувствовала все его пять шершавых пальцев, из которых средний, оторванный машиной, был наполовину короче. Отец смотрел на меня восторженно. Его глаза щурились и были немного светлее обычного, из чего я сразу поняла, что он чуточку выпил.

– Что, деточка? На курорт уезжаешь? Ну умница; ну вот просто умница, – говорил он растроганно. – Курорт, брат, дело необходимое, государственное. Оно для всех нужно. А для студентов в особенности.

При этом он посматривал во все стороны, как бы всех приглашая разделить его радость по поводу того, что его дочь, во-первых, студентка, а во-вторых, едет на курорт. Затем он, видимо все еще считая меня маленькой девочкой, стал делать мне различные наставления и давать советы. Почему-то он особенно настаивал, чтобы я не ходила на курорте с открытой головой, а обязательно покрывалась от солнца платком. Я живо представила себя на курорте в деревенском платке и стала хохотать. Он вытер рот, заросший усами. Мы поцеловались.

– Деньги у тебя, по крайней мере, есть? – спросил он строго.

– Есть.

– Много ли?

– Сто двадцать рублей.

Он подумал и сказал:

– Мало. На тебе еще полста. Итого сто семьдесят. Это уже сумма.

Он сунул мне в руку несколько скрученных бумажек, влажных и горячих, – как видно, приготовленных заранее. Я сразу поняла, что это его «подкожные деньги», скрытые при получке от матери. На эти деньги отец позволял себе несколько раз в неделю выпить с приятелями пива. Мне не хотелось лишать его этого удовольствия, и я стала отказываться.

– Но! – сказал он строго, поднимая вверх свой обрубленный палец. – Раз дают – бери. Лишние деньги курорта не испортят. Покупай фрукты. Они способствуют умственному труду...

И он опять тщеславно посмотрел по сторонам.

Ударил колокол. Я поспешно обняла отца за шею и бросилась в вагон. За мной влетела Дуся. Поезд тронулся. Отец шел рядом с вагоном, размахивая своей тубетейкой. Со слезами на прозрачных глазах он кричал:

– Если что-нибудь случится – бей телеграмму!

## VII

Было семь часов вечера, но солнце стояло еще очень высоко. В раскаленном переполненном вагоне нечем было дышать. Попробовали открыть окно – оказалось еще хуже. Стала донимать пыль. В облаках пыли проносились подмосковные дачи, седые сосны, киоски, волейбольные сетки, «Гастрономы», дощатые платформы с гуляющими дачниками.

Нам предстояло провести в вагоне две ночи и один день. Первую ночь я почти не спала. На наш вагон не хватило тюфяков. Пришлось лежать прямо на доске, положив под голову пальто. Дуся уснула, а я не могла. Воздух казался еще суше, жарче, чем днем. Я обливалась потом. Ноги резали туфли, которые я стеснялась снять. Несколько раз посреди ночи я ходила в умывальник напиться. Но вода была почти

горячая; она совсем не утоляла жажды; наоборот, еще больше хотелось пить.

Чтобы как-нибудь провести время, я часа полтора просидела в слабо освещенном тамбуре на неудобной откидной скамеечке, рядом с тормозным колесом. За окном проносились темные массы чего-то. Может быть, это были деревья, может быть, облака, а может быть, и дома. Один раз я увидела внизу белую воду ночной реки. Над ней висел поздний месяц. Вдали показались огни. Целое созвездие электрических ламп. В темноте сыпались искры, бушевало пламя. Это был завод, и там, вероятно, лили чугун.

И все это вместе с таинственным паровозным дымом уносилось назад, назад. Вдруг меня охватило чувство невероятного одиночества.

Дурочка, тогда я понятия не имела, что такое настоящее одиночество!

Мне захотелось как можно скорее, сию минуту назад, домой, в Москву. Но приступ тоски продолжался недолго. Взошло солнце. Все вокруг повеселело. Рубчатые стенки вагона стали красные. Пассажиры проснулись. Скоро мы перезнакомились со всеми нашими соседями. Появилось домино. Принесли гитару с голубым бантом. Стали разворачивать еду. Бестолковый, очень веселый вагонный день начался.

Погода сделалась свежей. Нам положительно везло. Впереди шла гроза. Поезд вбежал в полосу ливня. Окна тотчас открыли. Чистый воздух, смешанный с запахом мокрых полей, пролетал по вагонам.

Это было под Орлом.

– Подумайте, это было где-то здесь. И ветер тогда, может быть, летел с тех самых полей, по которым мы с вами сегодня проезжали, – сказала Нина Петровна, вздрогнув.

– Ехать стало необыкновенно легко и приятно, – продолжала она быстро, как бы желая отстранить от себя все мысли, которые мешали ей вспоминать. – Леса кончились. За Харьковом пошли спелые нивы, открытые до самого горизонта. Кое-где хлеб лежал, поваленный ливнем. Впервые я увидела украинские хатки, окруженные маленькими вишневыми деревьями. Мне очень понравились их толстые камышовые крыши и выбеленные стены, посиневшие от ливня.



На пару стоял трактор. Его острые, зубчатые колеса были облеплены очень черной, почти синей грязью. Под длинной скирдой прошлогодней соломы – с одной стороны сухой, серой, а со стороны ливня мокрой, ярко-желтой – на железных бочках из-под керосина сидели, накрывшись мешками, украинцы. Вился голубой дымок...

Думала ль я тогда, что через два года сюда ворвутся враги, будут жечь, насиловать, грабить, угонять в плен, превратят в груды пепла этот счастливый, мирный край, который проносился сейчас передо мной во всей своей молодой свежести, во всей своей красоте и богатстве? Думала ль я, что нашей родине скоро предстоит пережить такое всенародное горе, такое беспримерное унижение? Ах, нет, слишком чиста и наивна была моя душа, слишком полна любви и веры в добро, в справедливость, слишком желала счастья и неслась навстречу этому счастью!

Перед вечером поезд остановился на станции Синельниково. Дождь уже прошел, и мы с Дусей вышли погулять по платформе. Солнце сильно било в глаза из-под тающей дождевой тучи. В больших лужах уже отражались куски очистившегося неба. Дуся бросила в почтовый ящик несколько открыток, которые она все время усердно писала в дороге. Затем мы пошли посмотреть таинственный и никогда еще мною не виданный международный вагон в составе нашего поезда.

Возле этого длинного, тяжелого четырехосного вагона, обшитого деревом с медными накладными буквами и цифрами, стояло несколько человек в шляпах, в белых и черных клеенчатых макинтошах, в пестрых спортивных костюмах.

– Интуристы, – шепнула мне Дуся, которая все на свете знала.

Мы независимо прошли мимо них. Я услышала чужую речь. Холодные и не по-нашему голубые глаза с презрительным, нескрываемым любопытством гадкого свойства следили за нами. Мне стало не по себе. Я прижалась к Дусе. Мы повернулись и быстро пошли назад. Когда мы проходили мимо мягкого вагона, нас вдруг окликнул веселый мальчишеский голос:

– Эй, девчата, постойте. Куда вы так разбежались?

От неожиданности мы остановились. Из окна вагона на нас смотрела озорная, черноглазая, молодая, курносая физиономия с парикмахерской сеткой на голове. Видать, парень только что брился,

так как вокруг его смуглой шеи было намотано чистенькое вафельное полотенце, а на щеках виднелись следы пудры. Он переводил свои блестящие, как у девушки, веселые глаза с меня на Дусю и с Дуси на меня. Он, конечно, нас сравнивал, решал, какая лучше. Наконец, он свистнул и воскликнул с веселым изумлением:

– Обе лучше. Вот это девушки, так уж девушки!

Мы молчали. Тогда он спросил:

– Простите за беспокойство, вы не знаете, какая это станция?

– Станция «Кипяток», – бойко отрезала Дуся, которая никогда за словом в карман не лазила.

– Нет, кроме шуток? – сказал он жалобно.

– Что вы – неграмотный? Видите – написано: «Синельниково».

– Извините. Забыл дома очки. А вы здешние, синельниковские? Это нас даже обидело.

– Такие же самые здешние, как и вы, – сказала Дуся.

– Нет, серьезно?

– Одним поездом едем.

– Да что вы говорите? Какая неожиданная неприятность!

Простите за откровенность – в каком вагоне?

– Зачем вам знать?

– В гости к вам хочу заскочить.

– Дома не застанете.

– Нет, в самом деле. В каком вагоне?

– В железном. На колесах.

– Все равно найду.

– А вот не найдете.

– Посмотрим.

– Увидим.

– Куда же вы едете?

– Туда, куда вы.

– В Крым?

– На луну.

– В дом отдыха?

– Это вам не интересно.

– Нет, интересно. Но куда именно, в какое место?

– Не надо быть таким любопытным.

– Я не любопытный. Я любознательный. Куда?

- Сами догадайтесь.
- В Ялту?
- Нет. Это для нас слишком дорого.
- В Алупку?
- А что в ней хорошего?
- В Мисхор?
- Первый раз слышим.
- Ну, в Ливадию. Наверное, в Ливадию. Бьюсь об заклад. Да?
- Проиграете.
- Тогда куда же?
- Сами догадайтесь.

Я заметила, что, разговаривая с Дусей, он все время смотрел на меня и обращался как бы ко мне одной. Для меня было ясно, что я понравилась ему больше Дуси. В этих вещах девушки, даже самые молоденькие, никогда не ошибаются. Да правду сказать, в то время, в то чудесное, неповторимое время, я действительно была очень хорошенькая, заметная. Мне стало ужасно весело. Захотелось и от себя вернуть в разговор что-нибудь остроумное. Я уже собралась сказать: «В Рио-де-Жанейро», как вдруг заметила, что из этого же окна на меня смотрит еще один человек. Мои глаза встретились с уже не очень молодыми, добродушными синими глазами, окруженными мелкими сухими морщинками. Русые волосы, зачесанные вверх, слегка разваливались посередине, с двух сторон опускаясь на красивый широкий лоб. Из крепкого, большого его рта торчала прямая трубка. Он вынул ее и окающим волжским говором сказал:

– Оставь надежды, Петя, и приземляйся. В данном случае твои чары не имеют абсолютно никакого успеха. И девушки это могут подтвердить. Подтверждаете, девушки? – обратился он уже прямо ко мне.

Мне вдруг стало отчего-то страшно. Я вспыхнула и дернула Дусю за руку:

– Будет, Дуська. Пойдем!

И мы, обнявшись, убежали, подобрав юбки и отражаясь вверх ногами в мокрой платформе. Тот, кого называли Петей, что-то кричал нам вдогонку, но мы не обернулись.

На следующей станции Петя, очевидно разыскивая нас, несколько раз озабоченно прошелся под окнами нашего вагона. Он был уже без

сетки на голове, и на нем был прекрасный синий шевиотовый костюм с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака – вероятно, за Испанию. А мы, прижавшись к рубчатой стене и пригнув головы, чтобы нас нельзя было увидеть из окна, обняв друг друга за шею, тихонько хохотали.

Это незначительное происшествие еще больше подняло наше настроение. Ночью я прекрасно спала, уже не стеснялась снимать туфли, во сне ничего не видела, а только все время чувствовала, что в жизни со мною случилось что-то очень важное и счастливое, но что именно, я еще не понимала, хотя это было так ясно.

## VIII

Я поздно проснулась, а проснувшись, была поражена переменой, которая произошла в природе. Восхитительный воздух, знойный и вместе с тем нежно-сухой, лился в окно, поднимая волосы. Ряд пирамидальных тополей поворачивался в далекой долине, как грабли. На платформах маленьких станций, нарядных, как выставочные павильоны, и увитых не диким, а настоящим виноградом, стояли татары в белых шерстяных носках и чувьяках.

В одном месте я увидела мечеть; в другом – длинную арбу с небольшими сафьянно-желтыми дыньками.

Волшебное слово «Бахчисарай» заставило мое сердце сжаться от восторга.

Иногда дорога шла, вырубленная в слоистых скалах. Каменистый склон, поросший жесткими степными цветами, почти вплотную придвигался к окну. Тогда сузившаяся полоса неба синела над ним особенно густо и дико.

И вдруг, первый раз в жизни, я наглядно ощутила, как громадна наша родина. Конечно, я знала и раньше, но как-то отвлеченно. Теперь я ощутила это во всей убедительной силе движения и пространства. Я уже видела Россию, видела Украину, вот теперь я еду по Крыму и вижу новое небо – третье небо за эти полтора дня. Скоро я увижу Черное море. А ведь можно было поехать и на север, увидеть тундру, вечные льды, северное сияние, оленей. Можно было поехать на восток, увидеть Волгу и потом – дальше, туда, где в песчаной

пустыне идут верблюды, где долины усеяны белыми коробочками хлопка. Можно было пересечь Урал и ехать, ехать, ехать по тайге, а потом повиснуть над Байкалом. И все это, куда ни поедешь, на тысячи километров вокруг, моя родина – молодая, веселая, счастливая, свободная.

Вдруг стало темно. Поезд вошел в туннель. Через минуту опять загорелось солнце. Но ненадолго. Начался второй туннель. Потом третий. Несколько раз резкий солнечный свет перемежался с душной тьмой туннеля. Но вдруг это утомительное зеркальное мигание прекратилось, как отрезанное. Поезд вырвался из последнего туннеля. Я бросилась к правому окну и ахнула, увидев перед собою внизу Севастопольскую бухту, такую яркую среди высоких пыльно-розовых берегов, точно она была налита зеленой краской.

В бухте стояло несколько старых, заржавленных пароходов, а далеко, у входа в открытое море, дымил линкор.

Через десять минут мы уже отчаянно торговались с хозяином линейки, который должен был отвезти нас в Георгиевский монастырь, в наш дом отдыха.

– Стало быть, Георгиевский монастырь. Так и запишем, – сказал за нами веселый голос.

Конечно, это был наш вчерашний весельчак Петя. С макинтошем на руке и лейкой через плечо он шел мимо нас к большому открытому автомобилю, белому от пыли.

– Мы к вам непременно приедем в гости. Ждите.

– Пожалуйста, если вам нечего делать, – сказала Дуся высокомерно.

Машина, наполненная людьми и чемоданами, тронулась. В ней было несколько человек в форме Гражданского Воздушного Флота. Среди них я увидела того, другого, с трубкой. Он смотрел на меня с робкой, вопросительной улыбкой. Машина развернулась и скрылась за поворотом в облаках известковой пыли. Жгучая, радостная тревога охватила меня.

Мы с Дусей сели на линейку спиной друг к другу и поехали...

Это была очень плоская пыльная степь, оканчивающаяся вдалеке темной чертой моря, проведенной твердо, как по линейке. И на этой черте белела свечка Херсонесского маяка.

Под колесами линейки хрустели маленькие известковые ракушки. Пахло полынью. И мы ехали по этой степи на линейке, усталые и взволнованные.

Все оказалось совсем не так, как я себе представляла в Москве. Не было ни кипарисов, ни мраморных львов, о которых так много распространялась Дуся. Выяснилось, что все это есть, но не здесь, а где-то в другом месте, где путевки стоят гораздо дороже. В общем, мы заехали, как говорится, не туда. Конечно, это тоже был Крым, но не совсем тот. Однако и здесь было великолепно – лучше не надо. В жизни я не видела ничего подобного.

Дикая степь обрывалась сразу. Взгляд летел в пустоту. С высоты ста пятидесяти метров, вдруг, прямо из-под ног – совершенно вертикально, – вставало море. Сверху нельзя было понять – спокойно оно или нет, до того мелкими, неподвижными казались морщинки волн, высеченные на его громадной поверхности. Море было как пустынный каменный двор, чисто выметенный и посыпанный песком. И оттуда дул широкий, удивительно чистый ветер, круживший платье и относивший его в сторону.

## IX

Дом отдыха помещался в бывшей монастырской гостинице. Это было длинное белое здание с зеленой крышей. Нас поселили во втором этаже, в небольшой комнате, выбеленной мелом. Стены были очень толстые. Окна и балкон выходили в море. Под балконом росло большое старое дерево грецкого ореха. Дом отдыха был бедный, мало известный. Почти никто сюда не ездил. Отдыхало человек пятнадцать, не больше.

Нам выдали из кладовой постельные принадлежности. Мы сами набили тюфяки и подушки жестким степным сеном, в котором было много сухой ромашки. Затем, подоткнув юбки, мы в два счета вымыли желтый, раскаленный от солнца, пол. В комнате тотчас запахло, как в бане, распаренным веником.

Две недели прошли однообразно, но совсем не скучно. За все это время было только одно происшествие. В первый же день я пошла купаться, забылась, и меня страшно обожгло солнцем. С малиново-

красными плечами и спиной я пролежала несколько дней в постели. У меня сильно поднялась температура. Обожженная кожа мучительно болела. Грубые простыни причиняли страданье. Сквозь тюфяк кололи стебли ромашки. Я стонала, не находя себе места: Дуся мазала меня вазелином и ореховым маслом.

По ночам я бредила, задыхаясь от жары. Все вокруг казалось мне жарким, как в духовом шкафу. Даже непривычно яркий лунный свет казался горячим, назойливым. И вместе с тем что-то любовное, страстное все время томительно мучило мою душу, тяжело давило воображение. Я была влюблена. Но если бы мне тогда сказали это, я не только бы не поверила, но даже не поняла, о чем идет речь.

Скоро я выздоровела. Дуся содрала с моей спины обгоревшую кожу, сухую и тонкую, как папиросная бумага. Новая нежно-розовая кожа чесалась, но это было даже приятно. И от моей болезни осталось только это нежное чесанье между лопатками да еще какое-то смутное чувство потерянной свободы и тревога ожидания.

Я опять стала купаться.

За несколько дней до отъезда мы с Дусей утром спустились на берег. Там у нас было облюбованное местечко, где мы за камнем раздевались. Обычно, немного повалявшись на гальке и походив вдоль берега по колено в воде, мы бросались в море и плыли к скалистому островку метрах в ста от берега. Мы и в Москве-реке, на водной станции «Динамо», плавали недурно, а здесь, в соленой воде, которая чудесно держала, плавали и вовсе хорошо. Меня стиль – то кролем, то анбрас, – мы доплыли до своего острова и вскарабкались на него, царапая колени об острый ноздреватый камень. Наверху была площадка, а на ней – нечто вроде алтаря или цоколя солнечных часов. Здесь, в уединении и тишине, мы обыкновенно ложились на раскаленный камень и лежали, поворачиваясь к солнцу то спиной, то грудью, до тех пор, пока не высыхали наши волосы и купальные костюмы.

Это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Мы лежали, ни о чем не думая, не разговаривая, зажмурясь от ослепительного блеска, бывшего в глаза с двух сторон – сверху, с неба, и снизу, из воды. Мы лежали, сонно прислушиваясь к стеклянному хлюпанью маленьких волн. Иногда краем глаза сквозь высохшие ресницы, между которыми чувствовались мельчайшие крупинки соли, я видела то опрокинутое

море со скалами и мутно-лиловым мысом Фиолент, то нежно-голубую черту горизонта, над которой невероятно далеко висел длинный дымок парохода.

Вдруг я услышала бегущий по воде торопливый звук колотушки. Он звонко стучал в наш камень. И прежде, чем я поняла, что это моторная лодка, прежде, чем увидела ее – эту моторную лодочку с легким подвесным двигателем, – сердце мое вздрогнуло и внутренний голос сказал: это он.

– Ага! Поймались! – кричал один из трех человек, сидевших в ялике.

Круто повернув, ялик шел прямо к острову. Не успели мы и глазом моргнуть, как ялик стукнулся носом, и Петя проворно вскарабкался к нам наверх, в добела выгоревшей байковой пижаме со шнурками на груди и в парикмахерской сетке на голове. Следом за ним на скале появился его старший приятель. На нем была такая же санаторная пижама, а на голове в виде чепчика был надет мокрый носовой платок, завязанный по углам узелками.

Он потемнел, похудел, помолодел. Он смотрел на меня все с той же своей робкой, вопросительной улыбкой. Эта родная улыбка сказала яснее всяких слов, что он все время думал обо мне и с нетерпением ждал встречи. И я, не скрывая радости, ответила ему точно такой же улыбкой.

Нина Петровна замолчала.

– Ну, что же было потом? Боже мой, какая потом пошла веселая чепуха! – сказала она, ложась на спину и кладя под голову руки.

Она неподвижно смотрела в небо немного прищуренными глазами, как будто видела там все то, о чем рассказывала.

– Потом мы все стали хохотать, пожимая друг другу руки с преувеличенным чувством курортной близости. Вообще мы встретились, как старые знакомые. Оказалось, что они сбежали из санатория, где их замучили режимом. Они специально заехали за нами, чтобы покатать нас на моторной лодке. Ялик они наняли в Симеизе у рыбаков, а двигатель принадлежал третьему из компании, некоему Яше, который оставался в ялике и возился со своей капризной машиной.

План был такой: зайти в Балаклавскую бухту, погулять в Балаклаве, посмотреть развалины генуэзской башни, выкупаться и к



вечеру вернуться домой, в Георгиевский монастырь. Я тотчас с радостью согласилась. Дуся стала отказываться.

– Что вы! Как можно? – испуганно говорила она, поглядывая вверх, на видневшиеся в зелени зеленые крыши нашего дома отдыха. – Никак нельзя. В другой раз когда-нибудь.

– Когда же в другой раз, коли вы на днях уезжаете? – окол Андрей, глядя на меня умоляющими глазами. – Повлияйте, пожалуйста, на вашу подругу.

Я пыталась влиять.

– Нет, нет, – говорила Дуся. – Ни за что. Они еще нас куда-нибудь завезут, а потом утопят. Еще застрянем где-нибудь по дороге с этим никуда не годным моторчиком.

– Ручаюсь, чем хотите! – кричал Петя, таща Дусю за обе руки в шлюпку.

– Пустите! Ни за что!

– Повлияйте на свою подругу, – продолжал бормотать Андрей.

– Она поедет, не беспокойтесь, – шепнула я Андрею. – Она так только. Капризничает.

Я отлично знала, почему Дуся отказывается. Ее приводила в ужас мысль, что мы пропустим завтрак и обед, за которые были заплачены деньги. А ехать ей ужасно хотелось. Она упиралась. Все-таки Пете удалось втащить ее в лодку. Мы подъехали к берегу за нашими платьями. Здесь Дуся сделала отчаянную попытку выскочить из ялика. Но Петя крепко держал ее за руки. Спрыгнув по пояс в воду и всех облив, Андрей сбегал на берег и принес наши платья, держа их над головой.

– Яша, давай газ! – закричал Петя с таким отчаяньем в голосе, как будто от этого зависела его жизнь. – Право руля! Пошли!

Стуча, фыркая и отвратительно воняя бензином, ялик пошел в море. Его подхватили волны.

– Ей-богу, вы нас опрокинете где-нибудь, – говорила Дуся уже не так сердито. – Пустите руки. Дайте хоть, по крайней мере, надеть платье.

В это время на горе стали бить в рельс. Это был сигнал к завтраку. Дуся чуть не заплакала.

– Ну вот видите, – с откровенной досадой проговорила она, – и завтрак пропустили, и обед пропустим, и все на свете! Ну вас, в самом

деле!

– Какой же это завтрак? – сказал Петя. – Небось одна манная каша на воде и больше ничего.

– Это не важно. За нее деньги заплачены.

– Ничего, мы вас такой камбалой угостим в Балаклаве, что закачаетесь, – сказал Андрей, потирая руки.

– Не знаю я никакой вашей камбалы! – заметила Дуся ворчливо.

– А то как хотите, можно и повернуть, – сказал Петя лукаво.

– Чего там поворачивать. Уже все равно пропустили. – И вдруг, сверкнув загоревшимися глазами, бесшабашно крикнула: – Ехать так ехать!

И мы все опять захохотали без всякой основательной причины.

## X

Наше внезапное путешествие в Балаклаву удалось на редкость.

В первую же минуту между всеми нами установились очень правильные и очень ясные отношения, что чрезвычайно важно для всякой компании, в особенности новой.

Петя сразу понял, что ухаживать за мной бесполезно. Он перенес свое внимание на Дусю и с первых же слов вступил с ней в отчаянный любовный поединок. Он непрерывно атаковывал ее то шутками, то колкостями, то комплиментами, то лирикой. Он и не подозревал, бедняга, что Дуся, как говорится, другому отдана и будет век ему верна. А Дуся коварно умалчивала о том, что у нее в Москве остался «один человек», которого она любит без памяти. Она отбивала все Петины атаки, однако так осторожно, чтобы не потерять симпатичного и остроумного кавалера. Дуся чувствовала, что я это понимаю. И мы иногда, посмотрев друг на друга, начинали громко смеяться, хотя со стороны и могло показаться, что мы смеемся без всякой причины, как дурочки.

Андрей лежал рядом со мной на носу, крупный, плотный, – и по тому, как он старался не прикасаться своим плечом к моему плечу, я чувствовала всю его любовь и деликатность.

Высунувшись вперед и свесив головы, мы смотрели в несущуюся мутно-зеленую воду.

Пятый в нашей компании – Яша, которого в шутку называли «страдальцем за технику», или «извозчиком», был всецело поглощен своим чихающим, капризничающим мотором и какой-то засорившейся трубкой, «черт бы ее побрал».

И с каждой минутой мое сердце все жарче и жарче разгоралось, как бы раздуваемое широким морским ветром.

В Балаклаве мы замечательно пообедали во дворике у одного рыбака. Правда, хваленной камбалы не оказалось, но зато пожилая гречанка, с очень черными жирными волосами и доброжелательной улыбкой на желтом усатом лице, принесла нам в беседку громадную сковородку султанки. Маленькие розовые рыбки были связаны за хвосты пучками, по пяти рыбок в пучке. Они были почти досуха изжарены в оливковом масле и хрустели на зубах, как сухари: их можно было есть прямо с костями. Несмотря на лампадный вкус жареного масла, я не едала ничего более вкусного. Затем нам подали фаршированные баклажаны, приготовленные по-гречески, маслины и овечий сыр. Маслины мы с Дусей попробовали, но тотчас с ужасом выплюнули, чем вызвали презрительный смех мужчин. Все же остальное нам очень понравилось, и мы наелись до отвала.

– Это вам не манная каша, – назидательно сказал Петя, как бы нечаянно обняв Дусю, но тотчас получил по рукам и обиженно отодвинулся.

Он посмотрел на меня, глубоко вздохнул и сказал:

– Ах, Ниночка, Ниночка, ей-богу, вы меня недооценили.

– Увы, Петя.

Мы выпили вина. Петя, Андрей и Яша с большим удовольствием пили мутное белое вино, принесенное из холодного погреба в глиняном домашнем кувшине. Но это вино было кислое. Ни мне, ни Дусе оно не понравилось. Мужчины опять посмотрели на нас с презрением. Специально для нас был заказан розовый мускат. Мы выпили его по лампадочке и совершенно разомлели.

Солнце стояло еще высоко. Короткие лиловые тени резко лежали на песке дворика. Осы летали над черной бутылкой муската. Маслянисто благоухали в зеленых кадках олеандры, осыпанные маленькими розовыми цветочками. Во дворе валялись якорь с облупившейся киноварью и несколько больших сухих пробок от сетей.

А сердце мое все разгоралось и разгоралось.

После обеда мы лазили на крутую гору осматривать развалины генуэзской башни. То Андрей, опередив меня, втаскивал меня за руку к себе, то я, опередив Андрея, подавала ему сверху руку и с трудом тащила к себе. В зияющих бойницах башни свистел морской ветер. Я взобралась на башню, на самый верх, и стояла там выше всех, развеваясь, как флаг. Я видела под собой всю балаклавскую бухту, отпечатанную, как на карте.

Посредине бухты под всеми парусами стоял на якоре старинный корабль. Он казался совсем небольшим. Это была киноэкспедиция, снимавшая художественный фильм «Дети капитана Гранта». *(Еще перед обедом мы заметили на набережной очень смешного и высокого Паганеля с подзорной трубкой под мышкой. Нам сказали, что это артист Черкасов.)*

Пять торпедных катеров – два, еще два и немного позади один, – роя воду, молниеносно промчались мимо, с загнутыми вниз хвостами пены, как на охоте с борзыми.

Все эти подробности – и дым эскадры на горизонте – вдруг как-то соединились в одном чувстве счастья и страха за это счастье.

Мы возвратились домой поздно вечером при лунном свете. Прощаясь со мной, Андрей взял мою руку в обе свои большие руки, долго качал ее, как бы не желая с ней расстаться, и, наконец, сказал необыкновенно нежно и грустно:

– Что же теперь будет, Ниночка?

– Не знаю, – сказала я шепотом.

Поднимаясь с Дусей наверх, мы увидели маленький силуэт нашей моторной лодочки, который прошел назад, пересекая широкое золотое поле лунного света.

Полынь над обрывом была совсем белая, серебряная. Ярko светилась облитая голубым лунным светом старая монастырская колокольня, а направо, внизу, ясно виднелись в бурьяне белые камни, как говорили, – обломки храма Дианы. Далеко на обрыве стояла черная тень часового. Там где-то была спрятана береговая батарея. И то, что в мире еще существуют какие-то батареи, казалось совершенно непонятным.

А в общем, все это было волшебным.

Мы не сразу пошли спать, а еще очень долго сидели на длинной скамье над обрывом вместе с большой компанией курортников и пели

хором все то, что полагается петь в таких случаях – «Из-за острова на стрежень», «Виют витры» и «Ой, полным-полна коробушка». Дуся была немного смущена и рассержена. Я отлично понимала, в чем дело. Когда мы возвращались домой в лодке, она позволила Пете слегка обнять себя за плечи, и теперь ее мучила совесть.

Когда мы пришли в свою обитель, я тотчас легла спать, а Дуся достала свечку, – у нее в чемодане был на всякий случай огарок, – зажгла его и долго и быстро писала длинное письмо своему «одному человеку». Она часто останавливалась и вздыхала.

До нашего отъезда я еще несколько раз виделась с Андреем. Раза два или три он появлялся у нас в Георгиевском монастыре, один, без Пети. Мы гуляли с ним вдвоем, надолго уходя в степь, или сидели на нашем балконе, любясь морем и скалами, торчащими из зеленой воды, как серые паруса. За эти несколько встреч я близко узнала Андрея, и он мне еще больше понравился. Всей душой я чувствовала его прямой, открытый характер, его внутреннюю силу, всю прочность, надежность его отношений ко мне. Трудно объяснить, но я точно знала, что это – настоящее. Мы, женщины, в таких случаях редко ошибаемся. Я любила Андрея, и эта любовь всецело овладела мною. Она как-то возвысила мою душу, наполнила ее счастьем и гордостью. Вместе с тем о своей любви мы совсем не говорили. Она подразумевалась.

Через несколько дней мы уезжали. Хотя мы и не уговаривались с Андреем, но я знала, что непременно увижусь с ним до отъезда. Однако он не появлялся.

Поезд уходил в полночь. Мы с Дусей приехали в Севастополь в девятом часу. Первый человек, которого я увидела, слезая у вокзала с линейки, был Андрей. Я несколько не удивилась, только у меня похолодели руки. Однако я заметила, что Дуся тоже не удивилась. Все было так, как должно было быть. Вместе с тем кровь горячо прилила к моей шее, стала подниматься по щекам, по ушам, она горела у корней волос. Я не могла выговорить ни одного слова, до того стало мне душно. Даже слезы выступили на глазах. Только теперь я почувствовала, в каком страшном душевном напряжении жила я последние четыре дня, сама того не понимая.

А он стоял передо мной все с тем же виноватым выражением добрых серьезных глаз, как бы говоря: что же теперь с нами будет,

Ниночка?

С помощью Андрея мы сдали свои вещи в камеру хранения. Он предложил нам на прощанье погулять по Севастополю, съесть на бульваре мороженого. Дуся тотчас отказалась, сославшись на усталость.

– А ты, Ниночка, иди, только смотри не опоздай.

Я даже не нашла в себе силы ее уговаривать. Я уже ничего не соображала. Я взяла Андрея под руку и виновато посмотрела на Дусю. Дуся ласково улыбнулась.

– Ничего, идите. Я буду в зале ожидания.

Дальше все было, как во сне. Мы, конечно, опоздали.

## XI

С тех пор прошло три года. Мало это или много? Как будто бы пустяки. Но, боже мой, какие страшные опустошения произошли за эти три года в моей душе, в моей жизни! Со мной больше не было Андрюши. Не было моей любви, моей радости. Я была совершенно одна. Избегая одиночества, я почти все свое время – и дни и ночи – проводила на заводе.

Я уже привыкла к нашим холодным, неуютным цехам, из которых до сих пор еще не выветрился запах конюшни. Теперь они – эти цехи – уже не казались мне такими унылыми, мрачными, как в первые месяцы эвакуации.

Вы помните, что делалось осенью сорок первого года? Станки прибывали по железной дороге в беспорядке. Их разгружали с площадок, и их нельзя было оставлять на товарном дворе под дождем и снегом. Их надо было тотчас везти на завод и устанавливать.

Промедление было подобно смерти. Монтаж такого завода, как наш, в мирное время производился обыкновенно пять, шесть месяцев. Мы это сделали в несколько дней. Станки еще шли по железной дороге, а мы уже приготовили для них места, вычертили все схемы. Мы не имели права терять ни одной минуты. Не хватало подвод и грузовиков. Иногда приходилось с вокзала до завода тащить станки на себе. Мы тащили их волоком, подложив катки, по чудовищной грязи,

напрягая последние силы, до крови натирая руки и спины жесткими канатами.

Еще в цехе не был проведен сжатый воздух, еще не было оборудовано отопление, а мы уже стали выпускать продукцию. Но вы представляете себе, чего нам это стоило? То, что в эти дни совершили русские рабочие, могли совершить только герои, богатыри!

Помните, как рано в том году началась зима? Листья еще не успели слететь с деревьев, даже еще не успели пожелтеть как следует, а уже выпал глубокий снег. Под его тяжестью гнулись и ломались ветки низкорослых кленов. Из-за Волги по целым неделям без перерыва несло мокрой ледяной крупой. Волга стала неприветливой, темной. Неприветливым, темным было небо, низко и сумрачно лежавшее над грязным чужим городом, куда мы попали. Днем и ночью с затонов доносился мрачный крик пароходов, напоминавший нам сирены воздушной тревоги.

Вдруг ударили небывало ранние тридцатиградусные морозы. Волга окаменела, охваченная паром. Водопроводные трубы лопались в цехах. Вода лилась с потолков и замерзала. Стены, окна, перекрытия – все покрыл толстый серый иней. Руки примерзали к станкам. Их отрывали, оставляя на железе кожу. Казалось, в таких условиях работать выше человеческих сил. Но мы работали. Мы раскладывали в цехе костры. Они горели, треща и дымя, как в мрачной снеговой пещере.

Ох, какое это было кошмарное время! Вспомнить страшно. Украина занята. Белоруссия занята. Ленинград в кольце. Волоколамск. Истра. Подумайте только – Истра! Проносится слух, что немецкие танки в Химках.

А дни все короче, свету все меньше. С утра начинаются сумерки. Ветер свищет и стонет в телефонной проволоке, гудит в столбах. Синие искры мерцают на антеннах областного радиоцентра. И весь день, весь этот короткий день, подавленный ранними сумерками, в бумажных тарелках репродукторов слышится однообразная, нескончаемая, непрерывно повторяющаяся музыкальная фраза местных позывных. Похоже, что кто-то неуверенно, нота за нотой, с большими паузами вызванивает на зубьях железной гребенки эту мучительную, нескончаемую музыкальную фразу. Дойдет до конца, остановится и начнет сначала. Бесконечно, однообразно до тех пор,

пока вдруг что-то не щелкнет и роковой голос не скажет: «Говорит Москва. От Советского Информбюро. В результате тяжелых боев, под давлением превосходящих сил противника нашими войсками оставлен город...»

И низкое небо опускается еще ниже.

Но самое поразительное было то, что в эти черные дни завод давал больше продукции, чем до войны, в Москве. Люди не отходили от станков по несколько суток. Они еле стояли на ногах. Но их нельзя было заставить уйти домой и отоспаться.

Да... но я, кажется, начала что-то другое... Я хотела вам рассказать о первом дне своего вдовства. Что ж. Это был ничем не замечательный заводской день. Жизнь, равнодушная к моему горю, двигала меня по своим рельсам. Поговорив с Абрашей Мильком, я пошла в свою маленькую конторку, отгороженную от цеха фанерой. Тут стояли мой стол и раскладушка, на которой я иногда спала. Теперь все мое внимание, все мои душевные силы были поглощены эмульсией. Абраша Мильк совершенно прав. Я уже давно обратила на это внимание. У меня даже был один проект. Да все как-то не доходили руки. Теперь я решила заняться эмульсией вплотную. Я взяла план цеха и стала рассматривать его. Скоро мне показалось, что я знаю, как надо сделать. Я вынула из сумочки карандаш и стала набрасывать схему.

Работа так захватила меня, что некоторое время я не только не думала о своем горе, но даже совсем забыла о нем, будто его и вовсе не было. Я работала и, как всегда, машинально думала о войне и об Андрее, от которого что-то давно нет писем. Я даже немножко сердилась на Андрея за то, что он так редко пишет. «Если бы он чувствовал, – думала я, – как я о нем беспокоюсь и как я его люблю, он бы нашел время черкнуть мне хотя бы несколько слов. Но это ничего. В конце концов это не так важно. Пускай пишет редко, лишь бы только с ним ничего не случилось». И вдруг в моем сознании точно зажглась молния: это уже случилось. Боже мой, как я могла забыть! На миг я оцепенела. Карандаш выпал из пальцев. Меня охватил новый порыв отчаяния. Я готова была завывать от боли. Но в это время скрипнула фанерная дверь. В конторку вошел Волков, рабочий-пенсионер, в начале войны добровольно вернувшийся на завод. Это



был неприятный старик с дурным характером, и я его, признаться, не любила.

У него был длинный и толстый, как бы опухший нос и серая щетина на худых, крупноморщинистых щеках. От него всегда исходил устойчивый запах кислого пота, махорки, железа, а часто и водки.

Не глядя на меня, – что было в его обыкновении, – он сел на мою раскладушку, выложил свои крупные рабочие руки на потертые колени, не торопясь, плюнул на пол и растер валенком, подклеенным оранжевой резиной. Он сказал, помолчав:

– Не пойдет наше дело, уважаемая барышня. Не ждите.

После этого он посмотрел мне прямо в глаза своими резкими, как у козы, глазами. Он поджал узкий рот и стал, не торопясь, стучать пальцами по коленям, давая понять всем своим видом, что больше от него не дождешься ни одного слова.

Я хорошо знала его упрямый, недоброжелательный характер. Особенно придиричиво – казалось мне – он относился ко мне. Он с насмешливым пренебрежением смотрел на мою молодость и на мое инженерство. Он считал меня выскочкой. Мне казалось, что он постоянно исподтишка наблюдает за мной, ловя мою малейшую ошибку, малейший шаг в сторону. Разговаривая со мной, он всегда называл меня: «многоуважаемая барышня», или «товарищ командир производства», или еще как-нибудь в этом роде. В его козьих глазах я всегда читала, примерно, следующее: «Ну-ка, ты, командир производства. Посмотрим-ка, что ты мне скомандуешь».

Он был знаменитый рабочий, лучший стахановец шлифовального цеха. Я его, конечно, уважала, но всегда была с ним начеку, чтобы как-нибудь перед ним не уронить своего авторитета. Я знала, что как бы то ни было, а все-таки не он, а именно я командир производства: я несу ответственность; и я очень дорожила этим своим положением и больше всего боялась уронить себя в глазах рабочих.

Он был упрям. Но упряма была и я. Когда он замолчал, я сделала вид, что погружена в работу и забыла об его существовании. Мы долго молчали. Это меня раздражало. Мое раздражение росло. Все-таки он меня перемолчал.

– Я вас слушаю, – сказала я наконец о напускной небрежностью.

– Не пойдет наше дело, уважаемая барышня, – повторил он, продолжая стучать пальцами.

– Короче, – сказала я сухо.

– Не длинней воробьиного носа, товарищ командир производства, – сказал Волков и опять надолго замолчал.

– Я занята.

– Все мы здесь заняты, уважаемая девица.

– Я не вижу, чтобы вы были заняты. Сейчас рабочее время. А вы зря тратите его на непонятные разговоры. Или говорите, или уходите. И вообще, почему вы самовольно прекратили работу и ушли от станка?

Я раздражалась все больше и больше. Он оставался невозмутим.

– Мое дело маленькое. Есть детали – шлифую. Нет деталей – не шлифую. За мной остановки нет. Зря хлеб не ем. Чем мне замечания делать, вы бы лучше, девица, велели детали вовремя подавать. А так дело не выйдет. Я лучше обратно на пенсию пойду, чем валять эту петрушку.

– Как не подают деталей? Почему?

– Это вам должно быть известно. Вы у нас инженер-технолог. А мое дело заявить.

Он встал и пошел на своих согнутых ногах к двери.

– Подождите! – крикнула я.

– Мое дело заявить, – повторил он. – Наладили технологический процесс. Ничего себе. Эх вы, наладчики. Тьфу!

Он плюнул и решительно вышел, стукнув задрожавшей фанерной дверью.

– Только без грубостей, – сказала я, сдерживая голос.

Я была возмущена, хотя в глубине души понимала, что Волков прав. Станки в цехе были расставлены нехорошо. Много рабочего времени уходило на подачу деталей. Склады находились далеко, а не было ни вагонеток, ни тележек. Детали переносили вручную в тяжелых ящиках, на что также уходило много сил и времени.

## XII

Давно уже следовало переставить станки. Надо было действовать.

Я пошла советоваться в конструкторское бюро. Там у меня были старые приятели, инженеры. Из конструкторского бюро, где мое

предложение приняли очень хорошо, я ходила в заводоуправление, потом к главному инженеру, потом добивалась, чтобы этот вопрос незамедлительно поставили на бюро. Одним словом, пока мне удалось хоть сколько-нибудь двинуть это дело, прошел день, и я даже не заметила, как он прошел, – первый день моего вдовства.

И самым ярким впечатлением этого дня – как ни странно – было не чувство моего горя, не мысли о погибшем Андрее, а живая и веселая сценка, которую я наблюдала, пробегая в конце первой смены через роликовый цех. Я увидела минуту Мусиного триумфа.

Что было до моего прихода, я не знаю. Но в тот миг, когда я вошла в цех, смена только что кончилась, и все стояли возле Мусиного станка. Девочка аккуратно обтирала его тряпкой. Затем она, не торопясь, повесила ветошку на гвоздик и вытерла руки о полу своей шинели. Она поправила русые косы, связанные на затылке кренделем, и, ни на кого не глядя, быстро пошла к Хозиному станку. Она сняла с Хозиного станка красный флажок, быстро вернулась и укрепила флажок на своем станке. А Хозя в это время, отставив ногу, одиноко стоял в стороне, жадно курил и делал вид, что все это ему абсолютно безразлично. При этом на лице его блуждала глупая улыбка, которую он старался подавить и не мог, и черные глаза его завистливо блестели. Установив на своем станке флажок и, кроме того, еще попробовав, хорошо ли он держится, Муся, не глядя ни на кого, а в особенности на Хозя, прошла к выходу мелкой деловой походочкой, строго задрав свой подбородок, маленький, как булочка. Она прошла так близко от Хози, что чуть не задела его плечом. Однако, проходя, не удержалась, сказала:

– Съел?

И вдруг с молниеносной быстротой высунула и спрятала язык, свернутый в трубку.

Хозя побледнел от обиды. Он выплюнул сигарку и яростно крутнул ее каблуком. Но в этот миг он увидел меня и сдержался.

– Видели такое дело, Нина Петровна?

– Я ж тебя предупреждала.

– Ничего. Завтра я ей дам духу, – сказал Хозя сквозь зубы.

– Увидим.

– Точно.

Я вернулась домой поздно, часу в одиннадцатом, выпила чашку молока и сейчас же легла в постель. Мне хотелось поскорее думать об Андрее. Но вместо этого я сразу же, как только согрелась, заснула глубоким холодным сном без чувств и сновидений.

Несколько дней, а может быть, и недель прожила я в таком странном состоянии. Странность его заключалась в том, что, несмотря на исключительность для меня и новизну моего положения, ничего ни нового, ни исключительного не происходило. Все вокруг было по-прежнему. И по-прежнему почему-то я особенно ревниво скрывала от всех смерть Андрея. Вероятно, в самой глубине души я еще надеялась, что все-таки он жив. Ведь бывают же ошибки.

Смерть Андрея была сама по себе, а моя жизнь – сама по себе. Никакой ощутительной связи между ними не было. Иногда мне это казалось ужасным. Но чаще я совсем не думала об этом, занятая неотложными делами цеха, где началась перестановка станков.

Но вот однажды вечером, едва я вошла в сени, хозяйка сказала:  
– Вам письмо.

Она подала мне знакомый треугольный конверт, надписанный рукой Андрея. В этом я не могла ошибиться. У меня потемнело в глазах. Я схватилась рукой за косяк двери. Безумная надежда вспыхнула в последний раз.

Я вбежала в комнату и упала на стул. Ничего не видя вокруг, я развернула дрожащими пальцами конверт. «Дорогая Нина, прости, родная, что я так долго тебе не писал», – прочитала я эти слова, написанные знакомым спокойным и отчетливым почерком.

Я не смогла читать дальше. Я посмотрела на дату, которую он всегда аккуратно выставлял в начале письма. Я прочла: «8 марта 1942 года. Лес». Тогда я вынула из сумочки извещение. Мне стоило невероятных трудов развернуть его и прочесть. Некоторое время я сидела с закрытыми глазами. Наконец, я заставила себя прочесть. Было написано: «Погиб смертью храбрых, выполняя боевое задание, 9 марта». Напрасно я надеялась. Все было до боли ясно. Извещение опередило письмо, а письмо было написано накануне этого.

Это было его последнее письмо. Больше уже писем не будет никогда. Ну что ж, я так и думала.

Некоторое время я сидела неподвижно, глядя в угол. Потом я спокойно прочла письмо. Оно было не слишком длинное и не

содержало ничего особенного. Но теперь, когда я наверное знала, что Андрея уже нет на свете, каждое слово его письма казалось мне полным особого значения и таинственного смысла.

«У нас все по-старому, – писал между прочим Андрей, – на фронте довольно тихо, работы мало. Но это, как говорится, – сегодня пусто, а завтра густо. Раз на раз не приходится. Живем помаленьку, по мере сил очищая советское небо от фашистской нечисти. Погода прекрасная, еще по-зимнему крепкая. Но в воздухе, знаешь ли, уже чувствуется что-то такое этакое, необъяснимо весеннее. Днем на солнышке заметно припекает, так что наши снеговые взлетные дорожки кое-где потемнели, как говорится, начали малость потеть. Впрочем, соловьев еще вокруг не наблюдается, а в кустиках чирикают и суется какие-то глубоко зимние среднерусские птахи. Сегодня 8 марта – женский день. По сему случаю обед у нас запоздал на три часа, ибо все наши военторговские нимфы и подавальщицы из комсомольской столовой объявили забастовку и загуляли. Но мы на них не в обиде. Пусть гуляют, сердешные. Их день! По случаю праздника за обедом выпили положенные сто грамм за наших отсутствующих подруг. Я выпил за тебя и мысленно поцеловал твою милую руку за ту любовь и счастье, которые ты мне дала. Как-то ты там живешь на высоком берегу моей родной Волги? Не скучно ли тебе, моя дорогая солдатка? Не грусти, родная. Все на свете проходит. Пройдет и наша разлука. Верь, что мы опять встретимся и заживем с тобой еще лучше прежнего. А пока что не будем унывать, а будем крепко лупить врага в хвост и в гриву. Я в гриву, а ты в хвост. Или наоборот. Как тебе больше нравится. Договорились? Да, между прочим, чуть не забыл. Ты знаешь, кто недавно пришел к нам в часть? Ни за что не отгадаешь. Петька! Ей-богу! Помнишь Петьку? Тот самый Петька, который проводил с нами то незабвенное времечко на Южном берегу Крыма и безуспешно ухаживал за твоей подружкой. Чудеснейший парень и мой старый друг, хоть годами далеко не стар, а, скорее, даже молод. Мы часто с ним вспоминаем те золотые денечки и много говорим о тебе. Между прочим, он мне признался, что не столько тогда увлекался твоей подружкой, сколько тобой. Темнил, сучья лапа. Вот хитрюга! Он тебе кланяется и целует ручку. Ах, хорошее было время! Вспоминаешь ли ты хоть изредка Севастополь – город нашей любви? Сильно ему, бедному, достается. Говорят – ни

одного целого дома. Сплошные развалины. Думали ли мы с тобой тогда, что так случится? Ну да ничего. Будет и на нашей улице праздник. Прощай, целую тебя крепко и нежно, моя дорогая подружка. Я ни о чем не беспокоюсь. Была бы ты здорова и счастлива. А за меня, пожалуйста, не волнуйся. Ни черта со мною не случится. Смерть – это дело не по моей части. Я бессмертен», и т. д.

С этого дня на некоторое время я успокоилась. Мне уже не на что было надеяться. Потянулись будни, полные однообразных забот. Работа поглощала все мои душевные и физические силы.

Я совершенно перестала заниматься собой. Я потеряла к себе всякий интерес. Иногда мне даже казалось, что личная жизнь для меня кончена навсегда. И меня охватывало ужасающее равнодушие. Но это лишь так казалось.

Где-то на самом дне души, подо льдом, неслышно бежала струя живой воды.

По-прежнему никто не знал о моем горе. По-прежнему я молчала. Может быть, именно поэтому мне и было так трудно, так тяжело оставаться наедине со своим горем. Может быть, потому я и старалась как можно чаще ночевать в своей фанерной конторке, в людном цехе, на раскладушке, лишь бы только не ночевать дома одной.

### XIII

Но вот однажды о моем горе узнали все.

Случилось это так. В конце первой смены ко мне за перегородку вбежала браковщица Женя Антипова. На ней лица не было. Она кинула передо мной на стол горсть промасленных роликов и, с трудом переводя дух, сказала:

- Нина Петровна, посмотрите, ради бога. Что-то невероятное!
- Что случилось?
- Брак.
- У кого?
- У Волкова.
- Ты с ума сошла.
- Проверьте сами.

Я схватила несколько роликов и пошла к миниметру. Женя Антипова была права. Все ролики оказались с браком: диаметр хорош, а параметр гранности сточен более чем на двадцать микронов, то есть гораздо больше допуска. Я не поверила своим глазам. От Волкова можно было ожидать всего: грубости, пьянства, даже иногда прогула. Но чтобы он запорол деталь – это было совершенно невероятно. Я еще раз проверила на миниметре его ролики и еще раз убедилась, что они непоправимо испорчены.

– Странно, – сказала я. – И большой процент брака?

Женя Антипова с отчаянием пожала плечами.

– Все брак, – сказала она коротко, и губы ее задрожали.

– Покажи! – крикнула я, не узнавая своего голоса.

Мы побежали в браковочную. Там на большом цинковом столе стоял ящик, наполненный роликами. Это была вся суточная выработка Волкова, что-то около пятидесяти тысяч роликов. Я стала обеими руками хватать их из ящика на выбор и один за другим вкладывать в миниметр. Стрелка миниметра колебалась. Все ролики без исключения были с браком. Я ужаснулась. За четыре дня до конца месяца – пятьдесят тысяч испорченных роликов! Не только для нашего цеха, но и для всего завода это была катастрофа.

Наталкиваясь на ящики, цепляясь ногами за проводку сжатого воздуха, я бросилась в цех.

Волков стоял, сгорбившись, у своего станка и быстро сыпал в бункер ролики. Его большие черные руки дрожали. Козьи глаза смотрели вниз. Они казались стеклянными.

– Что это значит? – сказала я, протягивая ему горсть бракованных роликов.

Он бессмысленно посмотрел на меня.

– Вы понимаете, что вы сделали? – сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее.

Он продолжал молчать, и ролики все так же автоматически быстро падали из его дрожащих рук в бункер.

– Сейчас же остановите станок, – сказала я.

Он молчал, как будто не понимая, что от него требуется.

– Сию же минуту остановите станок! – закричала я. – Я вам приказываю!

Он молчал и не двигался с места. Я с ненавистью посмотрела на грязную щетину на его щеках, на его согнутые ноги в разношенных валенках, подклеенных оранжевой резиной.

– Вы просто пьяны! – крикнула я. – Отойдите от станка.

Он послушно отошел. Я остановила станок, схватила гаечный ключ и, срывая ногти, сняла фартук станка. Я сразу поняла, что станок не налажен. Положение и толщина ножей были явно – даже на глаз – неправильны.

– Как же вы смели работать на неналаженном станке? – сказала я с отчаянием.

Но так как Волков продолжал молчать, я махнула рукой и крикнула наладчика.

Наладчик Власов, такой же старый рабочий-пенсионер, как и Волков, был уже давно тут. Он стоял, выдвинувшись из толпы, и укоризненно покачал головой.

– Почему не налажен станок? – жестко сказала я.

– Так ведь, Нина Петровна, сами знаете, – сказал Власов, растерянно ворочая руками. – Василий Федорович всегда лично налаживает свой станок. Он никогда к нему никого близко не подпускает. И грех жаловаться: никогда никакого беспорядка не случалось. Что ж это ты, Василий Федорович? – сказал он укоризненно Волкову. – Гляди, что наделал? Пятьдесят тысяч деталей запорол. Ведь это такая беда для всего завода, что жуть берет! Как же это тебя угораздило?

– Да что вы к нему обращаетесь? – грубо закричала я, возмущенная добродушным голосом Власова. – Разве вы не видите, что он вдребезги пьян?

– Никак нет, – побелевшими губами проговорил Волков, ставя ноги смирно, по-солдатски. Тень сознания мелькнула в его неподвижных глазах. Он, вероятно, только сейчас понял, что он наделал. И это его ужаснуло.

Услышав бессмысленное «никак нет», я почувствовала, что кровь бросилась мне в голову. Меня охватила такая ярость, что еще немного, и я бы ударила его по лицу. Все же у меня хватило силы сдержаться. Но голоса своего я уже не могла остановить.

– Вы понимаете, что вы сделали! – кричала я изо всех сил, так, что у меня сел голос. – Так поступают последние негодяи, вредители!



Понятно вам это?

– Виноват, – проговорил Волков, откашливаясь.

Это тупое, возмутительное откашливание окончательно лишило меня самообладания. Я начала кричать на весь цех. Я кричала низким, грудным голосом, который вдруг стал похож на голос моей матери, когда она была чем-нибудь взбешена. Это была та лишняя капля, которая переполнила мое раненое сердце. Все горе, которое я так долго скрывала в себе, вся душевная боль вдруг неудержимо, бурно вылилась из меня.

Я так торопилась высказать все, что не успевала договаривать фразы до конца. Слова в беспорядке наскакивали на слова. Мысли путались. Я захлебывалась.

– Люди воюют. А вы? Вы соображаете, что вы сделали? Запороть пятьдесят тысяч роликов! – кричала я на весь цех. – Лучшие люди отдают свою жизнь за счастье, за свободу. Каждую минуту, секунду льется за родину кровь. Святая кровь наших братьев, наших мужей. Вы соображаете, что такое для них ролик? Это самолет, пушка, танк. Поймите это, поймите... Сию же секунду уберите отсюда! Чтоб духу вашего не было! И имейте в виду, что это вам так не пройдет. Я не успокоюсь до тех пор, пока... Слышите? Не смейте торчать передо мной, как бревно. Ступайте!

– Нина Петровна, погодите, успокойтесь, – говорила Вороницкая, трогая меня за плечо своей мягкой рукой в вязаной перчатке с отрезанными пальцами. – Не кричите. Посмотрите на него. Вы же видите, что он не в себе.

– Он не в себе? – крикнула я, резко отстраняясь. – А я... Я в себе? У меня муж погиб на фронте, – неожиданно для себя сказала я. – Можете вы это понять или не можете? Боже мой, гибнут лучшие люди, настоящие герои, святые... А в это время какая-нибудь гадина в тылу... Ну, – спросила я Волкова, – вы еще здесь?

– Воля ваша, – покорно, дрожащими губами тихо сказал Волков.

Плохо попадая в рукава, он надел свой большой ватный пиджак, кое-как обмотал худую, старческую шею платком, взял в руки свой трех из собачьего меха и, сгорбившись, вышел из помещения.

Конечно, я не имела никакого права выгонять его из цеха и тем более – отстранять от работы. Это было самоуправство. И в другое время за Волкова непременно бы кто-нибудь вступился. Но я сказала,

что у меня погиб муж, и эта новость так поразила всех, что о Волкове никто больше не думал. В глубоком молчании все смотрели на меня.

– Какое горе, – сказала Зинаида Константиновна, – и давно это случилось?

– Ах, боже мой, – сказала я с раздражением. – Какое это имеет значение? Уже больше месяца. Теперь об этом не время говорить. Надо что-то предпринимать. С ума можно сойти. Не может же цех из-за одного негодяя оставаться в таком позорном прорыве.

Я круто повернулась и пошла в свою конторку. Но, вместо того чтобы сесть к столу, я легла на раскладушку и закрыла глаза.

– К вам можно? – осторожно спросила Зинаида Константиновна.

Она вошла ко мне на цыпочках, как к больному. Она села боком на раскладушку и положила свою щеку на мою.

– Бедненькая моя, – сказала она тихо. – Как же вы, наверное, все это время страдали! И никому не говорили. Разве можно? Ведь так и известись недолго. А у вас впереди еще целая жизнь.

– Моя жизнь кончена, – сказала я, чувствуя необычайную легкость, почти счастье оттого, что наконец могу говорить так просто и так откровенно о своем горе.

– Это вам так кажется, – сказала Зинаида Константиновна с нежной, грустной улыбкой. – Мне шестьдесят лет. Недавно я схоронила мужа и двух сыновей. Я живу совсем одна. Моя жизнь и вправду кончается. А все-таки живу и по мере сил не унываю. Даже до победы думаю дожить. Верьте мне, Ниночка. Все в жизни проходит. Пройдет и ваше горе...

– Никогда.

– Ну, может быть, ваше горе и не пройдет. Но оно отойдет, отступит. Нет такого горя, которое бы не отступило перед жизнью. И это – великое счастье, – прошептала она, как бы сообщая мне большую тайну. – Иначе как бы мы все стали жить? Ведь на кого ни посмотри – у каждого горе. Великое, великое, всенародное горе, глубины неизмеримой. Но ведь мы верим, мы знаем, что горе это не вечно. Оно пройдет. Наступят дни победы. Как же можно в таком случае говорить, что жизнь кончена? Это нехорошо. Это неправильно. Ведь это значит признавать смерть. А ничего подобного. Народ бессмертен. Стало быть, бессмертны и мы. Так-то, моя хорошая, моя родная. Нет смерти. Жизнь, только жизнь. Вы со мной согласны? Это,

конечно, очень не ново, то, что я вам говорю. Но это чистая правда. Это даже больше, чем правда. Это – истина.

Она несколько раз погладила мою голову.

– Ну, Ниночка?

#### XIV

В этот день я вернулась домой очень поздно, так как история с Волковым получила широкую огласку и уже было несколько совещаний по выводу роликового цеха из прорыва. Я уже собиралась лечь, когда заглянула хозяйка и сказала, что ко мне пришли с завода.

Это был наладчик Власов.

– Прошу прощения, что наведался так поздно, – сказал он, щелкая большой хорошей зажигалкой собственной работы и закуривая. – Не знаю, Нина Петровна, как вы на это смотрите, но я думаю так: нельзя губить человека.

– Вы про что?

– Про Волкова, про Василия Федоровича.

Едва я услышала это имя, как тотчас злое, беспощадное чувство поднялось опять в моей душе.

– Дружка своего пришли выручать? – холодно сказала я.

– Да ведь это как взглянуть, Нина Петровна, – сказал Власов мягко, видимо не придавая значения моему холодному, злому тону. – Конечно, Василий Федорович мне старинный друг. Это точно. Спорить не стану. Однако дружба дружбой, а, как говорится, табачок врозь. Разве я враг своему отечеству? Будь ты мне хоть трижды друг, а если ты в военное время запорол пятьдесят тысяч деталей, я с тебя голову сорву. Можете в этом не сомневаться. Не по дружбе я пришел, Нина Петровна, а по справедливости. Ведь он себя не помнил, когда все это безобразия сделал.

– Конечно, не помнил с перепоею, – сказала я жестко.

– Он не был выпивши, Нина Петровна. У него, Нина Петровна, большое несчастье случилось. Его всю семью гитлеровские разбойники истребили.

Я побледнела.

– Что вы говорите!

– Истинно. Всех, до последнего человека. Его семья в Тульской области оставалась. У них там в деревне хозяйство было. Не успели выехать. А теперь их деревню освободили. Вчера оттуда от соседей письмо пришло. Отписано все подробно. Так это, знаете, Нина Петровна, кровь в жилах стынет. Оставалось там у него, значит, пять душ: жена – старушка, Варвара Алексеевна, брат старший – совсем старик, Федор Федорович, – говорил Власов, загибая пальцы, один из которых так же, как и у моего отца, был оторван машиной, – одна дочь старшая, звали, как и вас, – Ниной, стало быть, Нина Васильевна, жена командира Красной Армии, и при ней маленький сын, мальчишка Васька. По деду назвали. Да еще другая дочь, меньшая, – Наташа, пятнадцати лет. Красавица, говорят, была. Ей, конечно, хуже всех пришлось перед смертью.

– Боже мой, – шептала я, стискивая пальцы. Я вспомнила, как я нынче кричала на Волкова, и как он молча стоял передо мной, поставив ноги смирно, и как у него тряслись большие старые руки.

Густая краска стыда залила мне лицо, шею, уши.

– Какое горе! Господи, какое горе, – повторяла я бессознательно. – Я же этого ничего не знала. Поверьте мне, совсем не знала, понятия не имела.

– Да ведь об этом чего и толковать. Ни вы не знали, ни я не знал. Никто не знал, – сказал Власов. – У вас, Нина Петровна, и своего горя хватает. Кругом горе. Я и говорю: как-то надобно выходить из прорыва. Не допустить цех до позора. Василий Федорович хотел нынче зайти к вам, да не решился. Не знал, как вы его примете. Меня просил сходить.

– Где он сейчас? Дома?

– Дома. Где ж ему быть?

– Он на квартире живет или в бараках?

– В бараках. Барак номер шестнадцатый.

– Так пойдёмте, – сказала я, быстро снимая с гвоздя пальто и платок.

– Время позднее. Да и не близко. Километра четыре.

– Я знаю. Это не важно.

– Что ж, – сказал Власов, – давайте сходим.

Мы вышли. Был первый час ночи. Снег уже давно сошел. Земля была твердая, сухая, легкая для ходьбы. В темном небе светился

мутноватый зеленый месяц. На черной земле лежали еще более черные тени голых деревьев. Было тепло. Только иногда с Волги, по которой шли последние льдины, потягивало холодом.

Баракы стояли в стороне от шоссе в мелком осиннике. Здесь где-то недалеко находились громадные новые авиационные заводы и заводские аэродромы. В небе все время шумели невидимые истребители и штурмовики, совершавшие ночные испытательные полеты.

Мы поднялись по деревянным ступенькам на крыльцо и через маленькие сени, где стоял громадный кипятильник, вошли в барак. Мы прошли в самую дальнюю сторону барака, переполненного спящими и не спящими людьми. Койка Волкова помещалась в стариковском углу возле большой кирпичной выбеленной печи, на выступе которой я сразу узнала валенки Волкова, подклеенные оранжевой резиной, поставленные на печь сушиться, и у меня сжалось сердце.

Волков сидел на табурете под электрической лампочкой, обернутой листом черной маскировочной бумаги, так что свет падал только вниз. Сняв с себя штаны, Волков пришивал к ним пуговицу, держа большую иголку по-мужски, тремя пальцами, составленными щепоткой. На его большом толстом носу были надеты маленькие сильные очки, увеличивающие его глаза до размера воловьих. Я увидела его худые ноги в серых подштанниках, загнутые под табуретку. Комок остановился у меня в горле.

– Василий Федорович, голубчик, – быстро сказала я, – я ведь ничего не знала про ваше горе. Ради бога, простите меня, если можете.

Увидев меня, он сконфузился, задвигался на табурете, не зная, куда спрятать ноги и куда сунуть штаны.

– Спасибо, что зашли. Разрешите-ка, я того... оденусь маленько, – пробормотал он.

Я повернулась к нему спиной. Когда я обернулась, он уже был в валенках, в пиджаке, без очков, как всегда. Но, боже мой, только теперь я заметила, как страшно он постарел, подался. Веки его как-то обрезались, вывернулись, как у старухи. Жилы на худой шее подергивались. Брови горестно поднялись. На глазах неподвижно стояла светлая жидкость.

– Простите меня, простите, – сказала я, изо всех сил стискивая пальцы, вложенные в пальцы.

– Моя вина, – проговорил он. – Загубил пятьдесят тысяч роликов. Ведь это надо суметь. Только, верьте слову, Нина Петровна, сам не знаю, как все это получилось. Стоял и ничего не видел, чего делаю. Одно перед глазами – как их убивают... А Наташку мою, меньшую, мало того что убили, а, прежде чем истребить, еще эти мерзавцы заразили.

Лицо его вдруг сморщилось, стало маленькое, как колобок, и он всхлипнул, как бы с усилием выталкивая из себя жгучие, бешеные слезы.

С того дня как я узнала о гибели Андрея, я еще ни разу не плакала. Может быть, поэтому мне и было так трудно переносить свое горе. Но сейчас вдруг что-то рванулось во мне. Я бросилась, схватила худую шею Волкова, припала лицом к его заношенному пиджаку и зарыдала. Рыданья потрясли меня с головы до ног. Теплые обильные слезы лились по моему лицу. Я ловила их губами. Я их плотала, чувствуя в горле их горький соленый вкус. Я насилу успокоилась. Но и потом, дома, оставшись одна, я еще несколько раз начинала плакать в мокрую подушку.

Плакала я об Андрее, о себе, о нашей любви, о нашем погубленном счастье. Плакала об одинокой старой женщине Зинаиде Константиновне Вороницкой и об испанском мальчике Хозе, отец которого погиб под Мадридом, сражаясь за свободу и независимость своей родной страны. Плакала о поруганной, оскорбленной родине. Плакала о Волкове, о его замученной, истребленной семье и о его любимой Наташке, принявшей перед смертью такой позор и такие муки. Мне так ясно представлялась эта невероятная, чудовищная картина, что от душевной боли и ярости я начинала стонать.

К утру я совсем обессилела физически. Но зато душевно за эту ночь я необычайно выросла и окрепла. Теперь я точно знала, для чего я живу и что мне надо делать.

Я очень тщательно умылась студеной водой, хорошенько выполоскала рот, вычистила порошком зубы и очень рано пошла на завод. Когда я пришла, Волков уже был в цехе. Мы тотчас принялись за дело.

Мне уже давно приходила в голову мысль спарить два станка, чтобы удвоилась выработка. Кое-что было придумано. Но осуществить эту идею все как-то не удавалось. Теперь это нужно было сделать во что бы то ни стало. Другого выхода не было. Я тут же стала разрабатывать дополнительные чертежи и схемы. Нам помогали все, весь завод – и чертежники, и монтажники, и инструментальщики. Все с жаром взялись за дело, для того чтобы восстановить честь завода и не дать ему окончить месяц с прорывом по роликам.

К ночи станки были установлены и налажены. Волков стал к станку. Он сказал, что не отойдет от него, пока не удвоит норму. Я стояла рядом с Волковым целые сутки. И мы добились своего. Мы вместе дали норму в триста шестьдесят процентов.

## XV

Вы, конечно, помните, какая была весна в сорок втором году: поздняя, холодная, дождливая. В мае несколько раз начинались метели. Мокрый снег целыми тучами несло из-за Волги. Реки разлились, дороги размокли. На всех фронтах наступило тягостное, длительное затишье.

У нас на заводе был уже свой клуб, библиотека, приезжали артисты, и, когда я проходила по заводской территории, мне не верилось, что семь месяцев тому назад здесь были горы слежавшегося навоза, мусора и всюду была такая грязь, что люди оставляли в ней не только калоши, но также сапоги и ноговицы.

В жизни моей ничто не изменилось, кроме того, что теперь я жила в центре города, в новом доме медицинских работников, в квартире Зинаиды Константиновны, которая уговорила меня переехать к ней. Она дала мне маленькую белую комнату с большим окном, выходящим на Волгу и на бульвар. На бульваре против областного драматического театра стоял черный мокрый памятник Чапаеву в острой папахе и с кривой шашкой, поднятой над головой.

В моей комнате не было ничего, кроме узкой железной кровати, фанерного кухонного столика и стула. Все мои вещи лежали в чемодане, а выходное платье висело на двери под простыней. Столик я застлала салфеткой и расставила на нем зеркальце, одеколон

«Кремль» ТЭЖЭ в матовом флаконе, в форме кремлевской башни, коробку из-под печенья, где у меня хранились письма Андрея, а также нашу единственную, очень потертую фотографию, на которой мы были сняты с Андреем вместе на бульваре в Севастополе возле круглого здания панорамы.

За последнее время я очень подружилась с Зинаидой Константиновной и очень полюбила свою комнатку, пустую и скромную, как у девушки. Часто стояла я перед окном, закутавшись в платок, и, потирая озябшие пальцы, смотрела за Волгу, на запад. Все низменное песчаное пространство за Волгой было покрыто пухлой, яркой зеленью лесов. На синем пороховом фоне дождевых облаков леса казались еще ярче, еще зеленее. Дымы – зеленый и синий – смешивались на далеком горизонте. Потирая свои похудевшие, холодные руки, я бесконечно повторяла неизвестно откуда взявшуюся фразу: «Зеленый дым весны и синий чад войны. Зеленый дым весны и синий чад войны...»

Однажды в сумерки я вернулась домой и, снимая в передней пальто и калоши, увидела на вешалке фуражку с голубым околышем и шитым золотом гербом. Под вешалкой стоял маленький чемодан Андрея, перевязанный ремешком. Дверь в мою комнату была открыта. Я взглянула и увидела незнакомого летчика. Он сидел за моим столиком и что-то быстро писал. Услышав мои шаги, он встал, одернул гимнастерку. Он был невысок, строен, смугл, с двумя орденами. На его голубых петличках я увидела одну шпалу. Стало быть, он был капитан.

– Нина Петровна? – полувопросительно сказал он.

– Да. Я.

– Капитан Савушкин, – сказал он, сдвинув каблуки.

Я протянула ему руку. Он ее взял, нерешительно поднял, как бы желая поцеловать, но, заметив в моих глазах мелькнувшее недоумение, твердо ее пожал, тряхнул и выпустил. Он покраснел, отчего его чистый смуглый лоб еще больше потемнел. Это было заметно даже в сумерках. Он поправил свои тонкие небольшие усы, решительно откашлялся и сказал:

– Я однополчанин вашего супруга. Приехал сюда в командировку принимать на заводе самолеты для фронта. На рассвете улетаю



обратно в часть. По поручению командира полка имею вам передать...

Он слегка присел, привычным жестом потянул ремешок полевой сумки и вынул небольшой сверток. Он дал его мне, а сам деликатно отошел в сторону и отвернулся. Я развернула сверток. Там были ручные часы Андрея, три его ордена, золотая звездочка Героя Советского Союза, орденская книжка, бумажник и моя очень давняя неудачная фотография с потрескавшимися и обрезанными краями, где я была снята – очевидно, зимой – в белой вязаной шапочке, в белом свитере и почему-то была похожа на брюнетку. Я долго стояла, держа в горсти все эти вещи, как бы взвешивая их – его славу, его любовь, его время, – и все никак не могла постигнуть до конца, что все это осталось, существует, а его, моего Андрея, уже нет и больше никогда не будет. И слезы текли по моим холодным щекам.

– Я еще привез чемодан с кой-какими вещами Андрея Васильевича. Я его поставил в передней – мне тут открывала дверь одна старушка.

– Это моя хозяйка, Зинаида Константиновна.

– Вот, вот. Она мне и комнату вашу открыла. Я уже думал, что вас не дождусь. Записку стал писать. Разрешите внести чемодан?

– Спасибо. Не беспокойтесь. Это потом.

Уже совсем стемнело. Я опустила синюю бумажную штору маскировки и зажгла лампочку под черным абажуром. Я предложила капитану стул, а сама села на кровать. Мы некоторое время молчали.

– Нина Петровна, неужели вы меня не узнаете? – сказал он.

И я вдруг сразу его узнала.

– Петя!

– Ну, конечно! Георгиевский монастырь, Балаклава, розовый мускат и так далее.

– Извините, я даже не знала, что ваша фамилия Савушкин.

– Да, капитан Савушкин. Это теперь. А в мирное время был Петя. Иначе никто не называл. А что, сильно я о того времени переменялся?

– Я б не сказала, что сильно. Но все-таки... Стали более солидным. Повзрослели. Опять же – усы.

– Усы фронтовые. Не такой веселый?

– Да и это.

– Ничего не поделаешь. Воюем. Веселого мало.

– А вы знаете, мне Андрюша в своем последнем письме писал о вас и даже передавал привет. Как раз накануне... этого несчастья.

– Да, очень тяжелый случай, – сказал Петя, нахмурившись. – Не говорю уже о вас. Это само собой. Но и для всех нас это очень тяжелый удар. Для всего полка. Потерять такого товарища, такого выдающегося командира.

– Как это произошло? При вас?

– Не только при мне, но даже, если хотите, из-за меня.

– Из-за вас?

– Да. Но, конечно, не по моей вине. Видите ли, мы вели бой на высоте двух с половиной тысяч метров. Мой самолет подожгли. Я успел выброситься с парашютом. Налетели три «мессера» и стали меня клевать из пулеметов. Одна пуля царапнула ключицу, слава богу, не разрывная. Другая попала в мякоть бедра. Третья перебила один строп. Кошмар. И, главное, полное бессилие. Вишу и ни черта не могу сделать. Совсем погибаю. Тут мне пришел на выручку Андрей Васильевич. Он кинулся сверху, сделал правый разворот и дал из пулемета с расстояния сто – сто пятьдесят метров короткую очередь по одному стервятнику. Тот загорелся и упал. Другой «мессер» в это время зашел Андрюше в хвост. Андрей Васильевич вовремя заметил, снизился до бреющего, развернулся влево и пошел вверх по вертикали прямо на второго «мессера». Тот боя по вертикали не принял и отвалил. А в это время третий «мессер» успел набрать высоту и пикирует на меня, открыв огонь из всех пулеметов. Тогда Андрюша положил машину опять на правое крыло и стал делать вокруг меня круги, не подпуская ко мне третьего «мессера». Так он и ходил все время вокруг меня, пока я приземлялся. Бой шел над немецким передним краем, но, слава богу, ветер дул на восток, так что я с грехом пополам, но все-таки дотянул до своей территории. Когда я приземлился, Андрей Васильевич совсем близко пролетел возле меня, отодвинул колпак и помахал мне рукавицей. И я, знаете, очень ясно увидел, Нина Петровна, его отлетевшие назад русые волосы. Андрей Васильевич не любил летать в шлеме: его раздражало радио. Надевал шлем лишь в крайнем случае. И как раз в этот миг у него под правым крылом показалось пламя. Как видно, второй «мессер» опять сделал заход и дал по Андрюше из пушки. Андрюша кинул машину на правое крыло и сбил огонь. Но как только выровнялся, пламя опять

вспыхнуло, пошел густой дым, машина захромала. Второй «мессер» снова развернулся и пошел на сближение с Андреем Васильевичем. Но Андрей Васильевич уже не стрелял. Видно, кончились патроны. Или он уже тогда был смертельно ранен. Я видел, как его машину трянуло, но он ее все-таки выправил и стал уходить на свой аэродром, а за ним тянулась черная полоса дыма. Из последних сил он дотянул до аэродрома и все-таки посадил горящую машину. Когда его вынули из кабины, он уже был мертв. У него обгорела правая рука, и пуля пробила печень.

Когда меня привезли в полк, Андрюша уже лежал в ельнике на снегу, покрытый плащ-палаткой.

– Боже мой, – сказала я, чувствуя, что начинаю дрожать.

– Война, Нина Петровна, – хмуро сказал Петя, – ничего не поделаешь. На другой день Андрея Васильевича похоронили, – торопливо продолжал он, заметив мое волнение. – Я при этом не был, так как меня отправили в госпиталь, но вот, вероятно, вам будет интересно посмотреть... хоть я не знаю, может быть, не стоит...

– Покажите, – сказала я, овладев собой. – Ничего, покажите.

Он достал из своей сумки конверт с фотографиями.

– Только неважная бумага, – сказал он.

На одной фотографии я увидела Андрея в гробу. Знакомое, родное, спящее лицо с незнакомой ссадиной на переносице, с волосами, гладко зачесанными со лба вверх, виднелось из вороха еловых веток с шишечками. Гроб стоял на снегу, и на заднем плане вышли два красноармейца с автоматами на шее. Они стояли с двух сторон, поддерживая простую, дощатую крышку гроба, поставленную торчмя.

Я бегло посмотрела другие фотографии – погребенье, салют, обгоревший и простреленный самолет Андрея и вид деревенского погоста с церковкой и могилкой Андрея, снятый с птичьего полета.

– Можно оставить себе?

– Да, конечно. Это специально для вас.

Потом я начала расспрашивать Петю про Андрея, и он, стараясь быть как можно более точным в датах и фактах, стал подробно рассказывать мне о последних месяцах жизни Андрюши.

Я слушала его рассказ с благодарной жадностью, но, конечно, этого рассказа для меня было слишком мало. Моя душа требовала гораздо, гораздо большего, – того, чего Петя при всем своем желании не мог мне дать. Мне нужно было хотя бы одну частицу Андрюши, живого, любящего, существующего, а не существовавшего когда-то и уже не существующего теперь.

Было часов двенадцать, когда я вдруг вспомнила, что даже не предложила Пете чаю, не поинтересовалась его ранением.

– Так вы, значит, прыгнули с парашютом? – сказала я, найдя удобный повод.

– Пришлось, – сказал Петя, нахмурившись. – Самолет загорелся и пошел в пике. Его абсолютно невозможно было выровнять. Я сделал все возможное. Оставалось только прыгать. Я имел право по инструкции оставить борт самолета.

Я не могла удержать улыбку.

– Слушайте, вы, ей-богу, какие-то невероятные люди! – сказала я. – Из какого материала вы сделаны? Человек, спасая свою жизнь, выскакивает из горящего самолета и еще потом извиняется, что он на это, дескать, имел право.

– А как же? – серьезно сказал Петя. – Нельзя, Нина Петровна. Самолет – это наше боевое оружие. Его можно бросить только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет. Вы этим не шутите!

Потом мы стали пить чай. К нам присоединилась Зинаида Константиновна. Петя ей сразу понравился.

– Постойте, – сказала Зинаида Константиновна. – По-моему, мы делаем что-то неправильно. Погодите, я думаю, капитан Савушкин не откажется от стопочки водки.

– А есть? – сказал Петя.

– Я в этом не специалистка, – сказала Зинаида Константиновна, – но, по-моему, у меня где-то есть немного чистого, ректифицированного спирта. Это как – годится?

– Безусловно, – сказал Петя.

– Говорят, его нужно только развести кипяченой водой и получится превосходная водка.

– Можно даже не разводить, – сказал Петя.

– Ну, вам виднее.

Зинаида Константиновна пошла за спиртом, а я быстро сварила на круглой электрической плитке картошку и открыла банку рыбных консервов. Кроме того, у нас нашлась селедка, две луковицы, даже немного уксуса. Ужин получился великолепный.

Несмотря на Петины жалобные улыбки, мы все-таки спирт разбавили и для красоты налили в графинчик. Рюмок не было, и пили из медицинских банок.

– Ну, что ж, товарищи, выпьем за нашего Андрея, – вздохнув, сказал Петя.

– Да, за Андрюшу, – сказала я.

Мы стукнулись круглыми баночками, выпили, поморщились и прежде всего закусили луком, нарезанным красивыми кольцами, похожими на цыганские серьги.

Я взглянула на Петю и вдруг ясно, почти осязаемо близко увидела наш веселый завтрак в Балаклаве, Андрея, резкие фигурные тени виноградных листьев на песке, сухие холмы, очень синее море – весь этот неповторимый июльский день...

Мы тихо посидели, предаваясь воспоминаниям, и были очень удивлены, когда в дверь громко постучали. Это явился шофер, приехавший за Петей. Оказалось, что уже пятый час утра. Так как нам с Зинаидой Константиновной лечь уже все равно не стоило, то Петя предложил подвезти нас на завод, который находился по дороге на аэродром.

В автобусе, набитом военными летчиками и механиками, мы продолжали разговаривать об Андрее, и между прочим Петя сказал:

– А почему бы вам, Ниночка, не съездить к нам на фронт, повидать могилу Андрея Васильевича?

Мысль, что я могу увидеть его могилу, постоять возле нее, положить на нее цветы, поразила мое воображение. Это вдруг, как-то сразу, почти осязаемо, приблизило меня к Андрею.

– А это возможно? – сказала я.

– Отчего же, – сказал Петя. – Сделаем. Будет вызов из штаба фронта.

– Как было бы хорошо!

– Точно.

И, прощаясь со мной у проходной будки завода, Петя сказал:

– Я вам сейчас же напишу, как только приеду в часть. А вы приготовьтесь. Так, значит, до скорого.

С этого дня меня охватило страстное желание побывать на могиле Андрея. В ожидании Петиного письма, я нетерпеливо считала дни. Однако прошел май, наступил июнь, а письма все не было. Летом началось немецкое наступление. Но я еще продолжала ждать и надеяться. Наконец, пришло письмо. Из этого короткого, поспешного письма, написанного химическим карандашом на тетрадной бумаге в косую линейку и свернутого так же, как и письма Андрея, – треугольником, – я поняла, что надеяться не на что.

«В данный момент обстановка на фронте очень сложная, – писал Петя. – Мы находимся все время в движении, так что о Вашем приезде пока не может быть и речи, тем более что населенный пункт, где похоронен Андрей Васильевич, сейчас гораздо западнее линии нашей обороны. Но Вы, дорогая Ниночка, не волнуйтесь. Отходя, мы успели снять с могилы деревянный обелиск и дощечку, так что, надеюсь, могила сохранится. Мечтаю опять увидеться с Вами, только вряд ли это будет в ближайшее время. Теперь абсолютно не до того. Пожалуйста, пишите мне, если найдете время. Ваши письма доставят мне большую, очень большую радость. Ваш друг Петя».

## XVII

«Третьего июля, после восьмимесячной героической обороны, – как было сказано в вечернем сообщении Совинформбюро, – наши войска оставили Севастополь».

Я узнала об этом утром четвертого.

Ох, как памятен мне этот траурный солнечный день с пылью и жгучим беспорядочным ветром! Как бы вам получше объяснить мое тогдашнее душевное состояние?

Помню затмение солнца, которое я видела однажды летом, в детстве. Был такой же яркий, горячий день с пылью и тревожным ветром. Листья дрожали и блестели, как металлические. Это, если вы помните, было неполное затмение.

Казалось, что солнце светит по-прежнему, и по-прежнему на него больно смотреть, даже, может быть, немного больнее. Но в природе что-то уже изменилось. Было что-то так, да не так. Блеск листьев стал еще более резок. Тени дикого винограда на стене нашего деревянного дома на Красной Пресне странно сдвинулись, как будто сдвоились. Чувство необъяснимого страха и угнетающей скуки охватило душу. Мне дали закопченное стеклышко, и я посмотрела сквозь него на солнце. Сквозь бархатистую рыжую сажу я увидела белый кружочек солнца с небольшой, очень черной щербинкой на краю. Эта щербинка незаметно росла до тех пор, пока солнце не сделалось, как ноготок. В ужасе я бросила стекло. Холодная полутень лежала на всем вокруг. Солнце нестерпимо ярко блистало в пасмурном небе, как свинцовая звезда. Я закричала и заплакала. Меня с трудом успокоила мать. Затмение медленно прошло. Но потом целый день и даже на другой день мне все казалось, что в мире немножко не хватает свету и все предметы обведены траурной каймой.

Такое же чувство испытала я – да, наверное, не одна я, и вы тоже, конечно, его испытали – в тот солнечный июльский ужасный день, когда стало известно о падении Севастополя.

Севастополь – «город нашей любви»! Сколько раз за этот несчастный год я думала о нем и о том неповторимом дне, который мы когда-то провели с Андреем так празднично и так счастливо в этом городе.

Трудно было мириться с мыслью, что каждый день в течение восьми месяцев в облаках известкового мусора рушились, уничтожались его светлые домики с железными балконами, что в пыльные цветники падали убитые дети, что со свистом летели булыжники и куски асфальта, вырванные бомбой из мостовой, и обугливались акации и платаны, охваченные огнем.

Но все-таки этот город – или, вернее сказать, то, что от него осталось, – был еще наш. Нашей была сухая, розоватая севастопольская земля. Нашими были степь с ее крошечными белыми улитками, море, Херсонесский маяк, Балаклава и та скала, возле лилового мыса Фиолент, на которой я лежала, заложив руки под голову, в блаженном беспомыслии крымского полудня.

А сейчас все это было отнято.

Не было больше ни моего Андрея, ни нашего Севастополя. Да и меня – той прежней, молодой и счастливой – тоже ведь уже больше не существовало. Была какая-то совсем другая я – одинокая женщина Нина Петровна, инженер-технолог. Эта женщина теперь озабоченно шла по территории завода, обжигаемая пыльным волжским ветром.

Но душа моя была не здесь. Душа моя жила в сияющем, светоносном мире того севастопольского дня, где была я молоденькая, влюбленная, в маркизетовом платье с короткими рукавами, и со мной был мой Андрей – живой, счастливый и немного смущенный.

Я вам сказала, что мы провели этот день с Андреем празднично и счастливо. Я не боюсь это повторить. Это действительно был наш праздник. Мы это знали. И мы праздновали его.

Проснувшись тогда в Севастополе, мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и еще раз крепко поцеловались. Озябшие после чересчур продолжительного купанья, мы жадно съели в каком-то буфете простоквашу, пробив жестяными ложечками бумагу, которой были туго заклеены наши стаканы. Потом мы пошли по яркой улице. Было очень жарко. Андрей снял пиджак. Я взяла пиджак, перекинула через плечо, зацепив мизинцем за вешалку.

Андрей завернул рукава своей рубашки до локтей. Я заметила, что у него грубоватые руки. Но они мне очень понравились. Я смотрела на них, как будто бы видела их впервые.

Я взяла Андрея под руку и положила свою голую руку на его.

Его рука была большая, моя – маленькая. Его – горячая, моя – прохладная. Но они вместе составляли как бы одно целое. И я смотрела на этот предмет с нежностью, как на ребенка.

Я вложила свои пальцы в пальцы Андрея и сжала их изо всей силы. Он обернулся и неловко поцеловал меня возле уха.

– Ты с ума сошел! На улице, при всех?

– А что? Пускай, черти, завидуют, – сказал Андрей и обнял меня за талию.

Мы наняли ялик и медленно поплыли вдоль скалистого берега в Херсонес смотреть археологические раскопки. Мы осмотрели остатки каких-то подземных сводов, сложенных из необыкновенно крупных кирпичей особым древнеримским способом. Глиняные насыпи, поросшие бурьяном, особенно ярко желтели и краснели на фоне дикого неба, и длинные, серебристо-бархатные от пыли ветки дерезы с



продолговатыми желтовато-розовыми ягодками свисали с древних стен, на которых, уцепившись растопыренными лапками, грелись, зажмурившись на солнышке, маленькие бирюзовые ящерицы, такие же древние, как это синее небо и эти побелевшие от времени кирпичи.

Мы прошли по гулким прохладным комнатам пустынного музея. Здесь, прислоненные к стенам, стояли громадные глиняные амфоры и тонкогорлые кувшины для вина, воды и масла.

Под стеклами витрин были разложены полустертые, тоненькие, как листки, древние серебряные монеты, черепки, рыболовные снасти, наконечники стрел, бронзовые фигурки, плоские светильники, браслеты, гребни – весь этот скучный музейный вздор, от одного вида которого хотелось как можно скорее на воздух, на солнце, к морю.

– Ну, пойдем, хватит, – сказала я нетерпеливо.

Но Андрей медленно переходил от прилавка к прилавку, задумчиво и многозначительно разглядывая выставленные вещи.

– Да, – сказал он со вздохом. – Чем занимались люди. Торговали, воевали, любили. Поучительно.

При выходе из музея мы остановились возле толстой мраморной плиты, полукруглой сверху, как скрижаль. Она была серой, почерневшей от времени. Она стояла торчмя. На ней была выбита какая-то надпись, и Андрей стал ее разбирать. Надпись была полатыни, но, к моему удивлению, Андрей ее все-таки прочел:

– «Nis iacet Aulus Terentius Balbus centurio princeps legionis || Marco Aurelio regnate». Стало быть, вот оно какого рода вещь. Тебе ясно, Ниночка?

– Абсолютно неясно, – сказала я, смеясь.

– А это, видишь ли, – сказал Андрей, крепко прижимая мою руку к себе, – обозначает, что под сим, так сказать, мрамором был похоронен прах некоего Аулюса Теренция Бальбуса, что в переводе на русский язык значит: картавого – солдата первого центуриона второго легиона в царствование небезызвестного римского императора Марка Аврелия. Понятно?

– Теперь понятно.

– Вишь, куда занесло этого самого Аулюса Терентьевича Картавого, древнеримского интервента! – сказал Андрей, окая и

блестя глазами. – К черту на кулички, в Крым! Тут он и сложил свою буйную головушку.

Возвращаясь в Севастополь, мы увидели учебную стрельбу кораблей Черноморского флота. Едва первый броненосец поравнялся с Херсонесским маяком, как из его серого борта выскочил и оторвался ряд длинных языков пламени. Корабль окутался дымом, и через минуту на горизонте взлетело один за другим шесть белых водяных фонтанов. В тот же миг мы услышали грозный удар залпа, звук которого дошел до нас только теперь, тяжелое эхо покатилося, как чугунный шар по мрамору моря. Но не успел этот шум удалиться и растаять, как мы услышали отдаленный гром разрывов, и новое эхо покатилося вслед за старым, настигло его где-то в открытом море, а потом оба эти эха еще раз прокатились назад, слабо ворча и замирая где-то очень далеко, вероятно в горах Балаклавы.

Это было так неожиданно и так не соответствовало мирной прелести пламенного черноморского дня, что я на минуту стихла и прижалась к Андрею, как будто бы он должен был защитить меня от какой-то беды.

## XVIII

– Мы возвратились в Севастополь, – продолжала Нина Петровна, покрыв шинелью ноги, так как становилось свежо. – До обеда оставалось еще много времени. Андрей потащил меня в военно-исторический музей Севастопольской обороны.

– Не много ли, Андрюшечка, два музея в один день? – сказала я жалобно.

– Ничего. Не помрешь, – сказал Андрей. – Надо знать историю.

В музее были медные пушки, пирамиды чугунных ядер, истлевшие знамена и андреевские флаги, большие, подробные модели фрегатов с полной парусной оснасткой. Повсюду были расставлены на деревянных подставках – что делало их немного выше живых людей – грубые муляжи покосившихся матросов, артиллеристов с банниками, саперов, пехотинцев, одетых в свою мешковатую суконную форму, побитую молью. Особенно живо запомнились мне картонные глянецвитые лица этих муляжей – желтые, румяные, с громадными

усами и бакенбардами и грозно выпученными стеклянными глазами самой натуральной человеческой окраски. Кое-где к их одежде были пришиты маленькие ладанки с шариками нафталина.

Тонкий запах тленья стоял в жарком неподвижном воздухе музея.

Эти паруса, пожелтевшие флаги, вымпела, эти ядра, якоря, фашины и берданки – все это как-то необычайно сильно, возвышенно волновало душу чувством былой русской славы, и на глазах Андрея я заметила слезы.

А пламенный крымский день продолжал сиять. За прямыми высокими окнами музея с жарко начищенными медными шпингалетами и раскаленными подоконниками виднелось темно-синее густое небо. На его ровном фоне так живо и так прозрачно светились лапчатые листья платанов; висели войлочные шарики их плодов; и бежевые лайковые стволы, покрытые фисташковыми пятнами облупившейся кожицы, как будто все время напоминали нам о любви и счастье.

Мы очень проголодались и с наслаждением пообедали на бульваре, на террасе ресторана «Нарпит», где морской ветер трепал сырые скатерти столиков.

За обедом мы съели, кроме флотских щей, по две порции удивительно вкусных, огненных, сильно наперченных, воздушных чебуреков, изжаренных в бараньем сале, и запили их бутылкой пива.

День продолжался, до вечера все еще было далеко, и мы опять пошли слоняться по городу, останавливаясь возле каждой будки пить воду с сиропом или мучнисто-пенистую сытную, ледяную бузу.

Наконец мы очутились возле круглого здания Панорамы.

Вот тут-то мы и снялись у уличного фотографа-пушкаря на фоне большой пыльной клумбы, где росли какие-то винно-красные декоративные растения, похожие на шерстяную мебельную бахрому.

Пока фотограф, засунув руки в черный коленкорый рукав, копался в фанерном ящике своего аппарата, мы сходили в Панораму.

Едва мы поднялись по лесенке на круглую площадку, обнесенную железными перилами, как сразу вокруг меня со всех сторон до самого горизонта открылась сухая розоватая севастопольская степь и бледно-сиреневое небо, вылинявшее от зноя. И по всему громадному пространству, подробно освещенному ровным, матовым, комнатным светом, в разных направлениях неподвижно двигались колонны войск.

В одном месте виднелась бухта с неподвижно горевшими кораблями.

Из балки по пояс в дыму, с барабанами и развернутыми трехцветными знаменами лезли на приступ французы, и офицер в синем мундире с красными эполетами, повернув назад горбоносое лицо с эспаньолкой, протягивал вперед шпагу. А там, куда они лезли, на русском бастионе, среди мешков и круглых корзин с землей, лежали на разбитых лафетах медные пушки, валялись ядра, сидели раненые матросы, и гигант-наводчик в бескозырке, сбитой на затылок, как блин, отбивался банником от нападающих врагов.

В другом месте перед большой походной иконой совершенно натурально горели свечи, и священник в плазетовой ризе служил панихиду. Он держал в откинутой руке взлетевшее кадило, из которого неподвижно струились седые лиловые волокна ладана и падали угольки. А на земле лежали убитые солдаты, накрытые шинелями, из-под которых торчали неподвижные ноги в сапогах.

А мы с Андреем стояли высоко, в самом центре этой безмолвной, неподвижной битвы, очарованные и подавленные тишиной и величием ужасного зрелища, в котором как будто бы мы сами принимали какое-то таинственное участие.

И вдруг шесть раз подряд громко и отчетливо ударило шесть пушечных выстрелов – бум, бум, бум, бум, бум, бум... Они ударили так твердо и так отчетливо и так совпадали с тем, что было у нас перед глазами, что мне показалось, что вся картина вдруг ожила и двинулась на нас со всеми своими пушками, барабанами и знаменами.

Мне стало страшно. Но в тот же миг я поняла, что это были звуки учебной пальбы, долетевшие сюда с рейда.

Вслед за тем низко над куполом Панорамы с шумом пронеслось несколько самолетов.

– Вот это уже не в стиле эпохи, – сказал Андрей. – Совсем из другой оперы. Тогда авиации, слава богу, еще не было. Видать, наши морские бомбардировщики возвращаются с учебной стрельбы.

Перед закатом мы сидели в полотняных шезлонгах у самого моря, внизу бульвара, и смотрели, как солнце опускается в воду.

Наверху играл духовой оркестр. В воздухе пахло только что политым гравием, розами и резедой. Слышалось шарканье ног, смех и голоса гуляющих. Один за другим, мимо бон, в порт возвращались

корабли эскадры. Гидросамолеты, делая последние круги над городом, садились в бухту и, поднимая пену, бежали к своим причалам.

В полночь я уезжала, и мне было очень грустно.

Андрей вытянул далеко вперед свои длинные ноги и, сдвинув фуражку на глаза, курил трубку. Он смотрел прямо перед собой в море. Его крупный бритый рот был крепко сжат и подбородок подобран.

– О чем ты думаешь, светик мой? – спросила я.

Он вынул изо рта трубку, выколотил ее о гладкий морской камешек, до блеска сточенный волной, и положил в карман.

– Думаю о тебе и о себе, – сказал он задумчиво. – А также думаю об этом небольшом кусочке земли, на котором мы с тобою в данное время сидим и любим друг друга.

– Прелестный полуостров, – сказала я, беря его за руку. – Или ты со мной не согласен?

– Согласен. Полуостров замечательный. Лучше не надо. Однако, родненькая моя, тебе не приходило в голову, что сегодня целый день мы на этом прелестном полуострове гуляли по человеческим костям? Тысячи, сотни тысяч, миллионы человеческих костей.

– Люди умирают, – сказала я.

Он покосился на меня.

– Я говорю не о тех, которые умирают. Все мы когда-нибудь умрем. Я говорю о тех, которых убивают. Ведь вот посмотри, пожалуйста, – небольшой кусочек земли, пятак, чепуха какая-то по сравнению со всей нашей планетой, а сколько на этом пятакке уже было жесточайших, кровавейших побоищ? И, главное, зачем, по какому поводу? Ты думаешь, этому самому Аулюсу Теренцию Бальбусу, римскому солдату, плохо было в своей Италии? Да уверяю тебя, что отлично. Климат прекрасный, теплый; хлеб, сыр, масло, апельсины, виноград, вина – хоть залейся. Сидел бы себе дома, обрабатывал бы землю, читал бы в свободное время Вергилия, плодил бы деток, создавал бы из своего отечественного мрамора прекраснейшие произведения искусства. Чем плохо? Ты бы отказалась, Ниночка, от такой райской жизни? Так вместо всего этого, одолеваемый жадностью, Аулюс Теренций Бальбус надевает медный шлем, обоюдоострый меч, берет в руку дротик и едет на корабле из своей Италии к черту на кулички, куда-то на Южный берег Крыма, в

совершенно посторонний для него Херсонес. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы – выражаясь красиво – присоединить к Великой Римской империи новую колонию, а попросту говоря, для того, чтобы пограбить. И он грабит, жжет, убивает, насилует до тех пор, пока в один прекрасный день его самого не убивают камнем или таким же самым дротиком, который у него до сих пор считался последним словом военной техники. Так зачем же, спрашивается, огород было городить? Или генуэзцы... Помнишь развалины генуэзской башни в Балаклаве? Стало быть, генуэзцы тоже сюда приезжали пограбить. Только у них этот грабеж назывался более изысканно: свободной торговлей. А торговать ихние генуэзские купцы привыкли довольно своеобразно: в одной руке весы и аршин, а в другой мушкетон со взведенным курком... Морские разбойники. Настоящие бандиты. Так что все эти живописные развалины, по которым мы с тобой лазили, на сто верст вокруг усеяны костями.

– Были усеяны, – сказала я. – А теперь – посмотри, какая красота: поля, степи, стада, виноградники...

– Вот, вот! – воскликнул Андрей, и глаза у него блеснули. – Ты попала в самую точку. Красота вокруг. И это потому, что история человечества состоит, слава богу, не из одних войн. Если бы всегда были одни только войны, то ни тебя, ни меня и на свете бы не было. Ничего бы не было. Культуру создают мудрые, сильные и справедливые народы. А разрушают культуру бандиты, вроде этого Бальбуса, будь он трижды проклят...

Красное блестящее солнце висело невысоко над водой. Волны катились правильными рядами, и по их глянцево-голубым бокам бежало отражение солнца. Но вот солнце опустилось еще ниже. Оно потеряло блеск, стало темно-малиновым. С моря подул широкий ровный ветер. Он погладил воду как бы против ворса, и море сделалось матовым, темно-синим – цвета индиго. Узкая ленточка вымпела затрепетала, защелкала на флагштоке водной станции «Динамо». Стало свежо. Мои руки покрылись гусиной кожей.

Андрей снял с себя пиджак и заставил меня его надеть. Я закуталась в пиджак и молча сидела, опустив голову и разглядывая орден Красного Знамени на его лацкане.

– За что? – спросила я.

– За Халхин-Гол, – сказал он.

Мы помолчали. Из-под волос, спутанных ветром, я украдкой смотрела на Андрея, на моего Андрея, с его широкими плечами и малиновым треугольником загара на груди, который виднелся в отворотах белоснежной сорочки.

– Боже мой, – сказала я. – Неужели это опять когда-нибудь повторится?

– Обязательно, – сказал он, сильно окая. – И даже очень скоро.

– Но ведь это ужасно, Андрюша! Я не хочу.

– А ты думаешь, я хочу? Я тоже не хочу.

– И никто не хочет.

– К сожалению, – сказал Андрей, вздыхая, – в мире есть еще много разбойников, в которых обитает жадная и грубая душа Аулюса Теренция Бальбуса. И мы у них стоим поперек горла. Они не могут примириться с мыслью, что в мире есть счастливая, свободная, молодая и независимая страна, которая живет не по их каторжным, торгашеским законам обмана, грабежа и убийства, а по высшим, глубоко человеческим законам любви и справедливости. И все темные силы мира обязательно, рано или поздно, кинутся на нас с ножом. Эти бандиты воображают, что они сильнее нас. Еще со времени римского солдата Бальбуса – нет, даже раньше, со времени Каина – они привыкли думать, что правда в силе. Но, черт бы их побрал, они крепко заблуждаются. Не правда в силе, а сила в правде. А правда – наша; стало быть, и сила у нас. И будь уверена, Ниночка, они еще почувствуют силу нашей правды. Ах, дьявол! – воскликнул Андрей, стукнув кулаком по ладони. – Ей-богу, прав был мой большой друг и приятель Валерий Павлович Чкалов, когда говорил мне: «Какие мы с тобой, Андрей, к черту, испытатели? Мы с тобой типичные истребители. Наше святое дело бить с воздуха и истреблять любого гада, который сунется к нам с оружием в руках». Я, знаешь, Ниночка, несколько раз просился, чтобы меня перевели из гражданской авиации в военную, в истребители. Да не берут. Неужто я старый?

– Не напрашивайся, пожалуйста, на комплименты, – сказала я. – Ты не старый, а ты чудный, ты молодой, и я тебя очень люблю.

Я вложила свои пальцы в его и сжала их изо всех сил.

– Понятно тебе это, Андрюха?

– Понятно, – сказал Андрей, смеясь. – Но мы еще повоюем. За свое счастье драться надо. А все-таки до чего же мне повезло, что мы

с тобой встретились в жизни!

Красное угрюмое солнце коснулось горизонта. Оно стало быстро опускаться в темно-синее ветренное море. Скоро над водой остался только один его верхний краешек, похожий на уголек. Раздался пушечный выстрел, и уголек канул в море. Вокруг сразу потемнело, и вверх по мачтам на рейде поползли желтые фонарики топовых огней.

– Все, – сказал Андрей.

Мы встали и, держась за руки, медленно пошли наверх.

## XIX

– Вот, – сказала Нина Петровна, – о чем вспоминала я в траурный день четвертого июля. Казалось, невозможно пережить потерю Севастополя, «города нашей любви». И все же я пережила. Жизнь оказалась сильнее смерти, и жизнь перетянула.

Нина Петровна замолчала. Все вокруг было тихо. Луна заметно передвинулась к западу. Небо постепенно затягивали мелкие пегие тучки. Становилось темновато. Стук пишущей машинки в штабном автобусе прекратился. Чуть слышно подрагивал где-то недалеко моторчик походной электростанции.

На западном горизонте вспыхнул и передвинулся дымно-голубой столб прожектора.

– Немецкий прожектор; из Орла светит, – сказал часовой, подходя к нам.

– Близко как, – сказала Нина Петровна.

– Рукой подать.

Часовой постоял возле нас, позевал и ушел назад. Уходя, он сказал:

– Последнюю ночь из Орла светит, гад. Завтра мы ему дадим.

Из штабного автобуса вышел полковник с шинелью в руках. Он посветил фонариком, нашел нас и приблизился.

– Не спите?

– Нет, товарищ полковник, разговариваем, – сказал я.

– Главным образом, я разговариваю, – сказала Нина Петровна.

– Спать надо, а не разговаривать, – сказал полковник. – Вам, должно быть, холодно, Нина Петровна. От холода и не спите. Берите



шинель, укрывайтесь.

Полковник постоял, зевая, и сказал:

– Ну, как там дела в Москве? Вы мне так и не сказали – Художественный театр вернулся?

Я хотел ответить, но в это время послышался шум, и из темноты выскочил броневик. На башне броневика кто-то сидел верхом. Броневик круто остановился. Тот, кто сидел на башне, спрыгнул на землю и, быстро подскочив к полковнику и взяв руку под козырек, сказал хриплым, мальчишеским голосом, лихо раскатываясь на букве «р»:

– Товарищ гвар-р-р-рдии полковник, от командира кор-р-рпуса ср-рочный пакет.

Это был офицер связи.

Полковник взял пакет, вскрыл его и при свете фонарика прочел:

– Хорошо.

– Ответа не будет?

– Передайте на словах, что саперы вышли двадцать минут назад.

– Есть пер-редать на словах, что сапер-р-ры вышли двадцать минут назад.

– Где генерал?

– На переправе.

– Передайте, что имеется срочная шифровка из штаба армии.

– Есть пер-р-редать. Разрешите идти?

– Идите.

Офицер связи со щегольством повернулся и вскочил верхом на броневик, вытянув вперед ноги.

– На пер-р-реправу! – закричал его сорванный мальчишеский голос.

Броневик развернулся и мгновенно исчез, унося в темноту маленькую стройную фигурку офицера связи. По траве потянуло бензином. Полковник быстро вернулся в свой автобус, откуда сейчас же послышалось щелканье ундервуда. Немецкий прожектор передвинулся еще раз и потух, как будто бы его закрыли шапкой. Осторожно затыркал сверчок.

Нина Петровна накинула на себя шинель полковника и завернулась в нее.

– Ничто, казалось, не изменилось на нашем заводе, – сказала она. – Все на первый взгляд шло по-прежнему. Но на самом деле было много нового.

Я, например, поставила Хозю для пробы работать на двух станках, и он отлично справился со своей задачей, так что красный флажок опять переключался от Муси к нему. И Хозя поклялся страшной клятвой, что больше этого флажка Муся на своем станке в жизни не увидит.

Муся презрительно сжала ротик, но ее нос покраснел и в глазах блеснули слезы. Она пожалала плечами и сказала:

– Увидим!

Я продолжала проводить на заводе почти все свое время, но теперь я уже не чувствовала себя такой одинокой. Переживать мое горе очень помогала мне милая, добрая тетя Зина. Изредка я получала письма от Нети. Он описывал мне свою фронтовую жизнь, вспоминал прошлое, а я рассказывала ему о нашем заводе и тоже иногда вспоминала прошлое.

В октябре сравнялся год, как я с заводом переехала сюда, на Среднюю Волгу. Приближалась вторая зима. У нас в заводоуправлении висела большая школьная карта Советского Союза с толстыми реками, и на нее страшно было смотреть. Положение казалось еще более грозным, чем в прошлом году в это время.

У всех на устах было слово «Сталинград». Его произносили с тем же строгим чувством гордости и боли, с каким еще совсем недавно произносили слово «Севастополь».

Абраша Мильк, летавший в Сталинград по делам завода, за металлом, вернулся, раненный в плечо и в ногу. С рукой на перевязи, опираясь на палку, он, проворно хромя, шел по цеху, как всегда окруженный агентами и уполномоченными.

– Ну, Ниночка, – сказал он, на минутку останавливаясь возле меня и грозно сверкая очами, – могла меня больше не увидеть. Кошмар. Но металл все-таки погрузили. Две баржи. Но ты себе не можешь представить, с каким адским трудом!

– Трудно было грузить?

– Грузить? Это само собой. Люди на вес золота. Сами грузили. Лично я перетаскал с берега на баржу не меньше тонны металла. Ты помнишь мое коричневое кожаное пальто? Оно еще было совсем

новое. Так – в ключья! Немец налетает через каждые полчаса. Бьет по пристаням, баржам. Словом, кошмар. Видишь, как меня садануло? Слава богу, кость цела. Но не в этом суть! Не дают качественную сталь, и все. Они говорят – ничего подобного, нам самим металл нужен. Я кричу: на черта вам этот металл, когда у вас уже больше половины предприятий выведено из строя! А они говорят: это не важно. Пригодится. Тьфу ты черт! И ты знаешь, Ниночка, пока мне не удалось связаться по телеграфу с наркоматом и пока они не получили категорического подтверждения, до тех пор не давали металла. Но я все-таки в конце концов у них вырвал. Из зубов вырвал. Это была целая эпопея.

– А город? – спросила я.

– Что город? Город горит. В небе черно от немецких самолетов. Ужас!

– А немцы его не возьмут?

– Сталинград? Ты смеешься! – закричал Абраша Мильк. – Вот они получают Сталинград! Видишь? – И, злобно свернув кукиш, он проворно захромал дальше.

А через минуту я уже где-то в отдалении слышала его громовой голос:

– Что? Ни одного килограмма! Только через мой труп! До декабря ни одного килограмма!

Уже несколько раз объявляли воздушную тревогу: это к городу с юга подходили немецкие ночные бомбардировщики. Тогда стеклянные трубы прожекторов упирались в дымчатое небо, шарили по тучам и над затемненными цехами завода, где работа не прекращалась ни на секунду, начинали с крыш поспешно бить батареи зениток, бегло покрывая небо розовыми звездочками заградительного огня.

Поздними темными утрами на крышах и на мостовых белел иней. По Волге шло сало. В затонах – как и в прошлом году – кричали столпившиеся пароходы с беженцами из Сталинграда. Ледяной восточный ветер нес по трамвайным рельсам мусор и пыль. Вагоны трамвая с фанерой вместо стекол сухо визжали на поворотах. Люди в ватниках, обвешанные мешками и кошелками, стояли на буферах, держась за крышу. И на углах возле репродукторов, спиной к ветру, стояли черные толпы, слушая утреннюю сводку.

– Держится? – спрашивал опоздавший, быстро присоединяясь к толпе.

– Держится, – отвечали из толпы.

И люди быстро расходились, глубоко засунув красные руки в карманы и отворачиваясь от лютого ветра, секшего лицо песком и пылью.

Сталинград был город нашей славы. Отдать его врагам на поругание народ не мог.

И он его не отдал.

## XX

В конце декабря, после продолжительного отсутствия писем, неожиданно появился Петя. Он, как и в прошлый раз, прибыл за самолетами, был очень занят и провел со мной только один вечер, а наутро улетел обратно на фронт.

Это короткое свиданье меня очень обрадовало. Оно не только усилило мою надежду скоро увидеть могилу Андрея, но теперь, когда мы разгромили немцев под Сталинградом и гнали их на запад, я твердо знала, что так оно и будет.

Карта, на которую еще так недавно страшно было смотреть, теперь притягивала к себе, как магнит. От нее трудно было отвести глаза. Толпы у репродукторов долго не расходились, слушая мощные голоса хора, гремевшего по всему городу.

Все было превосходно, замечательно. И зима стояла тоже на редкость толковая. Завернули крепкие морозы с пургой, с буранами. Злые вихри несли с Заволжья тучи сухого снега. В иных местах, поперек заводского двора, лежали длинные сугробы по грудь человека. В других – асфальтовые дорожки были гладко выметены ветром и отполированы до глянца.

Волга курилась белым дымком поземки.

И люди, топая по крепкому снегу подшитыми валенками, кряхтя, приговаривали:

– Хороша погодка. Погодка правильная. Так и надо. Заворачивай круче. Пускай теперь немцы на Дону попляшут.

Но зато, когда, бывало, ненадолго уходили тучи и ледяное морозное солнце озаряло потонувший в разноцветных снегах город, и Волгу, и леса за Волгой, – то это было неописуемо красиво, точнее сказать, прекрасно, даже волшебно.

В один из таких именно дней и приехал Петя. Я его совсем не ждала. У меня и в мыслях этого не было. Во всяком случае, он о такой возможности не упоминал в своих письмах ни разу. Однако весь этот день я провела на заводе в каком-то особенно легком, возбужденном состоянии. Я думаю, что тут на меня влияло все вместе: наши победы, и хорошие дела на заводе, – мы получили переходящее знамя Наркомата обороны! – и чудеснейшая погода.

Я ушла домой рано. Мне захотелось пройтись, погулять, побыть одной – потребность, которой я давно уже не испытывала.

Солнце только что зашло. На западе в необыкновенно чистом зеленом небе холодно и ярко горели розовые, изумрудные, лимонно-желтые полосы. При сильном ледяном ветре они казались еще ярче и холоднее. На них больно было смотреть.

Наледь у водяных колонок, сосульки, ледяные полосы, накатанные ребятами у подворотен, – все горело стеклянным золотом.

В круглом сквере у памятника Ленину устанавливали большую голубую сосну, которая обычно заменяла здесь новогоднюю елку. В этом тоже было что-то возбуждающее.

Я прошла по непомерно длинной, прямой Куйбышевской улице мимо «Гранд-отеля», где, занесенные снегом, стояли щегольские машины дипкорпуса с пестрыми флажками.

Гладкий ветер со страшной силой дул вдоль этой улицы, как сквозняк. У меня замерзли уши, а щеки стали твердые, как яблоки. Девушки в солдатских шинелях, ушанках и сапогах, с очень красными щеками, очень синими глазами и кудряшками, поседевшими от мороза, торопились пробежать угол, где всегда особенно свирепствовал ветер. Я тоже побежала, сильно топая валенками. С пристани, скрипя, подымался в гору обоз. Густая зимняя шерсть лошадок была покрыта толстым инеем. Из ноздрей валил пар; ветер вырывал его и уносил, как вату.

Отвернувшись от ветра, стараясь не дышать, я добежала до своего дома. Возле ворот была длинная, накатанная мальчишками, полоса. Тут во мне вдруг заговорил какой-то забытый детский инстинкт. Я

разбежалась, поставила ноги одну за другой и помчалась по льду. Я едва не сбила с ног летчика в кожаной шубе и меховых сапогах, который как раз в этот момент, нагнувшись, входил в калитку ворот. Я не успела затормозить и обеими руками схватилась за его плечо. Это был Петя. От неожиданности он так смутился, что даже не старался скрыть своего смущения. Он просто растерялся. Он стоял передо мной в своих серых кудрявых пимах из собачьего меха, с большим планшетом у колена, с красным, немного погрубевшим лицом, и дышал в свой цигейковый воротник, белый от инея. Я же ничуть не смутилась, а только бесконечно обрадовалась.

– Вы давно? Надолго? – сказала я, беря его под руку. – Вы себе не можете представить, до чего я рада вас видеть. Пойдемте же.

– Сегодня приехал. Завтра улетаю назад.

– Из-под Сталинграда?

– Был и под Сталинградом.

– Вы как будто немного изменились. Устали?

– Я думаю, – сказал он, усмехаясь, и его карие девичьи глаза «постаринному» блеснули ярко и озорно.

– Как дела на фронте?

– Наши недурно, а немцев – хуже.

У него был жесткий, простуженный голос.

Я напоила его чаем. Он молча выпил чашек шесть и лишь после этого немного пришел в себя. Зинаида Константиновна работала во второй смене. Мы были одни. Пока он пил чай, стараясь не слишком грубо кусать сахар, я рассматривала его лицо. Действительно, за это время он изменился. Не то чтобы он постарел, а как-то стал более зрелым, определенным. Лицо его, если не считать еле заметной седины на висках, в общем осталось прежним. Но изменился характер лица. Раньше в нем преобладало выражение озорного лукавства. Теперь же, хотя озорное лукавство и осталось, в лице преобладало выражение непоколебимой решимости, я бы даже сказала – жестокости. Глаза немного прищурились, под ними обозначились суховатые морщинки, а поперек лба, над переносицей, прорезалась новая, твердая черта, которая делала Петю чем-то неуловимо похожим на Андрея. Видно, не так-то легко давалась война людям.

Стемнело. Стал особенно заметен раскаленный малиновый змеевичок круглой глиняной плитки. Я опять опустила штору и опять

зажгла лампочку под черным колпачком. И мы опять, как и в первый Петин приезд, заговорили об Андрее. Говорили долго. Потом разговор как-то сам собой оборвался. Мы долго молчали. Как говорится, пролетел тихий, грустный ангел.

– Знаете что, Нина Петровна, – вдруг сказал Петя решительно, – не сходить ли нам с вами в оперу? В самом деле, – прибавил он робко, – ведь как-никак Государственный Большой академический театр. Лучший театр Союза. Когда еще в нем побываешь? Для фронтовика, знаете, это большая мечта.

Мне не хотелось идти в театр. Я отвыкла от всяких зрелищ и не чувствовала в них никакой потребности. Но было бы слишком жестоко лишиться этой радости человека, попавшего всего на один день с фронта в тыл. Я переделалась, и мы отправились во Дворец культуры, где временно шли спектакли Большого театра.

Погода переменилась. Начинался буран.

Петя побежал к кассе, но вернулся расстроенный. Оказалось, что сегодня понедельник, спектакля нет, а исполняется Седьмая симфония Шостаковича.

– Так прекрасно, – сказала я, – послушаем музыку.

– Весь вечер один оркестр без артистов! – огорченно сказал Петя. – Не повезло нам с вами, Ниночка. Как же быть?

Однако ничего другого не оставалось. Петя пошел за билетами.

## XXI

Первые же звуки оркестра погрузили меня в привычный мир воспоминаний. Вы, наверное, слышали Седьмую симфонию?

Сначала все в музыке было очень хорошо, я представила себе теплое и немножко дождливое летнее утро. Я шла через дачную местность встречать Дусю, которая обещала приехать двенадцатичасовым поездом. На душе у меня было легко, спокойно. Все складывалось как нельзя лучше. Летом мы никогда не жили в городе, а нанимали до сентября избу у одного колхозника. Мать жила в деревне все время, а мы с отцом – как люди занятые, рабочие, – наезжали, когда позволяло время, но с субботы на воскресенье – обязательно.

С Андреем мы уже были мужем и женой, но еще вместе не жили, так как в Москве квартиры у него не было, а находился он почти все время на Севере, где готовился к большому арктическому перелету. Обстоятельства сложились так, что после Севастополя мы виделись с Андреем всего несколько раз, да и то ненадолго. Но этим летом, в конце июня, он обещал приехать и пожить с нами в деревне до августа. А зимой уже мы должны были поселиться с ним вместе в Москве, в чудной квартире, в новом доме Гражданского Воздушного Флота.

Ожидая Андрея, я не чувствовала особенного нетерпения. Мы любили так крепко и так верно, перед нами – казалось мне – была такая длинная, счастливая жизнь, что днем раньше, днем позже, это уже почти не имело значения. Даже было какое-то наслаждение в ожидании.

Конечно, мы переписывались. Но Андрей не сообщал мне точно дня своего приезда. По некоторым намекам, заключавшимся в его веселых и обстоятельных письмах, я имела основание предполагать, что он готовит для меня приятный сюрприз и собирается нагрянуть неожиданно. Я ждала его каждый день. Я шла на станцию встречать Дусю, но в глубине души была уверена, что встречу его.

Я нарочно вышла из дому пораньше и выбрала самую длинную дорогу, чтобы кстати и погулять.

Сначала я прошла по длинной просеке хвойного леса. Лес был необыкновенно молчалив, как, впрочем, это всегда бывает в пасмурный июньский денек. Среди смолистой темной и свежей зелени елок стоял голубоватый туман. Обычно по воскресеньям в этот лес приезжало из Москвы много гуляющих. В чаще обычно трещал валежник и раздавалось гулкое ауканье... Но сегодня в лесу было очень тихо. Только слышалось, как падали капельки тумана. Я это объяснила себе дурной погодой, но все-таки было почему-то немного неприятно.

Потом я перешла через великолепную накатанную, чугуно-синюю от ночного дождя автомобильную магистраль Москва – Минск, очень широко и красиво огибавшую лес своими выбеленными столбиками. Мимо меня в сторону Минска промчался грузовик, наполненный какой-то канцелярской мебелью и кроватями. На этой мебели сидели красноармейцы, накрывшись от дождя зеленой



палаткой. «Вероятно, едут в лагерь, – подумала я, – однако поздно». Мне это почему-то не понравилось. Я пошла дальше.

Дальше был опять лес, но уже в другом роде. Это была некрасивая редкая сосновая роща с голыми высокими стволами и маленькими грязными кронами. Такие некрасивые рощи без травы с вытоптанной землей обычно бывают вблизи химических заводов. Я видела ее в первый раз. Через эту некрасивую рощу бежали напрямик и не в ногу две старухи в серых платках. Они поминутно оглядывались назад, размахивая пустыми корзинками. Эти не в ногу бегущие старухи и эта бесцветная роща еще более неприятно поразили меня. Они прозвучали, как посторонняя нота, по ошибке взятая в оркестре каким-то второстепенным инструментом.

Для того чтобы поскорее избавиться от неприятного впечатления, я прибавила шаг. Я обогнула прекрасный старинный пруд, окруженный вековым парком. Серебристо-голубые облака деревьев туманно отражались в тихой мыльной воде. По очень зеленому лугу к воде шли очень белые гуси. Это радовало глаз. Но прежнего спокойствия уже не было и здесь.

В музыке что-то вдруг стало оступаться.

Где-то далеко на дачах Мичуринского поселка отрывисто и неразборчиво кричало радио. На станционной платформе было пустынно. Возле запертого газетного киоска стояло человек шесть. Они негромко разговаривали. Я подошла к ним. Они замолчали, как бы желая от меня что-то скрыть. Я постояла и пошла по платформе дальше. Люди снова заговорили. Мне послышались названия городов – Одесса, Киев, Кишинев. Они прошли мимо моего сознания, но я услышала слово «Севастополь», и во мне мелькнуло страшное подозрение.

Мимо платформы, не останавливаясь, со свистом промчался в Москву дачный поезд. В том, что он не остановился, не было ничего особенного. Не все поезда останавливались на этой станции. Необыкновенное заключалось в том, что обычно поезда шли в Москву пустые, а этот был переполнен.

Знакомый инженер с женой и юношей-сыном, не по-дачному одетые, стояли на краю пустынной платформы.

– Ради бога, – сказала я, – что случилось?

– Как, разве вы ничего не знаете? – строго сказал юноша-сын, и я увидела на его спине зеленый рюкзак.

Я увидела абсолютно неподвижное лицо матери и поняла все. И вдруг на одно мгновение передо мною на тысячи километров открылась серая, утомительно мерцающая, безжизненная пустыня войны. А маленькие заводные барабанчики – два или три – маршировали, невидимые за слоистым горизонтом. Они редко ударяли своими палочками и отбивали шаг.

Я поняла, что никто не приедет и что все прежнее кончилось. Когда я прибежала домой, мать уже увязывала вещи. В тот же день мы вернулись в Москву.

А в музыке все продолжало и продолжало что-то оступаться, как человек, идущий ощупью среди бела дня по темной лестнице при утомительном и бесполезном свете синей лампочки.

Пустыня войны знойно мерцала за городом. В лестничных клетках стояли ящики с песком. Это был песок из пустыни войны, освещенный синим аптекарским светом. На чердаках висели орудия пытки – грубые щипцы и громадные клещи. Витрины магазинов в новых корпусах на улице Горького закладывали косыми штабелями мешочков с песком из пустыни войны. Война, как чума, метила косыми белыми крестами каждое стекло в окнах домов. По вечерам затемненная Москва была величественна и прекрасна. Ее новые светлые мосты, длинными арками повисшие над водой, ее старинные башни и зубчатые стены, купола и колокольни Кремля – все тонуло в душном, меловом воздухе. Вечер постепенно сгущался в затемненных улицах, как копоть. Высоко на крышах, на светящемся фоне еще не погасшего зеленоватого июльского неба, по всей Москве отчетливо виднелись силуэты зенитчиков и пожарных, стоящих лицом к западу.

Это был час, когда над Москвой поднимались аэростаты воздушного заграждения. Мертвые белые животные с повисшими плавниками уходили, темнея, на головокружительную высоту и останавливались там среди слабых звезд – еще заметные невооруженным глазом – как черные бактерии воздушной тревоги.

А маленькие барабанчики продолжали маршировать, отбивая свой механический шаг, и безумная флейта осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам, все время оступаясь, и никак не могла попасть в ногу. И вдруг она отчаянно вскрикнула. Ее высокий,

фальшивый, мучительно вывихнутый голос взвился над темным городом и упал замертво. А на рассвете, когда люди после бессонной ночи выходили из метро и шли с узлами домой, у них под ногами хрустел горячий песок, занесенный на тротуары из пустыни войны. Воспаленное солнце всходило, подернутое сизой пеленой гари.

А барабанщики все настойчивее и тверже отбивали шаг. Теперь к редкому постукиванию барабанов присоединились рожки. Резкие голоса рожков выводили из-за слоистого горизонта черные кресты на белых знаменах и белые кресты на черных танках. В дыму и пламени городов медленно двигалась машина войны. Смертью в лицо дышало бесцветное небо над черными армиями, выходившими одна за другой из-за плоского горизонта.

Капитан Гастелло, весь охваченный пламенем, как гений света, пролетел и врезался в черные танки с белыми крестами.

Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских полированных плит. Смерть клала черные лабрадорские плиты. Слава клала красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в холодные закрытые глаза и гипсовые губы.

И уже нечем было дышать.

А механические барабанщики все шли и шли, выстукивая палочками свой зловещий марш – угнетающий и однообразный. Иногда этот марш заносило песком, и тогда он еле слышался. В затихающей музыке все что-то продолжало оступаться. Завод кончался. И, наконец, оступившись в последний раз, оно остановилось, как бы повиснув в воздухе над самой землей. И в последний раз надтреснуто прозвучал голос рожка.

Некоторое время длилось молчанье, и вдруг разразились бурные аплодисменты.

Я очнулась. Как после глубокого сна, я увидела пышный зрительный зал, раскрытую сцену, уставленную пюпитрами. Я увидела музыкантов, грифы скрипок и опущенные смычки. Дирижер с широкой крахмальной грудью и орденами на лацкане фрака, возбужденный, счастливый, розовый, вытирал платком блестящий лоб и раскланивался, стоя возле своего высокого пульта. В ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский.

Рядом со мной неподвижно, с полузакрытыми глазами сидел Петя. Несмотря на то что оркестр уже не играл, мне казалось, что музыка еще продолжается и маленькие барабанщики тащатся по сугробам, на каждом шагу оступаясь, останавливаясь и падая.

– Пойдем покурим, – сказал Петя, решительно вставая.

Он, быстро прихрамывая, пошел в своих косолапых пимах впереди меня к выходу.

Я поняла. Он не хотел, чтобы я заметила его слезы. Выходя из стонущего зала, я оглянулась и увидела худенького молодого человека в пиджачке с отстающим сзади воротником, в очках, с петушком на макушке. Он быстро, сухо пожимал руки скрипачам и кланялся. Это был Шостакович.

Когда мы спустились в нижнее фойе, Петя уже привел себя в порядок. Он закурил трубку. Это была трубка Андрея, которую я подарила Пете на память о друге.

Мы стояли под сияющей четырехугольной колонной искусственного мрамора цвета морской воды. Мимо нас по кругу ходила публика. Выделялись фисташковые, бежевые френчи английских и американских офицеров, черные пиджаки дипломатов, вязаные джемперы иностранных корреспондентов. Пахло хорошими духами и египетскими папиросами. Из дубовых решеток отопления дышало жаром, и трудно было представить, что на дворе сейчас буран и сумасшедший ветер несет над Волгой тучи мутного снега, призрачно освещенного невидимой луной.

– Понравилось? – спросила я.

– Толково, – решительно сказал он. – Это бы надо, чтоб в армии послушали. Выдающееся произведение советской музыки.

Возвращаясь на свои места, Петя взял меня об руку и осторожно пожал мои пальцы.

– Эх, Ниночка, обидно, что нашего Андрея нет. Не довелось ему увидеть, как немцев разбили под Сталинградом. Это была редкая красота.

Я спросила о своей поездке на фронт.

– Теперь скоро, – сказал он уверенно.

Когда мы сели на свои места, Петя погладил мою руку и осторожно ее поцеловал. В это время дирижер взмахнул палочкой, и тотчас я перенеслась в Севастополь, в номер маленькой гостиницы на

набережной Хрустальной бухты. Мы проснулись с Андреем и увидели потолок, сияющий в знойном сумраке комнаты.

## XXII

Живая зеркальная сетка, мелко и часто мигая, текла по потолку. По этой сетке иногда медленно двигались небольшие радужные тени каких-то непонятных предметов. Очарованная, я долго смотрела на экран потолка, не соображая, что же это такое.

– Андрюша, что это такое? – наконец спросила я, пересилив смущение.

Он покосился на меня нежными, веселыми глазами, блеснувшими в потемках.

– Это феномен, – сказал он, – называется в физике камер-обскура. Слыхала?

Боже мой, до чего ж мне приятно было слышать его густой, окуающий голос и почувствовать щекой его круглое большое плечо!

Мы проходили физику, и я, конечно, знала, что такое камер-обскура. Но как же я сразу не догадалась?

Мне стало весело.

– Значит, никакого волшебства? – сказала я.

– Наоборот, сплошное волшебство, – сказал он.

– Ты так думаешь?

– Конечно. Разве то, что происходит с нами, не волшебство?

– Ты думаешь? – еще раз сказала я, стараясь как можно полнее и глубже понять его чувство.

– Как же не волшебство, когда волшебство! – воскликнул он горячо, почти с восторгом. – Подумай и разберись. Мы с тобой забрались в темную коробку, закрылись ставнями и воображаем, что спрятались от всего мира. Но природа не терпит темноты и одиночества, даже если это одиночество вдвоем.

Я тотчас поняла его мысль.

– Ага. Я понимаю. Ставни. А в ставнях – дырочка от сучка. Довольно самой маленькой дырочки, чтобы... Верно?

– Во-во. Для того, чтобы проник один только луч. А уж вместе с этим лучом и все остальное. Погляди, как замечательно. Живое

изображение Хрустальной бухты во всех подробностях. Маленькие волны, и на них маленькие молнии солнца.

– В общем, похоже на живой мрамор, – сказала я.

– И даже на казанское стирочное мыло с синими жилками.

– Сам ты казанское мыло.

– Ничего не поделаешь, люблю Волгу. А Казань – город волжский.

Ох, какой вздор несли мы от смущенья и как замечательно было нам вместе в это наше первое утро! До чего приятно мне было называть его «Андрюша» и слышать, как он называет меня «Нина». Для того чтобы лишний раз назвать его Андрюшей, я все время обращалась к нему с разными вопросами и разъяснениями по поводу феномена камер-обскуры с такой серьезностью, как будто бы он и впрямь был великий специалист по камер-обкурам.

– Андрюша, а это что за предмет двигается?

– Этот? Маленький?

– Да. Радужный. С лапками.

– Не узнаешь?

– Нет, Андрюша.

– А ты всмотрись, Нина.

Я стала прилежно всматриваться. Было что-то знакомое в этом маленьком предмете. Особенно в его движущихся сверкающих лапках. Но все же я никак не могла постигнуть.

– Ну, – сказал Андрей, поглядывая на меня сбоку. – Эх, ты! А еще студентка. Да ведь это...

– Лодка! – закричала я, вдруг узнав предмет. – Лодка!

Действительно, это было маленькое волшебное изображение ялика. Серый и красный, со сверкающими лапками весел, он маленькими толчками двигался, опрокинутый над нами на потолке, по зеркальной сетке морской ряби. Я даже разглядела двух человечков – одного на корме, другого на веслах. И еще проносились какие-то белые, сияющие тени. Но их я узнала уже без труда. Это были чайки. И мне тотчас захотелось как можно скорее вон из комнаты, на простор, на солнце, в море.

Не успела я об этом подумать, как Андрей уже сказал:

– Купаться?

– Конечно. И как можно скорее! Не валяться же здесь целый день.

– С добрым утром, – сказал Андрей.

– С добрым утром, – сказала я.

Мы прямо и просто посмотрели друг другу в глаза и крепко поцеловались. И тотчас я перенеслась в военную закамуфлированную Москву, с домами, размалеванными синими, багровыми, черными геометрическими фигурами, как на картинах супрематистов. Мы шли под руку по улице, заваленной громадными сугробами неубранного снега. Был январь сорок второго года, и мы не знали, что идем по Москве вместе в последний раз в жизни. Москва только что отбилась от немцев. Их гнали от Москвы. Это были упоительные дни первой нашей победы. Но на Москве еще лежал грозный, суровый отпечаток осады. На окраинах, на розовом фоне ранней зимней зари рисовались противотанковые ежи, сделанные из черных скрещенных рельсов, наполовину белых от снега. На Кремлевской стене были нарисованы ложные окна и деревья. Фасад Большого театра, в который попала бомба, был закрыт громадной декорацией из «Ромео и Джульетты». Было что-то пышное, итальянское, с колоннами и фонтаном. По улице Горького шли танки, грубо выкрашенные грязно-белой краской, и белые фронтовые «эмки» с простреленными стеклами и помятыми боками как сумасшедшие носились по улицам, наполняя воздух тяжелым запахом военного бензина. Быстро смеркалось. Цигейковый воротник Андрея побелел от его дыхания. На Театральной площади начал явственно светиться циферблат часов, вымазанный синей краской. Возле кинематографа «Востоккино»... Простите, это, кажется, за мной!

Нина Петровна быстро вскочила с травы и бросила мне шинель полковника. Уже было почти светло. Небо было покрыто серенькими предутренними тучками. На дороге против нас стоял маленький прямоугольный «виллис» с брезентовым верхом. Из него выглядывал майор-летчик в фуражке с голубым околышем, с золотыми погонями, смуглый и с небольшими усиками.

– Нина Петровна! Ниночка! – кричал он.

– Ну, прощайте, – сказала Нина Петровна, подавая мне руку. – Это майор Савушкин. Спасибо за компанию. Отдайте, пожалуйста, шинель полковнику. Может быть, когда-нибудь встретимся.

Она подошла к «виллису» и бросила в него свой портфель, села в машину, и они уехали.

Действительно, скоро мы с ней еще один раз встретились.

### XXIII

Сначала мы шли, пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую рожь.

Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение.

Несколько бойцов лежало в уютных гнездах, устланных свежей соломой. Бронебойщик-казах, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового ружья – тонкий и неестественно длинный, с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх шлемов на них были надеты широкие соломенные абажуры, а на некоторых – сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на японских рыбаков.

Вчера здесь были немцы. Ночью их выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронебойщиков.

Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они снова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли.

Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции.

Отсюда до немцев было не более полукилометра «ничьей земли».

– А где же наша пехота? – спросил я.

– Она сейчас подойдет, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля.

Он был в простом защитном комбинезоне, из штанов которого выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал подозвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках.

Генерал и артиллерийский офицер стали в два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы.

По мнению генерала – там была батарея, по мнению артиллерийского офицера, – две засеченные еще вчера пушки.



– Карту! – сказал генерал и, не оборачиваясь, протянул назад руку. В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потерянная, вся меченая-перемеченая карта, сложенная как салфетка.

Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями и мякиной, разгладил ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.

– Прикажете кинуть туда штучки четыре осколочных, – сказал он. – Может быть, они ответят.

– Есть четыре осколочных!

Артиллерийский офицер пополз к своей рации. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста с тремя длинными треугольными зелеными листочками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.

В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.

– Мина! – негромко крикнул кто-то.

И в тот же миг раздался злой, отрывистый, крякнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле. Ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и горелым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.

– Живы? – сказал генерал.

– Шивы, – ответило несколько голосов.

– Плохо маскируетесь, – сказал сердито генерал. – Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать. Понятно? Ройте щель. Только как следует, на полный профиль.

Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.

– Ищет, – сказал кто-то.

– Только не находит.

– Формалист, – сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. – Формально стали воевать немцы. Дайте перископ.

И тотчас в его руке очутился небольшой перископ.

Генерал пополз далеко вперед, – мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, – лег там и высунул из ржи вверх зеленую палочку перископа.

Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко, и далеко, и справа, и слева. Но на них уже больше никто не обращал особого внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное – дело случая.

Закончив работу с картой, – ориентировав ее по местности, – генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь, пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления.

Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.

Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой сторон велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме.

Стреляли из всех видов оружия.

Далеко, в тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь в центре этой разнообразной канонады, люди привычным ухом совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть даже смертелен, а какой – нет.

Все «безопасные» звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то, как бы на втором плане. Все звуки «опасные», в свою очередь, делились на просто опасные и смертельно опасные и, в соответствии с этим, занимали в сознании более или менее важное место.

Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на соседние дороги с большой высоты и очень неточно, – они почти не привлекали внимания, так как непосредственно нам не угрожали, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов.

Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал внимание, хотя был назойлив и громок.

Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или спрыгнуть в щель.

Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бреющем полете «мессершмитта». (*Мелькало что-то черное, желтое, как оса, с крестами.*) Он проносился над нашим полем, паля из всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли.

Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца.

Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:

– Наш.

И непременно какой-нибудь пессимист сумрачно отвечал:

– Только бомбы немецкие.

Вслед за тем на нас обваливалось небо. Окоп ходил ходуном. Нас трясло. Земля сыпалась за воротник, комья стучали по фуражке. Мы были потные, грязные, как черти.

Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором – генерал это знал лучше всех – через пять минут будет твориться нечто невероятное, он велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром:

– Ну, как самочувствие?

Командиры двух батальонов подошли к телефону тотчас же. Третий не подошел. Вместо него трубку взял его заместитель.

– Я просил не заместителя, а самого командира, – строго сказал генерал.

– Товарищ четвертый, двадцать пятый лично подойти не может.

– Почему?

– Он намыленный!

– Чем?

– Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет полностью закончено через три минуты. Прикажете прекратить бритье или разрешите добриться?

– Хорошо. Пусть добреется, – сказал генерал, подумав.

## XXIV

После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощины на гору. Гвардейцы шли во весь рост широкой цепью по пестрому, малиновому, лиловому, зеленому клеверному полю. В матовых зеленых касках, с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах – кто пулемет, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.

– Ложитесь, черти! – крикнул молоденький смуглый офицер связи – тот самый, которого я видел нынче ночью верхом на броневике, – с пыльным лицом, каплями пота на подбородке и с сияющим орденом Отечественной войны первой степени на пропотевшей рубашке.

Они не слышали.

– Ложитесь! Ползите!

Несколько мин разорвались между ними и нами. Они переглянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шаг. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на склоне цветущего холма, на громадном фоне знойного орловского неба, тесно заставленного горами движущихся бело-синих облаков.

– Орлы! Гвардейцы! – сказал генерал с восхищением.

Рота побежала мимо нас, – вернее, через нас, – в сторону неприятеля и шагах в сорока залегла.

– Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют противника из его узла сопротивления. Артиллерия, авиация и пехота взламывают немецкую оборону, а танки врываются в брешь и развивают успех... Чем, между прочим, и объясняется, – прибавил генерал не без ехидства, – что вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь. Да и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади. Ну, да ведь...

Я ничего не успел сказать, так как стрелка больших генеральских часов коснулась роковой цифры.

Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволкло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало.

Тогда поднялась наша пехотная цепь.

– За родину! – крикнул чей-то голос, стараясь перекрыть грохот и вой артиллерийского шквала.

И мы еле слышали протяжное, раскатистое «ура».

– Пошли орлы, – сказал генерал и вскочил на бруствер.

А уже телефонист кричал снизу, из своего окопчика, осипшим счастливым голосом:

– Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.

– Вижу, вижу, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля. – Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают фашисты? Могу вам предоставить это удовольствие.

И он протянул мне свой бинокль.

На среднем и дальнем плане катилась пыль. Это неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. На переднем же плане я увидел горящее село с красной кирпичной церковью и маленьким погостом, мимо которого ползли, стреляя, четыре наших танка, с длинными пушками, выставленными вперед, как пистолеты.

В жизни я не видел более приятного зрелища!

– Хорошо, – сказал генерал, вытирая рукавом со лба и с носа черный пот и стараясь достать из-за ворота землю. – А теперь надо поскорее ехать на правый фланг, в район железной дороги. Адъютант, машину!

Мы покинули наше чудесное поле и стали спускаться в балку. Теперь мы шли во весь рост по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».

## XXV

На другой день я проезжал через то село, которое мы накануне взяли. Ночью прошел сильный ливень. Он потушил пожары и не дал селу сгореть дотла. Но он сделал дорогу совершенно невозможной. Колеса грузовика поминутно буксовали в неглубокой, но очень скользкой грязи орловского чернозема. Каждые тридцать метров водитель выходил на дорогу с лопатой, покорно ложился под машину и подкапывал колеса. Иногда это не помогало. Тогда он доставал из-под сиденья топор, рубил придорожный кустарник и устилал ветками наполненные водой колеи.

На выезде из села был довольно крутой подъем. Тут не помогли ни лопата, ни топор. Машина села прочно.

Пока водитель ходил за досками, я вышел размяться. Я дошел до конца подъема и среди ржи, поваленной ливнем и танками, увидел кирпичную церковь, а вокруг нее бедный деревенский погост. Я сразу узнал и погост и церковь. Я их видел вчера в бинокль.

Со вчерашнего дня фронт еще дальше отодвинулся на запад. Немцы продолжали отступать. Орудийные раскаты слышались слабо, но так как по небу еще бежали обрывки грозовых туч, то казалось, что это раскаты уходящей грозы.

Уже два раза показывалось горячее солнце, и тогда колеи разъезженной дороги начинали блестеть, как ртуть. Становилось жарко.

Наверху был соломенный шалашик, в котором сидел регулировщик с повязкой на рукаве и винтовкой между колен. Можно было подумать, что он сторожит рожь, – такой у него был мирный, задумчивый вид.

Вдруг во ржи я увидел знакомое синее пальто и клетчатый платок. Это была Нина Петровна. Расталкивая коленями сильную,

частую рожь, она пробиралась с большим букетом мокрых полевых цветов, на котором, сложив крылья, сидела мокрая бабочка. Нина Петровна была умыта, и русые волосы ее были прибраны. Только теперь я мог рассмотреть ее как следует. Она была очень хороша. Я даже думаю – она была красавица. Она была прекрасна той чистой, ясной русской красотой, в которой неизвестно чего больше – прелести, ума или души. Ее откровенные зеркально-серые глаза с восковыми уголками были опущены, и в них отражалась большая важная дума.

Я окликнул ее. Она вздрогнула, но сейчас же оправилась. У нее только слегка зарумянился подбородок. Она улыбнулась мне прямой, легкой улыбкой и сказала:

– Пойдемте.

Мы обошли церковь. С одной стороны она была совершенно разрушена. В свежем проломе кирпичной стены я увидел иконостас, осыпанный штукатуркой, и внутреннюю поверхность купола с грубо написанным богом Саваофом. Когда мы проходили мимо пролома, из церкви вылетела стайка воробьев и села на сломанную пополам березу с еще живыми листьями.

За церковью, на краю погоста, вокруг старой военной могилы с новым, только что поставленным тесовым обелиском стояло несколько офицеров-летчиков. Среди них я узнал майора Савушкина.

Нина Петровна подвела меня к могиле.

– Вот здесь, – сказала она.

На обелиске была прибита небольшая стальная дощечка с выгравированной надписью: «Герой Советского Союза полковник Андрей Васильевич Хрусталеv, жизнь отдавший за наше счастье».

– Это сделали у нас на заводе, – сказала Нина Петровна.

Я снял фуражку и некоторое время смотрел вниз, на траву, покрытую свежими мокрыми стружками. От стружек пахло очень тонко и терпко. На траве, среди стружек, лежал забытый рубанок, вытертый, как стекло.

Нина Петровна, подобрав пальто, присела на низенькие деревянные перильца вокруг могилы и, перегнувшись, осторожно разложила свои цветы у подножья обелиска. Когда она это сделала, Петя помог ей встать.

Я взял ее небольшую, но крепкую руку и молча поцеловал.

Потом я уехал.

*Москва,*

*1942–1943 гг.*



## Электрическая машина\*

Утро было на редкость пасмурное, в классе еще холодно, и первый урок был алгебра. В такой день лучше всего заболеть и остаться дома. В другое время Петя, наверное, так бы и сделал. Он бы, конечно, стал кашлять, жалобно стонать, жаловаться на жар, на головную боль и на горло, и папа в конце концов пожалел бы его. Но сегодня Петя прибежал в гимназию раньше всех. От нетерпения он даже плохо спал. Всю ночь ему снились деньги.

Еще осенью, в начале учебного года, однажды перед концом урока Константин Трофимович – математик – объявил, что мальчики, желающие собирать деньги, могут сделаться вкладчиками Государственной сберегательной кассы. Сберегательные карточки и марки можно покупать у него. При этом он вынул из портфеля несколько желтых сберегательных карточек и три листа сберегательных марок, похожих на почтовые.

Карточки выдавались даром, а марки надо было покупать и наклеивать на карточки.

Марки были в разную цену: в копейку, в три копейки, в пять копеек, в десять копеек – каждая цена другого цвета. Каждая сберегательная карточка вмещала марок ровно на один рубль.

Когда сберегательная карточка заполнена, марки погашаются, и вкладчику сберегательной кассы вместо сберегательной карточки выдается уже большая, настоящая сберегательная книжка, по которой в главном отделении сберегательных касс государственного казначейства в любой момент и по первому требованию можно получить свое сбережение как полностью, так и частично, причем на всю сумму вклада начисляются три процента годовых.

Так что если, например, какой-нибудь мальчик – объяснил Константин Трофимович – сделает вклад в Государственную сберегательную кассу в размере ста рублей, то по истечении года на его капитал нарастет три рубля процентов, что в общей сумме составит уже не сто рублей, но сто три рубля, каковые и перейдут в основной капитал мальчика.

«Вкладчик», «сумма», «проценты», «основной капитал», «государственное казначейство». Эти слова, конечно, были хорошо известны и раньше из задачника Шапошникова и Вальцева. Но там были задачи, то есть нечто отвлеченное, почти неосязаемое, лишенное объема и красок. Там был «некто», отдающий свой «капитал» в «рост». Там была «некоторая сумма», вырученная от продажи «некоторого товара» и положенная на «известный срок» в банк из расчета «двенадцати процентов годовых».

Этот «некто» стоял перед глазами, неуловимый, как призрак, в то время как его отданный в рост капитал где-то обрастал и обрастал призрачными процентами, простыми и сложными и легкими, как снег, опускающийся на белую шапку фонаря.

Но здесь, у Константина Трофимовича, все это было наглядно, осязаемо, трехмерно, даже имело вкус и цвет.

Капитал имел вид сберегательной марки: коричневой двухкопеечной, зеленой трехкопеечной, синей десятикопеечной. Можно было лизнуть языком и почувствовать его вкус – вкус почтового клея. Его можно было понюхать, почувствовать запах экспедиции заготовления государственных бумаг – денежный запах государственного казначейства, в свою очередь состоящий из двух запахов: запаха штемпельной краски и дымного запаха пылающего сургуча.

Петя как очарованный смотрел на сберегательные карточки и на сберегательные марки, которые Константин Трофимович раскладывал на кафедре.

Собирать деньги. Конечно. Он обязательно будет собирать деньги.

Разумеется, Петя уже и раньше много раз начинал собирать деньги. Один раз он даже насобирал рубль сорок копеек. Но это было совсем, совсем не то. Тогда была какая-то чепуха – круглая деревянная коробка, гипсовая кошка со скважиной в спине. Коробка открывалась, кошку ничего не стоило разбить молотком. Он так и поступал. Нет, это была какая-то чепуха.

Теперь он будет собирать деньги по-настоящему. Теперь он сделается вкладчиком Государственной сберегательной кассы. Его капитал будет храниться в подвалах государственного казначейства. Его капитал будут стеречь казначейские сторожа с револьверами

системы «смит-вессон» на синих шнурах. На его капитал будут нарастать известные проценты.

Больше он никогда не будет завтракать. Каждый день вместо завтрака он будет покупать одну десятикопеечную синюю сберегательную марку и наклеивать ее на сберегательную карточку. Через месяц у него будет капитал в три рубля. Тогда он получит сберегательную книжку и станет вкладчиком. Еще через месяц у него уже будет шесть рублей. Еще через месяц – девять. Это совершенно ясно. Через год у него будет капитал в тридцать шесть рублей, и тогда мы посмотрим. О, тогда мы посмотрим!

Можно себе представить, какое лицо сделает Павлик, когда увидит в руках у Пети золото и кредитные билеты.

Петя едва дышал.

Так как дело было перед большой переменной и гривенник лежал еще в кармане, то Петя первый подошел к кафедре, купил у Константина Трофимовича синюю марку за десять копеек и тут же наклеил ее на сберегательную карточку.

С этого дня Петина жизнь резко изменилась. Он стал вкладчиком. В его боковом кармане лежала сберегательная карточка. Он не мог больше думать ни о чем другом. Первые семь десятикопеечных марок были наклеены в течение пяти дней. В дело пошли те двадцать копеек, которые Петя получил в воскресенье на церковь: он не купил просфорки и не поставил свечи, хотя дома сказал, что просфорку купил и свечку поставил.

Но дальше собирать деньги стало труднее. Если урок алгебры был до завтрака – все шло хорошо: Петя покупал марку и слонялся всю большую переменную хотя и голодный, но зато очень гордый, с таинственной, блуждающей улыбкой и сердцем, полным счастья.

Если же урок Константина Трофимовича был после большой переменной, дело обстояло хуже. Искушение было слишком велико. Частенько случалось, что Петя не выдерживал характера и, проклиная себя, сердито покупал в буфете стакан чаю с сахаром за две копейки, пирожное с желтым кремом за четыре копейки и бублик «семитати» за две копейки, после чего у него оставалось капитала всего две копейки, на которые он, немного подумав, покупал еще один бублик. После этого капитала совсем не оставалось.

Словом, быть вкладчиком оказалось очень и очень трудно.

Тем не менее после пяти месяцев хлопотливой жизни у Пети были заполнены три сберегательные карточки, которые мальчик и сдал торжественно Константину Трофимовичу.

Настал день, когда Константин Трофимович обещал принести Пете и вручить уже не сберегательную карточку, а настоящую большую сберегательную книжку со специальным номером, печатью Главного управления государственных сберегательных касс и множеством подписей.

Константин Трофимович исполнил свое обещание. За несколько минут до конца урока он вызвал к доске вкладчиков и вручил им сберегательные книжки.

Получив свою сберегательную книжку, Петя почувствовал, как мороз прошел по его лицу. Лицо замерзло. Петя шаркнул ногой, с достоинством поклонился Константину Трофимовичу и, не торопясь, пошел на место, держа перед собою в обеих руках сберегательную книжку, от которой пахло папиросами.

Его движения были скованы скромной гордостью. Лицо стало очень серьезным. Оно побледнело. Глаза сделались еще уже и темней. В то же время сердце страшно колотилось, и внутренний голос, высокий и страстный, полный нечеловеческого блаженства, пел: «Теперь я вкладчик! О, теперь я вкладчик!»

Петя сел на место, засунул сберегательную книжку глубоко в парту, но руку из ящика не вынул, продолжая крепко держать сберегательную книжку холодными пальцами. Он устало облокотился на другую руку, а внутренний голос продолжал петь на все лады: «Теперь я вкладчик! О, теперь я настоящий вкладчик! У меня есть капитал!»

Едва прозвенел звонок и Константин Трофимович вышел из класса, как всех вкладчиков окружили товарищи, требуя показать сберегательные книжки.

Навалились товарищи и на Петю. Петя никому сберегательную книжку в руки, конечно, не дал, а показывал издали и осторожно перелистывал ее сам, собственными руками, и сам читал вслух то, что в ней было написано.

Великолепной писарской прописью, ясно и красиво, с нажимами и росчерками была выведена Петина фамилия, имя и отчество, а также была проставлена сумма вклада – три рубля.

Петя рассматривал сначала сам, а затем давал издали посмотреть товарищам бледно-сиреневую обложку сберегательной книжки с маленьким, четко отпечатанным двуглавым орлом. Он показывал кудрявые подписи, печати и лиловые оттиски различных штемпелей, испещрявших первую страницу. Остальные страницы были пока пустые, и Петя показывал на свет их водяные знаки, их паркетный узор, девственно чистый, полупрозрачный, как замерзшее стекло.

А внутренний голос тем временем все пел: «Я вкладчик! Я вкладчик!»

Потом Петя пошел гулять в коридор.

Он не рискнул оставить сберегательную книжку в классе. Он взял ее с собой. Она не помещалась в боковом кармане, а сгибать ее не хотелось. Петя держал ее в обеих руках, бережно прижимая к груди.

В коридоре Петя снова показывал сберегательную книжку мальчикам из других классов и давал объяснения.

Перемена продолжалась всего десять минут. Но уже через шесть минут Петинной сберегательной книжкой перестали интересоваться.

Петя остался наедине со своим восторгом, который не только не уменьшался, но, наоборот, с каждой минутой все рос, рос, расширялся, распирал и требовал от Пети немедленных действий. А каких – Петя и сам не знал.

Впереди еще предстояло четыре громадных урока и три перемены, из которых третья, большая, продолжится тридцать минут.

Нет, такое длительное бездействие выдержать было невозможно. Бездействие сводило с ума. Зря пропадал целый день.

Будучи вкладчиком, имея сберегательную книжку, обладая капиталом в три рубля, который можно получить немедленно по первому же требованию, и оставаться еще четыре часа в гимназии... Нет, это было бы слишком глупо. Нужно как можно скорее идти домой показать сберегательную книжку родным и знакомым, тете, кухарке Дуне, дворнику. Необходимо поскорее сходить к Нюсе Когану, пусть и он посмотрит.

А там будет видно.

Теперь все стало ясно. Остаться в гимназии больше нельзя ни одной минуты. Просто глупо.

Раздался звонок. Перемена кончилась. Тогда, вместо того чтобы возвратиться в класс, Петя пошел по опустевшему коридору,

спустился по парадной мраморной лестнице этажом ниже, остановился возле двери в учительскую и прислонился к косяку. Вид его выражал крайнее недоумение.

Первым из учительской вышел инспектор. Это был новый инспектор, еще далеко не старый человек, красавец, с острой бородкой и седыми висками. На нем был не сюртук, но форменная щегольская тужурка из толстого черного диагоналевого сукна с серебряными звездочками статского советника на синих бархатных петлицах. Эти серебряные звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки. Его мягкие шевровые сапоги на резинках приятно скрипели, и от него приятно пахло свежим одеколоном и брокаровским мылом.

– Ты что здесь околачиваешься? – заметив Петю, сказал новый инспектор звучным, красивым голосом, привыкшим к диктанту.

– Я заболел, – жалобно сказал Петя.

– Какого класса?

– Четвертого. Бачей Петр. Я заболел. Можно мне пойти домой?

– Что у тебя болит?

Петя хотел сказать «живот», но сейчас же сообразил, что это было бы просто глупо. Наивная брехня, достойная пригостишки. Петя знал, что в городе эпидемия дифтерита. Он решил ударить наверняка. Он с искусно сделанным трудом проглотил слюну и сказал:

– Горло. Трудно глотать.

Новый инспектор потрогал Петину голову.

– Жара нет, – сказал новый инспектор.

– Нет, есть, – сказал Петя. – Я ел снег.

– Ты ел снег?

– Я ел сегодня снег, – сказал Петя, – и теперь мне очень больно глотать. Вот видите.

Петя опять с трудом проглотил слюну и сделал страдальческое лицо. Теперь ему самому показалось, что глотать действительно больно.

– Зачем же ты ел снег? – сказал новый инспектор с отчаянием. – Кто тебя научил есть снег?

– Я не знаю, – с глупой и печальной улыбкой сказал Петя. – Мне хотелось пить, и я сегодня ел снег.

Петя ничуть не врал. Он действительно сегодня ел снег. Но он ел его не только сегодня. Он ел снег и вчера и позавчера. Каждую зиму

он ежедневно ел снег и каждую весну сосал сосульки, имевшие восхитительный привкус ржавого железа. Это было безумно приятно. Это делали все мальчики, и от этого никто никогда не болел.

Однако новый инспектор был удручен.

– Оказывается, в этой гимназии учащиеся едят снег! – повторил он несколько раз подряд, пожимая плечами и вкладывая в эти слова некий особый, полемический смысл.

– Можно мне пойти домой? – сказал Петя.

– Ступай к доктору, – сказал новый инспектор. – Сейчас же ступай к доктору. Боже мой, в этой гимназии учащиеся едят снег! Я напишу твоим родителям, что ты ел снег. Я напишу об этом в канцелярию попечителя учебного округа.

– Я больше не буду, – сказал Петя.

– Ступай к доктору, – сказал новый инспектор. – Оказывается, они здесь все едят снег. Ну-ну!

Пока Петя таким образом беседовал с новым инспектором, мимо них из учительской прошло на урок несколько преподавателей.

Сперва вышел преподаватель географии с указкой в руках, и за ним служитель в старом мундире с голубым воротником пронес множество палок с географическими картами.

Потом вышел преподаватель русского языка со стопкой тетрадей под мышкой. Из тетрадей выглядывали розовые промокашки.

За преподавателем русского языка вышел священник, взбивая пухлой рукой свои женские волосы и жадно докуривая тоненькую дамскую папироску.

За отцом законоучителем появился учитель природоведения, перед которым в поднятой руке служитель нес громадную легкую модель цветка с идеально правильным зеленым пестиком, идеально желтыми тычинками, с розовыми лепестками идеально правильного венчика и громадной завязью на тонкой проволочной ножке, воткнутой в деревянную подставку. Цветок качался.

Учитель рисования пронес две геометрические фигуры – шар и конус, – сделанные из папье-маше, некогда глянцевого-белоснежные, но с течением времени ставшие желто-серыми, а местами просто черными.

Француз не без труда тащил под мышкой несколько наглядных цветных картин «Четыре времени года», которые почти касались пола,

и Петя заметил одну из них, хорошо ему знакомую, – «L'hiver», «Зима», – с водяной мельницей под толстой треуголкой снега, с головастой ветлой возле замерзшего черно-зеленого пруда и с усатым господином на коньках «снегурочка», который, отбросив назад изящную ножку, толкает перед собой затейливые санки-кресло в форме лебедя, на которых сидит молодая особа с крошечной муфтой в руках.

Затем появился учитель пения, легко неся свой воздушный груз – скрипку, смычок, платочек и канифоль.

Петя смотрел на эту процессию педагогов и учебных пособий с чувством некоторой неловкости и даже, может быть, сожаления. Так, вероятно, смотрит дезертир, решивший бежать с поля боя, на колонну свежих войск, идущих в атаку с пушками и развернутыми знаменами.

Но это чувство было мимолетно.

В следующее мгновение Петя уже мчался в докторскую по пустынному, гулкому коридору, скользя каблуками по узорчатым метлахским плиткам мимо стеклянных дверей классов, мимо замазанных окон, мимо эмалированных плевательниц и фаянсовых баков с кипяченой водой, под кранами которых на цепочках висели оббитые эмалированные кружки.

Прибежав к докторской, он еле дышал. Лицо его пылало. И это было очень хорошо.

Петя постучал в обитую белой клеенкой дверь и, получив разрешение, вошел в докторскую. Он шаркнул ногой и поклонился доктору.

Доктор только что снял халат и был в одном жилете. Он как раз надевал пиджак с крошечным новеньким университетским значком, чтобы идти на урок в седьмой класс, где он преподавал гигиену.

Служитель с голубым воротником готовился выносить из докторской скелет, у которого болтались кости рук и на пружине щелкала челюсть.

Увидев Петю, доктор отложил пиджак и опять надел халат.

– Неси скелет в седьмой класс, – сказал доктор служителю. – Я сейчас приду. Что случилось? – сказал он Пете.

– Я заболел, – скорбно сказал Петя.

– Это катастрофа, – сказал доктор, блеснув глазами.

Доктор подержал Петю некоторое время за пульс, а потом сказал:



– Не морочь мне голову.

– Нет, честное слово, – сказал Петя льстиво и вместе с тем жалобно. – Я очень плохо себя чувствую. Видите, какой я красный.

Доктор был выкрест и весельчак. Он только что начал практику и во всех отношениях был доволен жизнью. Кроме того, он недавно женился и переживал медовый месяц. У него были чисто выбритые розовые щеки, небольшие подстриженные усики и глянцевиные глаза молодожена.

– Я вижу, что ты красный, – сказал доктор. – Но это еще абсолютно ничего не доказывает. Что у тебя болит?

– Горло. Трудно глотать.

– Тебе трудно глотать, – пробурчал доктор. – А ты не глотай. И вообще не морочь мне голову. Садись.

Доктор посадил Петю на клеенчатую кушетку, покрытую скользящей простыней, и велел разинуть рот.

Одной рукой он взял Петю за затылок и с силой повернул Петину голову лицом вверх, а другой рукой вынул из банки специальную кривую лопаточку и нажал ею на корень Петиного языка с такой силой, что язык онемел.

Доктор заглянул в Петино горло сначала одним глазом, потом другим, потом, не говоря ни слова, вымыл руки над фаянсовой раковиной, вытер их махровым полотенцем, снял халат и надел пиджак.

– Ты еще здесь? – сказал доктор, удивленно посмотрев на Петю, который стоял посреди докторской, тоскливо разглядывая проволочные формы рук и ног, развешанные по стенам. – Иди. У тебя не болит горло.

– Нет, болит, – сказал Петя. – Я ел снег.

– Неужели? – рассеянно пробормотал доктор, ища что-то на письменном столе.

– Я сегодня ел снег, – сказал Петя, – и теперь мне очень больно глотать.

Петя подумал и прибавил, скосив глаза:

– У меня дифтерит.

– Может быть, у тебя индийская чума? – сказал доктор, продолжая возиться у письменного столика.

– У меня дифтерит, неужели вы не видите? – упрямо сказал Петя, ужасаясь тому, что он говорит.

– Пошел вон, – сказал доктор равнодушно.

– Я сегодня ел снег. Мне очень больно глотать. Я заболел. У меня дифтерит, – быстро сказал Петя, почти плача.

– Так что же ты от меня хочешь?

– Можно мне идти домой?

– О! – коротко, с глубоким облегчением сказал доктор. – О! Теперь я слышу разумную речь. Ты здоров, но ты хочешь идти домой. Это я вполне понимаю.

Доктор быстро написал узенькую увольнительную записку, вручил ее Пете, подвел мальчика к двери, повернул за плечи, слегка поддал сзади коленом.

– И чтоб это было последний раз, босяк, – сказал доктор, закрывая за Петей дверь.

Размахивая запиской, Петя стремительно разбежался по совершенно пустому коридору.

За десять шагов до класса он неподвижно установил ноги специальным образом одна за другой, в одну линию, раскинул руки и понесся, как по льду, по скользким метлахским плиткам, которые щелкали под каблуками.

Петя вовремя затормозил, иначе он непременно въехал бы головой в стеклянную дверь класса. Возле двери Петя передохнул, сделал скорбное лицо человека, заболевшего дифтеритом, и, еле волоча ноги, вошел в класс, где уже начался урок физики.

Сегодня как раз были «опыты». На кафедре стояла электрофорная машина с толстым стеклянным диском, несколько напоминавшим циферблат часов, но только вместо цифр были наклеены полоски свинцовой бумаги, похожие на восклицательные знаки. Возле машины хлопотали учитель физики и два гимназиста-ассистента.

Когда Петя вошел в класс, опыт только что начался. Один из ассистентов крутил маленькую ручку с довольно крупным медным колесом. На это колесо была надета кожаная трансмиссия, соединявшая колесо с осью стеклянного диска. Диск плавно тронулся. Сначала он вращался медленно, хотя и гораздо быстрее медного колеса, и полоски свинцовой бумаги мелькали редко, как спицы извозчицкой пролетки. Потом диск стал вращаться быстрее, хотя

медное колесо вращалось все-таки медленнее. Тогда свинцовые полоски замелькали, поблескивая, как велосипедные спицы.

Послышалось прерывистое шуршание медных щеточек, которые все чаще и чаще задевали мелькающие свинцовые полоски.

Но вот диск пошел еще шибче, шибче, шуршание щеточек стало сплошным, свинцовые полоски слились в неподвижный круг, блестящий, как ртуть. Где-то в самой середине машины, работающей полным ходом, вдруг возник тонкий, как волос, звук напряженного, высокого тона, не то з-з-з-з-з, не то у-у-у-у-у. И вдруг на глазах у всех произошло чудо возникновения электричества.

Оно возникло из ничего, из трения медных щеточек о свинцовые бумажки!

Физик взял две палочки, похожие на ручки детской скакалки, но только с медными шариками на концах, – «индуктор» и «дедуктор», – приблизил их друг к другу, и вдруг между ними с легким треском проскочила синяя электрическая искра. Затем проскочила еще одна искра. Затем две искры подряд почти слитно. Затем три, четыре.

Искры проскакивали между двумя медными шариками одна за другой, с явственным треском электрических разрядов.

Гимназисты смотрели, затаив дыхание. Петя стоял возле двери, очарованный чудом возникновения электричества из ничего. Он не мог отвести глаз от волшебного зрелища этой миниатюрной грозы, которая – с громом и молнией – вдруг разразилась в руках физика.

Петя смотрел на проскакивающие между двумя медными шариками искры. Он слышал легкий треск крошечных электрических разрядов. Ему казалось, что в его жизни это уже когда-то было. Он это уже когда-то видел. Уже что-то подобное случалось. Так же проскакивала синяя искра, и так же потрескивало.

Но где это было? Когда?

И вдруг он сразу вспомнил.

Мама. Она еще тогда была жива. Да. Это была мама. Это была темная комната. Нарочно темная. Был солнечный день, но в комнате нарочно закрыли ставни и даже занавесили окно темным клетчатым пледом.

Мама сидела перед туалетным столиком и каучуковым гребешком расчесывала распущенные волосы. Волосы у мамы были длинные, пышные, темные. Петя был совсем маленький. Может быть, ему тогда

было три года. В комнате было почти темно, и мамины волосы казались еще длиннее, пышнее, темнее. В неполной темноте мамины волосы казались совсем черными, даже смолистыми. Мамины глаза лукаво блестели из темного зеркала. Тут же стоял папа в сюртуке и посмеивался.

Мама расчесывала волосы каучуковым гребнем, и они смолисто трещали, осыпанные синими искрами. Мама протянула Пете гребешок. Петя не успел его взять. Из гребешка с легким треском выскочило несколько синих искр. Петя с испугом отдернул руку. И тогда в первый раз было произнесено волшебное слово «электричество». Его произнес отец...

– Ты что здесь делаешь? – сказал физик, заметив наконец Петю. – Ты опоздал?

– Я сегодня ел снег, – машинально сказал Петя. – И я заболел. У меня жар. Доктор велел идти домой.

Петя показал записку.

– Ну так что ж ты стоишь? Иди.

Петя сделал несколько шагов к своему месту, но вдруг остановился, не в силах отвести очарованных глаз от электрической машины.

– Николай Николаевич, – жалобно сказал Петя, показывая пальцем на палочки с медными шариками, между которыми проскакивала искра. – Что это за штука?

– Это индуктор и дедуктор. Ну, ступай. Раз ты болен – забирай учебники и ступай домой.

– Индуктор и дедуктор, – горестно прошептал Петя.

Ему ужасно хотелось их потрогать. Он бы дорого дал, чтобы ему позволили покрутить машину. Но он сегодня ел снег. Он был опасно болен. Доктор велел ему сейчас же идти домой.

Несмотря, шаркая ногами, Петя отправился на свое место; он кинул учебники в ранец и развинченной походкой больного дифтеритом вышел из класса. Но, выйдя из класса, Петя еще некоторое время торчал за дверью, показывая товарищам через стекло здоровый, свежий язык и делая разнообразные ужимки, что было весьма принято в подобных случаях.

Тем временем физик что-то сделал с машиной, и теперь вдруг в его руке зажглась маленькая электрическая лампочка. Правда, она

горела очень слабо и очень неровно, то вспыхивая, то почти совсем угасая. Но она горела. Она давала свет. Она была «электрическая лампочка».

В это время в Одессе электричество считалось еще большой редкостью. Почти чудом. Электричество горело только в квартирах богачей. Улицы освещались керосином или газом. Только на Маразлиевской улице по вечерам гудели громадные яйцевидные дуговые фонари в сетках. Из этих фонарей иногда с шипеньем падали на мостовую перегоревшие угольные свечи, доставлявшие много радости маразлиевским мальчишкам.

Было приятно пройти вечером по Маразлиевской, облитой мертвым голубым, каким-то лунным светом шумящих электрических фонарей.

Первую линию электрического трамвая еще только прокладывали.

Когда Петя увидел в руках физика мигающую электрическую лампочку, у него пересохло в горле. В этот миг он даже забыл, что у него есть сберегательная книжка и что он вкладчик.

О, зачем, зачем он сегодня ел снег, зачем у него жар, зачем у него болит горло, зачем он полез к доктору!

Теперь, вместо того чтобы так глупо уходить домой, можно было бы напроситься в ассистенты, стоять возле кафедры, крутить чудесную машину и, – кто знает! – может быть, даже подержать в руке мигающую электрическую лампочку!

Однако Петя недолго предавался поздним сожалениям. Ему пришла в голову мысль, которая потрясла его до глубины души: ведь он вкладчик, у него есть капитал, который можно получить немедленно и по первому же требованию. Так в чем же дело? Ну, сколько стоит электрическая машина? Рубль, два? Пожалуйста. Два с полтиной? Пусть даже три. Это не имеет значения. Боже мой, как он раньше не подумал об этом!

Теперь кончено. Сейчас же, сию минуту он пойдет в государственное казначейство, потребует свой вклад и приобретет электрическую машину. И потом целый день будет крутить ручку своей собственной электрической машины и любоваться своей собственной электрической лампочкой.

Можно себе представить, какую жалобную рожу скорчит Павлик, когда узнает, что у Пети есть собственное электричество! О, тогда мы увидим!

Не медля ни секунды, Петя ринулся вниз, в шинельную. Он с такой силой рванул свою шинель, что стоячая вешалка чуть не повалилась и цепочка, на которой висела шинель, лопнула.

Петя быстро вытащил из одного рукава шинели башлык, а из другого – фуражку, в то же самое время стараясь достать ногами из ящика свои калоши с медными буквами П.Б.

Служитель с голубым воротником не без труда заставил Петю надеть башлык. Хотя Петя и вырывался, но служитель все-таки надел на Петину голову поверх фуражки башлык и так крепко обмотал его вокруг горла и таким грубым узлом завязал на затылке, что Петя совершенно не мог поворачивать голову.

Тесные ремни ранца давили под мышками, толстая шинель на вате топорщилась, волосатый башлык лез в рот, козырек фуражки под башлыком насунулся на глаза и мешал смотреть.

Жар до крови раскаленной чугунной мальцевской почки, по которой бегали искры, на одно мгновение охватил Петю при выходе из шинельной. На одно мгновение Петя увидел ярко начищенную медную подстилку, на которой стоял затейливый домик этой мальцевской печки с затейливыми слюдяными окошечками и куполообразной крышей. Сквозь розовые от жара, похрустывающие слюдяные окошечки Петя мельком увидел грудку раскаленного, спекшегося кокса и тотчас был ослеплен его нестерпимым сиянием.

Петя выбежал во двор, где его чуть не свалил с ног ветер, несший с Куликова поля тучи пурги. На газоне дымились занесенные снегом три голубые ели.

Стараясь держаться боком к ветру, а иногда даже становясь к нему на некоторое время спиной, Петя выбрался на улицу. В глазах среди струящейся белизны метели все плавали и плавали и мешали видеть до черноты синие отпечатки слюдяных окошечек.

Петя дошел, преодолевая ветер, по Новорыбной до угла Большой Арнаутской и в нерешительности остановился возле газетного киоска. Он еще не имел ясного плана дальнейших действий.

Вдруг он увидел Гаврика.

Гаврик шел по той стороне Большой Арнаутской, направляясь, как видно, в «город». Он шел без пальто. Пальто ему заменяла очень старая, ветхая двубортная тужурка с сильно укороченным воротником. Воротник был хотя и поднят, но не закрывал ушей полностью. Из воротника выглядывали кончики ушей, малиновых от стужи. Не помогала делу и чересчур маленькая фуражечка «капитанка», изо всех сил натянутая на давно не стриженную голову. На ногах у Гаврика были желтые летние полуботинки со сбитыми каблуками, несколько великоватые, но все же целые.

Гаврик шел, прижав к груди руки, засунутые в рукава, и бодал головой ветер, бивший его в лицо и норовивший свалить с ног.

Напирая на ветер головой и грудью, Гаврик боролся с бурей.

Пожалуй, его можно было бы принять за нищего. Но только нищие ходят по улицам совсем не так, как шел Гаврик. Нищие бредут по улице без цели, останавливаясь у ворот и заглядывая во дворы. Нищему некуда спешить. Нищий редко спешит. Нищий идет не торопясь. А если мороз слишком лют и нищий боится опоздать в ночлежку или торопится в монопольку выпить шкалик водки, тогда нищий суетливо бежит в своих угольно-черных лохмотьях, бесцеремонно расталкивая прохожих, мелко стуча ногами и приплясывая.

Гаврик шел торопливо, но не бежал.

У него был вид серьезного, занятого человека, идущего по важному делу. Кроме того, одежда Гаврика отличалась от нищенской тем, что хотя и была до последней степени ветхой, но не имела ни одной дырки. Все дырки были грубо, но аккуратно зашиты, залатаны, заштопаны. Даже все пуговицы были крепко пришиты к его ветхой двубортной тужурке с сильно укороченным воротником. Правда, это были пуговицы разных фасонов и цветов, но они были крепко пришиты и отлично служили.

Петя подобрал тяжелые полы шинели на стеганой ватной подкладке и, крутясь под ударами ветра, бросился догонять Гаврика.

Наконец он его догнал и крепко стукнул кулаком по спине. В тот же миг с ловкостью кошки Гаврик обернулся, присел и выставил кулаки. Его зубы были злобно стиснуты и глаза остро прищурены. Он всегда, в любую секунду, был готов к нападению.

Но, увидев перед собой Петю, Гаврик добродушно растянул губы, сизые от холода.

– Клифт! – сказал Гаврик и ловко щелкнул ногтем большого пальца по клеенчатому потрескавшемуся козырьку своей «капитаночки».

– Клифт! – ответил Петя.

Он стащил зубами вязаную перчатку и так же щеголевато щелкнул по кожаному лакированному козырьку своего гимназического картуза.

Это было новое приветствие, которое только что вошло в моду у одесских мальчиков и считалось самым высшим шиком на всем протяжении от Большого Фонтана до Дюковского сада.

– Клифт! – сказал Гаврик.

– Клифт! – сказал Петя.

После чего он крепко пожал ярко-красную руку приятеля.

– Куда шмалишь? – спросил Петя.

– На тульчу. А ты что: правишь казну?

– Спрашиваешь!

В переводе на русский язык это значило:

– Привет!

– Привет!

– Куда ты идешь?

– На толкучий рынок. А ты что: прогуливаешь уроки?

– Странный вопрос: конечно!

Но в то время все одесские мальчики разговаривали на таинственном и довольно странном языке, заимствованном у рыбаков, матросов, портовых грузчиков и знаменитых одесских босяков, обитателей трущоб и ночлежек. Пусть же это никого не удивляет.

Некоторое время приятели шли молча. Пете не терпелось поскорее сообщить Гаврику, что он стал вкладчиком, и показать сберегательную книжку. Он буквально дрожал от нетерпения. Ужасно хотелось похвастаться. Но хороший тон требовал не торопиться.

Наконец, когда, по мнению Пети, прошло достаточно времени, – а на самом деле прошло не больше двух минут, – Петя вдруг остановился, как бы только что вспомнив новость, хлопнул себя по башлыку, с которого посыпался снег, и крикнул:



– Стой! Я совсем забыл. Гаврик, стой, подожди. Слушай сюда. Стой!

Гаврик остановился. Мальчики стояли посреди тротуара спиной к ветру, и ветер валил на них с крыш пургу. Петя тяжело дышал от счастья и волнения.

– Гаврик, стой. Слушай сюда. Знаешь, кто я теперь?

– Ну?

– Не «ну», а ты скажи. Знаешь?

Гаврик не любил чего-нибудь не знать. Он этого терпеть не мог. В этом было нечто почти унижительное. Его гордость страдала. Он сердито наморщил лоб. На лбу, ярко-розовом от стужи, морщины казались совсем белыми, как макароны.

– Ну, ну, – сказал Петя самодовольно, – скажи?

– Гимназист, – сказал Гаврик.

– Дурень, – сказал Петя.

– Сам дурень, – сказал Гаврик.

– От дурня слышу, – сказал Петя. – Не знаешь?

– Ну?

– Нет, не «ну», а ты скажи. Знаешь?

– Не знаю, – нехотя сказал Гаврик, умиравший от любопытства.

– Ага! Не знаешь? Так я тебе скажу: вкладчик. Ага!

Невыносимая гордость и блаженство звучали в Петинем голосе.

– Что ты говоришь! – с фальшивым изумлением воскликнул Гаврик, для которого слово «вкладчик» во всех отношениях было пустым звуком.

Но Гаврик терпеть не мог чего-нибудь не знать.

– Что ты говоришь! – повторил он еще раз и, для того чтобы окончательно скрыть свое невежество, хлопнул Петю по ранцу, с которого посыпался снег. – Молодец, вкладчик!

– Да, – сказал Петя. – Вкладчик. А что, скажешь – нет? И могу доказать.

– Докажи.

– И докажу.

– Не докажешь.

– А вот докажу.

– А вот не докажешь.

– Не докажу? Нет? Тогда смотри.

Петя тут же, посреди тротуара, скинул ранец, зажал его между ног, расстегнул и торопливо вытащил бледно-сиреневую книжку Государственной сберегательной кассы. Он открыл ее на первой странице и, все время дую, чтобы ее не запорошил снег, показал Гаврику.

Гаврик прочел все, что там было написано, и кое-что понял. Однако это ничуть не поразило его. То, что так сильно действовало на Петино воображение, – все эти штемпели, подписи, печати, параграфы правил для вкладчика, таинственные и почти волшебные слова «проценты», «сумма», «капитал», – все это для Гаврика было лишено очарования.

Он принимал все это так, как оно было, во всей его будничной простоте и даже скуке. Его ум не находил пищи там, где Петино воображение уже создало целый мир и населило его призраками.

– Теперь ты видишь? Теперь ты видишь? – возбужденно говорил Петя, укладывая сберегательную книжку в ранец и надевая его сначала на одно плечо, а потом, вывернув руку, пристегивая к другому. – Теперь ты видишь, что я вкладчик и у меня есть капитал? Ага!

– Где еще тот капитал! – сказал Гаврик равнодушно и свистнул.

Петя остолбенел.

– Как это – где капитал? – закричал Петя, и его красные от мороза щеки даже пошли от возмущения белыми пятнами. – Ты ж сам видел. Написано. Сумма вклада – три рубля.

– Эге, где еще эти три рубля!

Петя смотрел на Гаврика во все глаза с яростью, с отчаянием и не находил слов. Было все так ясно. Сумма вклада – три рубля. Вклад выдается немедленно и по первому же требованию. На капитал нарастают проценты. Три процента годовых. Яснее, кажется, трудно себе представить. И все-таки Гаврик не понимает. Нет, наверное, отлично понимает, только ему завидно, и он нарочно притворяется дурачком.

Но Гаврик не притворялся. Он хотя действительно кое-что и понял, но понял не все. Он привык к простым понятиям. Деньги есть деньги. Три рубля есть три рубля – одна зеленая бумажка или три больших серебряных рубля, приятных на ощупь, скользких и тяжелых на вес. Или же два рубля целых, а остальные мелочью. Или как

угодно, хоть все три рубля медяками. А то, что написано три рубля, это еще ничего не значит. На буквы ничего не купишь. Написано – написано, а потом придешь получать, и дадут дулю. Бывали и такие случаи.

Не дальше как этим летом Гаврик разгружал в Практической гавани арбузы у одного грека, по двадцать копеек в день, работал целую неделю, а в субботу пришел в контору получать один рубль сорок копеек по записке старосты артели и получил дулю.

Грек сказал:

– Иди, мальчик, не морочь мне голову, я ничего не знаю. Староста тебя нанимал? Нанимал. Так пускай староста с тобой и рассчитывается.

А старосты и след простыл.

Знаем мы это.

– Эге, где еще эти три рубля! – упрямо повторил Гаврик.

– Три рубля есть, – сказал Петя.

– Где же они? Покажь.

– Есть.

– Я их не вижу.

– Увидишь.

– Хочу видеть.

– Мои три рубля лежат в государственном казначействе.

– Это не важно. Я их хочу видеть глазами. Покажи.

– Осел.

– Ты!

– Ага, заело!

– Кого заело?

– Тебя заело. Ха-ха! Это тебя заело. Я – вкладчик. А ты кто?

Босявка!

– От босявки слышу.

– Не гавкай! У меня на книжке три рубля, а у тебя что? Дуля!

– У меня дуля?

– Да. У тебя дуля с маслом. Вот такая дуля. На, съешь.

Петя быстро стащил зубами перчатку и поднес к глазам Гаврика кулак, сложенный дулей. Большой палец высовывался очень далеко и оскорбительно двигался, почти царапая нос Гаврика довольно грязным ногтем. Это было сильнейшее оскорбление.

Петя не сомневался, что сейчас начнется драка. Он побледнел, вдавил голову в плечи и выставил кулак. Но, к удивлению, Гаврик ничуть не обиделся. Он снисходительно оглядел Петю и сказал:

– Чего нарываешься? Не нарывайся. Стой. Смотри сюда.

С этими словами Гаврик, не торопясь, расстегнулся, полез глубоко в недра своей тужурки, покопался там и поднес к Петиному носу кулак, в котором было что-то зажато.

– Видел?

Гаврик разжал пальцы, и, к своему безграничному изумлению, Петя увидел горсть серебряных и медных денег.

– Рубль тридцать, – сказал Гаврик, ловко подбросив на ладони стопку коротко звякнувших монет.

Затем он бережно опустил их обратно в недра тужурки и застегнулся.

– Ага! Ну, кто теперь вкладчик? Кто босявка? У кого дуля? Спрячься!

– Откуда у тебя деньги? – закричал Петя.

– Заработал, – коротко сказал Гаврик.

Лицо его стало очень серьезным, озабоченным. Он вздохнул.

– Понимаешь, такое дело, – сказал он, сплевывая. – Мотька опять порвала ботинки. Ну что ты скажешь на эту девочку! Совершенно порвала. Ни один сапожник не берет. Я прямо не знаю, что мне с этой девочкой делать. На ней все горит. Докрутилась до того, что не имеет в чем идти в школу. Сидит дома. Главное, я ей на пасху купил совершенно новые ботиночки за четыре двадцать. И – что ты скажешь! – уже от них ничего не осталось. Как тебе это нравится? Такая отчаянная девочка. Навалилась на мою шею. А что же делать, как поступать? Хожу, подбираю ей ботиночки. Только никак не могу подобрать. Ничего нет подходящего. Кругом такие цены, что хоть не заходи в магазин. Самые дешевые детские ботиночки – три восемьдесят. Где я такие деньги возьму? Я их не сам делаю. Теперь думаю заскочить на тульчу, может быть, там подберу что-нибудь подходящее.

Гаврик все это рассказывал не торопясь, солидно. Его небольшое лицо, пестрое от холода, выпядело строгим и озабоченным, как у взрослого. Петя вполне сочувствовал своему другу и хорошо понимал его.

Гаврику действительно приходилось очень туго. Все заботы о семье лежали на плечах Гаврика. Работать приходилось ему одному. И он работал, сколько хватало сил.

Но не так-то легко было найти работу и заработать деньги четырнадцатилетнему мальчику в то время, как многие взрослые тоже ходили без работы.

Летом еще туда-сюда. Летом случалась работа в порту. Летом поддерживали знакомые рыбаки, бравшие на лов. А зимой приходилось совсем плохо. Бывали дни, когда вся семья ничего не ела. А тут еще эти Мотины башмаки! Отчаянная девочка, на ней все горит!

– Попробую заскочить на тульчу, – сказал Гаврик. – Может быть, там подберу что-нибудь подходящее. А ты куда шмалишь?

– В государственное казначейство, получать свой вклад, – сказал Петя солидно.

– Так тебе и дадут.

– Бьем пари, на что хочешь.

– Закройся!

– А я тебе говорю – дадут. В сберегательной книжке написано: «Вклады выдаются немедленно и по первому же требованию». Вот я сейчас пойду в государственное казначейство, получу вклад и куплю... электрическую машину.

Электрическая машина соскочила с языка неожиданно для самого Пети. Но не мог же он не козырнуть чем-нибудь перед приятелем, который шел на толчок покупать ботинки!

– Что ты купишь? – спросил Гаврик.

– Электрическую машину, – небрежно сказал Петя с таким видом, как будто покупал электрические машины каждый день и не придавал этому никакого значения.

Гаврик прищурился, всматриваясь в лицо приятеля. Он всматривался долго, как бы стараясь понять, с кем он имеет дело: с шутником или с сумасшедшим. Но Петино лицо не было похоже ни на лицо сумасшедшего, ни на лицо шутника.

Гаврику приходилось видеть сумасшедших. В городе их было довольно много, и они были хорошо известны.

Был, например, знаменитый городской сумасшедший Марьяшес, так сказать, король одесских сумасшедших, такая же

достопримечательность города, как памятник дюку де Ришелье, Николаевский бульвар или городской голова Пеликан, укравший люстру в Одесском городском театре.

Тщеславные одесситы гордились Марьяшесом. Они были уверены, что это самый лучший сумасшедший в мире. Его часто можно было встретить на центральных улицах. Он быстро шел по тротуару, в сюртуке с развевающимися фалдами, окруженный детьми и собаками.

Он громко и раздраженно разговаривал сам с собой, стремительно жестикулируя длинными худыми руками с выскочившими бумажными манжетами.

Иногда он входил в какой-нибудь магазин, чаще всего в кондитерскую, разбивал там железной тросточкой графин, жадно съедал несколько пирожных и, осыпая проклятиями приказчиков, выбегал на улицу, где его терпеливо дожидались дети и собаки.

Его не преследовали. Было известно, что его брат, известный присяжный поверенный Марьяшес, богатый человек, заплатит за все.

Был другой сумасшедший – Мосейка, напоминавший Марьяшеса, но сортом похуже. Он появлялся на окраинах и был как бы Марьяшесом бедных.

В лавки его не пускали, вместо сюртука на нем болталось старое летнее пальто, и ругался он хотя и так же громко, как Марьяшес, но с извиняющимся выражением на измученном лице.

Был еще один сумасшедший, так называемый «Барон Липский», старик с наружностью католического священника или, во всяком случае, сторожа костела.

Круглый год он ходил с непокрытой головой, лысой, пергаментно-коричневой, загрубевшей от стужи и зноя, – головой пилигрима.

Чаще всего его можно было встретить в самых уединенных аллеях Александровского парка. В железных очках с увеличительными стеклами, с изношенным шотландским пледом на плечах, согбенный, он очень медленно шел, держа в руке несколько пожелтевших листков почтовой бумаги, исписанной непонятными каракулями.

Он подходил только к парочкам.

Заметив на скамейке кавалера с барышней, он почти бесшумно приближался по пыльному гравию, останавливался и, нерешительно протягивая свои листки, произносил монотонным голосом, с польским акцентом:

– И вы, господин, и вы, госпожа, вы поедете в Вилькомир...

Он низко кланялся, долго стоял в согнутом положении, показывая свою коричневую лысину, и затем медленно удалялся в глубину аллеи, как призрак, бормоча:

– И вы, господин, и вы, госпожа...

Нет, Петя не был похож на сумасшедшего.

Может быть, шутник?

Шутников Гаврик тоже часто видел. Шутники хватали извозчицьи дрожки за колеса, громко хохотали, нарочно спотыкались, для того чтобы испугать идущего позади прохожего, тушили газовые фонари. У них были самодовольно-глупые и веселые рожи.

Нет, Петя не был похож на шутника. У него были блестящие правдивые глаза и лицо, дышавшее вдохновением.

Гаврик смутился.

А черт его знает, может быть, и вправду Петя идет покупать электрическую машину! От этих гимназистов всего можно ожидать.

По правде сказать, Гаврик очень смутно представлял себе электрическую машину. Просто машина – это еще понятно: большое, железное, с колесами, окутанное паром. Такую не купишь. Чересчур дорого стоит. А электрическая – кто его знает.

– Слышь, Петька, – не совсем уверенно сказал Гаврик, – часом, ты не брешешь?

– Собака брешет.

– А какая она?

– Кто?

– Эта электрическая машина. Большая?

– Не особенно.

– Как что? Как половина конки будет?

– Меньше.

– Ну, тогда как стол будет?

– Меньше.

– Как ящик из-под апельсинов будет?

– Как ящик будет. Приблизительно вот такая.

Петя добросовестно показал руками размер электрической машины, – в длину, в ширину и в высоту. Гаврик поскреб затылок.

– А ты ее видел?

– Спрашиваешь!

– Где же ты ее видел?

– У нас в гимназии.

– Какая ж она?

– Обыкновенная. Ничего особенного. Стеклянный круг и две палочки вроде ручек скакалки с медными шариками. Называются электроды. Очень просто.

– А что делает?

– Электричество.

– Ну!

– Представь себе.

– Как же она его делает?

– Ее крутят, а электрическая искра проскакивает между электродами. Понятно?

– Что же тут непонятного? Понятно. А зачем? Для фокуса?

– Для опыта, – наставительно сказал Петя. – А еще можно вместо искры, чтобы электрическая лампочка горела. Вот такая малюсенькая лампочка.

– И горит?

– Горит.

– Как же она горит?

– Так и горит. Машину крутят, а она горит.

Гаврик засмеялся.

– Брешь!

– Собака брешет.

– И ты купишь себе такую машину?

– Непременно.

– А гроши?

– Здравствуйте! Я ему сто, а он мне двести. А сберегательная книжка?

– Не дадут.

– Дадут.

– А вот не дадут!

– А вот дадут!



И опять начались препирательства. Они, вероятно, так бы никогда и не кончились, если бы вдруг приятели не увидели, что стоят перед большим серым зданием, на котором мелкими золотыми буквами выложено: «Государственное казначейство». «Государственное» – на левом крыле дома, «казначейство» – на правом, а посередине – золотой двуглавый орел.

Оказывается, незаметно для себя Петя и Гаврик пересекли почти весь город.

Так вот он, этот таинственный казенный дом, это могущественное государственное учреждение, где в сводчатых подвалах стоят зеленые кованые сундуки, набитые золотом и ассигнациями, среди которых ходит с пылающим сургучом в руках костлявый старик в зеленом мундире, покрытом орденами и медалями, – сам государственный казначей, хранитель государственных сокровищ.

Приятели нерешительно переглянулись.

– Ну? – сказал Гаррик, легонько трогая Петю локтем.

– Что «ну»?

– Пойдешь?

– Конечно.

– А не сдрейфишь?

– Здравствуйте!

– Чего же ты не идешь?

– Сейчас пойду.

– Брось! Лучше заскочим на тульчу, подберем Моте ботиночки. А сюда когда-нибудь другим разом соберемся.

– Нет, сейчас.

Сказать по правде, Пете и самому как-то не верилось, что можно немедленно и по первому же требованию получить свои три рубля. Кроме того, было действительно страшновато. Но Петя был ужасно упрям. Ему во что бы то ни стало хотелось настоять на своем.

– Пошли, – сказал он решительно.

– А может, не стоит?

– Ага! Дрейфишь?

– Кто?

– Ты.

– Я?

Гаврик презрительно покосился на Петю. Не говоря ни слова, Гаврик обеими руками взялся за чудовищную ручку дубовой двери государственного казначейства, громадной, как ворота, и потянул ее изо всех сил. Дверь поддалась с большим трудом. Послышался тугий вздох какого-то поршня.

Подбадривая друг друга пинками, мальчики пролезли в щель, и дверь за ними бесшумно захлопнулась.

Они очутились в очень большом, грязном, плохо освещенном вестибюле. Резкий запах мокрого шинельного сукна и керосина слышался в синеватом воздухе. Монотонный гул присутственного места реял вверху.

Швейцар в мундире с зеленым воротником сидел на стуле под вешалкой и пил чай вприкуску.

– Здравствуйте, – сказал Петя швейцару. – Простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Это – мой товарищ. Мы пришли вместе. Он не вкладчик, но я вкладчик. У меня есть книжка Государственной сберегательной кассы. Вот моя книжка. Посмотрите.

Петя вынул из ранца и показал швейцару сберегательную книжку.

– Я бы хотел, если можно, получить свой вклад. Это, кажется, где-то здесь. Не можете ли вы мне сказать, куда надо обратиться?

Швейцар не удостоил Петю ни одним взглядом. Он как раз в то время держал перед собой на трех пальцах блюдце и усердно дул, отчего на поверхности жидкого чая образовалась ямка.

Швейцар молча показал большим пальцем через плечо назад, вверх.

Чувствуя себя совсем маленькими, Петя и Гаврик поднялись по узорчатой чугунной лестнице с заслякоченными ступенями и вытертыми перилами.

Они очутились в громадном низком зале, в глубине которого висели два портрета – царя в голубой ленте и царицы в жемчужном кокошнике.

Во всю свою длину зал был разделен деревянным барьером с точеными балясинами. По одну сторону барьера за конторскими столами сидели чиновники, по другую – находилась публика.

Публики было очень много. Она состояла главным образом из стариков и старух, получающих пенсию.

Высокомерные старухи в салопах, ротондах и мантильях, в маленьких шляпках и капорах с лентами сидели на потертых еловых скамейках с решетчатыми спинками. Они сжимали в костлявых руках муаровые ридикюли, обшитые блестками. Они то и дело брезгливо отодвигались от соседей, причем их поджатые сборчатые губы выражали высшую степень отвращения.

Отставные генералы, дряхлые старики с трясущимися головами, расхаживали вдоль стен, держа за спиной старинные фуражки с громадными козырьками времен Севастопольской кампании и черными суконными наушниками. Они опирались на палки с резиновыми наконечниками.

Среди них Петя и Гаврик, к своему ужасу, увидели страшного генерала Байкова – грозу всех одесских уличных мальчишек, гимназистов, городских и солдат.

Генерал Байков был такой же достопримечательностью Одессы, как и Марьяшес.

Это был угрюмый старик с толстым висячим носом, багрово-красным, пористым, волосатым, усеянным желтыми точками, – одним словом, до чрезвычайности похожим на клубнику.

С утра до вечера генерал Байков ходил по приморским районам города, стуча громадными кожаными калошами с медными задниками.

Он шел, раскинув пальто на красной подкладке, и следил за тем, чтобы все солдаты и городские становились ему во фронт. Ему, как отставному генералу, становиться во фронт не полагалось. Но он ничего не желал знать. Он требовал, чтобы становились во фронт. Кроме того, он требовал, чтобы все гимназисты при встрече с ним останавливались и снимали фуражки.

Если кто-нибудь из низших чинов не становился во фронт и кто-нибудь из гимназистов не снимал фуражки, он наливался кровью и начинал кричать таким страшным генеральским басом, употребляя такую непечатную брань, что прохожие в ужасе разбежались.

Извозчикам, запрашивавшим сверх таксы, он разбивал лица в кровь. Что же касается уличных мальчишек, то он ненавидел их лютой ненавистью. Стоило ему увидеть уличного мальчика, хотя бы даже самого смиренного и вежливого, как генерал Байков в молчаливой

ярости устремлялся за ним и швырял в него своей знаменитой клюкой, стараясь попасть по ногам.

Петя и Гаврик съежились и шмыгнули мимо страшного генерала. К счастью, он их не заметил. Он сердито ходил, распахнув пальто на красной подкладке, возле барьера и громким голосом пел: «Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру».

Кроме страшного генерала Байкова, Петя и Гаврик увидели здесь также еще одного знаменитого одесского отставного генерала – Кардиналовского. Это был старичок очень приличной наружности, в артиллерийской фуражке с громадным козырьком, закрывавшим три четверти его крошечного лица.

Он был гласным городской думы и снискал себе широкую известность как неутомимый борец с распущенностью нравов.

Особенно неутомимо генерал Кардиналовский воевал с дамскими модами, видя в них страшного врага, подрывающего устои государства и ведущего к вырождению русского народа.

Узкие корсеты из китового уса, шиньоны, валики, большие шляпы, шлейфы приводили его в ярость. Когда же появились длинные шляпные булавки с острыми концами, генерал Кардиналовский объявил против них священный поход. Он выступал против них в городской думе, он произносил страстные речи в роскошном фойе Городского театра в антракте между двумя действиями «Аиды», он громко говорил об этом в вагоне конки.

По ночам он садился за письменный стол, зажигал четыре свечи, надевал на лоб специальный зеленый абажур и писал письма в редакции местных газет.

«Милостивый государь, господин редактор! – писал он. – Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты довести до всеобщего сведения о следующем возмутительном факте, свидетелем которого я был вчера, 2 сентября сего года, в 3 часа 15 минут, на углу улиц Ришельевской и Малой Арнаутской, на остановке Одесской городской конно-железной дороги. Некая по внешнему виду вполне интеллигентная дама, не пожелавшая, впрочем, назвать впоследствии своего имени, вместе с прочими пассажирами ожидала на остановке прибытия очередного вагона конки. Хотя на даме была вызывающе громадная шляпа, но я не счел для себя удобным сделать ей замечание и смолчал. Когда же вагон наконец подошел, дама, ничтоже

сумняешься, стала пробираться в него, хотя из ее громадной шляпы во все стороны торчали острые булавки, грозившие выколоть глаза или же нанести какие-нибудь другие, не менее серьезные ранения другим пассажирам, мирно едущим по своим делам. Будучи гласным городской думы, я счел себя в праве обратиться к вышеупомянутой даме с альтернативой – либо вынуть из шляпы свои смертоносные шпильки, либо покинуть вагон и продолжать свой путь по способу пешего хождения. Так как ни того, ни другого неизвестная дама исполнить не пожелала, а, наоборот, повела себя по отношению меня крайне вызывающе, называя „известным (*sic!*) психопатом“, я, будучи гласным городской думы, счел себя в праве остановить конку и подозвал подоспевшего к этому времени блюстителя порядка, постового городского, бляха № 786». И т. д., и т. д.

Составив письмо в редакцию и аккуратно переписав его четыре раза, по числу наиболее влиятельных одесских газет, генерал Кардиналовский подписывался: «Примите и пр. Гласный городской думы генерал-майор в отставке Кардиналовский», и лично разносил по утрам по редакциям.

Для одесских модниц генерал Кардиналовский был безусловно человек опасный. Но Гаврик и Петя прошли мимо него без особого страха.

Не так-то легко было найти то место, где вкладчику по первому требованию выдавался вклад. Раз десять подходил Петя к разным людям, шаркал ногой и вежливо спрашивал:

– Простите за беспокойство, но дело в том, что я вкладчик. Не можете ли вы мне сказать, где я могу получить свой вклад?

Но никто не знал точно. Одни посылали наверх, другие вниз, третьи прямо по коридору, а потом налево, четвертые вообще выражали сомнение, здесь ли это.

В государственном казначействе оказалось множество коридоров, комнат, лестниц, дверей и закоулков, заставленных еловыми шкафами, на которых виднелись кипы дел, перевязанных шпагатом.

Петя неутомимо бегал по лестницам, мыкался по коридорам, открывал какие-то липкие двери и заглядывал в какие-то сумрачные залы, полные людей.

Гаврик покорно следовал за приятелем и время от времени говорил:

– Слышь, Петя, а может быть, не стоит? Слышь, Петя, пройдем лучше на толчок, подберем Моте ботиночки. А сюда заскочим другим разом.

Но Петя и слушать ничего не хотел. Он уже вошел в азарт. Его щеки горели. Ему было жарко, даже душно. Он снял башлык и расстегнул шинель.

В конце концов все же удалось отыскать где-то на третьем этаже окошечко с надписью: «Выдача вкладов».

Петя протянул в окошечко свою книжку и, задыхаясь от волнения, сказал:

– Здравствуйте, я вкладчик. Вот моя сберегательная книжка. Я хотел бы получить свой вклад. Это можно?

Пожилой чиновник в потертом форменном сюртуке протянул руку с папироской, зажатой между двумя пальцами. Остальными свободными пальцами – большим и мизинцем – он захватил Петину сберегательную книжку и небрежно перелистал ее.

– Какую сумму берете?

– Три рубля.

– Весь вклад?

– Весь вклад.

Петя старался говорить неторопливо, с достоинством, как и подобало настоящему вкладчику. Он навалился грудью на барьер, напряженно следя за всеми манипуляциями, которые между тем проделывал чиновник над его книжкой.

Петя изо всех сил кусал губы и хмурился, чтобы не дать лицу расплыться в неуместно глупую улыбку. И надо сознаться, это ему вполне удалось. Верхняя половина Пети – от головы до пояса, – вела себя безупречно. Зато с нижней половиной – от пояса до калош – делалось нечто невероятное. Ноги сами собой танцевали, брыкали Гаврика, как бы желая сказать: «Ага, ага! Теперь ты видишь!»

– Стало быть, вы берете весь вклад? – повторил чиновник.

– Весь вклад, – сказал Петя, гордо взглянув на Гаврика, но не удержался и молниеносно показал приятелю язык.

– Тогда вы должны закрыть свой счет, – сухо сказал чиновник.

Петя ужаснулся.

– Как это?

Чиновник протянул листок бумаги.

– Подайте заявление. Вон там на столе имеются письменные принадлежности – чернила и ручка.

Петя взял листок бумаги и, шатаясь, пошел к большому еловому столу, сплошь закапанному лиловыми чернилами с металлическим отливом.

Гаврик шел сзади и спрашивал испуганным шепотом, теребя Петю за рукав:

– Слышь, Петька! Что такое? Не хочет выдавать?

– Да нет же, – чуть не плача, говорил Петя, – нужно только еще подать заявление.

– Заявление? – проговорил Гаврик, и лицо его вытянулось. – Эге!

Он не удержался и даже свистнул.

– Слышь, Петька! Слушай сюда. Пойдем лучше. Я ж тебе говорил.

– Отстань! – огрызнулся Петя. – Ты ни черта не понимаешь!

Но он и сам ни черта не понимал. Какое-то заявление... Новое дело! Нет, быть вкладчиком оказалось трудно и хлопотливо.

Со вздохом Петя сел к столу, взял испачканную казенную ручку и, высунув набок язык, старательно написал заявление о закрытии счета. После этого он отнес заявление чиновнику и жалостно спросил:

– А теперь что?

Он уже не верил в получение суммы и проклинал себя за то, что так необдуманно сделался вкладчиком.

Гаврик смотрел на Петю с сочувствием. Он вполне его понимал. То же самое было и с ним, когда он пришел к тому проклятому греку и вместо денег получил дулю с маслом.

И вдруг произошло чудо. С ловкостью фокусника чиновник стукнул по заявлению каким-то штемпелем, потом стукнул этим же штемпелем по сберегательной книжке, расчеркнулся, потом щелкнул ключом, и вдруг у него в пальцах появилась совершенно новенькая зеленая, еще ни разу не сложенная, как бы накрахмаленная трехрублевая ассигнация. Он потряс ею в воздухе, отчего ассигнация загремела, и молча положил ее на барьер.

Петя оцепенел от неожиданности. Он был не в состоянии протянуть руку. Между тем Гаврик изо всех сил толкал Петю ногами и, стиснув зубы, шипел у него за спиной:

– Что же ты стоишь? Бери! Не будь дураком, хватай! Петька! Слушай здесь. Ну?

Петя очнулся. Он осторожно, обеими руками взял ассигнацию, расшаркался, сказал чиновнику «мерси» и понес ее сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока не почувствовал, что бежит. Гаврик насилу поспевал за ним.

Наконец на лестнице они остановились и стали рассматривать ассигнацию. Три рубля. Никогда в жизни у Пети еще не было такой крупной суммы. Петя и Гаврик самым тщательным образом со всех сторон обследовали кредитку. Они ее даже понюхали. От нее исходил сильный и удивительно приятный типографский запах экспедиции заготовления государственных бумаг.

Они посмотрели ее на свет и долго любовались водяными знаками – этими прозрачными буквами и цифрами, призрачно возникшими и засветившимися сквозь тесный узор печати.

Они любовались тончайшей разноцветной сеткой, которая волнисто окружала большую цифру 3 посередине ассигнации с маленькими, изящными, очень четкими факсимиле кассира и управляющего Главной конторой Государственного банка.

– Ага! Ага! – возбужденно восклицал Петя. – Я тебе что говорил? Теперь видишь? Ага! Чья правда?

– Твоя правда, – соглашался Гаврик.

– Видал, как я ловко получил вклад?

– Спрашиваешь!

– Молодец я?

– Молодец.

Петя торжествовал.

Правда, одно маленькое обстоятельство слегка отравляло это торжество: он уже не вкладчик; только что был вкладчиком, а теперь больше уж не вкладчик. Петя чувствовал в себе какую-то небольшую, холодноватую пустоту, подобную той пустоте, которую испытывает гимназист, выгнанный из класса и стоящий за классной дверью в пустом коридоре.

Но в сравнении с Петиним торжеством, в сравнении с его богатством это почти не имело никакого значения.

– Теперь идем покупать электрическую машину! – сказал Петя, когда они вдоволь налюбовались трехрублевкой.

Полчаса назад Гаврик, может быть, стал бы еще спорить. Но после того как Петя на его глазах так ловко получил три рубля, Гаврик



чувствовал себя побежденным. Теперь Петя внушал ему безграничное доверье. Кроме того, ему ужасно хотелось увидеть электрическую машину. Электрическая машина овладела его воображением.

– Слышь, – сказал Гаврик. – И лампочка будет гореть?

– Обязательно, – сказал Петя.

– Ну?

– Я тебе говорю, – сказал Петя, делая сильное ударение на местоимении «я».

Через минуту приятели уже шагали по улице, жмурясь от ветра, несшего на них призрачные столбы пурги.

Скоро они добрались до центра. Здесь, на углу Преображенской и Дерibasовской, был магазин учебных пособий. Петя сразу узнал его витрину.

За громадным замерзшим стеклом лежала труба со множеством дырочек, над которыми теплились сине-желтые язычки светильного газа. Это было остроумное приспособление для оттаивания оконного льда. Теплый воздух струился вверх по стеклу, съедая морозные узоры инея. Лед таял. Сквозь его тончайший, совершенно прозрачный слой, омытый льющей каплей, виднелась, как в ледяном гроте, выставка учебных пособий: банка с заспиртованными змеями, коллекция бабочек и минералов, скелет, волшебный фонарь с черной трубой, загнутой назад в виде гармоники.

Здесь были колбы, реторты, двугорлые склянки, сообщающиеся сосуды. И все это являлось как бы только преддверием некоего таинственного храма, где, окруженная, быть может, еще более устрашающими пособиями, обитает сама Наука.

Испытывая невольный страх и почтение, приятели открыли набухшую дверь и вошли в магазин учебных пособий.

Они были немного разочарованы: витрина обещала большее. Впрочем, такова была особенность всех одесских витрин: они всегда обещали больше, чем мог предложить магазин.

Магазин учебных пособий ничем не отличался от других магазинов центра. Это было узкое помещение, в глубине которого горел одинокий газовый рожок.

За паркетным прилавком на маленькой лесенке стояла молодая особа в котиковой шапочке и переставляла на полке коробки. Трудно

было представить себе, что именно это и есть сама Наука. В лучшем случае это могла быть самая младшая сестра Науки. Да и то вряд ли.

– Что вам надо, мальчики? – строго спросила младшая сестра Науки.

Петя с достоинством выступил вперед.

– У вас есть электрическая машина?

Младшая сестра Науки подошла к внутренней двери и громко крикнула за портьеру:

– Папа, у нас есть электрические машины?

Вслед за тем послышалось шарканье туфель, и в дверях появился пожилой еврей в лисьей шубе и люстриновой ермолке.

Он зажег второй газовый рожок и спросил приветливо:

– Что вы хотите, молодые люди?

– Нам надо электрическую машину, – сказал Петя.

– А деньги у вас есть? – спросил хозяин магазина учебных пособий, приветливо разглядывая Петю и Гаврика.

– Не беспокойтесь, – сдержанно ответил Петя.

– Какую же электрическую машину вы бы желали иметь? – спросил хозяин, обращаясь уже исключительно к Пете как к гимназисту и главному покупателю.

– Таковую, знаете ли, со стеклянным диском. Как у нас в гимназии. Только непременно, чтобы зажигалась электрическая лампочка.

– Вы имеете в виду электрофорную машину Теплера?

– Во, во! Главное только, чтобы горела электрическая лампочка.

Хозяин, кряхтя, влез по лесенке, снял с самой верхней полки электрическую машину и поставил ее на прилавок.

– Превосходная самовозбуждающаяся электрическая машина, – сказал он, – системы «Парва» Лиссера. При благоприятных условиях дает искры до десяти сантиметров длиной. Советую вам взять. Цена всего восемнадцать рублей семьдесят пять копеек.

Густая краска залила Петины уши.

– Дорого, – сказал он, надувшись.

– Могу как учащемуся сделать десять процентов скидки, – сказал хозяин.

– Все равно дорого, – пробормотал Петя.

– А за сколько же вы, молодой человек, имели в виду приобрести машину?

– За рубля три.

– И больше, чем три рубля, у вас нет?

– Я еще могу добавить один рубль тридцать копеек, – сказал Гаврик простуженным голосом, не отводя очарованных глаз от машины, волшебнo мерцавшей медью, стеклом и никелем.

Не говоря ни слова, хозяин потушил лишний газовый рожок, влез на лесенку и поставил машину обратно на самую верхнюю полку.

Петя и Гаврик смущенно переглянулись.

Красные, вспотевшие, они вышли из магазина учебных пособий на улицу и услышали пронзительный голос младшей сестры Науки, крикнувшей им вдогонку:

– Мальчики! Закрывайте за собой дверь!

И вьюга опять навалилась на них.

– Ну? – сказал Гаврик.

– Ну? – сказал Петя.

Они стояли, подавленные, возле магазина учебных пособий, не зная, что же дальше делать.

– Я тебе говорил, – сказал Гаврик угрюмо.

– Что ты мне говорил?

– Что не хватает денег.

– Ты мне этого не говорил.

Чем недоступнее была электрическая машина, тем сильнее хотелось ее иметь. Не было в мирз вещи, о которой более страстно мечтали в эту минуту приятели.

Гаврик окончательно забыл о Моте, о ее башмаках и о толчке. Он думал только об одном: об электрической машине. Она неотступно стояла у него перед глазами – недостижимая, таинственная, появившаяся на миг и скрывшаяся в потемках верхней полки.

Это было какое-то дьявольское наваждение. Можно было подумать, что сама богиня Науки ослепила маленького одесского босяка и его глаза перестали видеть все, кроме электрической машины.

Приятели стояли подавленные.

Но человеку свойственно бороться за свою мечту до последней возможности. В благородном поединке человека с судьбой человека всегда поддерживает и осеняет своим крылом надежда.

Ну да. Ведь, собственно, еще ничего не потеряно. В городе есть другие магазины учебных пособий, где, очень может быть, электрические машины стоят гораздо дешевле.

На это, правда, надежда была слабая, но все же это была надежда.

Имелся магазин учебных пособий на Пушкинской, имелось два магазина учебных пособий на Ришельевской, наконец, может быть, дешевые электрические машины есть в знаменитом универсальном магазине братьев Петрокино на Греческой или в магазине игрушек вдовы Колпакчи на Екатерининской, рядом с магазином Абрикосова.

Не теряя ни минуты, Петя и Гаврик отправились по магазинам. Однако всюду их постигала неудача. На Пушкинской электрическая машина стоила двадцать пять рублей сорок две копейки. В одном магазине на Ришельевской запросили четырнадцать рублей и отдавали за тринадцать, в другом потребовали шестнадцать и не уступали ни копейки. У вдовы Колпакчи электрических машин вовсе не оказалось.

Правда, в магазине на Пушкинской мальчишкам повезло. Приказчик позволил покрутить машину. Сначала как главный покупатель и гимназист крутил Петя. Потом крутил Гаврик и собственными глазами видел, как длинная искра проскакивала между двумя медными шариками и как потом зажглась крошечная электрическая лампочка.

Но разве это могло хоть немного утешить?

Наоборот, мысль, что машины не будет, приводила теперь в отчаяние. С этой мыслью невозможно было примириться.

Тогда приятели с упрямством маньяков стали ходить по городу, надеясь найти еще хоть один магазин учебных пособий. Это было безнадежное предприятие. Магазинов учебных пособий в городе больше не имелось.

И все-таки Петя и Гаврик ходили по улицам. Это была надежда на чудо, волшебное «а вдруг». Вот они поворачивают за угол, и вдруг за углом оказывается тот последний, самый главный магазин учебных пособий, где продаются очень дешевые электрические машины.

Они поворачивали за угол, но, увы, того магазина не было.

Они переходили из улицы в улицу, они заглядывали в самые глухие переулки – напрасно. Того магазина не было.

В полном отчаянии они стали заходить в аптеки и посудные лавки, спрашивая, опустив глаза, электрическую машину. Они все еще

надеялись на чудо. Они страшно устали и проголодались, но не обращали на это внимания.

Уже смеркалось. Прошел фонарщик с длинной лестницей на плече. В дыму метели стали зажигаться газовые фонари. Осветились и засверкали брильянтами замерзшие стекла витрин.

Мороз щипал уши и щеки. Щеки стали твердые, как яблоки. Заледеневшие ресницы слипались, как намагниченные. А мальчики все ходили и ходили, не желая сдаться.

На каждом шагу их подстерегали соблазны.

В окнах фруктовых лавок сквозь подтаявший лед виднелись большие пирамиды овальных коробочек с алжирскими финиками, волосатые кокосовые орехи, ананасы, висели пудовые ветви бананов – все это можно было купить и попробовать.

Витрины скобяных магазинов манили богатым выбором перочинных ножей со множеством разнообразных лезвий, открытых веером, никелированными коньками «Нурмис», ящичками с набором столярных инструментов. Это все тоже можно было купить.

В других витринах на самом видном месте были разложены новенькие футбольные мячи светло-желтой английской кожи, грубой и вместе с тем мягкой даже на вид, скрипучей.

Витрины шли одна за другой. Крутились механические стойки, увешанные гирляндами карманных часов черной вороненой стали. Сверкали торты, похожие на цветочные клумбы, с высоким леденечным фонтаном и сахарной визитной карточкой с загнутым углом. Картонные раскрашенные маски, шутихи, пугачи, маленькие паровые машины и заводные поезда приковывали к себе взоры.

И все это можно было купить. Все это было доступно.

Петя и Гаврик быстро проходили мимо, изо всех сил стараясь не смотреть на витрины. Но соблазны легких, заманчивых покупок преследовали их по пятам. Торговля шла не только в магазинах. Торговля шла и на улице.

Боже мой, сколько можно было купить на улице необходимых, интересных вещей!

Разве не стоило, например, купить маленького вислоухого щенка, которого предлагал прохожим здоровенный босой парень, прыгая с ноги на ногу на углу Екатерининской и Дерибасовской?

А сколько силы воли нужно иметь, чтобы не купить у другого продавца коробочку удивительных крошечных пирамидок, представлявших настоящее чудо: когда поджигали такую крошенную пирамидку, из нее вдруг начинала выползать, закручиваясь кольцами, толстая серая змея пепла невероятной длины.

Да мало ли было еще других соблазнов! Но у приятелей был железный характер.

Однако время шло, а того магазина все не было и не было.

И вдруг в тот самый миг, когда Петя и Гаврик уже готовы были повернуть домой, они увидели большой новый магазин, освещенный электричеством. Его витрины не обогревались газом, и невозможно было рассмотреть, что там выставлено, но по всему фасаду мерцала золотая надпись: «Магазин электрического оборудования».

Мальчики вздрогнули. В одно мгновение они поняли: это – «то»! Они молниеносно переглянулись, толкнули друг друга локтями и ногами и тотчас открыли великолепную стеклянную дверь с золотым вензелем В.К.Э., вписанным в золотой ромб.

Не только Гаврику, но даже и Пете никогда еще не приходилось бывать в подобном магазине – громадном, сияющем, а главное, так не похожем на другие магазины.

Это был в полном смысле «новый» магазин. Он был новый не только потому, что вся его обстановка была совершенно новая, с иглолки, а он был новый потому, что в нем продавались совершенно новые, только что изобретенные, еще невиданные предметы электрического оборудования.

В городе только начиналась проводка электричества, еще только прокладывалась первая линия трамвая, а предприимчивая Всеобщая компания электричества уже заблаговременно открыла магазин, где можно было купить все для электричества.

Здесь были электрические настольные лампы, розетки, тюльпаны, бра, электрические камины, плиты, вентиляторы, утюги.

В кафельном полу отражались огни электрического освещения. Эти огни – яркие, белые, холодные – казались тоже новенькими, с иглолки.

И новеньким, с иглолки, был солидный приказчик, стоявший за лаковым прилавком ледяного блеска и чистоты.

Но одет он был совсем не так, как обычно одевались одесские приказчики богатых магазинов, то есть не в черный сюртук или визитку. Нет, на нем был серый клетчатый американский костюм спортивного покроя, как у знаменитого гонщика Уточкина, желтые, почти красные американские башмаки на толстых подошвах, часы-браслет на руке и сигара во рту.

Только массивный брильянтовый перстень на волосатом мизинце и гладкий прямой пробор выдавали его принадлежность к сословию одесских приказчиков. В остальном же это был стопроцентный американец, янки-делец, изобретатель, спортсмен.

– Простите за беспокойство, – сказал Петя, останавливаясь посреди пустынного магазина. – У вас есть электрические машины?

– К вашим услугам, – сказал приказчик. – Могу вам предложить динамо-машину трехфазного тока в шестьдесят пять лошадиных сил.

С этими словами приказчик, не торопясь, вышел из-за прилавка, подошел к динамо-машине, привинченной к плиткам пола, и хлопнул ее по мощному корпусу, похожему на гигантскую чугунную улитку.

– Превосходная штука!

– А лампочка от нее может гореть?

– О да, – снисходительно улыбнулся приказчик, свободным жестом вынимая изо рта раскаленную сигару и держа ее на весу. – О да! Эта штука в состоянии питать током довольно значительную электрическую сеть в триста пятьдесят лампочек.

– Сколько стоит?

– Двести сорок рублей с нашей установкой.

– Ой, нет, что вы, это нам слишком дорого! – испуганно сказал Петя. – А дешевле у вас есть какие-нибудь электрические машины?

– Это самая дешевая.

– Пойдем, – уныло сказал Гаврик.

– До свидания, – сказал Петя.

– К вашим услугам, – сказал приказчик.

Приятеля печально поплелись к дверям.

– Простите, – вдруг сказал приказчик, которому, как видно, смертельно надоело с утра до вечера стоять, ничего не делая, за прилавком в этом сверкающем, но совершенно безлюдном магазине, среди дорогих электрических приборов. – Простите, а вам, собственно, для какой цели необходима электрическая машина?

– Нам надо, чтобы горела лампочка, – сказал Гаврик.

– Одна лампочка?

– Пускай хоть одна. Лишь бы горела, – сказал Гаврик.

– Понимаете, – сказал Петя, – мы хотели купить электрофорную машину, всюду искали, но электрофорные машины тоже очень дорого стоят.

– В одном месте запросили двадцать пять, в другом четырнадцать, а отдавали за тринадцать, – сказал Гаврик. – Где же это видана такая дороговизна?

– А мы непременно хотим, чтобы горела лампочка, – добавил Петя.

– Сколько же у вас есть денег? – спросил приказчик, любуясь своим мизинцем.

– Есть три рубля, – сказал Петя.

– Я еще могу добавить рубль тридцать, – сказал Гаврик.

– Ну что же, – сказал приказчик. – Прекрасно. У нас на складе имеются прекрасные элементы Лекланше. Цена всего сорок копеек штука. Вы можете приобрести десять элементов Лекланше и составить батарею, которая вам вполне заменит электрическую машину. Советую вам взять элементы Лекланше, это будет недорого и практично.

Луч надежды снова мелькнул перед Петей и Гавриком. «Элементы Лекланше». Это нисколько не хуже, чем «электрофорная машина». Пожалуй даже, «элементы Лекланше» звучало лучше, волшебнее. А главное, элементы Лекланше стоили всего сорок копеек штука.

Элементы Лекланше были так же доступны, как пирожные, финики, коньки.

– Как это элементы Лекланше? – спросил Петя, с наслаждением повторяя эти слова, вполне научные и вместе с тем звенящие нежно, как стеклянный елочный колокольчик.

– О, необыкновенно просто и практично. В элементе Лекланше пористый сосуд наполняется смесью толченого кокса и перекиси марганца, и туда вставляется специальная угольная пластинка, а специальная цинковая палочка помещается в растворе нашатыря...

– И стоит сорок копеек?

– Сорок копеек.



– В таком случае, покажите нам элементы Лекланше.

– К вашим услугам.

Приказчик слазил куда-то вниз, под прилавок, и поставил перед приятелями четырехугольную банку с круглым горлом и носиком.

Банка была до половины налита какой-то жидкостью с белым осадком. В банку был вставлен пористый фаянсовый цилиндр, а в этот фаянсовый цилиндр была вставлена угольная пластинка с фаянсовым изолятором и медным винтиком с красивой шляпкой, имевшей очень «электрический» вид и чем-то даже напоминавшей винтик электрофорной машины. Из носика банки выглядывал конец цинковой палочки, снабженный колпачком с хвостиком. Колпачок тоже имел очень «электрический» вид.

– Вот элементы Лекланше, к вашим услугам, – сказал приказчик.

Со смешанным чувством надежды и разочарования смотрели мальчики на довольно грязную банку.

– Где же она крутится? – после некоторого молчания осторожно сказал Гаврик.

– Она не крутится, – сказал приказчик.

– А как же?

– Происходит химическая реакция, – сказал приказчик, – в результате чего возникает электрический ток. Вот здесь – положительный, а вот тут – отрицательный.

Приказчик показал на медный винтик и на цинковый хвостик.

– Вы можете в этом легко убедиться, приложив язык одновременно к обоим полюсам. Вот сюда и сюда.

Приятели помялись.

Но так как дело шло о важной покупке, в которую Гаврик вкладывал все свое состояние, он решился первый. Далеко высунув язык, он с опаской лизнул винтик и хвостик. В ту же секунду он отскочил от элемента Лекланше.

– Ух ты, как бьет! – воскликнул он с восхищением. – Петька, слышь, это что: самое и есть электричество?

– Конечно. Элементы Лекланше. Шутишь?

– А ну, теперь попробуй ты.

– Очень надо, – надменно сказал Петя. – Не пробовал я элементов Лекланше!

– Дрейфишь?

- Кто?
- Ты.
- Я?

Петя пожал плечами и, неохотно приблизившись к банке, лизнул медный винтик и цинковый хвостик, причем его лицо скривилось от страха. Но Петя твердо выдержал характер. Хотя ток порядком кольнул его язык, он лизнул еще раз и только тогда отошел от элемента Лекланше, небрежно заметив:

– Ничего особенного. Немножко кисленько.

– Берете элементы Лекланше? – сказал приказчик, которому уже наскучило возиться с мальчиками.

Гаврик в глубоком раздумье почесал на затылке давно не стриженные золотисто-каштановые волосы.

– А электрическая лампочка будет гореть?

– Будет.

– Покажите, чтоб горела.

– Для этого нужно составить батарею из десяти элементов и присоединить к ней электрическую лампочку.

– И тогда будет гореть?

– Обязательно. Прикажете завернуть?

– А лампочка? Где мы возьмем электрическую лампочку?

– А лампочку, – с очаровательной улыбкой сказал приказчик, – вы получите от нашей фирмы в виде премии.

– Покажите, какую.

Приказчик с плохо скрытым раздражением полез куда-то вверх и показал мальчикам небольшую прелестную электрическую лампочку с матовой надписью на сверкающей колбочке стекла.

– Ну, берем? – шепотом спросил Гаврик.

– Берем! – решительно сказал Петя и обратился к приказчику: – В таком случае, пожалуйста, будьте так добры, дайте нам десять элементов Лекланше.

– К вашим услугам.

Со вздохом облегчения приказчик вывалил на прилавок груды цинковых палочек, угольных пластинок, пустых пористых цилиндров и стал все это заворачивать в хрустящую фирменную бумагу с вензелем В.К.Э., вписанным в ромб.

– Подождите! – с ужасом закричал Гаврик. – Они же пустые! Нет, вы нам их сделайте как следует.

– Но мы элементы Лекланше не отпускаем в заряженном виде. Наши покупатели их сами заряжают дома. Это очень просто. В стеклянную банку вы нальете раствор нашатыря, пористый цилиндр вы наполните смесью толченого кокса и перекисью марганца, и элемент заряжен.

– А где мы это возьмем?

– Мой бог! – воскликнул приказчик. – Нашатырь и перекись марганца вы можете получить в любой аптеке, а кокс – в любом угольном складе.

– А деньги?

– У нас тогда больше не останется денег!

Приказчик так низко склонил голову к прилавку, что полоса его прямого пробора стала багровой, и в молчаливой ярости развел руками.

Свет померк в глазах мальчиков.

– В таком случае, извините, – еле ворочая пересохшим языком, проговорил Петя. – До свиданья.

– До свиданья, – угрюмо сказал Гаврик.

– К вашим услугам, – яростно сказал приказчик.

Мальчики понуро вышли из роскошного магазина и некоторое время стояли посреди улицы, вполголоса совещаясь.

Через две минуты Петя, красный от смущения, вошел обратно в магазин и сказал с порога:

– Простите, а если в батарее будет не десять элементов Лекланше, а восемь – тогда лампочка будет гореть или не будет?

– Все равно будет гореть, – сказал приказчик.

– Вы наверное знаете? – сказал Петя.

– Совершенно точно, – раздраженно сказал приказчик.

– Извините за беспокойство.

– К вашим услугам.

Петя вышел на улицу, и мальчики посоветовались еще немного, после чего опять, уже оба, с бледными решительными лицами вошли в магазин и бодро сказали в один голос:

– Дайте нам, пожалуйста, восемь элементов Лекланше.

В руках приказчика сверкнул новенький плоский зеленый карандашик в золотой оправе. Казалось, в нем, в этом карандашике, было что-то электрическое. Он сверкнул, как молния.

– Три рубля двадцать копеек, – сказал приказчик.

С быстротой электрической искры он выписал сумму и расчеркнулся в форме молнии.

За молнией тотчас последовал гром.

С треском электрического разряда приказчик вырвал из книжечки чек и с поклоном вручил его Пете.

Приятель подошел к кассе, и Петя положил на гуттаперчевый кружок с присосками свою новенькую трехрублевую ассигнацию. Гаврик порылся в недрах тужурки и присоединил к Петиной ассигнации почти черный гривенник и два медных пятака, из которых один был с отпечатком плоскозубцев.

Электрическая касса «Националь» защелкала и взвыла, как сирена (*в этом магазине даже касса была электрическая, что представляло в то время редчайшее явление*). Из кассы выдвинулся пустой ящик, куда розовая рука кассирши, покрытая кольцами, смахнула деньги, после чего ящик задвинулся.

Теперь все было кончено.

На одно мгновение Петю охватил ужас. Боже мой, с какой стремительно непоправимой быстротой совершаются в жизни превращения: еще утром Петя был вкладчиком и вдруг стал не вкладчиком; вот только что, миг назад, у него была совершенно новенькая, ни разу не согнутая трехрублевка, а теперь у него опять нету ничего.

Но это чувство опустошенности продолжалось совсем недолго.

Предстояло еще много забот. Надо было купить нашатырь, перекись марганца, кокс. Надо было скорее, как можно скорее добраться домой и, не теряя драгоценного времени, зарядить элементы Лекланше, составить из них батарею и включить лампочку.

Мальчики осторожно вынесли из магазина большой, довольно тяжелый пакет с элементами Лекланше.

Так как у Пети денег больше не было, то все остальные покупки производились на счет Гаврика.

В аптеке была куплена перекись марганца и пять фунтов нашатыря. С коксом дело обстояло хуже. Пришлось обойти четыре

угольных склада, прежде чем в пятом нашли кокс. Кокс стоил дешево, но его не во что было взять. Пришлось набить им ранец и все карманы.

Гаврик платил за все беспрекословно, только при каждой покупке его лицо покрывалось небольшой испариной. Он даже незаметно для самого себя кряхтел точно так, как кряхтят бережливые люди, которым приходится сильно раскошелиться.

Отягощенные объемистыми покупками, с карманами, набитыми коксом, которого взяли на всякий случай десять фунтов, то есть четверть пуда, приятели плелись против вьюги по улицам, и через каждые пять шагов Гаврик озабоченно спрашивал:

– А электрическая лампочка будет гореть?

– Спрашиваешь!

– Ей-богу? Перекрестись!

– Святой истинный крест.

– А как не загорится, тогда что?

– Загорится. Элементы Лекланше. Шутишь!

– Кто его знает.

– Чудак! Ты же сам пробовал. В язык било?

– Било.

– Ну, так в чем же дело?

– Смотри, Петька. Если не загорится, лучше тебе тогда не жить на свете.

Но эти пререкания носили вполне дружеский характер.

Настроение у приятелей было возбужденное, веселое. Они торжествовали победу. Они горячо и деловито обсуждали все вопросы, связанные с совместной эксплуатацией электрической батареи.

Хотя Петин пай значительно превышал пай Гаврика, но Петя проявил исключительное великодушие: он сам предложил, чтобы электрическая батарея лишь первые два дня постояла у него дома, а потом ее можно перенести к Гаврику, и пусть она всегда находится у Гаврика, ярко освещая по вечерам хибарку.

После всех расходов у Гаврика оставалось еще тринадцать копеек. Вдруг Петя вспомнил, что он сегодня ушел из гимназии до завтрака и у него сохранился гривенник. Сложенные вместе, эти деньги представляли крупную сумму.

И день кончился для Пети и Гаврика настоящим триумфом. Они нашли за двадцать копеек извозчика и гордо, с колокольчиками и бубенчиками, подкатили к воротам на санках – красные, немного смущенные, с карманами, набитыми коксом, обхватив громадный пакет окостеневшими руками и положив на него подбородки.

Поднимаясь по лестнице, они так торопились, что едва не рассыпали весь нашатырь, который и без того уже понемногу высыпался из лопнувшего бумажного мешка. Они дышали громко и часто, как собаки.

У Пети не хватало терпения позвонить: для этого надо было освободить руки, ставить пакет на пол и так далее. Петя повернулся задом и стал изо всех сил колотить в дверь ногами.

Он поднял такой шум, что все семейство Бачей выбежало в переднюю.

Едва Дуня, завернув мокрую руку в фартук, повернула ключ, как Петя тотчас ввалился, прижимая к груди пакет. За Петей робко следовал Гаврик с большой бутылкой перекиси марганца и мешком, из которого тонкой струйкой сыпался нашатырь.

Куски кокса со стуком падали из переполненных карманов.

– Тетя! Папа! Дуня! Павка! – кричал Петя, задыхаясь от возбуждения. – Скорее, скорее! Снимите с меня скорее ранец! Что вы стоите? Вы же видите, что у меня заняты руки! Угадайте, что я купил! Вы ни за что не угадаете!

Но, как видно, никто не разделял Петиних восторгов.

– Во-первых, – ледяным голосом сказала тетя, – сколько раз я тебе повторяла, чтобы ты никогда не смел стучать в дверь ногами. Что это еще за мода? Это раз. А во-вторых, где ты до сих пор шлялся? Ты был сегодня в гимназии?

– Он ушел из гимназии после первого урока, я сам видел, – сказал Павлик и на всякий случай спрятался за тетю.

– И в-третьих, – продолжала тетя, – что это у тебя за вид? Откуда ты взял этот уголь? И вообще, что все это значит?

– Да, да, – сказал отец, покосившись на Гаврика. – Что это значит?

Может быть, в другое время Петя стал бы вывираться, выкручиваться, дерзить. Но сейчас он чувствовал себя на такой

недостижимой высоте, что даже не считал нужным оправдываться. Он снисходительно, с нескрываемым сожалением посмотрел на тетю.

– Да, – сказал он, – совершенно верно. Я ушел из гимназии после первого урока. Но зато что я купил! Когда вы увидите, что я купил, вы не будете так говорить.

– Что же ты купил? – с оттенком ужаса воскликнула тетя.

– Сейчас увидите. Гаврик, неси сюда.

Петя, как был – в калошах, шинели и башлыке, – прошел в столовую и поставил на обеденный стол пакет, после чего стал бережно выгружать из карманов кокс. Гаврик робко следовал его примеру.

– Зачем ты кладешь уголь на стол? – сказала тетя, багровея.

– Это не уголь, – поучительно сказал Петя. – Это кокс.

– На что тебе эта дрянь?

– Дрянь? А вот сейчас вы увидите!

Тетя, папа, Дуня и Павлик в молчании смотрели на грудку кокса, на разорванный мешок, из которого сыпался нашатырь, на бутылку с фиолетовой жидкостью, на все эти непонятные предметы, загромождавшие стол.

– Угадайте, что это такое? – сказал Петя, положив руку на пакет, и обвел всех сияющим взглядом. – Не знаете?

Он выдержал эффектную паузу.

– Не тяни кота за хвост, – дерзко сказал Павлик, отступая на всякий случай за Дуню.

Но Петя не удостоил его ни одним взглядом.

– Это – электричество, – сказал Петя. – Я купил электрическую батарею.

– Я тоже давал деньги, – заметил Гаврик вполголоса.

– Да, Гаврик тоже давал деньги. Я давал, и он давал. Мы вместе купили электрическую батарею. Вот.

С этими словами Петя содрал шпагат и торопливо развернул хрустящую бумагу с маркой Всеобщей компании электричества.

Все приблизились к столу.

С нескрываемым удивлением и разочарованием рассматривали они довольно грязные кривые банки, угольные пластинки и цинковые палочки.

Надо сказать правду, дома все эти вещи выглядели гораздо хуже, чем в магазине.

– Что это за хлам? – наконец, сказала тетя.

– Это не хлам, а элементы Лекланше, – высокомерно отчеканил Петя. – А если вы не понимаете, то лучше молчите.

– Боже мой, но зачем они тебе?

– Чтоб горела электрическая лампочка.

Папа и тетя переглянулись и пожали плечами. Папа надел пенсне, заложил руки за фалды сюртука и наклонился над элементами Лекланше.

– Положим, лампочка не будет гореть, – сказал он.

– Как не будет! – закричал Петя. – Это же элементы Лекланше!

– Ну и что ж из того, что элементы Лекланше? Вот именно поэтому лампочка и не будет гореть: слишком слабый ток.

Петя побледнел.

– А он сказал, что обязательно будет гореть.

– Кто это – он?

– Приказчик в электрическом магазине.

– С чем тебя и поздравляю.

– Он сказал, что если делать батарею, то непременно будет гореть.

– Ну что же, – сказал отец миролюбиво, – смотря какую батарею. Если соединить элементов двести, то, может быть, одна, очень маленькая лампочка и загорится, но вряд ли.

– Сколько элементов? Ты говоришь, сколько элементов?

– Элементов двести, триста.

– По сорок копеек штука! – закричал Петя в ужасе.

– Ну, уж там не знаю, по сколько, но и то, повторяю, вряд ли загорится.

– А он нам сказал, что восемь элементов хватит.

– Он, верно, просто пошутил.

– Пошутил?

Петя стал красный, как бурак. Пот струился по его воспаленному лицу.

– Ты сам ничего не знаешь! – крикнул он и даже затопал калошами.



– Петя, Петя... Опомнись! – ласковым тоном сказала тетя. – Как тебе не стыдно! Василий Петрович – преподаватель, человек с высшим образованием, кроме того, он твой отец. Если он тебе говорит, что лампочка не загорится, значит, можешь ему поверить. Она не загорится. Для этого даже не нужно быть ученым. Это известно всем. Элементы Лекланше употребляются для электрических звонков. В каждой квартире есть.

– В каждой квартире?

– Да.

– А почему же тогда у нас нет?

– И у нас есть.

– И у нас?

– Ну конечно! Неужели ты не замечал? Вот видишь, какой ты ленивый и не любопытный. Иди сюда, смотри.

С этими словами тетя взяла Петю за рукав, повела в переднюю и показала ящик над дверью.

Петя посмотрел и зашатался. В открытом ящике, затянутом паутиной, стояли две старые стеклянные банки – два элемента Лекланше, от которых тянулись провода к электрическому звонку.

– Теперь ты убедился? – сказала тетя и пошла обратно в столовую, шурша платьем.

Петя бросился к ней, бормоча:

– Тетичка, тетичка... Он же сказал, что непременно будет гореть...

– А ты и уши развесил?

– Тетичка, понимаете, мы заплатили три рубля двадцать копеек и еще за кокс и нашатырь, и мы еще ехали на извозчике за двадцать копеек.

Если бы развалился дом, если бы крыша упала на голову, если бы море вышло из берегов и одной чудовищной волной смыло город, если бы солнце двинулось в обратную сторону и звезды посыпались вниз, то этот ужас был бы ничем в сравнении с тем ужасом, который почувствовал Петя.

Это была полная катастрофа – непоправимая, как смерть.

Петя стоял перед столом и смотрел на банку, угольные пластинки, цинковые палочки и фаянсовые пористые сосуды, которые еще две минуты тому назад носили волшебное наименование

«элементы Лекланше», а теперь представляли собой груды отвратительных, бессмысленных предметов, не возбуждавших ничего, кроме мутного отвращения.

Это было похоже на казанок червонцев, вдруг превратившихся в черепки.

– Дуня, уберите этот хлам куда-нибудь на чердак, – сказала тетя.

Папа посмотрел на тетю, тетя посмотрела на Павлика, все трое посмотрели на Дуню. Дуня посмотрела на Петю, а потом папа, тетя, Дуня и Павлик начали хохотать.

Папа хохотал, кашлял и придерживал пенсне. Тетя хохотала заливисто и неудержимо, со слезами в горле и на глазах. Павлик подхихикивал особенно злорадно. Дуня смеялась, не совсем понимая причину смеха, просто так, за компанию.

Петя сидел в башлыке, в калошах, в шинели на стуле, уставя глаза в одну точку на полу.

И все забыли про Гаврика.

А Гаврик стоял возле двери, сгорбившись, и грыз себе кулаки, что было признаком сильнейшей ярости.

Он гораздо раньше Пети понял весь ужас того, что произошло. Он не делал себе на этот счет никаких иллюзий. С его глаз точно спала волшебная пелена. Конечно, это обман, как и все в жизни.

Он изо всех сил злился на себя, проклинал свою опрометчивость и грыз, грыз кулаки, делая страшные усилия, чтобы не заплакать.

Для Гаврика это и в самом деле была настоящая катастрофа: дома сидит Мотя без ботинок, дома нечего есть, а он, глава семьи, единственный кормилец, так, по дурости, ни за что, за здорово живешь, выбросил псу под хвост с таким трудом заработанные деньги. Нашел кого слушать! Нашел кому верить! Элементы Лекланше! Электричество! Ух, как он его ненавидел, этого Петю!

Гаврик, сгорбившись, вышел в переднюю и хрипло позвал:

– Петька, иди сюда!

Петя покорно встал со стула и поплелся.

И в эту же минуту из передней послышались приглушенные звуки, похожие на шипенье двух котов, посаженных в один мешок.

Раздался глухой топот ног, кряхтенье, потом что-то упало – вероятно, круглая, в форме бочки, корзина для грязного белья, – потом послышалось опять шипенье, щелкнул ключ, сильно стукнула входная

дверь, и Петя понуро прошел через всю столовую к себе в комнату, ни на кого не глядя и вытирая рукавом нос, из которого текла юшка.

Выбежав на улицу. Гаврик стал прикладывать ко лбу снег. Над глазом была порядочная гуля. Гаврик со всех сторон пощупал ее. Она была твердая, как недозревшая слива, и уже начинала болеть. Да, настоящий «бланш»! Этого Гаврик от Пети никак не ожидал: он был неприятно удивлен. Сжав губы и шумно, сердито дыша носом, Гаврик пошел домой. Он шел, нарочно не торопясь, медленно остывая от драки. Торопиться было некуда.

Изредка он останавливался, громко сморкался и прикладывал к губе свежий снег. Кровь еще возбужденно бурлила, и в ушах шумело, но уже мягкая, глухая тишина зимнего вечера мало-помалу охватывала душу. Только теперь Гаврик заметил, что погода переменилась. Как это часто бывает на Черноморском побережье, степной ветер, беспорядочно крутивший целый день, вдруг упал, вьюга улеглась. Над садами и домами мутно светилась низкая луна. По ней бежали дымчатые облака, с каждой минутой становившиеся все тоньше и тоньше. Местами сквозь них уже проглядывало чистое небо с редкими морозными звездами.

Море под луной сияло зеленым золотом.

*1943*

# Сын полка

*Посвящается  
Жене и Павлику Катаевым*

*Это многих славных путь.*

*Некрасов*

## 1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из чёрных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако её свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берёз; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окружённые радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках – да мало ли ещё что!

Но меньше всего в этот глухой, мёртвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти всё время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте – в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными жёлтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжёлое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздражёнными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или весёлая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком – даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой – все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле – все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнёт рукой вперёд – все двигались вперёд; покажет назад – все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти всё так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли ещё осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь ещё были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днём, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики – хотя их было только трое – не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засечёнными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Всё вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далёких пушечных выстрелов да коротенькой пулемётной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко – неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошёл танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий, извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращённой на запад. И эта дверь, обращённая на

запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нём кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озарённой дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с жёлтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и её плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, жёлто-зелёных плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлёк внимание сержанта Егорова – такова была фамилия старшого – казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» – думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шёпот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав ещё минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

– Слышать? – одними губами спросил Егоров.

– Слышать, – так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое тёмное лицо, уныло освещённое луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

– Что?

– Не понять.

Некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лёг сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за тёмным кустом можжевельника, а ещё через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовёт их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зелёной вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмётанными лихорадкой, воспалёнными



губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

– Тише. Свои, – шёпотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы – русские, плащ-палатки – русские, и лица, наклонившиеся к нему, – тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

– Наши...

И потерял сознание.

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трёх сторон площадка была открыта. С четвёртой стороны, с западной, на неё было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К её рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста – один пехотный, другой артиллерийский – со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырёх человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один – командир взвода управления лейтенант Седых, а другой – уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зелёный шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же

время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть, даже минуты, перед боем всё казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерётся батальон Ахунбаева, там, значит, дерётся и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлём огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе, за одним походным столом, боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчётлив, как подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении ещё не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнётся очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш

кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твёрдым движением небольшой сухощавой руки в потёртой коричневой замшевой перчатке:

– Прошу вас. Одну минуту повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

– Здесь.

– Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

– Подбитый танк, вкопанный в землю и превращённый неприятелем в неподвижную огневую точку.

– Откуда это известно?

– По донесению разведки.

– Правильно, верно, – быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывал и завязывал на шее тесёмки плащ-палатки. – Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

– Всё же одну минуточку повремените, – говорил капитан Енакиев, подумав.

Он наклонился и заглядывал на край площадки вниз.

– Сержант Егоров!

– Здесь, товарищ капитан, – откликнулся сержант Егоров с лестницы.

– Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

– Никак нет.

– Лично видели?

– Так точно.

– Собственными глазами?

– Так точно, собственными глазами. Туда шли – видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

– Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

– Так точно. В неподвижную огневую точку.

– Откуда это известно?

– Они вокруг него производят земляные работы.

– Закапывают?

– Так точно.

– А может быть, они хотят его вывезти?

– Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привезли.

– Сами видели?

– Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы и засекли.

– Хорошо. Больше ничего.

– Точно! Точно! – радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твёрдый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и – как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго – рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, всё равно не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с чёрными петлицами и золотыми пуговицами, на его твёрдую фуражку с лаковым ремешком, чёрным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух всё время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и жёлтые листья начинали сыпаться гуще, крутятся и колыхаясь.

Человеку непривычному могло показаться, что идёт большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатареинный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, ещё более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, чёрная, как антрацит, и продёрнутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывается осколок, с силой ударяется в землю, делает рикошет, кружится, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

– Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка линии. Что у вас там делается?.. Пока всё тихо? Ну ладно. У нас тоже всё тихо. Воюйте дальше. До свидания.

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесёмки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

– Коня!

Затем он посмотрел на часы:

– Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

– Девять четырнадцать, – сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули плянцовой чернотой.

– Отстаёшь, капитан Енакиев.

– Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь... по своему обыкновению.

– Зайцев, точное время! – азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

– Твоя взяла, бог войны, – миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевёл стрелки. – Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаемый жёлтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугую резиновый поясok и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны ещё лучше.

Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя

драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперёд, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нём не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и погибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперёд, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилки-й дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное – перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но всё же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счёт не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании манёвра и на том особом, математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера,



привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, всё же рискнуть, попробовать?» – спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно чёткую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближённый, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулемётных гнёзд.

По верхнему же краю поля так же отчётливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мёртвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было..

Ещё дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошёлся по ней вскользь. Быстро замелькали оголённые рожицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17».

Он напряжённо всматривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение – в который раз за сегодняшнее утро! – населяло это место движущимися цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» – думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание. Нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчёт в том, что же для него всё-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять «цель номер семнадцать», хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор и на площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень чёрными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал её с силой вниз, и подал капитану Енакиезу пакет.

– Приказ по полку... – сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: – ...о наступлении!

– Когда? – спросил Енакиев.

– В девять часов сорок пять минут. Сигнал – две ракеты синих и одна жёлтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

– Идите, – сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал её вниз, повернулся кругом с такой чёткостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о перекладины и весело чертыхаясь.

– лейтенант Седых! – сказал Енакиев.

– Я здесь, товарищ капитан.

– Вы слышали?

– Так точно.

– Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами – телефонная. При движении вперёд наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек – один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

– Так точно.

– Вопросы есть?

– Никак нет.

– Действуйте.

– Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошёл на одну ступеньку ниже, но остановился:

– Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

– С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

– Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он ещё не принял решения.

– Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

– Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

– Очухался малый?

– Будто ничего.

– Что же он рассказывает?

– Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.

– Давайте сюда Егорова.

– Сержант Егоров! – крикнул лейтенант Седых вниз. – К командиру батареи!

– Здесь! – тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.

– Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «докладывайте», а «рассказывайте». И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его

утомлённые, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьёзными.

– Дело известное, товарищ капитан, – сказал Егоров. – Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом – чуть не помер, но всё же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица убить. А ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» – спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», – говорит. Ну что вы скажете!

– Сколько ж ему лет?

– Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отощал. Одна кожа да кости.

– Да, – задумчиво сказал капитан Енакиев. – Двенадцать лет. Стало быть, когда всё это началось, ему ещё девяти не было.

– С детства хлебнул, – сказал Егоров вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряжённая, обманчивая тишина.

– И что же, хороший паренёк? – спросил капитан Енакиев.

– Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смышлёный! – воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда немного поменьше возрастом – теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по

тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на незащищенных людей – стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не спрашивал. У него не хватало духу спрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулемётные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами и маленький, четырёхлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченной из земли сосны. Особенно отчётливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного поседел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нём. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда, как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комодке среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из неё бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь – мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

– Как его звать? – сказал капитан Енакиев.

– Ваня.

– Просто – Ваня?

– Просто Ваня, – с весёлой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. – И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

– Ну так вот что, – подумав, сказал Енакиев, – надо будет его отправить в тыл. Лицо Егорова вытянулось.

– Жалко, товарищ капитан.

– То есть как это – жалко? – строго нахмурился Енакиев. – Почему жалко?

– Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Крупный сирота. Пропадёт.

– Не пропадёт. Есть специальные детские дома для сирот.

– Так-то оно, конечно, так, – сказал Егоров, всё ещё продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже слышались твёрдые, командирские нотки.

– Что?

– Так-то оно так, – повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. – А всё-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смыслённый паренёк. Прирождённый разведчик.

– Ну, это вы фантазируете, – сказал Енакиев раздражённо.

– Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется всё равно как взрослый разведчик. Даже ещё лучше. Он сам просится, «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся:

– Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

– Так точно.

– Вот видите. Нет, нет. Рано ему ещё воевать, пусть прежде подрастёт. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл. Егоров помялся.

– Убежит, товарищ капитан, – сказал он неуверенно.

– То есть как это – убежит? Почему вы так думаете?

– «Если, говорит, вы меня в тыл начнёте отправлять, я от вас всё равно убегу по дороге».

– Так и заявил?

– Так и заявил.

– Ну, это мы ещё посмотрим, – сухо сказал капитан Енакиев. – Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся:

– Слушаюсь.

– Всё, – сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

– Разрешите идти?

– Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звёздочка. Она ещё не успела погаснуть, как по её следу выкатилась другая синяя звёздочка, а за нею третья звёздочка – жёлтая.

– Батарея, к бою, – сказал капитан Енакиев негромко.

– Батарея, к бою! – крикнул звонко телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную кротёнку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твёрдые уши двигались от напряжений под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», – и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один – костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой – тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде – вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросычьею щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтёром. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его тёмную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядрёными, свежекотлотыми берёзовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, берёзовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошёнку.

Иногда, заметив, что мальчик смущён своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов



доброжелательно замечал:

– Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе ещё подбросим. У нас насчёт харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живёт в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что ещё совсем недавно – вчера – он пробирался по страшному, холодному лесу один во всём мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь жёлтое полотно проникал ровный, весёлый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как всё было аккуратно, разумно разложено и развешано.

Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевёловых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тубики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щётки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в

землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Всё было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и лёгкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.

Зато и отдыхать после своей тяжёлой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И, хотя с утра шёл бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его

– тёмное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, – было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтёр ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

– Премного благодарны. Много вами доволен.

– Может, ещё хочешь?

– Нет, сыт.

– А то мы тебе ещё один котелок можем положить, – сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. – Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

– В меня уже не лезет, – застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

– Не хочешь – как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, – сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

– Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

– Хороший харч, – сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

– Верно, хороший? – оживился Горбунов. – Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдёшь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадёшь. Будешь за нас держаться?

– Буду, – весело сказал мальчик.

– Правильно, и не пропадёшь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебестрижём. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

– А в разведку меня, дяденька, будете брать?

– И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

– Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, – с радостной готовностью сказал Ваня. – Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

– Это и дорого.

– А из автомата палить меня научите?

– Отчего же. Придёт время – научим.

– Мне бы, дяденька, только один разок стрелкнуть, – сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

– Стрельнёшь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

– Как это, дяденька?

– Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

– Понятно, дяденька.

– Вот как оно делается у нас, разведчиков... погоди! Ты это куда собрался?

– Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

– Правильно приказывала, – сказал Горбунов строго. – То же самое и на военной службе.

– На военной службе швейцаров нету, – назидательно заметил справедливый Биденко.

– Однако ещё погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, – сказал Горбунов самодовольно. – Чай пить уважаешь?

– Уважаю, – сказал Ваня.

– Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! – сказал Биденко. – Пьём, конечно, внакладку, – прибавил он равнодушно. – Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник – предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и

глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в необыкновенном, сказочном мире. Всё вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещённая солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия» – вещевое, приварок, денежное, – и даже слова «свиная тушёнка», большими чёрными буквами напечатанные на кружке.

– Нравится? – спросил Горбунов, горделиво любясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

– Ребёнок ведь, – жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопчёнными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в неё из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые всё сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

– Наши пикируют, – заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

– Хорошо бьют, – одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчётливо послышался твёрдый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она всё усиливалась, крепчала. Её отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулемёты. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном, механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а...».

– Пошла царица полей в атаку, – сказал Горбунов. – Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

– А нашей батарее не слышать, – сказал он наконец.

– Да, молчит.

– Небось наш капитан выжидает.

– Это как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

– Дяденька, – наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, – кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

– Эх ты!

Биденко же серьёзно сказал:

– Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошёл сержант Егоров.

– Горбунов!

– Я.

– Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

– Нашего Кузьминского?

– Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. Побыстрее.

– Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно – без единой морщинки – застлано зелёной плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесённые полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушёл. Он ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

– Ты ещё здесь? – сказал Егоров.

– Здесь, – виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

– Придётся его отправить, – сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. – Биденко!

– Я!

– Собирайся.

– Куда?

– Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

– На тебе! – сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

– Капитан Енакиев распорядился.

– А жалко. Такой шустрый мальчик.

– Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров ещё больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он ещё ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано – исполняй.

– Не положено, – ещё раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчёркивая, что вопрос решён окончательно. – Собирайся, Биденко.

– Слушаюсь.

– Ну, стало быть, так и так, – сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потёртой до глянца кобуры нагана. – Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорчённый, растерянный. Покусывая губы, обмётанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, всё было так хорошо, так прекрасно, и вдруг всё сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; вместе с



ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной палатке; получить обмундирование – сапожки, гимнастёрку с погонями и пушечками на погонах, шинель... может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и всё время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашёл добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, всё стало так замечательно, когда он наконец попал в родную семью – трах! – и всего этого нет. Всё это рассеялось, как туман.

– Дяденька, – сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель, – а дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

– Приказано.

– Дяденька Егоров... товарищ сержант! Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, – сказал мальчик с отчаянием. – Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

– Не положено, не положено, – устало сказал Егоров. – Ну, что же ты, Биденко! Готов?

– Готов.

– Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Ещё захватите. А то наши на четыре километра вперёд продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

– Дяденька! – закричал Ваня.

– Не положено, – отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что всё кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые ещё так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об неё головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок

вздёрнулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

– А я не поеду, – сказал мальчик дерзко.

– Небось поедешь, – добродушно сказал Биден-ко. – Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»! Посажу тебя в машину и повезу – так поедешь.

– А я всё равно убегу.

– Ну, брат, это вряд ли. От меня ещё никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался:

– Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще всё говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шёл бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где ещё вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нём, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж – прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми брёвнами в четыре наката и обложенное сверху дёрном.

Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж ещё тогда, когда он находился в немецком расположении и в нём ещё жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьём разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подёргивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи.

Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тёсом, Биденко вошёл в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы второпях не успели её унести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посередине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскалённая чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устраивались здесь прочно, по-хозяйски, рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окружённого ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг им Дейчланд», что значило: «Весна в Германии».

Во всём же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками,

стояли зелёные вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками; на печке грелся знаменитый медный чайник; на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелёными русскими шлемами.

В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Би-денко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным, зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку внакладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому, Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве. Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить: «Хоть топор вешай».

– А, здорово, Вася! – увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом – угощал гостей.

Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба.

– Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Акку-рат к чаю попал.

Он был без гимнастёрки, в одной бязевой сорочке, в расстёгнутом вороте которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

– А мы, брат, нынче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я её убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошёл к своей койке, сердито кинул на неё снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие чёрные руки.

– Ну, что там слышать в штабе фронта, Вася? Немцы ещё мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

– Может, закуришь? – сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

– А, пошло оно всё к чёрту! – неожиданно пробормотал Биденко, пошёл к своей койке и вяло на неё повалился животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет – сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батарейцам о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского.

– Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зелёную, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной как хватит! Прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанёт! Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля – вот она, тут возле самого глаза. Выходит дело – лежу. – Горбунов захохотал счастливым смехом. – Чувствую – весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встану. Осматриваю себя – ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землёй побило. Но зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало. Как его и не бывало. Всё равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно, как снесло каблук. Смотрите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели. А некоторые даже вежливо потрогали руками.

– Да, собачье дело, – заметил один деловито.

– Бывает, – сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который Горбунов выкладывал на стол. – И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Тёткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Этого никогда не учтёшь.

– Кузьма, – сказал вдруг Биденко со своей койки натужным голосом тяжелобольного человека, – слышишь, Кузьма, а где сержант Егоров?

– Сержант Егоров нынче дежурный, – ответил Горбунов, – пошёл посты проверять.

– Поди, скоро вернётся?

– Грозился к чаю поспеть.

– Так, – сказал Биденко и закричал, как от зубной боли.

В этом крикоте явно слышалась просьба посочувствовать.

– Ты что маешься? – равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой, холодной вежливости.

– А, пошло оно всё к черту! – вдруг опять мрачно сказал Биденко.

– Выпей чаю, – сказал Горбунов, – может, полегчает.

Биденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке.

– Понимаешь, какая получилась петрушка, – наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. – Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову.

– А что?

– Не выполнил приказание.

– Как так?

– Не довёз малого до штаба фронта.

– Шутишь!

– Верно говорю. Прохлопал. Ушёл.

– Кто ушёл?

– Да малый же этот. Ваня наш. Пастушок.

– Стало быть, убежал по дороге?

– Убежал.

– От тебя?

– Ага.

Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим, жирным телом.

– Как же это ты так сплеховал, Вася, а? Ну, погоди. Придёт Егоров, он тебе даст дрозда! Как же это получилось?

– Так и получилось. Убежал, да и всё.

– Вот тебе и знаменитый разведчик! «От меня, – хвалился, – ещё никто не уходил», – а мальчишка ушёл. Ай да Ваня! Ай да пастушок!

– Толковый ребёнок, – с вялой улыбкой сказал Биденко.

– Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты всё же расскажи, Вася, путём, как дело-то было.

– Убежал и убежал. Чего там рассказывать.

– А всё-таки. Ты, брат, всю правду докладывай. Всё равно дознаемся.

– А, пошло оно к чёрту! – сказал Биденко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лёг к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.

И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.

## 6

Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.

– Эй там, полегче! – крикнул Биденко, застучав кулаками в кабину водителя. – Остановись, чёрт! Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Биденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал что есть мочи в лес.

– Эй! Эй! – отчаянным голосом закричал ефрейтор.

Но Ваня даже не оглянулся.

Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пёстрой чаще.

– Ваня-а-а! – крикнул Биденко, приложив громадные руки ко рту. – Пастушо-о-ок! Погоди-и-и!

Но Ваня не откликнулся, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку: «А-о-и! А-о-и!»

– Ну, погоди, чертёнок, – сердито сказал Биденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых «профессоров» капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить.

На всякий случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Биденко приступил к поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего он определился по компасу, для того чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Биденко не пошёл, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнёт забираться вправо.

Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошёл мальчику наперехват.

«Там-то я тебя, голубчика, и сцапаю», – не без удовольствия думал Биденко.

Он живо представил себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмёт его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу – и будет. Пойдём-ка обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй. Потому что всё равно ничего не получится. Не родился ещё на свете тот человек, который бы ушёл от ефрейтора Биденко. Так себе это и заметь раз навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий «пастушок».

Ваня вызывал в душе у Биденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нём и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и ещё что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его самого, когда он был ещё совсем маленький и его посылали пасти коров.



Смутно вспомнилось раннее утро, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зелёному лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы – ярко-зелёные, ярко-фиолетовые, огненно-красные – и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, весёлые и вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему понравился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины.

«Смелый, чертёнок! Ничего не боится. Настоящий солдат, – думал Биденко. – Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь. Приказано».

Размышляя таким образом, разведчик всё шёл да шёл, углубляясь в лес. По его расчётам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Биденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.

Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шёл по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один даже самый искусный разведчик не прошёл бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал лживым, бабьим голосом:

– Ванюшка-а-а! Ау-у-у! Полно балова-а-ать! Пора еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.

Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушёл, что его уже не вернёшь.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал ещё такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как

он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего: засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться.

Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший.

Биденко справился с компасом и, кряхтя, пошёл обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

Но, прежде чем тронуться в обратный путь, Биденко решил покурить и перемотать портянки.

Он отыскал в лесу подходящий пенёк и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кiset, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Биденко ахнул. Это был тот самый старший букварь без переплёта, который носил в своей торбе пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке, среди зелёных ветвей, знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.

В тот же миг Биденко вскочил как ужаленный, швырнул на землю кiset с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на жёлто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обмётанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немного похрапывал.

Биденко сразу понял всё. Пастушок обвёл его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот: сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь – силён!» – с восхищением подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал:

– Пойдём-ка, брат пастушок, вниз. Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.

– Ладно уж, – сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна.

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шёл впереди, а Биденко – на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.

– Хватит, дружок, – говорил Биденко назидательно, – погулял в лесу – и будет. Потому что всё равно ничего не получится. Не родился ещё на свете такой человек, который бы от меня ушёл. Так себе это и запомни.

– Неправда ваша, – сердито отвечал Ваня не оборачиваясь. – Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.

– Небось поймал бы.

– Неправда ваша.

– Верно говорю. От меня ещё никто не уходил.

– А я ушёл.

– Не ушёл бы.

– Если бы да кабы.

– Вот тебе и «да кабы»!

– Неправда ваша.

– Заладил одно.

– Неправда ваша. Неправда ваша, – упрямо повторял Ваня.

– Весь бы лес прочесал, а нашёл.

– Чего же вы не прочесали?

– Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать – язык измочалишь. Я бы тебя по приметам

нашёл.

– Чего же вы меня не нашли?

– Я тебя нашёл.

– Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали – и то не нашли.

– Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?

– А вот искали! Вы меня не видели, а я с дерева вас видел.

– Чего же ты видел?

– Видел, как вы на мой след компас направляли. «Вот чертёнок, всё он замечает!» – подумал Биденко почти с восхищением. Но сказал строго:

– Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.

Тут Биденко немного покривил душой. Но это ему всё равно не помогло.

– Неправда ваша, – сказал Ваня неумолимо. – Вы меня по компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашёл в каком хотите лесу, хоть днём, хоть ночью.

– Ну, браток, это ты чересчур хватил.

– Давайте спорить.

– Стану я ещё с тобой спорить! Молод.

– Ну давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать.

– Ну и не найдёшь.

– А вот найду.

– Никогда!

– Испытаем.

– А ну, давай! – воскликнул Биденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. – Нипочём не найдёшь. погоди, – сказал он вдруг подозрительно. – Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Э, нет, малый, больно ты хитёр, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся:

– Бойтесь, что уйду?

– Ничего я не боюсь, – хмуро сказал Биденко, – а просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.

– Вы не бойтесь, – сказал мальчик весело, – я от вас и так всё равно уйду.

И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Биденко в этих весёлых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя всё время быть начеку.

А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Биденко своими крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял:

– Вот уйду! Хоть вы меня привяжите к себе. Вот всё равно уйду.

– А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдёшь. Биденко задумался.

– Ей-богу, – вдруг решительно сказал он, – вот возьму верёвку и привяжу!

У Биденко действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и крепкой верёвки. И он начал подумывать всерьёз, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло довольно далеко. В дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнёшь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт!

«А что, в самом деле, – подумал Биденко, – привяжу – и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с ним не сделается».

И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Биденко достал из кармана аккуратно свёрнутую верёвку.

– Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду, – весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:

– Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только сделайте узел покрепче, чтобы я не развязал.

– Моего, брат, узла не развяжешь: у меня двойной морской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно привязал конец верёвки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

– Теперь, брат пастушок, плохо твоё дело. Не убежишь.

Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры.

Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом – новенький американский «студебеккер». Он шёл порожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нём единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках, у самой кабинки водителя, где совсем не трясло.

Биденко несколько раз пытался заговорить с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.

«Смотрите пожалуйста, какой гордый! – думал с умилением Биденко. – Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».

И ему опять стали представляться далёкие картины его детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались всё новые и новые люди. Скоро машина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади длинным углом.

Были два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погончиками и в новеньких, твёрдых фуражках.

Была девушка из Военторга, в макинтоше, в коротких кирзовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько весёлых лётчиков-истребителей. Они всё время курили папиросы из толстых прозрачных портсигаров, сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла.

Была женщина – военный хирург, толстая, пожилая, в круглых очках и в синем берете, плотно натянутом на седую, коротко стриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.

По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было ещё далеко. И люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову кулак с намотанной на него верёвкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подёргивал за верёвку.

– Ну, что вам надо? – сонно отзывался Ваня. – Я ещё тут.

– Спишь, пастушок?

– Сплю.

– Ладно. Спи. Это я так: проверка линии.

И Биденко засыпал опять.

Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. Сел, торопливо подёргал за верёвку, но не получил никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вскочил на колени и засветил электрический фонарик, который всё время держал наготове.

Нет. Ничего. Всё в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко посветил ему в лицо. Оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже посветили в лицо фонариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, больное, костлявое, страшное. Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в них.

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что значит попасть наконец к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены лечат.

Биденко лёг и под мерное подсакивание грузовика снова задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но всё же, проснувшись, не забыл подёргать за верёвку.

Ваня не откликнулся.

«Спит небось, – подумал Биденко. – Утомился».

Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал, потом опять на всякий случай подёргал верёвку.

– Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это наконец кончится? – раздался в темноте сердитый женский бас. – Почему ко мне привязали' какую-то верёвку? Почему меня дёргают? Кто мне всё время не даёт спать?

Биденко похолодел.

Он зажёл электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было а верёвка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещёнными электрическим фонариком.

– Эй, остановись! – заорал Биденко страшным голосом, изо всех сил барабаня в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам, ногам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу. Он одним махом перескочил через борт и очутился на шоссе.

Ночь была чёрная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далёкого артиллерийского боя.

– По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовых и легковых машин, транспортёры, тягачи, пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фарами чёрные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пузырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время, слегка расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

– А, пошло оно всё к чёрту!

И не торопясь побрёл назад, к ближайшему регулировщику, для того чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края.

– А ну, хлопчик, отойди от калитки. Здесь посторонним стоять не положено.

– Я не посторонний.

– А кто же ты?

– Я свой.

– Какой свой?

– Советский.

– Мало что советский. Говорю, не положено. Стало быть, не положено. Проходи своей дорогой.

– А здесь, дяденька, штаб?



– Что бы ни было.  
– Мне к начальнику надо.  
– К какому тебе начальнику?  
– К самому главному.  
– Ничего не знаю. Проходи.  
– Пустите, дяденька. Что вам стоит?  
– Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится. Не видишь – я на посту.

– А вы со мной, дяденька, и не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику – и ладно.

– Ишь ты, какой шустрый! – сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: – Нету здесь никакого начальника!

– А вот неправда ваша. Есть начальник.

– Ты почём знаешь?

– Сразу видать. Изба хорошая. Лошади под сёдлами во дворе стоят. Самовар в сени тётенька понесла. Часовой у калитки.

– Всё он видит! Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю.

– Пустите, дяденька!

– А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберёт.

– Куда заберёт?

– Куда надо. Ну! Кому я говорю? Отойди от калитки. Не положено. Вот тебе и весь сказ.

Ваня отошёл в сторону. Он сел на старый мельничный жёрнов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки.

Часовой поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперёд по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой кожей.

Убежав второй раз от Биденко, Ваня стал разыскивать тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определённого плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям – разведчикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только ещё раз хорошенько попросить.

Однако, как ни хорошо умел мальчик различать местность и находить дорогу, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком всё передвинулось на запад. Слишком всё переменялось, стало неузнаваемым.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом. Но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст.

Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему, новым военным дорогам и частям, по сожжённым деревьям, расспрашивая встречаемых военных, как ему найти палатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, молчаливые.

Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали:

– Не знаю.

– А тебе зачем?

– Ступай к коменданту.

– Не положено.

И всё в таком же духе.

Ваня совсем было отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом.

Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на своё упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.

Мальчик этот был ненамного старше Вани. Ему было лет четырнадцать. А по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик!

Сроду ещё не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нём была полная походная форма гвардейской кавалерии: шинель – длинная, до пят, как юбка; круглая кубанская шапка чёрного барашка с красным верхом; погоны с маленькими стременами, перекрещёнными двумя клинками; шпоры и, как венец всего этого воинского великолепия, ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину.

Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую

лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.

Но военный мальчик и бровью не повёл. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал своё воинственное занятие. Изредка он озабоченно сплёвывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

– Чего стоишь? – сказал он сумрачно.

– Хочу и стою, – сказал Ваня.

– Иди, откуда пришёл.

– Сам иди. Не твой лес.

– А вот мой!

– Как?

– Так. Здесь наше подразделение стоит.

– Какое подразделение?

– Тебя не касается. Видишь – наши кони.

Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, чёрные бурки и алые башлыки конников.

– А ты кто такой? – спросил Ваня. Мальчик небрежно, со щегольским стуком кинул клинок в ножны, сплюнул и растёр сапогом.

– Знаки различия понимаешь? – сказал мальчик насмешливо.

– Понимаю! – дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.

– Ну так вот, – строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперёк которого была нашита белая лычка. – Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?

– Да! Ефрейтор! – с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. – Видали мы таких ефрейторов! Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.

– А вот представь себе, ефрейтор! – сказал он.

Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастёрке большую серебряную медаль на серой шёлковой ленточке.

– Видал?

Ваня был подавлен. Но он и виду не подал.

– Великое дело! – сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти.

– Великое не великое, а медаль, – сказал мальчик, – за боевые заслуги. И ступай себе, откуда пришёл, пока цел.

– Не больно модничай. А то сам получишь.

– От кого? – прищурился роскошный мальчик.

– От меня.

– От тебя? Молод, брат.

– Не моложе твоего.

– А тебе сколько лет?

– Тебя не касается. А тебе?

– Четырнадцать, – сказал мальчик, слегка привирая.

– Ге! – сказал Ваня и свистнул.

– Чего – ге?

– Так какой же ты солдат?

– Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.

– Толкуй! Не положено.

– Чего не положено?

– Больно молод.

– Постарше тебя.

– Всё равно не положено. Таких не берут.

– А вот меня взяли.

– Как же это тебя взяли?

– А вот так и взяли.

– А на довольствие зачислили?

– А как же.

– Заливаешь.

– Не имею такой привычки.

– Побожись.

– Честное гвардейское.

– На все виды довольствия зачислили?

– На все виды.

– И оружие дали?

– А как же! Всё, что положено. Видал мою шашечку? Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь знать, можно

колесом согнуть, и он не сломается. Да это что? У меня ещё бурка есть. Бу-рочка что надо. На красоту! Но я её только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.

– А меня не взяли, – убито сказал Ваня. – Сперва взяли, а потом сказали – не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

– Стало быть, ты им не показался, – сухо сказал роскошный мальчик, – раз они тебя не захотели принять за сына.

– Как это – за сына? За какого?

– Известно, за какого. За сына полка. А без этого не положено.

– А ты – сын?

– Я – сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня ещё под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, а они как выскочат на улицу в одних подштанниках! Мы их там больше чем полторы сотни набили.

Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали фашистов.

– И ты рубал? – с дрожью восхищения спросил Ваня.

Мальчик хотел сказать «а как же», но, как видно, гвардейская совесть удержала его.

– Не, – сказал он смущённо. – По правде, я не рубал. У меня тогда ещё шашки не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулемётом... Ну и, стало быть, иди, откуда пришёл, – сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся довольно-таки подозрительным гражданином. – Прощай, брат.

– Прощай, – уныло сказал Ваня и пошёл прочь.

«Стало быть, я им не показался», – с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет.

Сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева.

Таким-то образом он в конце концов и набрёл на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.

Он сидел на мельничном жёрнове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:

– Соболев, лошадь!

## 9

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух осёдланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый главный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым.

Это же подтверждали и звёздочки на погонах. Их было очень много: по четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек.

«Хоть и не старый, а небось генерал», – решил Ваня, с почтением рассматривая тонкие, хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнанную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с компасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошёл к лошади, но, прежде чем на неё сесть, весело потрепал её по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.

Когда нынче его вызвал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разноса, хотя никаких упущений по службе за собой не чувствовал.

Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек десять артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник – человек суховатый и скупой на похвалы – высоко оценил именно тот внезапный, сокрушительный огневой налёт на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который в конечном счёте решил дело.

Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он проводил капитана Енакиева до сеней и на прощание сказал ещё раз:

– В общем, хорошо воюете. Молодцом, капитан Енакиев.

На что капитан Енакиев, смущённо покраснев, ответил:

– Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!

Всё это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он передаст своим офицерам мнение командира полка об их батарее.

– Дяденька! – услышал он вдруг чей-то голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и не мигая смотрел синими глазами.

– Разрешите обратиться, – сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.

– Ну что ж, обратись, – сказал капитан весело.

– Дяденька, вы начальник? –

– Да. Командир. А что?

– А вы над-кем командир?

– Над батареей командир. Над солдатами своими командир. Над пушками своими.

– А над офицерами вы тоже командир?

– Смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.

– А над капитанами вы тоже командир?

– Над капитанами я не командир. Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика.

– А я думал, вы и над капитанами командир!

– Для чего тебе это?

– Надо.

– Ну, всё-таки?

– Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.

– А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.

– Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.

– Кому же именно?

– Енакиеву, капитану.

– Как, как ты сказал?! – воскликнул капитан Енакиев.

– Енакиеву.

– Гм... Что же это за капитан такой?

– Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они всё исполняют.

– Над какими разведчиками?

– Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда.

– А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?

– То-то и беда, что не видел.

– А он тебя видел?

– И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.

Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика:

– Постой. погоди... Звать-то тебя как?

– Меня-то? Ваня.

– Просто – Ваня? – улыбнулся офицер.

– Ваня Солнцев, – поправился мальчик.

– Пастушок?

– Верно! – с изумлением воскликнул Ваня. – Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почём знаете?

– Я, брат, всё знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.

– А я убежал, – скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.



– Ах, вот как! Как же ты убежал?  
– Взял да и убежал.  
– Так сразу взял да сразу и убежал?  
– Нет, не сразу, – сказал Ваня и почесал нога об ногу, – я два раза от него убежал. Сначала я убежал, да он меня нашёл. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашёл.

– Кто это «он»?  
– Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик ихний. Может, знаете?  
– Слышал, слышал, – хмурясь ещё сильнее, сказал Енакиев. – Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь. А?

– Никак нет, – сказал Ваня, вытягиваясь. – Ничего не сочиняю. Истинная правда.

– Слышал, Соболев? – обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.

– Так точно, слышал.  
– И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчик убежал от Биденко?

– Да никогда в жизни! – с широкой, блаженной улыбкой воскликнул Соболев. – От Биденко ни один взрослый не убежит, а не то что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало заливает.

Ваня даже побледнел от обиды.

– С места не сойти! – твёрдо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.

Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, пятое через десятое, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошёл до места с верёвкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким, басистым смехом, что лошади наострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко – это было не положено, – только крутил головой и прыскал в кулак и всё время повторял:

– Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал грустным.

– Они меня, говорит, за своего сына приняли, – возбуждённо рассказывал Ваня про военного мальчика, – я у них теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ними один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со станковым пулемётом. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, говорит, верно, не показался. Вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно плотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными прелестными глазами:

– Только он это врёт, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался. Верно говорю. Они меня жалели. Да только они ничего поделывать не могли против капитана Енакиева.

– Что ж, выходит дело, что ты всем «показался», только одному капитану Енакиеву «не показался»?

– Да, дяденька, – сказал Ваня, виновато мигая ресницами. – Всем показался, а капитану не пока-

зался. А он меня даже ни разу не видел. Разве это можно судить человека, не выдавши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?

– Ты так думаешь? – сказал капитан усмехнувшись. – Ну, да ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь.

– В ночное с ребятами ездил? – строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.

– Как не ездил! Ездил, дяденька.

– На лошади удержишься?.. А ну-ка, Соболев, бери его к себе.

И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошади.

– К разведчикам! – скомандовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.

– От Биденко ушёл, а от меня, брат, не уйдёшь, – сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.

– А я сам не хочу, – сказал Ваня весело.

Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду.

– Дождитесь, – сказал он и, быстро брэнча шпорами, сбежал по ступенькам вниз.

## 10

Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в «козла». Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов.

– Встать, смирно! – крикнул дневальный, увидав входящего командира батареи.

Разведчики резко вскочили на ноги, побросав кости на стол.

А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено – в головном уборе и при оружии, – чёртом подскочил к капитану и отрапортовал:

– Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управления вверенной вам батареи. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Биденко.

– Здравствуйте, артиллеристы!

– Здравия желаем, товарищ капитан! – дружно крикнули разведчики.

После этого капитан Енакиев обычно командовал «вольно» и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии».

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинками, и твёрдые губы, сложенные под короткими усами в неопределённую, холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего «дрозда» нынче дело не обойдётся.

– Стало быть, никаких происшествий не случилось? – сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнёт командир батареи.

– Что ж вы молчите?

– Разрешите доложить...

– Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвёл! Командиру отделения докладывали?

– Так точно. Докладывал.

– Ну и что же?

– Командир отделения четыре наряда не в очередь дал.

– Сколько нарядов?

– Четыре.

– Мало. Доложите ему, что я приказал от себя ещё два наряда прибавить. Итого – шесть.

– Слушаюсь.

Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат.

– Садитесь, орлы, – наконец сказал он, расстёгивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. – Отдыхайте. Слышал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас завёлся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли!

Не успел он это сказать, как пять кисетов потянулись к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку.

Отовсюду слышались голоса:

– Моего возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже.

– Моего попробуйте, мой с можжевельником.

– Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит.

– Может быть, лёгкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик.

– Богато живёте, богато живёте, – говорил капитан, неторопливо примеряясь, у кого бы взять табачку. – А ты, Биденко, ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я всё равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишь всё на свете.

– Верно, – подмигнул Горбунов. – Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и пастушка нашего прошляпил.

– Про это я и намекаю, – сказал капитан.

– Товарищ капитан, – жалобно сказал Биден-ко, – кабы он был обыкновенный мальчик... А ведь это не мальчик, а настоящий чертёнок. Право слово.

– А что, верно – хороший малый? – спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадом. – Как он вам, братцы, показался?

– Паренёк хоть куда, – сказал Горбунов, улыбаясь той широкой, свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. – Самостоятельный мальчик. И уж одно слово – прирождённый солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

– Жалко? – спросил капитан Енакиев.

– Да нет, что же... Жалко не жалко... Он, конечно, и в тылу не пропадёт. А сказать правду, то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место.

– А не сочиняешь?

– Чего же тут сочинять! Это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее.

– А вы, ребята, почему молчите? – сказал капитан Енакиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. – Как вам показался мальчик?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна, большая, на всю команду, и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

– Смотрите. Думайте. Вам с ним жить, а не мне.

– Подходящий паренёк. Одно слово – пастушок, солнышко, – заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнёт их капитан,

А он строго посмотрел на них и после некоторого, довольно продолжительного раздумья твёрдо сказал:

– Ну ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа... Эй, Соболев! – крикнул он, подойдя к двери. – Давай сюда пастушка.

И когда на пороге, к общему изумлению, появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

– Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живёт. А там увидим.

## 11

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом всё это получилось.

– Пастушок! Друг сердечный! – воскликнул Горбунов.

– Ну, парень, докладывай! – строго сказал Би-денко. – Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашёл капитан Енакиев?

– Который капитан Енакиев? – спросил Ваня с недоумением.

– А тот самый, кто тебя к нам привёз.

– Так нешто это был капитан Енакиев?

– Он самый.

– Батюшки!

– А ты и не знал?

– Откуда ж! – воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. – Кабы я знал... Нет, кабы я только догадывался... Правда, дяденька, самый это и был капитан Енакиев?

– Разумеется.

– Командир батареи?

– Точно. Самый он.

– Ох, дяденька, неправда ваша!

– погоди, пастушок, – сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов. – Ты не восклицавай, а лучше всё по порядку рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищённо сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними.

Те же аккуратно разостланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники.

Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.

Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик щурился на неё, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова.

На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев. Только и виду не показал. Недаром солдаты сразу разглядели в нём прирождённого разведчика. А первое правило настоящего разведчика – лучше знать да молчать, чем знать да болтать.

Так судьба Вани трижды волшебным образом обернулась за столь короткое время.

Тёмный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Среди чёрных, гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но неубранного льна, болота светились бело и слепо, как олово.

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости.

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мёртвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана.

Вокруг, насколько хватал глаз, всё было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопали большой дверью.

Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу: Эти две тёмные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы.

Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упёршись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряжённо всматривались каждый в свою сторону.

Изредка они перекидывались короткими фразами:

– Что-нибудь просматривается?

– Пусто.

– И у меня пусто. Ни живой души.

– Плохо дело.

– Да. Неважно.

Они находились в тылу у немцев, километрах в тринадцати от линии фронта. С каждой минутой их лица делались всё серьёзнее, озабоченнее.

– Не видать?

– Не видать.

– Давно бы, кажется, пора.

– Слышь, плянь на часы. Мои стали, чёрт! Должно, обо что-нибудь стукнул. Сколько времени мы уже ждёмся?

Горбунов поднёс руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, так осторожно, что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка.

– Семь тридцать две. Стало быть, ждём уже больше трёх часов.

– Ого!

Минут пятнадцать, если не больше, они молчали.

– Слышь, Вася.

– Да.

– А что, как его там захватили немцы?

Горбунов наконец высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Биденко. Но Биденко сумрачно сжал челюсти, отчего тёмные его скулы обозначились ещё резче. Глаза сузились, стали злыми.

– Не каркай! Чем зря языком трепать, наблюдай.

– Я и так наблюдаю. Да что ж, когда пусто.

И снова они надолго замолчали, изо всех сил напрягая зрение. Вдруг Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову.

Это движение было едва заметно. Но оно выражало крайнюю степень волнения. Как у очень дальнозоркого человека, зрачки его глаз



сразу резко сократились, стали маленькими, как булавочные головки.

Биденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное.

– Что там такое, Кузьма? – тихо, одними губами спросил Биденко.

– Лошадь, – так же тихо ответил Горбунов.

– Наша?

– Кажись, наша. Погоди. Зашла в кусты – не видать. Сейчас выйдет. Машет хвостом. Идёт. Вот вышла. Так и есть: наш Серко!

– Что ты говоришь! – почти крикнул Биденко.

– Серко. Теперь ясно видать.

– Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется. Я ж тебе говорил.

А ты каркал!

Не в силах сдержать радостного волнения, Биденко сделал то, чего ни за что не позволил бы себе при других обстоятельствах. Он ловко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг.

Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался придвинутым совсем близко. И по горизонту среди дымчатого кустарника медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом.

Действительно, это был Серко. Но пастушка возле него не было.

– Отстал малый. Верно, притомился. Сейчас покажется.

– Небось.

И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопаньем разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, уловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было.

Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук.

– Не услышал. Ты давай погромче.

Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Биденко со всевозможной осторожностью, необычайно медленно поднялся, стал на колени.

Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве, открывшемся перед глазами, по-прежнему не было заметно ни одной живой души.

– Балуется парень. Незаметно хочет подобраться, – сказал Биденко, тревожно поглядывая на Горбунова, как бы ища у него подтверждения догадки, которой сам не верил.

Горбунов молчал.

– А ну, Кузьма, побрячь ещё. Может, отзовется. Горбунов снова побрякал. И снова никто не отозвался.

– Ваня-а! Пастушок! – позвал Биденко, забывая всякую осторожность.

– Кричи не кричи, – сумрачно сказал Горбунов, – дело ясное...

Между тем седая кляча продолжала приближаться. Через каждые два шага она останавливалась и опускала длинную, худую шею, для того чтобы ущипнуть жёлтыми зубами хоть несколько гнилых травинок. С её морды, поросшей редким седым волосом, свисала длинная резинка слюны. Костлявые ноги дрожали. И над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мягкие глубокие ямины.

– Серко, Серко! – тихо позвал Горбунов и осторожно посвистал.

Лошадь устало наострила одно ухо и, хромя, побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина.

– Где же пастушок, Серко? – спросил Биденко. – Где ты его потерял?

Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бабки были облиты чёрной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на рёбрах. Мертвенное, перламутровое бельмо с тупой покорностью слепо смотрело в землю. И только сухой хвост на облысевшей репице тревожно поматывался из стороны в сторону.

Серко был старой, умной обозной лошадей. Если бы он умел говорить, он многое рассказал бы разведчикам. Но они и так поняли. Во всяком случае, они поняли главное: с пастушком случилась беда.

Позавчера в сумерках Биденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню. Они взяли его впервые, не доложив по команде, что берут с собой мальчика.

У них было задание как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым в случае

продвижения можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болота вперёд.

Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодное место будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, а главное, собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привести с собою хорошего «языка» – штабного или артиллерийского офицера. Но это – как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, труднопроходимую местность.

Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его бы вряд ли взяли в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, как это всегда бывает на фронте, батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять всё смешалось. Тылы отстали. Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своём натуральном виде – заросший, нечесаный, босой, с холщовой торбой, – настоящий деревенский пастушок.

Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь.

Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой! Ну что вам стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете. Дяденька!»

Он ходил за разведчиками по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми, ясными глазами. Он так робко трогал за рукав... Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто так.

Прежде они, как и подобало хорошим разведчикам, обсудили это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводником, и поставили ему точное, строго ограниченное задание.

Это боевое задание заключалось в том, что пастушок должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об

опасности.

Для того чтобы Ваня ещё больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собою лошадь, якобы убежавшую и теперь найденную.

Подходящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая раненая кляча серой масти, давно уже подлежащая исключению из списков. Звали её Серко.

Ваня свил себе из верёвки настоящий пастушеский кнут, сделал для своего Серко верёвочный повод, и после полуночи, ближе к рассвету, трое разведчиков – в их числе и Ваня со своей клячей – без особого труда перешли линию фронта.

Ваня с лошадей, не таясь, шёл впереди, а метрах в ста сзади, один за другим, след в след, осторожно ползли Горбунов и Биденко.

Пройдя таким образом километра четыре, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет.

Было бы неправдой сказать, что он не испугался, когда вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, три тёмные фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы. Ваня почувствовал не то что страх – его охватил просто ужас. Слишком свежо ещё было в его памяти всё то, что он пережил за время своего пребывания «под немцами».

Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами.

Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую костлявую клячу, стоявшую во тьме, как привидение.

– Ну, какого чёрта ты здесь шляешься ночью, мерзавец! – крикнул немецкий грубый, простуженный голос.

И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе с какими-то самодовольными горловыми придыханиями мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему постылых немецких голосов всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получил столько пинков и затрещин.

Он быстро втянул голову в плечи и закрыл её руками, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Сапог больно пихнул его в зад, и каркающий голос с придыханием крикнул по-немецки:

– Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают. А то ещё раз как дам!

Мальчик не понимал по-немецки. Но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо, на своей шкуре, изучил этот немецкий смысл.

И вдруг страх исчез. Всю его душу охватила и потрясла ярость! Как! Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Енакиева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванина!

Ванины глаза налились кровью. Ещё миг, и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз ему горло. Он знал, что он не один. Он знал, что рядом-друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного. Но мальчик так же твёрдо помнил, что он находился в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания.

Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошадью.

– Ой, дяденька, не бейте! – жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. – Я коня своего искал. Насилу нашёл. Целый день и целую ночь мотался. Заплутал... У, холера! – закричал он, замахиваясь кнутом на Серко. – Погибели на тебя нету!

Он опять стал хныкать:

– Пустите меня, дяденька! Я больше никогда не буду. Меня мамка дома дожидается, – и даже, как ему это ни было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет её поцеловать.

– Пошёл к чёрту, дурак! – сказал немец смягчаясь. – Забирай свою дохлятину и проваливай. Да не смей больше шататься по ночам – повесим.

Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом, и немецкий пикет скрылся в темноте.

Тогда Ваня осторожно покрякал по-утиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.

Дальше дело пошло ещё лучше.

Настало утро. День прошёл без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника.

Пока Биденко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в кустарнике, Ваня уходил со своей клячей вперёд и осматривал местность, потом возвращался и крякал, давая знать, что путь свободен.

Так работать было гораздо удобнее и быстрее.

Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту всё, что им удалось разведать по дороге. Добыча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведённый батарею капитана Енакиева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрыто переправить орудия на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны, это давало возможность капитану Енакиеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперёд и громить отступающие немецкие колонны почти с тылу.

Но произвести эту сложную разведку днём – особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки – было невозможно. Надо было дожидаться ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу посреди болот, с тем чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было возвращаться домой.

Так и сделали. Переночевали на лугу, а часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего Серко и пошёл, как обычно, вперёд.

Биденко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было недалеко, и, по их расчёту, Ваня должен был воротиться самое большее через час.

Но прошёл час, потом два, потом три, а Ваня не возвращался. Вместо него пришёл Серко один. Тогда разведчики поняли: с Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку.

Биденко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Всё было слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать пастушка немедленно, хотя бы это стоило им жизни.

Горбунов как старший сделал Биденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу от кочки к кочке, иногда останавливаясь, для того чтобы осмотреться.

На их счастье, туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот, он даже как будто ещё больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел бы разведчиков. Место было глухое, пустынное. Оно казалось непроходимым.

Вдруг позади Биденко и Горбунова послышалось какое-то хлопанье. Они обернулись. За ними плёлся, припадая на раненую ногу, Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным.

– Ступай назад, Серко! Не обнаруживай нас, – сказал Биденко с добродушной улыбкой. – Кому говорю, старый? Поворачивай! Гэть!

Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отсвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать: «Не бросайте меня, люди добрые. Что я здесь буду делать один, среди этого гнилого, мокрого луга, в этом страшном молочном тумане? Пожалейте старого коня!»

И разведчики это поняли. Но, как ни жалко им было бросать добрую и смирную животину, делать было нечего. Лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их.

– Эх, сердечная! – сказал Биденко со вздохом, подползая к Серко.

Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые, распухшие ноги клячи.

– Жалко нам, брат, тебя. Да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь. Жируй. Авось ещё увидимся.

И разведчики поползли.

Серко попытался побежать вслед за ними, но путы были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась прыгнуть, она напрягла все свои слабые силы. Но сил было слишком мало: Серко только сумел немного подкинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, вода раздувшимися, костлявыми боками.

Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушёл Ваня. В иных местах на топкой почве были ещё довольно ясно заметны следы его босых ног.

Биденко смотрел на эти следы и думал: «Эх, ведь какие мы, право непутёвые! До сих пор не успели для парнишки обуви расстараться. Ну, да уж ладно. Найдём его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним. Будет у нас ходить красавчиком».

Когда началось болото, следы вовсе пропали. Теперь двигались по компасу, в направлении речки. Вокруг по-прежнему было туманно, безлюдно. Речка действительно оказалась недалеко.

Скоро разведчики увидели низкий луговой берег, кое-где поближе к воде поросший густыми камышами. На противоположном, высоком берегу синел лес.

Прежде чем двинуться дальше, Горбунов и Биденко долго лежали, внимательно изучая местность. Берег речки хотя и был пуст, но внушал опасение. На поверхности ещё довольно яркого мокрого луга были видны многочисленные следы грузовиков. Судя по тому, что они были свежие, чёрные, как вакса, грузовики проезжали здесь совсем недавно. Возможно, они привозили сюда какой-то груз, вероятнее всего – строительный лес, так как в некоторых местах на лугу валялись кучи свежих щепок.

Было похоже, что где-то недалеко совсем недавно строили мост. Несомненно, мост был тут, только его скрывали камыши. Но раз был мост – значит, была и охрана. И этого следовало опасаться. Что же касается леса на противоположном берегу, то в нём явно стояла воинская часть или находились штабы: в нескольких местах над лесом подымались дымки, а в одном месте на опушке между корнями деревьев просматривалось какое-то инженерное сооружение, тщательно затянутое зелёной маскировочной сетью.



Это мог быть орудейный блиндаж, наблюдательный пункт или бруствер пехотного окопа полного профиля.

Видно, немцы здесь сильно укрепились и готовились к долговременной обороне.

Это было очень важное открытие, и разведчики напряжённо всматривались в местность, стараясь запомнить все подробности, для того чтобы позже, когда представится возможность, нанести их на карту по памяти.

Однако, как бы то ни было, дольше оставаться здесь было невозможно. Надо было поскорее уходить. Но они медлили. Разве могли они бросить товарища в беде и вернуться в часть без Вани! А с другой стороны, что они ещё могли сделать?

Вот они дошли до той речки, куда до них отправился мальчик. Вот они видят эту речку. Но что же дальше?

Следы мальчика потеряны. Если его действительно захватили немцы, то они его, конечно, уже давно отвели в какую-нибудь полевую комендатуру. Но, с другой стороны, на что бы понадобилось задерживать маленького оборванного деревенского мальчика, ведущего большую клячу? Мало ли их, этих нищих, голодных советских детей, бродит у них в тылу? Всех не переловишь. А потом — куда их девать, кто будет с ними возиться? Теперь не до них, шкуру надо спасать. Нет, было положительно невероятно, чтобы Ваню схватили немцы. А даже если и схватили, какие улики могли найтись против мальчика? Ровным счётом никаких. Дырявая торба, и в ней старый, рваный букварь. Только и всего.

В таком случае куда же он делся? Почему лошадь вернулась одна? Может быть, Ваня просто от них ушёл, не выдержал, надоело? Но это было уж совсем невозможно. Не таков был Ваня!

Вернее всего, он дошёл до речки, повернул назад, заблудился... Ваня заблудился! Нет, об этом смешно было и думать.

Между тем время шло. Надо было принимать какое-нибудь решение.

Биденко и Горбунов лежали в небольшой заросли молодого дубняка, не сронившего ещё своей жёсткой коричневой листвы. Они лежали и напряжённо думали.

Вдруг Биденко у самых своих глаз увидел на земле предмет, который чуть не заставил его крикнуть. Это был химический

карандаш, тот самый маленький химический карандашик с маркой «Хим-уголь», который Биденко недавно подарил Ване и который Ваня постоянно таскал в своей торбе.

– Кузьма! – шёпотом сказал Биденко, показывая глазами на карандаш.

Горбунов посмотрел и ахнул. И тотчас множество мелких и даже мельчайших подробностей, на которые солдаты не обратили внимания именно потому, что эти подробности были так близко, сразу со всех сторон бросились им в глаза.

Они увидели пучок белого конского волоса, повисший на сучке. Они увидели втопанную в землю недокуренную немецкую сигарету. Они увидели целый ворох листьев, сбитых с поломанного куста. Наконец, они увидели немного подальше верёвочный кнут Вани.

Земля вокруг была истоптана, изрыта солдатскими сапогами, подбитыми железом.

Из всех этих подробностей перед ними вдруг встала страшная картина того, что здесь произошло несколько часов тому назад.

Теперь всё стало ясно.

Они выбрали правильное направление. Именно по этому направлению шёл сюда Ваня со своей лошадью. Он дошёл до этих кустов. Именно тут, на том самом месте, где сейчас лежали Горбунов и Биденко, Ваню схватили немцы. Судя по всему, они схватили его внезапно и грубо.

Потопанная земля, сломанные кусты, выпавший из торбы карандаш и отброшенный в сторону кнут, недокуренная сигаретка – всё говорило, что мальчик отчаянно сопротивлялся. А потом они его поволокли. Теперь разведчики ясно увидели на земле следы, показывающие, в какую сторону потащили Ваню.

Следы вели по направлению к камышам, туда, где, по предположению Биденко и Горбунова, должен был находиться мост. Значит, немцы повели мальчика через мост, на ту сторону, в лес, где, по всем признакам, у них был штаб или комендатура.

Тогда разведчики стали обсуждать положение.

Они обсудили его быстро, но основательно, со всех сторон, как и подобало разведчикам-артиллеристам. Оставалось принять решение.

Биденко и Горбунов были между собой равны по званию, по заслугам и по сроку службы. Но в этой разведке начальником был

назначен Горбунов. Стало быть, за Горбуновым оставалось последнее слово. И это последнее слово был приказ, не подлежащий обсуждению.

Прежде чем сказать своё решение, Горбунов крепко задумался. Биденко не сомневался в своём друге, он был уверен, что решение будет наилучшее. Но когда Горбунов его сказал, Биденко опешил. Он мог ожидать всего, но только не этого.

– Вот что, Василий, – сказал Горбунов твёрдо. – Обстановка требует, чтобы мы с тобой рассредоточились. Понятно? Ты пойдёшь обратно в часть. Собирайся. А я останусь здесь.

– Как? Как ты приказываешь? – переспросил Биденко.

– Приказываю тебе ворочаться в часть. А я останусь.

– Кузьма! – почти крикнул Биденко.

– Кончено! – коротко сказал Горбунов, сдвинув брови.

И Биденко понял, что больше говорить не о чем. Всё же сделал попытку объясниться:

– А как же пастушок?

– Я здесь останусь. Буду выручать.

– А я?

– Ты пойдёшь в часть.

– Я, Кузьма, так располагаю: мы здесь останемся вместе.

– Сказано! – сухо обрезал Горбунов.

– Да как же я вернусь без пастушка? – взмолился Биденко. – Нет, брат, это дело не выйдет! Как хочешь, а я паренька не брошу. Голову положу, а выручу. Ведь это что же такое? Ведь он мне вроде как родной сын!..

– Он нам всем как родной сын. А служба на первом месте. Знаешь, кому служим? Советскому Союзу. Небось знаешь. Пойдёшь в часть. А я здесь останусь.

– Не пойду в часть, – сказал Биденко, зло сузив глаза.

– Приказываю, – сказал Горбунов. – А не подчинишься, тогда я знаю, что мне с тобой делать. Понятно тебе?.. Слышь, Вася, – сказал он вдруг мягко. – Нешто я не понимаю? Я, друг, понимаю. Да что поделаешь! Батарея ждёт наших данных. Ужели ж мы оставим её слепой, без маршрута? Не дури, Вася. Я здесь останусь, а ты отправляйся в часть. Доставишь наши данные. Гляди, чтоб дошёл благополучно. Берегись, пробирайся толково, чтоб не нарваться на

немцев. На тебя – как на каменную гору. Доложишь командиру обстановку. Понятно?

– Понятно, – сказал Биденко, натужив скулы.

Ему не надо было долго толковать. Был бы он на месте Горбунова, он бы поступил точно так же. Он понимал, что один из них обязан доставить данные разведки в часть. А то, что Горбунов отправил с документами его, было тоже понятно. Горбунов был командир группы. Он отвечает за каждого своего человека. Мог ли он вернуться в часть, не употребив всех усилий для спасения пастушка?

– Исполниай, – сказал Горбунов, передавая Биденко карту с отметками.

– Счастливо, Кузьма!

– Действуй, Василий!

– Слушаюсь!

И, не сказав больше ни слова, Биденко стал отползать. Наконец он пропал из глаз, слившись с бурой землёй, растаяв в тумане.

Горбунов остался один.

«Что же случилось с пастушком? – думал он, ломая голову над неразрешённым вопросом. – Ну, что ж такое, – успокаивал он себя. – Его задержали немцы. Потасили в комендатуру или штаб. Ну, допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани никаких нет. Мальчик и мальчик. Подержат и отпустят. Надо его, главное, не прозевать, когда он от них выйдет. Тогда вместе и вернёмся в часть».

Но, утешая себя таким образом, Горбунов в глубине души чувствовал, что дело обстоит совсем не так просто, а гораздо хуже.

Было что-то, чего Горбунов не знал и не предвидел. Но что именно?

И действительно, Горбунов не знал одной вещи. Если бы он её знал, он похолодел бы от ужаса. Он не знал характера Вани Солнцева, всей живости его ума, всей силы его воображения и всей глубины его чистого детского самолюбия, которые чуть не привели его к гибели.

Ване Солнцеву было мало того, что его берут в разведку проводником. Он знал, что быть проводником – почётное, ответственное задание. Но ему этого было мало. Его слишком горячее, ненасытное сердце требовало большего. Ему захотелось прославиться, удивить всех.

Перед тем как отправиться в разведку, Ваня втайне от всех раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дурного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поносить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик у Вани уже был. А вместо записной книжки он решил воспользоваться букварём.

Таким образом, снарядившись по всем правилам, пастушок и стал действовать, как настоящий разведчик.

Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперёд, Горбунов и Биденко понятия не имели, чем без них занимался мальчик. Они думали, что он просто идёт со своей лошадкой, изучает местность, потом возвращается и докладывает, свободен ли путь.

Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вёл самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливая азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры и цели. Наконец, он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, реки, болота.

Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварём в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведал в камышах.

Нетрудно себе представить, что случилось потом.

Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поделать мальчик против двух солдат немецкого комендантского патруля?

Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладом, они повели его через новый мост, на гору, в лес.

Здесь они втолкнули его в глубокий, тёмный блиндаж и заперли.

Через некоторое время за Ваней пришёл солдат и отвёл его в другой блиндаж на допрос.

Блиндаж этот, над которым снаружи между стволами сосен висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, тёплый и освещался электричеством. В углу мурлыкало радио.

Посередине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина.

Мужчина был немецкий офицер в тесном френче с просторным отложным воротником чёрного бархата, обшитым серебряным басоном, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы и сплющенное мясистое ухо.

Офицер имел вид человека, крайне утомлённого бессонницей и раздражённого слишком ярким светом. Его чёрная суконная фуражка с широкими, островыгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка висела сзади на гвозде.

Эта фуражка, в особенности это старое, заплывшее ухо с волосами в середине произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого.

Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал её про себя «учительницей».

На ней была старая кротовая кофта с пучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная, растянувшаяся на коленях юбка и серые резиновые сапоги. Белокурые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный след очков, которые она держала в руках и протирала кусочком замши. У неё были выпуклые жидко-голубые глаза с острыми зрачками.

Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развёрнутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей, той самой рощей, где он теперь находился.

Женщина быстро надела очки – золотые очки с толстыми стёклами без оправы, – высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом учёного скворца на деланно правильном русском языке:

– Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли?

Договорились?

Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него ещё гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях.

– Мальчик, ты страдаешь? Ваня молчал.

– Развяжите паршивцу руки, – быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб: – Развяжите ребёнку руки. Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился. Не так ли, мальчик?

Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг исподлобья быстрые, взгляды.

– А теперь... – сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб, – а теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас. Мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать. Не так ли? Итак, скажи нам: кто ты таков, как тебя зовут, где ты живёшь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укрепленном районе?

Ваня угрюмо опустил глаза.

– Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал, – сказал он, всхлипывая. – Я коня своего искал. Насилу нашёл. Целый день и целую ночь мотался. Заблудился. Сел отдохнуть.

А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?

– Ну-ну, мальчик. Не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители – отец, матушка?

– Я сирота.

– О! Бедный ребёнок. Твои родители умерли, не так ли?

– Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили, – сказал Ваня со страшной, застывшей улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.

Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый нос.

– Да, да. Такова война, – быстро сказала немка. – Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик! Но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом. В хороший детский

дом. А потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь? Не так ли?

– Фрау Мюллер, – с раздражением сказал офицер по-немецки желудочным сварливым голосом, нетерпеливо барабанил пальцами по веснушчатому лбу, – перестаньте разводить антимию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.

– Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребёнка, а я её хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоеую его доверие, а потом он мне всё скажет. Можете мне поверить. Я десять лет жила среди этого народа.

– Хорошо, Только не разводите антимию. Мне это надоело. Скорей проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Действуйте!

– Итак, мальчик, – сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб, – ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители – мой папа и моя мама – долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более десяти лет. Ты видишь, как я говорю по-русски? Значительно лучше, чем ты. Я совсем, совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тётушкой. Не бойся. Называй меня своей тётушкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?

– Нашёл.

– Ай-ай-ай! Нехорошо обманывать свою тётушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что, ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас.

– Нашёл, – с тупым упрямством повторил Ваня.

– Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы.

– Кто-нибудь потерял, а я нашёл.

– Кто же потерял?

– Солдат какой-нибудь.

– Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?



Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.

– Ну, как же это получилось?

– Не знаю.

– Ты не знаешь? Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником, не правда ли? Скажи же нам, кто дал тебе компас?

– Никто.

– А как же?

– Нашёл.

– Хорошо. Я тебе верю. Допустим – ты говоришь правду. Но, в таком случае, скажи: кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?

– Чего рисунки? Я не понимаю, про чего вы спрашиваете, – сказал Ваня тупо, утирая рукавом нос.

– Подойди-ка сюда. Поближе. Не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?

– Чего принадлежит? – сказал Ваня и захныкал: – Чего вы меня спрашиваете, не пойму!

– Чья это книга? – теряя терпение, спросила немка.

– Букварь-то?

– Да. Букварь. Чей он?

– Мой.

– А рисовал на нём кто?

– Чегой-то рисовал?

– Эй, мальчик, ты не прикидывайся! Кто делал эту схему?

– Которую схему? – снова захныкал Ваня. – Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днём и ночью мотался. Отпустите меня, тётенька! Что я вам сделал?

– Иди сюда, говорю тебе! – крикнула немка, и её глаза в очках сделались резкими, как у галки.

Она схватила мальчика за плечо пальцами, твёрдыми, как щипцы, рванула к столу, ткнула носом в букварь:

– Вот это. Кто рисовал?

Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом Ваня смотрел на обтрепанную страницу букваря, где поверх прописей и картинок была неумело, но довольно толково нарисована химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами.

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину – один метр, а под палочкой – буква, обозначающая качество дна: Т – твёрдое.

Ваня понял, что отпереться невозможно и он пропал.

– Кто это рисовал? – повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна.

– Не знаю, – сказал Ваня.

– Ты не знаешь? – сказала немка, и лицо её сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь тёмно-розовое, как земляничное мыло.

И вдруг она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, с силой повернула его лицо вверх:

– Открой рот. Я тебе приказываю! Сию же минуту открой рот и покажи язык!

Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, всунула ему за щёки указательные пальцы и стала, как крючками, раздирать ему рот.

Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него и сказала весело:

– Теперь мы знаем!

Весь Ванин язык был в лиловом анилине, потому что, рисуя схему, он старательно слюнявил химический карандаш.

– Итак, мальчик, – сказала немка, брезгливо вытирая о вязаную юбку свои толстые красные пальцы, – мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай. Не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь трёх опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу.

– Я не знаю, про что вы меня спрашиваете, – сказал Ваня.

Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы, между чёрной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек: «Рабы не мы. Мы не рабы».

– Говори, – тихо сказала немка и задышала носом.

– Не скажу, – ещё тише проговорил Ваня.

И в тот же миг он увидел, как рука офицера с тонким обручальным кольцом на пальце медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо нездорового цвета, с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком.

Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули и оглушительная пощёчина отбросила мальчика к стене.

Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил вторую пощёчину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь, перед столом, и теперь на букварь из его носа капала кровь, заливая пропись: «Рабы не мы. Мы не рабы».

Перед глазами мальчика летали ослепительно белые и ослепительно чёрные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто он находился в пустом котле и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услышал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далёким:

– Теперь ты скажешь?

– Тётенька, не бейте меня! – закричал мальчик, в ужасе закрывая голову руками.

– Теперь ты скажешь? – нежно повторил далёкий голос.

– Не скажу, – еле двигая губами, прошептал мальчик.

Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа и как немка кричала ему вслед:

– Подожди, мой голубчик! Ты у нас ещё заговоришь, после того как три дня не получишь воды и пищи.

Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, трясших землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки к стенке, качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными массами. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже полузасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выкопаться. Он обдирает себе ногти. Он не знал, сколько времени был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чувствовал голод, сильный до тошноты.

Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью.

Его зубы стучали. Пальцы ооченели, еле разгибались. Голова ещё болела, но сознание было ясное, отчётливое.

Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда его заперли перед допросом, и что вокруг – бомбёжка.

С большим трудом, натываясь на трясущиеся стены, мальчик пополз отыскивать дверь. Он искал её долго и наконец нашёл. Но она была заперта снаружи, не поддавалась.

Вдруг совсем близко, над самой головой, раздался удар такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать. Сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько брёвен.

Дощатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. Сквозь раскиданные брёвна наката ярко ударил в глаза едкий дневной свет. Послышался слитный звук множества пулемётов, работающих совсем близко, как бы наперегонки.

Бомба, разметавшая блиндаж, где сидел Ваня, была последняя. В наступившей тишине отовсюду отчётливо слышалась машина боя, пущенная полным ходом. В её беспощадном, механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших: «а-а-а-а!»

И в Ванином сознании повторилась фраза, уже однажды слышанная им у разведчиков: «Пошла царица полей в атаку».

По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из блиндажа и припал к земле.

Он увидел лес, тот самый лес, в который его так недавно приволокли фашисты.

Тогда в этом лесу был полный порядок, спокойствие, тишина. Всюду, как в парке, проложены дорожки, посыпаны речным песком; через канавы перекинуты хорошенькие мостики с перильцами,

сделанными из белых берёзовых сучьев; над штабными блиндажами висели маскировочные сети с нашитыми на них зелёными квадратиками и шишками; под полосатыми грибами стояли тепло одетые часовые; во всех направлениях тянулись чёрные и красные теле-фон-ные провода; ходили девушки с судками; где-то в чаще дрожала походная электрическая станция; в специальных, глубоко вырезанных ямах помещались прикрытые ветками штабные автобусы и легковые «оппель-адмиралы».

Теперь же этот удобно оборудованный немецкий штабной лес был изуродован до неузнаваемости.

Вокруг рыжих дымящихся воронок лежали вырванные с корнем сосны, разноцветные обломки автомобилей, трупы немцев в обгоревших и ещё дымящихся шинелях. Высоко на ветках болтались ключья маскировочных сетей. В воздухе стоял удушающий пороховой чад.

Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели пули, сбивая кору и отрубая ветки.

Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши ещё в него не вошли. Это была короткая и вместе с тем томительно долгая пауза, во время которой батареи поспешно меняют позиции, миномётчики взваливают на плечи свои миномёты, телефонисты бегут, разматывая на бегу катушки, офицеры связи проносятся верхом на гранёных броневиках, минёры водят перед собой длинными щупами и стрелки с винтовками наперевес пробегают, уже не ложась, по земле, где пять минут назад был неприятель.

С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же наконец покажутся свои.

И вот они показались.

Первым был большой солдат в грязной, разорванной развевающейся плащ-палатке. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменял диск в автомате, потом лёг и прицелился.

Ване казалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился всего несколько секунд. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с круглым чёрным диском затрясся от короткой очереди.

И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но как он изменился! Это был всё тот же богатырь, плотный, широкий, даже

толстый, но куда девалась его добродушная, свойская щербатая улыбка? Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъярённое боем, тёмное от копоти, смотрело грозно.

Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть чисто выбритого, белого, розового, доброжелательного...

Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен.

– Дядя Горбунов! – крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.

На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка – та, прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.

– Пастушок! Ванюшка! – крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим, высоким голосом. – Будь ты неладен! Гляди – жив! А я думал, ты и вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь! – говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней. – Ну, брат, задал ты нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал к себе, потом взял горячими руками за щёки и два раза поцеловал в губы жёсткими солдатскими губами.

Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его большого потного тела, распаренного боем.

Всё, что с ним происходит, казалось Ване сном, чудом. Ему хотелось ещё крепче прижаться к Горбунову, спрятаться под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно, хоть пять часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат и что солдату не подобают такие плупости.

– Дядя Горбунов, – сказал он быстро, – тут в лесу есть один штабной блиндаж, где они меня допрашивали. Куда лучше, чем тот наш, с карбидной лампой. Раза в два больше.

– Да что ты говоришь?

– Честное батарейское.

– А тёплый? – озабоченно спросил Горбунов.

– Ого! Теплей не надо. И там у них ещё радио было. Всё время играло.

– Радио? Это нам очень надо, – засуетился Горбунов, почувствовав прилив хозяйственной деятельности. – А ну, где этот блиндаж, показывай!

– Тут, недалеко.

– Так давай будем занимать. А то другие для себя захватят. А я уж давно интересовался достать для команды такой блиндаж. Чтобы в нём и радио было. Наша батарея аккурат должна идти по этому направлению.

Они бросились к блиндажу.

– Этот? – спросил Горбунов.

– Этот, – сказал Ваня, презрительно сузив глаза.

Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально припасённый для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами: «Занято командой разведчиков взвода управления первой непобедимой батареи Н-ского артполка. Ефрейтор Горбунов».

А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади лёгкими семидесятишестимиллиметровыми пушками. Это меняла огневую позицию батарея капитана Енакиева.

– Ну, пастушок, кончено твоё дело. Погулял – и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем.

С такими словами ефрейтор Биденко бросил на койку объёмистый свёрток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот свёрток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастёрку с погонами, бязевое бельё, портянки, вещевого мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треуховую шапку с красной звездой, а главное – сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подмётках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем.

Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней всё время. Он предвкушал её. Но, когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух.

Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые, новенькие вещи – громадное богатство – теперь принадлежат ему.

Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдёргивался, словно пушечки были раскалённые.

Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Биденко.

– Это всё мне? – наконец сказал он робко.

– Безусловно.

– Нет, скажите правду, дядя Биденко.

– Правду говорю.

– Честное батарейское?

– Честное батарейское.

– И честное разведчицкое?

– Это само собой понятно, – сказал Биденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. – Я даже вместо тебя в ведомости расписался.

– Ух ты, сколько вещей!

– Вещевое довольствие, – строго заметил Биденко. – Сколько положено, столько и есть. Ни больше ни меньше.

Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное, «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему.

Тогда он не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет.

Наконец, всё перебрав и всем насладившись, Ваня сказал:

– Можно уже надевать обмундирование? Но Биденко покачал головой и засмеялся:

– Ишь ты, какой скорый! Одеваться. Понравилось! Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим, затем патлы твои снимем, а уж потом и воина из тебя делать будем.

Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему ни хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и наконец превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя ещё не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Биденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им,



занявшись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулём и поплатиться жизнью, скрывался в немецком «штабном лесу», разыскивая Ваню.

Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твёрдо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что, когда Биденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришёл в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыски мальчика группу разведчиков в пять человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и всё решилось само собой.

На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на сто километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более тридцати километров вперёд, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок.

Потому к исходу этого славного дня «штабной лес» – так его именовали на картах и в донесениях – оказался у нас в глубоком тылу, и наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился.

Всё же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже всё осталось, как было. Даже чёрная фуражка висела на тесовой стене.

Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы», запачканной высохшей кровью.

Наступление развивалось быстро. Тылы отстали. Поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Ванино обмундирование. Затем обмундирование нужно было ещё перешить и подогнать по росту мальчика.

В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили всё своё влияние, для того чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное, парикмахера с машинкой.

Хозяйственный Горбунов не поскупился на угощение. В ход пошла и свиная тушёнка и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта.

За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскивали во втором эшелоне у гвардейских миномётчиков, ухаживали, как за любимыми родственниками, не щадя продуктов.

Зато всё Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков – такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголки.

А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей.

Теперь дело стало только за баней и парикмахером.

Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер наконец явился, предшествоваемый Горбуновым.

– Ну-ка, друзья. Попрошу вас. Не раскидывайтесь. Освободите лишнее место. А то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия, – говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посередине тесной, маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. – Иди сюда, Ваня. Садись. Не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь.

Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени.

Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого пастушка, готового к превращению в солдата.

Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспалёнными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погон его не было видно, так как на нём поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький, совсем детский бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребёнка.

Он был военоторговский парикмахер. Фамилия его была Глазе. Но по фамилии его называли редко. А большей частью называли его «Восемь-сорок».

Это прозвище утвердилось за сержантом Глазсом под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя.

Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как «безымённая высотка к северу-западу от железнодорожного виадука».

Бритьё происходило метрах в пятидесяти от немецкого переднего края. Немцы всё время вели по безымённой высотке так называемый тревожащий огонь из миномёта.

Но сержант Глазе любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более что, как известно, немецкий «тревожащий» огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских.

Сержант Глазе брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в Военторге на должную высоту.

Он побрил писателя очень тщательно, два раза, один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел пройти ещё и третий раз, но писатель сказал.

– Не надо.

Затем Глазе подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает: прямые, косые или севастопольские полубачки.

– Всё равно, – сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безымённой высотки.

– В таком случае, я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-миномётчики предпочитают косые.

– Ну, пусть будут косые, – сказал писатель.

– Вас не беспокоит? – спросил Глазе, уловив некоторое раздражение в голосе клиента.

– Я тороплюсь, – сказал писатель.

– Пять минут, не больше, – сказал Глазе. – Я должен вам сделать виски как следует быть, для того чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи.

Когда Глазе делал писателю второй висок, довольно близко от них разорвалась мина.

– Не беспокойтесь, – сказал Глазе, – он кидает наобум. Это никого не волнует. Разрешите попудрить?

– У вас есть и пудра? – удивился писатель.

– Разумеется. У нас есть всё, что положено для культурной парикмахерской.

– Как, даже одеколон? – ещё больше изумился писатель.

– Разумеется, – сказал Глазе. – Разрешите освежить?

– Освежите, – сказал писатель.

Глазе вынул из кармана склянку, сунул в неё трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо полотенцем, как вдруг прислушался и сказал:

– А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель.

И едва они успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глазса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало. Когда ветер унёс коричневый дым, писатель не без юмора сказал:

– Сколько прикажете?

Тогда парикмахер поднял свои воспалённые глаза к нему, некоторое время шевелил губами и наконец сказал:

– Восемь сорок.

Вот каков был человек, явившийся брить пастушка. Он развернул вафельное полотенце, где у него были завёрнуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке, полотенце же завязал Ване вокруг шеи.

– Давно не был в бане? – деловито спросил он мальчика.

– С сорок первого года, – сказал Ваня.

– Сравнительно не так давно, – сказал Восемь-сорок.

Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что Восемь-сорок человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом.

– Сто грамм сейчас будете пить или после работы? – спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушёнки.

– До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать, а уж потом выпивать, – сказал парикмахер

меланхолично. – Что будем делать с молодым человеком? – спросил он, поднимая двумя пальцами волосы мальчика на затылке.

– Постричь надо ребёнка, – жалостным, бабьим голосом сказал Биденко, с нежностью глядя на пастушка.

– Это ясно, – сказал Восемь-сорок. – Но возникает вопрос, как именно стричь? Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребёнку, есть под бокс, есть с чубчиком.

– С чубчиком, – сказал Ваня.

– Почему именно с чубчиком?

– Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста. У ихнего сына полка. У ефрейтора Вознесенского. Красивый чубчик!

– Знаю. Моя работа, – сказал парикмахер.

– Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит, – строго сказал Биденко. – Для конника – да. А для батарейца – нет. Батарейца надо стричь под ноль-ноль. Чтоб как шаром покати.

– Ну, брат, не думаю, – сказал Горбунов. – Под ноль – это, скорее всего, годится для пехотинца. А для артиллериста – никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы – шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходящее.

– Под бокс – это для авиации, – глухо сказал кто-то из угла.

– Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребёнку.

– Это уж будет слишком по-танкистски.

– Верно, братцы! Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видно, что малый – артиллерист.

Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, Восемь-сорок сказал со снисходительной улыбкой:

– Хорошо. Теперь я его буду стричь так, как я это сам себе мыслю... Мальчик, нагни голову.

И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребёнку.

– Только с чубчиком, – жалобно сказал Ваня.

– И височки не забудьте покосее, – добавил Горбунов.

– Не беспокойтесь, – сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы.

На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос.

Восемь-сорок был великий мастер своего дела, это знали все. Но тут он превзошёл самого себя. Он стриг мальчика и так и этак, всеми способами и на все фасоны. В его руках, как у фокусника, менялись инструменты. То мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния, бритва, прикасаясь к вискам. И, по мере того как на вафельном полотенце выростала гора снятых волос, голова мальчика волшебным образом изменялась.

Ваня ёжился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголённой голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их пастушок на глазах превращается в маленького солдатика.

Его острые уши, освобождённые из-под волос, казались несколько великоваты, шейка – несколько тонка, зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой, хорошенькой чёлочкой.

Чёлочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская чёлка.

– Ну, брат, кончено дело! – воскликнул в восторге Горбунов. – Сняли с нашего пастушка крышу.

Ване страсть как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, ещё долго возился, окончательно отделявая своё произведение.

Наконец он обмахнул Ванину голову веничком и подул на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться. Глаза жгуче защипали. Из глаз брызнули слезы.

– Готово, – сказал парикмахер, сдёргивая с Вани полотенце. – Любуйся.

Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале – чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной чёлочкой и радостно раскрытыми синими глазами.

Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони и голове стало щекотно.

- Чубчик! – восхищённо прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики.
- Не чубчик, а чёлочка, – наставительно сказал Биденко.
- Пускай чёлочка, – с нежной улыбкой согласился Ваня.
- Ну, а теперь, брат, в баньку!

Пока знаменитый мастер заворачивал инструменты в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные сто граммов и закусывал, Горбунов и Биденко повели мальчика в баню.

Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печки, сделанной из железной бочки, и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного пахла бензином, но для Вани, не мывшегося уже три года, эта банька показалась раем.

Оба дружка – Горбунов и Биденко – знали толк в банях. Они сами любили париться, да и других любили хорошенько попарить.

Они вымыли мальчика на славу.

Для такого случая Горбунов не пожалел куска душистого мыла, которое уже два года лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Биденко добыл у земляков из батальона капитана Ахунбаева рогожи и нащипал из неё отличной мочалы.

Что касается берёзовых веников, то, к немалому изумлению Вани, они тоже нашлись у запасливого Горбунова.

В бане горел фонарь «летучая мышь».

В жарком, туманном воздухе, насыщенном крепким духом распаренного берёзового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок.

Их богатырские тени, как балки, пробивали туман.

В какие-нибудь полчаса они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскалённая железная печка.

Но, конечно, добиться этого было не так-то легко. Биденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы, для того чтобы

смыть с мальчика трёхлетнюю грязь. Они по очереди тёрли ему спину рогожной мочалой, они покрывали его тело душистой мыльной пеной, они обливали его горячей водой из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлёпали его в два веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку «мужик и медведь», причём в особенности напоминал медведя голый Горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы.

В пяти водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили.

Первая вода потекла с него до того чёрная, что даже показалась синей, как чернила. Вторая вода была просто чёрная. Третья вода была серая. Четвёртая – нежно-голубая. И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.

– Ну, брат, намучились с тобой, сил нет, – сказал Горбунов, вытирая с лица пот. – Тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой.

– Или даже рашпилем, – добавил Биденко, с удовольствием разглядывая хотя и худую, но стройную, крепкую фигурку пастушка с прямыми, сильными ногами и по-детски острыми ключицами.

Особенно же умилили разведчиков Ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики.

Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное бельё: рубаху и подштанники с оловянными пуговицами.

И вот наступила великая минута. Ваня наконец надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастёрку с воротником, аккуратно подшитым белым полотняным подворотничком. Ваня почувствовал на своих плечах твёрдые картонки погон и шнуручки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастёрке сквозь специальные дырочки.

Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии.

Он стоял с мокрой чёлочкой, босиком на полу предбанника, устланного можжевельником. Он смотрел, подняв глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая: «Ну как? Правильно я обмундировываюсь?»



Но они молчали, внимательно наблюдая, как он одевается.

Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами стал застёгивать толстый воротник и тесные рукава.

С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звёздочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из пальцев. Но мальчик, упрямо сжав губы, всё-таки наконец справился с ними.

Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застёгнутый воротник плотно облегал шею, делая её твёрдой, прямой.

Оставалось только надеть пояс и обуться.

Мальчик был в затруднении. Он не знал, что «положено»: надевать сначала пояс или сапоги? Он вопросительно посмотрел на Биденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги.

– Правильно, – сказал Биденко.

Ваня натянул белые нитяные носки и нерешительно взял портянки. Он никогда ещё не надевал портянок. Он не знал, как с ними надо обращаться.

Горбунов легонько толкнул локтем Биденко. Ваня сердито нахмурился и покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбунов и Биденко молчали. Ваня взял сапог и сунул в него обмотанную ногу, но она застряла в голенище. Ваня стал тянуть её назад и с трудом вытащил.

– Не лезет, – сказал он, отдуваясь. Разведчики молчали. Ваня покраснел ещё больше.

– А, чёрт! – сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог.

– Не лезет? – сказал Биденко сочувственно.

– Не лезет, – сказал Ваня кряхтя.

– Значит, узкие, – сказал Горбунов.

– Да, – сказал Биденко и вздохнул. – Никуда не годятся сапоги. Испортил проклятый сапожник. Придётся их выкинуть. Верно, Чалдон?

– Не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину.

Ваня испуганно посмотрел на Горбунова:

– Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, налезут.

– Без портянки нельзя. Не положено.

Неуловимые слова «не положено» привели мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог. Но это тоже не вышло. Нога прочно застряла. Ни туда ни сюда.

– Плохо дело, – сказал спокойно Биденко.

– погоди, – сказал Горбунов. – А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась?

– Ага, чересчур толстая! – неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что дело тут совсем не в сапоге и не в портянке и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Биденко отлично знают, да только не хотят ему сказать – испытывают его.

Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить.

– Так что, пастушок, – сказал Биденко строго, назидательно, – выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть как положено? Никакой ты не батареец, друг сердечный. Стало быть, одно: переодеть тебя обратно в гражданское и отправить в тыл. Верно?

Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл.

– Такие-то дела, Ванюша, – продолжал Биденко. – Но я сказал это только так, к примеру. В тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошёл приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть, одно: придётся тебя научить заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину. И это будет твоя первая солдатская наука. Гляди.

С этими словами Биденко разостлал на полу свою портянку и твёрдо поставил на неё босую ногу. Он поставил её немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подsunул под пальцы. Затем он сильно натянул длинную сторону портянки, так, что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем и вдруг с молниеносной быстротой лёгким, точным,

воздушным движением запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки. Теперь его нога туго, без единой морщинки была спелёната, как ребёнок.

– Куколка! – сказал Биденко и надел сапог. Он надел сапог и не без щегольства притопнул каблуком.

– Красота! – сказал Горбунов. – Можешь сделать так?

Ваня во все глаза с восхищением смотрел на действия Биденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить всё это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться.

– А ну-ка, дядя Биденко, покажите мне ещё один раз.

– Изволь, брат.

И Биденко обернул портянкой вторую ногу, надел на неё сапог и притопнул с ещё большей быстротой и точностью.

– Заметил?

– Заметил, – сказал Ваня, став необыкновенно серьёзным.

Он разостлал на лавке свою портянку совершенно так же, как это сделал Биденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на неё ногу. Вид у него был смущённый, даже робкий. Но Ваня притворился. В его опущенных глазах нет-нет да и продёргивалась сквозь ресницы синяя озорная искорка.

Для того чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купания.

И вдруг в один миг он обернул ногу портянкой по всем правилам – туго, почти без единой морщинки.

– Куколка! – крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком.

– Силён! – сказал Горбунов, обменявшись с Биденко многозначительным взглядом.

С каждым днём мальчик нравился им всё больше и больше. Они не ошиблись в нём. Это действительно был толковый, смыслёный парнишка, который всё схватывал на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат.

Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким, скрипучим ремнём, оба разведчика даже захохотали от удовольствия – такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув

руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли.

– Хорошо, – сказал Биденко. – Молодец, пастушок! Вот теперь ты настоящий вояка.

Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен.

– А ну-ка, подойди. Два шага вперёд! – скомандовал он.

И, когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак.

– Никуда, брат, не годится. У тебя пояс болтается, как на корове седло. Целый кулак вошёл. А положено, чтобы два пальца входили. Отставить.

Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Биденко достал из необъятного кармана своих шаровар ножик и проколол в Ванином поясе ещё одну дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню как положено.

Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастёрку и все складки согнал назад.

– Верно, – сказал Горбунов. – Теперь молодец.

Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели ещё разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошёл сержант Егоров.

Он окинул мальчика быстрым, внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания.

– Пастушок, – сказал он, – живо собирайся. К командиру батареи.

На войне всё совершается быстро. Судьба солдата меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть.

И через две минуты Ваня в новой шинели и новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной, скользкой голове, уже шёл по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.

Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы.

Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боёв. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени.

Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. О его несчастье и его одиночестве почти никто в полку не знал и лишь немногие догадывались.

Батарея сделалась семьёй капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние, семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Енакиев занимался в дни отдыха. К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева.

Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном деревенском пастушке с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах.

Капитан Енакиев, так же как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика.

Но разведчики полюбили Ваню как-то слишком весело. Может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внёсшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь.

Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе ещё не зажившую рану.

Разрешиw разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Енакиев не забыл о нём. Каждый раз, как лейтенант Седых докладывал о делах взвода управления, капитан Енакиев непременно спрашивал и о мальчике.

Он часто о нём думал. И, думая о нём, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке,

которому теперь исполнилось бы семь лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете.

Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет. Он ничуть не был на него похож – ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был ещё слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определённый характер. А Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику.

Мальчика уже давно не было, а любовь всё не умирала.

Когда капитану Енакиеву донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в «штабном лесу», он очень рассердился. Тогда только он понял, как ему дорог этот веснушчатый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту Седых, если бы дело не кончилось благополучно.

Капитан Енакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную.

По множеству мелких признаков, которые всегда отличают место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого, по обычаю разведчиков, не спрашивая, сам быстро нашёл блиндаж капитана Енакиева.

Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж.

Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, которое всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира.

Капитан Енакиев сидел по-домашнему, без сапог, в расстёгнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка, на походной койке, застланной попоной.

Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке.

Без шинели и без фуражки, с несколькими потёртыми орденскими ленточками на кителе, с небольшой проседью в тёмных

висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз.

Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал:

– Здравствуйте, дяденька!

Капитан Енакиев посмотрел на него тёмными глазами, окружёнными суховатыми морщинками, и слегка прищурился. В первую минуту он не узнал пастушка Ваню в этом стройном и довольно высоком солдатике-сапоги прибавляли ему роста-с круглой крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами.

– Здравствуйте, дяденька! – повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду.

Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик, подтянул голенища сапог и положил на колени руки, в которых он держал шапку.

– Ты кто такой? – наконец спросил капитан с холодным любопытством.

Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия.

– Это же я, Ваня, пастушок, – сказал мальчик, широко улыбаясь. – Не узнали меня разве?

Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив, лицо его стало ещё холодней.

– Ваня? – прищурясь, сказал он. – Пастушок?

– Ага.

– А во что это ты нарядился? Что это у тебя на плечах за штучки?

Ваня слегка растерялся.

– Это погоны, – сказал он неуверенно.

– Зачем?

– Положено.

– Ах, положено! Для чего же положено?

– Всем солдатам положено, – сказал Ваня, удивляясь неосведомлённости капитана.

– Так ведь это солдатам. А ты разве солдат?

– А как же! – с гордостью сказал Ваня. – Приказом даже прошёл. Вещевое довольствие нынче получил. Новенькое. На красоту!

– Не вижу.

Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны.

Глядите, какие пушечки на погонах. Видите?

– Пушечки на погонах вижу, а солдата не вижу.

– Так я же самый и есть солдат, – окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана, прошептал Ваня, глупо улыбаясь.

– Нет, друг мой, ты не солдат.

Капитан Енакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол «Исторический журнал», заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул:

– Так солдат не является к своему командиру батареи. Встать!

Ваня вскочил, вытянулся и обмер.

– Отставить. Явись сызнова.

И тут только мальчик сообразил, что, всецело занятый своим обмундированием, он забыл всё на свете – кто он такой, и где находится, и к кому явился по вызову.

Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложенный за хлястик, и снова вошёл в блиндаж, но уже совсем по-другому.

Он вошёл строевым шагом, щёлкнул каблуками, коротко бросил руку к козырьку и коротко оторвал её вниз.

– Разрешите войти? – крикнул он писклявым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным.

– Войдите.

– Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев.

– Вот это другой табак! – смеясь одними глазами, сказал капитан Енакиев. – Здравствуй, красноармеец Солнцев.

– Здравия желаю, товарищ капитан! – лихо ответил Ваня.

Теперь уже капитан Енакиев не скрывал весёлой, добродушной улыбки.

– Силён! – сказал он то самое, очень распространённое на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Биденко, и от других разведчиков. – Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюша. Давай садись. Потолкуем... Соболев, чай поспел? – крикнул капитан Енакиев.



– Так точно, поспел, – сказал Соболев, появляясь с большим чайником, охваченным паром.

– Наливай. Два стакана. Для меня и для красноармейца Солнцева. А то он подумает, что мы с тобой живём хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев?

– Это уж как водится, – сказал Соболев, тоном своим давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках как о людях хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим угощением.

Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат.

И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь.

Сахар, правда, был не рафинад, а песок, но зато Соболев подал его в стеклянной вазочке. Свиной тушёнки с картошкой тоже не было. Но зато капитан Енакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный Октябрь» и выложил плитку шоколада «Спорт», что заставило пастушка почти онеметь от восхищения.

Капитан Енакиев с весёлым оживлением смотрел на Ваню:

– Ну, пастушок, говори: где лучше – у нас или у разведчиков?

Ваня чувствовал, что здесь лучше. Но ему не хотелось обижать разведчиков и отзываться о них дурно, в особенности за глаза.

Он подумал и сказал уклончиво:

– У вас богаче, товарищ капитан.

– А ты, Ванюша, хитрый. Своих в обиду не даёшь... Верно, Соболев? Не даёт своих в обиду?

– Точно. Разве солдат своих в обиду даст?

– Ну ладно, Соболев. Пока можешь быть свободен. А мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душе... Такие-то дела, Ванюша, – сказал капитан Енакиев, когда Соболев ушёл к себе за перегородку. – Что же мне с тобой дальше делать? Вот в чём вопрос.

Ваня испугался, что его снова хотят отправить в тыл. Он вскочил с ящика и вытянулся перед своим командиром:

– Виноват, товарищ капитан. Честное батарейское, больше не повторится.

– Чего не повторится?

– Что явился не как положено.

– Да, брат. Явился ты, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень смышлённый... Да ты что стоишь? Садись. Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному.

Ваня сел.

– Так вот я и говорю: что мне с тобой делать? Ты ведь хотя ещё и небольшой, но всё же вполне человек. Живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться. А?

Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души.

Как не похож был этот маленький стройный солдатик с нежной, как у девочки, шеей, уже натёртой грубым воротником шинели, на того простоволосого босого пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка! Как неузнаваемо он переменялся за такое короткое время! Изменилась ли также и его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла ли, возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит?

И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьёзен. Он стал так серьёзен, что даже его чистый выпуклый детский лоб покрылся морщинками, как у взрослого солдата.

Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной, весёлый пастушок. Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни.

И это сделали не слова капитана Енакиева – простые, серьёзные слова о жизни – и даже не суровый, нежный взгляд его немного усталых глаз, окружённых суховатыми морщинками, а это сделала та живая, деятельная, отцовская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, в сущности очень опустошённой душой. А как ей была необходима такая любовь, как душа её бессознательно жаждала!

Они оба долго молчали – командир батареи и Ваня, – соединённые одним могущественным чувством.

– Ну, так как же, Ваня? А? – наконец сказал капитан.

– Как вы прикажете, – тихо сказал Ваня и опустил ресницы.

– Приказать мне недолго. А вот я хочу знать, как ты сам решишь.

– Чего же решать? Я уже решил.

– Что же ты решил?  
– Буду у вас артиллеристом.  
– Вопрос серьёзный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да ведь у тебя, кажись, никого не осталось.  
– Да. Круглый сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.  
– Стало быть, сам себе голова?  
– Сам себе голова, товарищ капитан.  
– Вот и я сам себе голова, – неожиданно для самого себя, с грустной улыбкой сказал капитан Енакиев, но тотчас спохватился и прибавил шутливо: – Одна голова хорошо, а две – лучше. Верно, пастушок?

Капитан Енакиев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щёточку усов, как имел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение.

– Ладно, – сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу. – Рано тебе ещё в разведку ходить. Будешь у меня связным... Соболев! – крикнул он весело и решительно. – Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева.

И судьба Вани опять переменилась – с той быстротой, с какой всегда меняется судьба человека на войне.

С этого дня Ваня стал в основном жить у капитана Енакиева.

Но капитан Енакиев взял его к себе вовсе не для того, чтобы действительно сделать из мальчика связного. У него были гораздо более широкие намерения. Он хотел лично воспитать Ваню.

Со свойственной ему основательностью капитан Енакиев составил план воспитания. Он продумал его во всех подробностях, так же как он продумывал для своей батареи решение боевой задачи. Но, обдумав план всесторонне, не торопясь, он приступил к его осуществлению быстро и решительно.

Прежде всего, по этому плану, Ваня должен был постепенно научиться выполнять обязанности всех номеров оружейного расчёта.

Для этого, посоветовавшись со своим старшиной, капитан Енакиев прикомандировал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Первые дни мальчик очень скучал по своим друзьям-разведчикам. Сначала ему показалось, что он лишился родной семьи. Но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Эта семья сразу приняла его как родного.

Ваня ещё не знал, что нет людей более осведомлённых, чем солдаты. Солдатам всегда всё известно. Все новости узнаются мгновенно, как принято говорить – «по солдатскому телеграфу».

Когда Ваня явился к первому орудию, то, к его крайнему удивлению, там уже о нём было всё известно. Орудийный расчёт прекрасно знал историю мальчика. Знал, как его нашли разведчики в лесу, как он убежал от Биденко, как ходил со слепой лошадей в разведку, как попался немцам, как был освобождён, и вообще абсолютно всё, вплоть до компаса и букваря с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы».

В особенности орудийному расчёту нравился случай с Биденко.

Они всё время заставляли Ваню рассказывать эту историю с самого начала. Они хохотали, как дети, когда рассказ доходил до места с верёвкой. Они валились на плечи друг другу головой, хлопали друг друга по спине кулаками, вытирали слезы рукавами. Они еле могли говорить от смеха, душившего их.

– Слышь, Никита, он его дёргает за верёвку, а этот притворяется, что спит. Чуешь?

– Ах, чтоб ты пропал!

– Вполне, как говорится, связался чёрт с младенцем.

– Точно. Именно, что связался. Тот его дёргает, а этот задаёт храпака. А потом тот его обратно дёргает, а этого уж и след простыл. Ищи ветра в поле.

– Ай, пастушок! Ай, друг милый! Такого знаменитого разведчика обдурил! Это ж надо уметь.

– Да. Ничего не скажешь. Силён!

Разведчики принадлежали к батарейной аристократии. Слов нет, они жили богато, по-хозяйски. Один их знаменитый чайник чего стоил! Но и орудийный расчёт жил тоже не худо. Правда, такого исключительного чайника у них не было, и насчёт трофеев дело обстояло куда хуже, чем у разведчиков, которые всегда были впереди.

Но зато они владели превосходной громадной эмалированной кастрюлей, в которой приготавливали себе сами необыкновенно вкусные ужины. Они оставляли от обеда мясные порции и жарили их с гречневой кашей на коровьем масле.

Жили орудийцы тесной, дружной семьёй. Жили, пожалуй, ещё дружней, чем разведчики. Да это и понятно. Разведчики редко собирались все вместе. А орудийцы постоянно находились все вместе возле своей пушки. Тут они и воевали, тут они и отдыхали, тут они и питались, тут они, как говорится, и песни пели.

А пели они песни действительно замечательно, потому что на редкость удачно подобрались по голосам.

Кроме того, у них был ещё один козырь против разведчиков: у них был замечательный, очень дорогой баян, подарок шефов, которые приезжали в гости к батарейцам с Урала в 1942 году. И, кроме того, был знаменитый на всю дивизию баянист Сеня Матвеев, сержант, командир орудия. Так что когда, бывало, во время наступления батарея меняла позицию, то первое орудие мчалось вперёд с музыкой. Орудийный расчёт сидел на грузовике и пел хором, а Сеня Матвеев, в фуражке, надвинутой на самые брови, в расстёгнутой шинели, с чёрными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах с подарочным баяном и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, останавливалась и, глядя вслед весёлому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричала:

– Здорово, бог войны! Дай ему там жизни! Подбавь огоньку!

– Сейчас дадим, – отвечал Сеня Матвеев, ещё шире растягивая свой баян. – Ваш табачок – наш огонёк. Прощай, царица полей! До скорого свидания на полях сражений!

Но это, конечно, было не главное. Главное заключалось в том, что орудийный расчёт первого орудия первого взвода батареи капитана Енакиева в своей области был так же знаменит на всю дивизию, как и команда разведчиков.

Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Там, где другие орудия, даже самые лучшие, успевали выпустить два снаряда, первое орудие выпускало три. А это свидетельствовало об отличной работе всего орудийного расчета в целом и каждого номера в отдельности.

В особенности же был знаменит Ковалёв, лучший наводчик фронта, Герой Советского Союза.

Стало быть, новая семья, принявшая Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это сразу почувствовал, хотя орудийцы были народ скромный и о своих боевых делах говорили мало.

И Ваня стал гордиться первым орудием так же сильно, как он раньше гордился командой разведчиков. И это яснее всего показывало, что у него душа настоящего солдата. Ибо какой же хороший солдат не гордится своим подразделением!

Но что особенно поразило воображение мальчика, что помогло ему сравнительно легко пережить разлуку с разведчиками, – это орудие.

Уже самое это слово – орудие – всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное из всех военных слов, окружавших Ваню.

Было много военных слов: блиндаж, пулемёт, атака, бой, разведка, азимут, авиация, винтовка, дзот... да мало ли их было! Но ни в одном из них с такой отчётливостью не слышался грохот боя, вой снарядов, звон стали. Ваня знал, что артиллерию называют «богом войны». И, смутно представляя себе этого могущественного громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог: «орудие».

Ваня часто слышал слово «орудие», но редко ему удавалось посмотреть вблизи, а тем более потрогать руками само орудие. Было что-то неуловимое, таинственное в существовании орудия, особенно на поле боя. Вокруг гремели сотни, даже тысячи орудий. Всё небо горело от орудийных залпов, не погасая ни на минуту. Люди должны были кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанными. Снаряды непрерывным потоком текли над головой с шумом гигантского точильного камня. Взрывы кидали вверх тонны чёрной земли. А самих орудий, которые всё это делали, не было видно. Они были везде и нигде.

Теперь же Ваня не только увидел орудие вблизи, не только мог его потрогать, но он должен был помогать из него палить.

Это было первое орудие первого взвода, а значит, оно было отчасти и его, Ванино.

На всю жизнь запомнил пастушок этот дивный, ни с чем не сравнимый день, когда он в первый раз подошёл к орудию.

Их было всего четыре орудия – батареи капитана Енакиева. Они стояли в ряд, метрах в сорока друг от друга. Они все были в точности похожи одно на другое. И всё же то орудие, к которому робко приблизился Ваня, было совсем особенное, единственное в мире, ни на какое другое не похожее орудие. Оно было «своё».

Пушка стояла в небольшом полукруглом окопчике стволом на запад, крепко упираясь сошником в подкопанную землю. Не спуская с пушки очарованных глаз, Ваня робко обошёл вокруг неё. Хотя на дульную часть ствола был надет маленький брезентовый чехол вроде крышечки, но Ваня, проходя мимо, на всякий случай ускорил шаги и нагнулся, боясь, как бы орудие нечаянно не пальнуло.

Впрочем, у пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид. Было сразу заметно, что её любят и холят. Она была чисто вытерта, смазана. Всё на ней было хорошо, ладно пригнано, как на исправном солдате. А если и были кое-какие дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны и покрашены.

Кроме чехла на дульной части ствола, на пушке было ещё два других брезентовых чехла. Один покрывал замок, а другой – какую-то странную, очень загадочную штуку, которая торчала вверх возле щита.

Были на пушке ещё какие-то маховички, колесики, ящички. Были туго притороченные к лафету лопаты, кирка, топор. Видать, пушке было «положено» иметь при себе множество самых разнообразных необходимых вещей.

Но это было не всё.

Вокруг пушки, как вокруг главного дома в хорошем, исправном колхозном хозяйстве, в большом порядке размещались различные службы, пристрочки и флигельки. Зарядный ящик, вкопанный в землю по ступицу колеса рядом с пушкой, представлялся Ване главной конторой: откупоренные плоские деревянные ящики, в которых виднелись тесно уложенные патроны с медными гильзами и разноцветными полосками на снарядах, были, несомненно, пожарным сараем; окопчик телефониста казался баней; ровики для номеров были земляным валом, окружавшим гумно; несколько закопчённых стреляных гильз, валявшихся в стороне, были сельскохозяйственным

инвентарём, собранным для ремонта; ёлочки маскировки напоминали палисадник.

И вместе с тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее.

Сначала мальчик никак не мог понять, что же это такое, это угрожающее, и где оно. Но потом понял. Это были воронки, на которые он, по привычке, сначала не обратил внимания. Их было несколько десятков в разных местах вокруг орудия.

Это были свежие, совсем недавние воронки. Земля и глина, выброшенные из них на почерневшую траву, ещё не успели слежаться, земля была пухлой и даже казалась тёплой. Значит, совсем недавно, может быть утром, сюда прилетали немецкие снаряды. Конечно, они метили в пушку.

Раньше Ваня почти не обращал внимания на воронки, попадавшиеся ему на пути. Они его не касались, он равнодушно проходил мимо, знал, что «это» уже совершилось, что снаряды уже сделали своё де-л'о, что опасность миновала.

Теперь же он вдруг увидел их и почувствовал совсем по-иному. Немецкие снаряды только что приле, – тали на батарею. Они разорвались вокруг пушки, оставив зловещие следы. Но ведь батарея не ушла. Пушка стояла на прежнем месте. Ничто на фронте не изменилось. Значит, немецкие снаряды в любой миг могли прилететь снова и на этот раз принести смерть. Казалось, самый воздух – холодный, осенний воздух – дышит вокруг смертью. Тень смерти лежала на тучах, на ёлочках, на земле. А между тем орудийный расчёт ничего этого как будто не замечал.

Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, пристроившись к сосновому ящику со снарядами, писал письмо, слюня химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету; кто, скрутив сигарку, высекал искру и раздувал самодельный трут, из которого валил белый дым.

Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минёров, конницу, накапливающуюся в балках.



Здесь, на батарее, тоже была война, но война, ограниченная маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме орудийного хозяйства (даже соседних пушек не было видно), ёлочек маскировки и склона холма, близко обрезанного серым, осенним небом. А что было там, дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно оттуда время от времени слышались звуки перестрелки.

Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой орудийный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

– Ну, Ванюша, нравится наше орудие? – услышал он за собой густой, добродушный бас.

Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалёва.

– Так точно, товарищ Ковалёв, очень нравится, – быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Видно, урок капитана Енакиева не прошёл зря. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопросы отвечал бодро, с весёлой готовностью. А перед наводчиком Ковалёвым он даже переусердствовал. Он как взял под козырёк, так и забыл опустить руку.

– Ладно, опусти руку. Вольно, – сказал Ковалёв, с удовольствием оглядывая ладную фигурку маленького солдата.

Наружностью своей Ковалёв меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшим наводчике фронта.

Прежде всего, он был не молод. В представлении мальчика он был уже не «дяденька», а скорее принадлежал к категории «дедушек». До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем.

Во время первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием – уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал

себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то ещё больше в нём окреп. Новая война поставила артиллерии много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалёве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске. Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой.

Вместе со своим расчётом он выкатил пушку на открытую позицию и под градом пуль спокойно, точно и вместе с тем с необыкновенной быстротой бил картечью по немецким цепям или бронебойными снарядами – по немецким танкам.

Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно ни стояло. Здесь требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не замечательную гражданскую внешность, Ковалёв был легендарно храбр.

В минуту опасности он преображался. В нём загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали.

Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалёв был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех её врагов. А с немцами у него были особые счёты. В шестнадцатом году они отравили его удушливыми газами. И с тех пор Ковалёв всегда немного покашливал. О немецких вояках он говорил коротко:

– Я их хорошо знаю: это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор – беглым огнём. Другого они не понимают.

Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Жена Ковалёва, по профессии врач, тоже была в армии. Дома никого не осталось. Его домом была армия.

Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ковалёва на более высокую должность. Но каждый раз Ковалёв просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием.

– Наводчик – это моё настоящее дело, – говорил Ковалёв, – с другой работой я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте. За чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. А для командира я уже не гожусь. Стар. Надо молодым давать дорогу. Покорнейше вас прошу.

В конце концов его оставили в покое. Впрочем, может быть, Ковалёв был прав: каждый человек хорош на своём месте. И, в конце концов, для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода.

Всё это было Ване известно, и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалёва.

Ковалёв был высокий, хуощавый человек в новом, но уже промасленном орудийном салом ватнике, накинутом, на плечи. Он был по-домашнему, без головного убора. Его голова была наголо обрита, так, как иногда имеют обыкновение брить голову мужчины, начинающие лысеть. Шея у него была красная, обветренная, вся в крупных клетчатых морщинах; русые усы и чисто выскобленный подбородок были солдатские.

Вообще всё на нём было хоть и строгое, по-артиллерийски опрятное, но несколько старомодное, «с той войны»: и собственные чёрные суконные шаровары, которые он принёс с собой в армию, и во рту – крашенная трубочка с жестяной крышечкой, почерневшей от дыма.

Ване хотелось расспросить Ковалёва о многом. О том, например, как наводится пушка. Как производится выстрел. Для чего колесико с ручкой. Что спрятано под чехлами. Что написано на бумажке, приклеенной к щиту. Скоро ли будут палить из орудия. И многое другое.

Но воинская дисциплина не позволяла ему первому начинать разговор со старшим.

– Это хорошо, что тебе нравится наше орудие, – сказал наводчик Ковалёв, – славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга.

Он похлопал пушку по стволу, словно это была лошадь, затем посмотрел на ладонь и, заметив, что она запачкалась, вынул из кармана чистую, сухую ветошку и любовно обтёр пушку.

– Она у меня чистоту любит, – сказал он, как бы извиняясь за свою мелочность. – Так, стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал?

– Так точно, товарищ сержант.

– Не козыряй всё время. Ничего. Не тянись. Ну что же, это правильно. Коли хочешь быть хорошим артиллеристом, с малых лет учишь работать возле пушки, а привыкнешь, так потом до седых волос доживёшь – не забудешь, как что делается.

Он сел на лафет и стал плоскогубцами починять свои очки, поглядывая на Ваню необыкновенно добрыми и вместе с тем пронизательно-острыми глазами очень дальнорядного человека.

– Так-то, орёл. Пушку надо смолоду любить. Вот зтаким-то макарон, как ты сейчас, и я когда-то пришёл на батарею. Было это, братец ты мой, не более не менее как тридцать годов тому назад. Немалое времечко. А я как сейчас всё помню. Был я тогда, конечно, постарше тебя. Шёл мне девятнадцатый год. Я охотником на войну попал. Но всё равно – мальчишка. И представь себе, какое чудо: наша батарея тогда стояла на позиции как раз где-то в этих же самых местах. Видал, какой круг моя жизнь описала? Сейчас, конечно, не узнать. – Он огляделся по сторонам и махнул рукой. – Сильно земля с тех пор переменялась. Где были леса, там стали поля. Где были поля, там выросли леса. Но, в общем, где-то здесь. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Только и всего.

Эти слова крайне поразили Ваню. Он, конечно, много раз слышал разговор о том, что армия наступает на Восточную Пруссию, что Восточная Пруссия – это уже Германия, что скоро советские войска ступят на немецкую землю.

Ваня, так же как и все в армии, твёрдо верил, что так оно в конце концов и будет. Однако теперь, когда он услышал эти желанные и так

долго ожидаемые слова «граница Германии», он даже как-то не совсем понял, о чём говорит Ковалёв. Он был так взволнован, что даже не удержался и назвал Ковалёва дяденькой:

– Где же Германия, дяденька? Где граница?

– Да вот же она. Тут и есть, – сказал Ковалёв, показывая через плечо плоскогубцами с таким видом, как будто показывал заблудившемуся прохожему знакомый переулок. – За этой высоткой. Километров пять отсюда. Не больше.

– Дяденька, правда? Вы меня не обманываете? – жалобно сказал мальчик, знавший по опыту, что некоторые солдаты любят над ним подшутить.

Но глаза Ковалёва были вполне серьёзными.

– Верно говорю, – сказал он. – Река, а за ней самая Германия и начинается.

– Честное батарейское? – живо спросил Ваня.

– Да зачем тебе честное батарейское, когда мы только что по ней пристрелку вели! Видал, сколько целей пристреляли?

И Ковалёв показал плоскогубцами на бумажку с номерками на оружейном щите.

Но Ваня всё-таки ещё сомневался. Ему трудно было поверить, что вот тут, совсем близко, в каких-нибудь пяти километрах, начинается Германия.

– Дяденька, не обманывайте меня! – почти со слезами сказал Ваня.

– Фу, будь ты неладен! – рассмеялся Ковалёв, – Не веришь. А что же тут особенного? Да наши разведчики ещё вчера в эту самую Германию ходили, нынче утром вернулись. Паника там, говорят, не приведи бог.

– Как! Разведчики были в Германии?

Ковалёв даже не представлял себе, какой удар нанёс он Ване в самое сердце. Оказывается, разведчики уже были в Германии. Весьма возможно, что в Германии уже побывали Биденко и Горбунов. А сержант Егоров наверняка побывал. Значит, если бы Ваню не перевели в огневой взвод, он тоже мог бы уже побывать в Германии. Он упросил бы разведчиков. Они бы его взяли. Это уж верно.

И Ваня почувствовал жгучую обиду. Всё-таки в душе он ещё был разведчиком. Самолюбие его сильно страдало. Конечно! Все

разведчики уже были, а он ещё не был.

Он надулся, густо покраснел и, кусая губы, опустил ресницы, на которых выступили слезы.

– Я бы им там дал, в Германии! – неожиданно сказал он сквозь зубы, и глаза его метнули синие искры.

Ковалёв с любопытством посмотрел на мальчика, но не улыбнулся и не сказал того, что непременно сказал бы всякий другой солдат: «А ты, братец пастушок, злой!» Он понял, что в эту минуту делалось в душе Вани. Он вынул свою трубку, насыпал в неё махорки, зажёг, защёлкнул крышечку и, пустив через усы душистый белый дым, очень серьёзно заметил:

– Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться. Твоё место теперь у орудия. Вместе с орудием и въедешь в Германию.

И, для того чтобы его слова не показались мальчику слишком сухими, нравоучительными, прибавил, улыбаясь:

– С музыкой!

И как раз в этот миг где-то за ёлочками маскировки раздалась громкая команда:

– Батарея, к бою! Стрелять первому орудию!

Из окопчика телефониста выскочил сержант Сеня Матвеев, на ходу застёгиваясь и оправляя свою измятую шинельку с чёрными петлицами. Сияя молодым возбуждённым лицом, он изо всех сил крикнул, раскатываясь на букве «р»:

– Первое орудие, к бою! По цели номер четырнадцать. Гранатой. Взрыватель осколочный. Правее восемь ноль-ноль. Прицел сто десять.

И, прежде чем были произнесены эти слова, показавшиеся Ване таинственными заклинаниями, всё вокруг мгновенно переменилось: и люди, и самое орудие, и вещи вокруг него, и даже небо над близким горизонтом, – всё стало суровым, грозным, как бы отливающим хорошо отшлифованной и смазанной сталью.

Прежде всех изменился наводчик Ковалёв.

Ваня не успел посторониться, не успел подумать: «Вот оно, начинается!» – как Ковалёв уже перепрыгнул через станину, одной рукой надевая невесть откуда взявшийся шлем, а другой снимая брезентовый чехол с той высокой штучки возле щита, которую мальчик давеча заметил.

Теперь, когда с неё был сдёрнут чехол, она оказалась ещё более прекрасной и таинственной, чем можно было предполагать. Это было нечто среднее между биноклем, стереотрубой – их Ваня уже видел много раз – и ещё чем-то невиданным, какой-то машинкой со множеством мелких и крупных цифр, насечённых на стальных кольцах и барабанчиках. Эта машинка сразу вызвала в представлении мальчика слово «арифметика». И ещё было что-то чёрной воронёной стали, с выпуклым стеклом, косым зеркальцем и плоской чёрной коробочкой с длинной прорезью. Это вызвало другое слово: «фотоаппарат».

Наклонившись и прильнув глазом к чёрной трубке, наводчик Ковалёв неподвижно, как изваяние, стоял на крепко расставленных, согнутых ногах, в то время как его руки, мелькая длинными пальцами, с молниеносной быстротой бегали вверх и вниз по прибору, касаясь барабанов и колец.

У мальчика разбежались глаза. Он не знал, на что смотреть.

Во-первых, кем-то и как-то в один миг с пушки был сдёрнут второй чехол, и Ваня увидел оружейный затвор – массивный, тяжёлый, сверкающий хорошо смазанной сталью, с алюминиевой рукояткой и могучим стальным рычагом, кривым, как челюсть.

Но главное, Ваня увидел спусковой шнур: стальную цепочку, обшитую потёртой кожей. Он сразу понял, что это такое. Стоило только потянуть за эту кожаную колбаску, как пушка выпалит.

Едва замковый – Ваня сразу понял, что этот солдат именно и есть замковый, – едва замковый потянул за рукоятку и пудовый замок маслянисто-легко, бесшумно отворился, показав свой рубчатый стальной цилиндр с точкой бойка в самом центре и зеркальную витую внутренность пустого оружейного ствола, как внимание мальчика привлекли патроны.

Они уже были вынуты из своих ящичков и стояли на земле правильными рядами, как солдаты в металлических касках, рассортированные по цветам своих полосок: чёрные к чёрным, жёлтые к жёлтым, красные к красным. Один патрон уже лежал на левом колене солдата, припавшего на правое колено, и солдат этот – ящичный – что-то делал с головкой снаряда, в то время как другой солдат уже нёс другой приготовленный патрон к пушке. Он быстро

сунул его в канал ствола и дослал ладонью. Патрон не успел вылезть назад, как замковый прихлопнул его затвором.

Затвор щёлкнул. Ковалёв, не отрываясь глазом от чёрной трубки, взялся одной рукой за спусковой шнур, а другую руку поднял вверх и сказал:

– Готово.

– Огонь! – закричал сержант Матвеев, с силой рубанув рукой.

И не успел Ваня опомниться, сообразить, что происходит, как наводчик Ковалёв со злым, решительным лицом коротко рванул колбаску, отбросив руку далеко назад, чтобы её не стукнуло замком при откате.

Пушка ударила с такой силой, что мальчику показалось, будто от неё во все стороны побежали красные звенящие круги. И Ваня почувствовал во рту вкус пороховой гари.

На один миг все замерли, прислушиваясь к слабому шуму снаряда, улетавшего в Германию. Потом Ковалёв опять припал к панораме и забегал пальцами по барабанчикам, а замковый рванул затвор, откуда выскочила и со звоном перевернулась по земле медная дымящаяся гильза.

Ваня стоял оглушённый и очарованный чудом, которое он только что видел, – чудом выстрела. Потом ему сделалось неловко стоять среди занятых людей и ничего не делать. Он взял тёплую, слегка потускневшую стреляную гильзу, отнёс её в сторонку и положил в кучу других стреляных гильз. Когда он её нёс, всю очень тонкую и очень лёгкую, но с толстым и тяжёлым дном – как ванька-встанька, – ему казалось, что в его руках она ещё продолжала тонко звенеть от выстрела.

– Правильно делаешь, Солнцев, – сказал сержант Матвеев, что-то записывая карандашиком в потрёпанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда он ждал новой команды. – Пока что будешь прибирать стреляные гильзы, чтобы они не мешались под ногами.

– Слушаюсь! – радостно сказал Ваня и вытянулся, чувствуя, что теперь и он тоже причастен к тому важному и очень почётному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением: «Артогонь».



– А после стрельбы сосчитаешь и уложишь в пустые лотки, – прибавил Матвеев.

– Слушаюсь! – ещё веселее ответил Ваня, хотя и не вполне ясно представлял себе, что такое за вещь – лоток.

Ваня поставил все стреляные гильзы рядом, подровнял их, полюбовался своей работой, но так как делать пока было нечего, то он подошёл к Ковалёву.

– Дяденька... – сказал он, но, вспомнив, что находится при выполнении боевого задания, быстро поправился: – Товарищ сержант, разрешите обратиться.

– Попробуй, – сказал Ковалёв.

– Чего я вас хотел спросить: куда вы только что стрельнули? По Германии?

– По Германии.

– А сначала нацелились?

– Сначала нацелился.

– Вы плазом нацеливались? Через эту чёрную трубочку?

– Вот именно.

Ваня некоторое время молчал. Он не решался говорить дальше. То, что он хотел попросить, казалось ему слишком большой дерзостью. За такую просьбу, пожалуй, отберут обмундирование и отчислят в тыл.

И всё же любопытство взяло верх над осторожностью.

– Дяденька... – сказал Ваня, выбирая самые убедительные, самые нежные оттенки голоса, – дяденька, только вы на меня не кричите. Если не положено, то и не надо, я ничего не имею. Разрешите мне один раз – один только разик, дядечка! – посмотреть в трубку, через которую вы нацеливались.

– Отчего же, это можно. Загляни. Только аккуратно. Наводку мне не сбей.

Не смея дышать, Ваня подошёл на цыпочках и стал на место, которое уступил ему Ковалёв. Расставив руки в стороны, чтобы как-нибудь случайно не сбить наводку, мальчик осторожно приложил глаз к окуляру, ещё тёплому после Ковалёва. Он увидел чёткий круг, в котором светло и приближённо рисовался болотистый ландшафт с зубчатой стеной синеватого леса. Две резкие тонкие черты, крест-

накрест делившие круг по вертикали и по горизонтали, делали этот ландшафт отчётливым, как переводная картинка.

Как раз на скрещении линий Ваня увидел отдельную верхушку высокой сосны, высунувшуюся из леса.

– Ну как? Видишь что-нибудь? – спросил Ковалёв.

– Вижу.

– Что же ты видишь?

– Землю вижу, лес вижу. Красиво как!

– А перекрещённые волоски видишь?

– Ага. Вижу.

– А замечаешь отдельное дерево? Его как раз пересекают волоски.

– Вижу.

– Вот я в эту самую сосну и наводил.

– Дяденька, – прошептал Ваня, – это и есть самая Германия?

– Где?

– Куда я смотрю.

– Нет, брат, это отнюдь не Германия. Германии отсюда не видать.

Германия там, впереди. А ты видишь то, что находится сзади.

– Как – сзади? Да ведь вы же, дяденька, сюда наводили?

– Сюда.

– Ну, стало быть, это и есть Германия?

– Вот как раз не угадал. Сюда я наводил, это верно. Отмечался по сосне. А стрелял совсем в другую сторону.

Ваня во все глаза смотрел на Ковалёва, не понимая, шутит он или говорит серьёзно. Как же так: наводил назад, а стрелял вперёд! Что-то чудно.

Он пытливо всматривался в лицо Ковалёва, стараясь найти в нём выражение скрытого лукавства. Но лицо Ковалёва было совершенно серьёзно.

Ваня переступил с ноги на ногу, подавленный загадкой, которую не мог понять.

– Дяденька Ковалёв, – наконец сказал Ваня, изо всех сил наморщив свой чистый, ясный лоб, – а снаряд-то ведь полетел в Германию?

– Полетел в Германию.

– И там ахнул?

– И там ахнул.

– И вы через трубку видели, как он ахнул?

– Нет. Не видел.

– Э! – сказал Ваня разочарованно. – Значит, вы так себе снарядами кидаетесь, наобум господа бога!

– Зачем же так говорить, – посмеиваясь в усы и покашливая, сказал Ковалёв. – Мы не наобум кидаемся: там на наблюдательном пункте сидят люди и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь неладно выйдет, они нам тотчас по телефону скажут, как и что. Мы и поправимся.

– Кто же там сидит?

– Наблюдатели. Старший офицер. Иногда взводные офицеры. Когда как. Нынче, например, сам капитан Енакиев ведёт стрельбу.

– И капитану Енакиеву оттуда видать Германию?

– А как же!

– И видать, как мы ахнули?

– Безусловно. Вот подожди. Он нам сейчас скажет, как там у нас получилось.

Ваня молчал. Его мысли разбегались. Он никак не мог их собрать и понять, как это всё же получается, что наводят назад, стреляют вперёд, а капитан Енакиев один всё видит и всё знает.

– Левее ноль три! – крикнул сержант Матвеев. – Осколочной гранатой. Прицел сто восемнадцать.

Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону, а на месте Вани у панорамы уже по-прежнему стоял Ковалёв, прильнув глазом к чёрному окуляру. Теперь всё было сделано ещё быстрее, чем в первый раз. И всё же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалёв успел повернуть к мальчику, лицо и сказать:

– Видишь, маленько отбились. Теперь будет ладно.

– Огонь! – закричал Матвеев и с ещё большей силой рубанул рукой.

Пушка ахнула. Но этот выстрел уже не так ошеломил мальчика. Твёрдо помня свою боевую задачу, он проворно обежал орудие – ствол которого после отдачи назад теперь плавно, маслянисто накатывался вперёд, на прежнее место, – и успел подхватить горячую стреляную гильзу в тот самый миг, как она выскакивала из пушки.

– Молодец, Солнцев! – сказал Матвеев, снова торопливо записывая что-то в записную книжку, положенную на согнутое колено. – Какой расход патронов?

– Две осколочных гранаты! – лихо крикнул Ваня.

– Молодец! – сказал Матвеев.

Ваня хотел ответить: «Служу Советскому Союзу», но ему показалось совестно говорить такие слова по такому пустому поводу.

– Ничего, – пробормотал он застенчиво.

– Держись, пастушок! – весело крикнул Ковалёв, поправляя очки. – Теперь успевай только подбирать. Сейчас мы тебе их накидаем гору.

И точно. В следующий миг из окопчика высунулся зелёный шлем телефониста, и сержант Матвеев закричал зычным, высоким, и торжественным голосом:

– Четыре патрона беглых! По немецкой земле – огонь!

Четыре выстрела ударили почти подряд, так что Ваня едва успел поймать четыре выскочившие гильзы. Но он их всё-таки не только поймал и поставил в ряд, а ещё и подровнял. С этого времени пушка стреляла, уже не останавливаясь ни на минуту, с непостижимой, почти чудесной быстротой.

Бегая без устали за гильзами, Ваня прислушался и понял, что теперь уже стреляет не только одно первое орудие. Отовсюду слышались громкие крики команды, звонко стучали затворы, ударяли пушки. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Енакиева.

Бесперывно, один за другим, а то и по два и по три сразу, с утихающим шумом уносились снаряды за гребень высоты, в Германию, туда, где небо казалось уже не русским, а каким-то отвратительным, тускло-металлическим, искусственным, немецким небом.

Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалёву, и он каждому давал раз или два дёрнуть за шнур и выстрелить по Германии.

Стреляя, они кричали:

– По немецкой земле – огонь!

– Держись, Германия! Огонь!

– За родину! Огонь!

– Смерть Гитлеру! Огонь!

– Что, взяли нас, гады? Огонь! Подбежав к Ковалёву, Ваня потянул его сзади за ватник:

– Дядя Ковалёв, дайте я тоже раз дам по Германии.

Он так боялся, что Ковалёв ему откажет! Он даже побледнел и часто, коротко дышал через ноздри, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалёв его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито топнул ногой и требовательным, дрожащим голосом крикнул, стараясь перекрыть выстрелы:

– Товарищ сержант, разрешите обратиться! Дайте мне стрельнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется.

Только теперь Ковалёв заметил его:

– Давай, пастушок, давай! Пали. Только руку быстро убирай, чтоб затвором не стукнуло.

– Я знаю, – быстро сказал Ваня и почти вырвал из рук Ковалёва спусковой шнур.

Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту кожаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой: страх, как бы не дать осечку.

– Огонь! – крикнул Матвеев.

– Тяни, – шепнул Ковалёв. Он мог этого не говорить.

– На, получай! – крикнул мальчик и с яростью, изо всех сил рванул колбаску.

Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело. И по дальнему лесу пронёсся шум Ваниного снаряда, улетавшего в Германию.

Капитан Енакиев поёжился от холода, сдержанно зевнул.

– Однако, как нынче поздно светает!

– Что вы хотите – осень, – сказал Ахунбаев.

– «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели», – сказал Енакиев, ещё раз зевая.

– Красиво написано, – сказал Ахунбаев. – Очень художественное изображение осени.

Капитан Ахунбаев произнёс эти слова между двумя быстрыми затяжками. Он торопливо докуривал мятую немецкую сигарету и, морщась, разгонял рукой дым, чтобы он не слишком заметно поднимался над окопом. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Светать только ещё начинало, вокруг было серо, туманно.

Старый немецкий окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля. На почерневшей ботве, стоявшей на уровне глаз, холодно белели мельчайшие капли воды. Справа тянулось невидимое шоссе, обсаженное старыми вязами. Их толстые стволы и голые ветки туманно рисовались на белом предутреннем небе, как на матовом стекле. Несколько разбитых острых, готических крыш так же туманно виднелись слева.

Впереди же была чёрная мокрая земля картофельного поля, полого спускавшегося в низинку, наполненную синеватым туманом.

А ещё дальше, за низиной, начиналась опять возвышенность, но сейчас её совсем не было видно. На ней были немецкие позиции, которые с наступлением дня должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.

План атаки, разработанный Ахунбаевым со свойственной ему быстротой и горячностью, в самых общих чертах заключался в следующем.

Две роты должны были до света скрытно обойти немцев справа, перехватить немецкие коммуникации и ждать, по возможности не открывая огня и во всяком случае не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии открыто атаковать немецкие позиции в лоб. Одна рота должна была остаться в резерве. Капитан Ахунбаев рассчитывал, что, атакуя одной ротой позиции противника, у которого, по сведениям разведки, было около батальона, он заставит немцев выйти из окопов и перейти в контратаку. Именно в момент этой контратаки и должны были ударить с фланга, а даже, может быть, и с тыла, те две роты, которые были

посланы в обход. Таким образом, немцы оказались бы зажатыми в тиски и принуждёнными под сильным фланговым огнём перестраивать свои боевые порядки, что всегда ведёт к огромным потерям и, в конечном счете, к сдаче позиции. Или они должны были продолжать бой в прежнем направлении, заслонившись с тыла резервом. Но тогда капитан Ахунбаев перебрасывает роту своего резерва на усиление двух рот, действующих в тылу у неприятеля, добивается в этом месте численного превосходства и занимает немецкие позиции с тыла, посадив немцев в мешок.

План этот был хорош и, принимая в расчёт плохое моральное состояние противника, а также отличное качество стрелков Ахунбаева, вполне осуществим. Но для капитана Енакиева, привыкшего тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, была в этом плане одна неясная вещь. Было в точности не известно, какими резервами располагают немцы. По данным разведки, их резервы были невелики. Но кто мог поручиться, что в течение ночи они не перебросили сюда крупных подкреплений? Может быть, сейчас, в эту самую минуту, немецкая пехота выгружается из транспортёров где-нибудь за возвышенностью, которую собирается атаковать капитан Ахунбаев. Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо.

Но так как все эти сомнения капитана Енакиева были основаны не на точных фактах, а только на предположениях, то, выслушав план и получив боевое задание, он коротко и сухо произнёс:

– Слушаюсь!

А впрочем, ничего и нельзя было сделать. Роты Ахунбаева уже занимали исходные рубежи, машина атаки хотя ещё и незаметно, но уже пришла в движение, а капитан Енакиев твёрдо знал, что принятое решение никогда не следует отменять. Он только понял, что дело будет горячее и что если у немцев обнаружатся свежие резервы, то остаётся одна надежда на меткость и быстроту огня его пушек.

Он посмотрел в свою записную книжку, подсчитал общее количество имеющихся патронов, поморщился и приказал по телефону как можно скорее привезти на огневую позицию ещё боевой комплект.

Теперь всё это было сделано. Оставалось ждать.

– Ну, капитан, – сказал Енакиев, протягивая Ахунбаеву руку в замшевой перчатке, – разрешите откланяться.

– Где вы будете находиться?

– На своём наблюдательном пункте. А вы?

– С ротой резерва.

Они крепко пожали друг другу руки. И, как всегда, перед тем как расстаться, сверили часы. У капитана Ахунбаева было шесть часов двенадцать минут. У капитана Енакиева – шесть часов девять минут.

– Отстаёте, – сказал капитан Ахунбаев.

– Торопитесь, – сказал капитан Енакиев с ударением.

Они немножко поспорили о том, у кого вернее часы. Но это было только так, скорее – по старой привычке. Ахунбаев знал, что у Енакиева часы идут абсолютно верно.

– Уговорил, – сказал Ахунбаев, весело блестя своими чёрными, как жучки, жёсткими глазами, и перевёл свои часы на три минуты назад. – Итак, надеюсь на вас, как на каменную гору.

– Надейтесь.

– Огоньку не жалейте.

– Дадим. Ваш табачок – наш огонёк, – сказал Енакиев рассеянно и не совсем кстати солдатскую яоговорку.

– Главное, не отставайте.

– Не отстану.

– Стало быть, до свидания на немецкой оборонительной линии.

– Или раньше.

– Ну, счастливо, – решительно и уже по-командирски сказал Ахунбаев. – Действуйте.

– Слушаюсь.

Они ещё раз пожали друг другу руки и разошлись.

Первым из окопа выбрался капитан Енакиев и, приказав своему телефонисту открепляться и тянуть провод на командирский наблюдательный пункт, сам отправился посмотреть, что делается на батарее.

Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под сапогами уже потрескивал лёд. Всё вокруг было тихо, и лишь изредка на западе то там, то здесь трепетал качающийся свет немецких осветительных ракет, уже совсем бледных на фоне отчётливо побелевшего неба.



Когда капитан Енакиев, за которым по пятам с автоматом на шее следовал Соболев, добрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел и ветер стал ещё неприятней.

Огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада за очень длинной и скучной стеной, сложенной из бурого плитняка. В нескольких местах стена была обвалена снарядами. Через одну из этих брешей капитан Енакиев прошёл в сад.

Пушки, глубоко вкопанные в землю между старыми, симметрично рассажеными яблонями, далеко отстояли друг от друга и были затянuty маскировочными сетями. Их трудно было заметить даже вблизи. Ко вдалье сквозь голые ветви яблонь за садом виднелась длинная черепичная крыша бурого, скучного фольварка с вырванными рамами окон, и под этой крышей утомлённым утренним огоньком светился ещё не погашенный фонарик – ночная точка отметки. Она показывала, что батарея здесь.

Часовой с поднятым автоматом и смутным лицом, на котором ещё лежала ночная тень, преградил капитану Енакиеву дорогу, но, узнав своего командира батареи, отступил в сторону и застыл.

Капитан подошёл к первому оружию.

Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии, спали прямо на земле, каждый на своём месте, положив под голову кто стреляную гильзу, кто ящик из-под снарядов, кто котелок, кто просто руку.

Среди спящих капитан Енакиев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, в котором было крепко зажат дистанционный ключ. Его губы немного посинели от утреннего холода, но какая-то добрая душа набросила на него просаленный ватник, и мальчик во сне улыбался таинственной, блуждающей улыбкой.

При виде этой улыбки капитан Енакиев и сам было улыбнулся. Но, заметив подходившего с рапортом сержанта Матвеева, согнал с лица улыбку и строго нахмурился.

– Ну как мальчик? – спросил он, выслушав рапорт и поздоровавшись с командиром орудия, который в этот день дежурил на батарее.

– Мальчик ничего, товарищ капитан, – доложил сержант, почтительно и вместе с тем несколько щеголевато прикасаясь

пальцами к своим новеньким чёрным «севастопольским» усикам и новеньким чёрным полубачкам.

– Работает?

– Так точно.

– Какие обязанности выполняет при орудии?

– До сего дня он у меня стреляные гильзы укладывал. А сегодня – или, сказать точнее, вчера вечером – я его помощником шестого номера поставил.

– Ну и как? Справился?

– Ничего. Толково снимает колпачки. Без задержки. Прикажете поднять орудийный расчёт?

– Не надо. Пусть отдыхают. Нынче будет много работы. Патроны привезли?

– Так точно.

– Хорошо. Тут в некоторых местах нарушен забор. Вы не пробовали – через эти проломы, в случае чего, можно выкатить пушки?

– Так точно. Пробовал. Выкатываются.

– Хорошо. Учтите это. Связь с наблюдательными пунктами исправно работает?

– Исправно.

– Кто дежурит на правом боковом?

– Не могу знать.

– Узнайте и доложите. И пусть мне сюда подадут машину.

– Слушаюсь.

Кроме сержанта Матвеева и телефониста, в первом орудии не спал ещё один человек – наводчик Ковалёв. Это был единственный человек в батарее, с которым капитан Енакиев позволял себе быть накоротке.

– Ну, как дела, Василий Иванович? – сказал капитан Енакиев, присаживаясь рядом с Ковалёвым на край орудийной площадки.

– По-моему, неплохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уж и в Восточной Пруссии.

– Да, в Германии, – рассеянно сказал капитан Енакиев, рассматривая этот громадный скучный сад с выбеленными стволами и охапками соломы, приготовленной для обвёртывания деревьев на зиму.

Собственно говоря, у капитана Енакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда перед боем у него являлась потребность хотя бы несколько минут побыть в своём хозяйстве и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным.

Ему стоило только бросить беглый взгляд хотя бы на одно орудие, чтобы с точностью определить, в каком состоянии находится вся его батарея. И сейчас он уже определил это состояние – оно было отличным. Он видел это по всему: и по тому, как спокойно спали его одетые и вооружённые люди, каждый на своём месте; и по тому, как были отрыты ровики, приготовлены для стрельбы патроны; и по тому, как была аккуратно натянута над орудием маскировочная сеть; и даже по тому, как ясно горел под крышей фольварка фонарик для ночной наводки. Впрочем, фонарик он тут же приказал потушить, так как уже рассвело и холодный свет зари низко стлался по сквозному, оголённому саду, очень бледно и как-то болезненно-жидко золотя землю, покрытую подмёрзшими листьями и падалицей.

Чувствовалось, что едва взошедшее солнце показалось в тумане на одну только минуту и сейчас уже на весь день войдёт в сплошные тучи.

Капитан Енакиев посмотрел на часы. Было уже время пробираться на наблюдательный пункт. Но на этот раз ему почему-то было жалко расставаться со своим хозяйством. Хотелось ещё хоть минут пять посидеть у пушки рядом с Ковалёвым, которого он любил и уважал. Он как бы предчувствовал, что нынче понадобятся все его физические и душевные силы, и он набирался их, пользуясь последними минутами.

– Товарищ капитан, разрешите доложить: на правом наблюдательном – старший сержант Алейников, – сказал подошедший Матвеев. – Машина приехала.

– Хорошо. Пускай стоит. Идите.

Капитан Енакиев вынул из кожаного портсигара две папиросы и дал одну Ковалёву. Они закурили.

– Так что же? Стало быть, мальчик – ничего? – сказал капитан Енакиев.

– Хороший мальчик, – сказал Ковалёв серьёзно, с убеждением, – стоящий.

– Вы думаете, стоящий? – быстро сказал Енакиев и, прищурившись, посмотрел на Ковалёва.

– По-моему, стоящий.

– Толк из него выйдет?

– Обязательно.

– Вот и мне тоже так показалось.

– Я с ним давеча немножко возле панорамы позанимался. Представьте себе – всё понимает. Даже удивительно. Прирождённый наводчик.

Капитан Енакиев рассмеялся:

– А разведчики говорят, что он прирождённый разведчик. Поди разберись. Одним словом, какой-то он у нас вообще прирождённый. Верно?

– Прирождённый артиллерист.

– Просто прирождённый вояка.

– Не худо.

– А вы знаете, Василий Иванович, – вдруг сказал капитан Енакиев, пытливо глядя на Ковалёва глазами, ставшими по-детски доверчивыми, – я его думаю усыновить. Как вам кажется?

– Стоящее дело, Дмитрий Петрович, – тотчас сказал наводчик, как будто ожидал этого вопроса.

– Человек я, в конечном счёте, одинокий. Семьи у меня нет. Был сынишка, четвёртый год... Вы ведь знаете?

Ковалёв строго наклонил голову. Он знал. Он был единственный человек на батарее, который знал. Капитан Енакиев помолчал, глядя прищуренными глазами перед собой, как бы рассматривая где-то вдалеке маленького мальчика в синей матросской шапочке, которому сейчас должно было бы исполниться семь лет.

– Заменить-то он мне его, конечно, не заменит, что об этом толковать, – сказал он, глубоко вздохнув и не стараясь скрыть от Ковалёва этот вздох, – но... но ведь бывает же, Василий Иванович, и два сына? Верно?

– Бывает и три сына, – сумрачно сказал Ковалёв и тоже вздохнул, не скрывая своего вздоха.

– Ну, я очень рад, что вы мне советуете. Я, признаться, уже и рапорт командиру дивизиона подал, чтобы мальчика оформить. Пусть будет у меня хороший, смышлёный сынишка. Верно?

Капитан Енакиев крепко затянулся и стал медленно выпускать изо рта дым, продолжая сквозь этот дым задумчиво смотреть вдаль. И вдруг лицо его переменилось. Он немного повернул ухо в сторону переднего края и нахмурился. Ему показалось, что где-то далеко на правом фланге, в глубине немецкой обороны, начался сильный ружейный и миномётный огонь. Капитан Енакиев вопросительно посмотрел на-Ковалёва.

– Точно. Бьют. И довольно сильно, – сказал Ковалёв, вынимая ватку из уха.

Капитан Енакиев снова прислушался. Но теперь можно было и не прислушиваться. К звукам ружейной и миномётной перестрелки присоединился грохот артиллерии. Он был так громок, что разбудил некоторых солдат, которые вскочили и, сидя на земле, стали поправлять шлемы.

Капитан Енакиев сразу понял значение этого внезапного шквального огня на правом фланге. Случилось то худшее, что он и предполагал. Немцы успели подбросить сильные резервы, и теперь эти резервы громили две роты Ахунбаева, посланные в обход. Капитан Енакиев бросился к телефонному окопчику, чтобы соединиться с Ахунбаевым. Но в это время навстречу ему из окопчика выскочил сержант Матвеев, крича:

– Батарея – к бою!

Капитан резко отстранил его, спрыгнул в окоп.

– Командирский наблюдательный! – быстро сказал он.

– На проводе, – сказал телефонист и подал ему трубку, предварительно обтерев её рукавом.

– У телефона шестой, – сказал капитан Енакиев, делая усилие, чтобы говорить спокойно. – Что там у вас делается?

– В районе цели номер восемь наблюдается сильное движение противника. По-видимому, готовится к атаке. Накапливается.

– Какими силами?

– До батальона.

– Хорошо. Сейчас приду, – сказал капитан Енакиев и хотел швырнуть трубку, но вовремя сделал над собой усилие и не торопясь отдал её телефонисту.

Цель номер восемь находилась как раз на той самой высоте, которую собирался атаковать в лоб капитан Ахунбаев. Теперь уже вся картина была полностью ясна. Случилось самое тяжёлое из того, что можно было предполагать: немцы разгадали план Ахунбаева и опередили его.

И когда капитан Енакиев мчался на «виллисе» – на переднем крае он редко пользовался лошадью – напрямик через канавы и огороды к наблюдательному пункту, он услышал, как сзади беглым огнём бьёт его батарея и как низко над головой свистят её снаряды, а впереди начинается пехотный бой.

Командирский наблюдательный пункт был вынесен так далеко вперёд, что поле боя просматривалось с него простым глазом.

Достаточно было капитану Енакиеву посмотреть в амбразуру, чтобы сразу понять всю обстановку. Батальон немецкой пехоты спускался с возвышенности на ту самую роту капитана Ахунбаева, которая предназначалась для фронтальной атаки и ещё не развернулась.

Теперь капитан Ахунбаев, учитывая обстановку, мог сделать только две вещи: либо немного отступить и занять более выгодную оборону в старых немецких окопах по эту сторону лощины, что было вполне благоразумно; либо принять встречный бой с превосходящим его силы противником и немедленно ввести в дело единственную свою роту резерва, что было смело до дерзости.

Капитан Енакиев достаточно хорошо знал своего друга Ахунбаева. Не было сомнений, что он выберет встречный бой. И действительно, не успел Енакиев это подумать, как телефонист подал ему снизу, из своей ниши, телефонную трубку. Енакиев присел на корточки на дне окопа, чтобы пальба не мешала разговаривать, и услышал возбуждённый весёлый голос Ахунбаева:

– С кем говорю? Это вы, шестой?

– Шестой слушает.  
– Узнаёте меня по голосу?  
– Узнаю.  
– Прекрасно. Вам обстановка ясна?  
– Вполне.  
– Ввожу в дело резервы. Атакую. Поддержите.  
– Слушаюсь.  
– Через сколько времени ждать?  
– Через пятнадцать минут.  
– Долго.  
– Быстрее не могу.  
– Отстаёте, деточка, – пошутил Ахунбаев. И, несмотря на всю серьёзность обстановки, Енакиев принял его шутку.  
– Не мы отстаём, а вы, как всегда, спешите, – отшутился Енакиев, хотя на душе его было невесело. – Где вы находитесь?

– В точке, которая обозначена на вашей карте синим кружком со стрелкой.

- Понятно. Так мы – соседи.
- Милости просим.
- Сейчас будем вместе.
- Всегда рад.
- До свидания.
- Целую, обнимаю вас и всё ваше хозяйство.

Этот лёгкий, веселый разговор по телефону, который со стороны мог показаться пустым, на самом деле был полон глубочайшего смысла. Он обозначал требование Ахунбаева, чтобы его пехоту сопровождали пушки, и согласие Енакиева на это требование. Он обозначал вопрос Ахунбаева: «А ты меня, друг милый, не подведёшь в решительную минуту?» – и ответ Енакиева: «Не беспокойся, положишься на меня. В бою мы будем всё время вместе. Мы вместе победим, а если придётся умереть, то мы умрём тоже вместе».

После этого капитан Енакиев приказал по телефону первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и, не теряя ни секунды, передвинуться вперёд, сколько можно будет – на грузовиках, а дальше – на руках, вплотную до ротных порядков. Второму взводу он приказал всё время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Ахунбаева.

И тут же он вспомнил, что Ваня был в первом взводе. В первую секунду он хотел отменить своё приказание и выбросить вперёд второй взвод, а первый оставить на месте и прикрывать фланги. Он уже протянул руку к телефонной трубке, но вдруг решительно повернулся и, поручив ведение огня старшему офицеру, стал пробираться с двумя телефонистами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева.

Часть пути они прошли пригибаясь, а часть пришлось ползти, так как местность была ровная и откуда-то по ним уже несколько раз начинал бить пулемёт.

Командный пункт Ахунбаева представлял собою место посреди пустынного картофельного поля – здесь всюду были картофельные поля, – за двумя большими кучами картофельной ботвы, почерневшей от дождей.

Но капитана Ахунбаева здесь уже не было. Он ушёл вперёд с ротой резерва, оставив на месте связного и телефониста.

Енакиев был поражён быстротой, с которой действовал Ахунбаев. Теперь обстановка уже не казалась ему такой трудной. Конечно, вести встречный бой двумя ротами против батальона было нелегко. Но такой страстный, напористый, храбрый офицер, как Ахунбаев, мог обеспечить успех. Кроме того, в точности ещё не была известна судьба тех двух рот, которые пошли во фланг. Последние сведения были, что они окружены. Потом связь прекратилась. Но вполне возможно, что они вырвутся и ударят по немцам с тыла. И это решит исход боя.

Послав разведчиков встретить взвод и провести пушки по самой короткой и наиболее скрытой дороге в расположение пехоты, капитан Енакиев лёг за кучей ботвы, разложил карту и стал поджидать капитана Ахунбаева, чтобы вместе с ним решить, как надо действовать.

...Между тем Ваня вместе со своим расчётом мчался на грузовике к месту, назначенному капитаном Енакиевым. За ними едва поспевал грузовик второго орудия. Оба грузовика мчались сломя голову. И всё-таки сержант Матвеев, который, по своему обыкновению, ехал стоя, то и дело стучал прикладом автомата в кабину водителя, крича:



– Ну что же ты, Костя! Давай нажимай! Давай, давай, давай!

Орудие, прицепленное вместе со своим передком к грузовику, моталось и подскакивало, как игрушечное. Солдат на поворотах валяло. Они стучались шлемами, хватались друг за друга руками. Но никто при этом не смеялся. Не слышно было также и шуток, столь обычных в подобных случаях.

Лица у всех были грубые, неподвижные, словно вырубленные из дерева. А зелёные шлемы, надвинутые глубоко на глаза, при свете тёмного ветреного утра казались почти чёрными.

Ваня не знал, куда их везут. Они так быстро снялись, что мальчик не успел ни у кого спросить. Он только понимал, что их бросают в бой, который уже начался, и что в этом бою они будут действовать как-то необычно, не так, как всегда.

Подчиняясь общему настроению сурового и нетерпеливого ожидания, Ваня сидел, крепко вцепившись одной рукой в скамейку, а другой всё время ощупывая в кармане дистанционный ключ.

Его рот был плотно сжат, глаза серьёзно и вопросительно смотрели по сторонам, а маленькое лицо, казавшееся под большим шлемом ещё меньше и тоньше, так же как и у других солдат, было как бы вырезано из дерева.

Проехав не более двух километров без дороги, по вспаханным полям и огородам, машины спустились в низину, где навстречу им выбежал высокий солдат, ещё издали делая поднятыми над головой руками какие-то знаки.

Передний грузовик немного замедлил ход, и солдат вскочил на подножку.

– Давай, давай! – быстро сказал он водителю, показывая громадной чёрной рукой направление. – Давай полный, не останавливайся. Надо быстро проскочить через вон ту высотку. Видишь? Там он из миномёта достаёт.

Водитель резким рывком переставил рычаги, радиатор окутался паром, и машина с натужливым, ноющим звуком полезла в гору.

– Ну, как там дело? – спросил сержант Матвеев солдата, который продолжал стоять на подножке и показывать дорогу.

– У него там целый батальон против наших двух рот. Жара! Пехота огонька просит.

– А пехота чья?

– Ахунбаевская.

Сержант Матвеев с удовольствием кивнул головой:

– Сейчас дадим.

Ваня посмотрел на солдата и узнал в нём Биденко.

– Дяденька Биденко! – радостно закричал он. – Смотрите, я тоже тут. Шестым номером стою. У меня и ключ специальный есть, чтобы трубки ставить. Во, ключ!

Мальчик вытащил из кармана дистанционный ключ. Но Биденко не заметил Ваню. Как раз в это самое время грузовик выехал на опасную высоту. Теперь он мчался с предельной скоростью. А водитель всё жал и жал, ругаясь сквозь зубы и яростно дёргая рычаги.

Четыре мины одновременно разорвались вокруг грузовика. За стуком ящиков с патронами, за воем мотора, за гроыханием орудия, мотающегося сзади по рытвинам и колдобинам, мальчик не услышал ни их полёта, ни их разрыва. Он только вдруг увидел чёрный сноп земли, выброшенной вверх из картофельной грядки. Он почувствовал, как его толкнуло воздухом.

Всё же эти четыре мины разорвались недостаточно близко, чтобы причинить какой-нибудь вред. В следующую минуту грузовик проскочил опасное место. Теперь он быстро спускался под гору, в то время как позади весь гребень высоты уже был покрыт бурыми облаками взрывов.

– Ну, теперь будет кидать по пустому месту до вечера! – презрительно заметил Матвеев и потрогал свои щегольские усики и свои «севастопольские» полубачки, как бы желая убедиться, что они находятся на своём месте и не пострадали от обстрела.

– Стоп, – сказал Биденко.

Машина круто развернулась, так что орудие оказалось дулом к неприятелю, и остановилась. Номера соскочили на землю и стали снимать пушку с передка. И Биденко заметил Ваню:

– А, пастушок, друг милый! И ты здесь? Он схватил мальчика могучими руками, снял его с высокого грузовика и поставил на землю.

– Во, дядя Биденко, глядите! – возбуждённо сказал Ваня, показывая разведчику дистанционный ключ.

– Ишь ты, какой стал завзятый орудиец!

Биденко смотрел на мальчика радостно и вместе с тем несколько ревниво, стараясь разглядеть, какие улучшения и усовершенствования

ввели орудийцы во внешний вид его бывшего воспитанника. Усовершенствование было одно: орудийцы надели на мальчика шлем. Это ещё больше приблизило Ваню к бывалому солдату. В остальном же всё было по-прежнему. Правда, обмундирование Вани уже не имело прежнего ослепительного вида. Оно обмялось, потёрлось. На сапогах сделались толстые складки. Голенища осели. Рукав шинели в одном месте был промаслен орудийным салом.

Биденко в глубине души всё это даже нравилось. Это придавало его любимцу ещё более боевой вид.

Но всё же он не удержался, чтобы не сказать ворчливо:

– А обтрепался весь, вывалялся... Срам смотреть.

– Я, дяденька, не виноват. Иной раз приходится не раздеваемшись ночевать возле орудия, прямо на земле.

– Возле орудия! – с горечью сказал Биденко. – Небось у нас чище ходил. Всё-таки надо аккуратнее носить казённое обмундирование.

Ваня понимал, что Биденко это говорит только так, лишь бы поворчать. Он чувствовал, что Биденко его по-прежнему любит. Его сердце сразу согрелось, и ему захотелось рассказать Биденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время: что он уже один раз сам выпалил из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Енакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона.

Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, узнать, что у них слышно хорошенького, какие есть новые трофеи.

Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шёл бой. Каждая секунда была на вес золота. Много разговаривать не приходилось.

Как только пушки были сняты с передков и ящики с патронами выгружены – а это сделалось не более чем за полторы минуты, – сержант Матвеев подал новую, ещё ни разу не слышанную Ваней команду:

– На колёса!

Номера тотчас окружили пушку, подняли хобот, навалились на колёса – по два человека на каждое колесо, – пристегнули лямки к

колпакам колёс, крикнули, ухнули и довольно быстро покатали орудие по тому направлению, которое показывал знаками бежавший впереди Биденко.

Остальные солдаты схватили ящики с патронами и потащили их волоком следом за пушкой.

Мальчику никто ничего не сказал. Он сам понял, что ему надо делать. Он взялся за толстую верёвочную ручку ящика и попытался его сдвинуть с места. Но ящик был слишком тяжёл. Тогда Ваня недолго думая отбил дистанционным ключом крышку, положил себе на каждое плечо по длинному, густо смазанному салом патрону и побежал, приседая от тяжести, за остальными.

Когда он прибежал, орудие уже стояло возле большой кучи картофельной ботвы и было готово к бою. Недалеко находилось и другое орудие.

Капитан Енакиев тоже был здесь.

Ваня никогда ещё не видел его в таком положении. Он лежал на земле, как простой солдат, в шлеме, раскинув ноги и твёрдо вдавив в землю локти. Он смотрел в бинокль.

Рядом с ним, облокотившись на автомат, полулежал капитан Ахунбаев в пёстрой плащ-палатке, туго завязанной на шее тесёмочками. Возле него на земле лежала сложенная, как салфетка, карта. Ваня заметил на ней две толстые красные стрелы, направленные в одну точку.

Тут же лежали ещё два человека: наводчик Ковалёв и наводчик второго орудия, фамилии которого Ваня ещё не знал. Они оба смотрели в том же направлении, куда смотрел и командир батареи.

– Хорошо видите? – спросил капитан Енакиев.

– Так точно, – ответили оба наводчика.

– По вашему, сколько метров до цели?

– Метров семьсот будет.

– Правильно. Семьсот тридцать. Туда и давайте.

– Слушаюсь.

– Наводить точно. Стрелять быстро. Темпа не терять. От пехоты не отрываться. Особой команды не будет.

Капитан Енакиев говорил жёстко, коротко, каждую фразу отбивал точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем не весёлой, странной,

зловеще остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы.

– Открывать огонь сразу, по общему сигналу, – сказал капитан Енакиев.

– Одна красная ракета, – нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую сумку. – Я сам пуцу. Следите.

– Слушаюсь.

Ахунбаев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и с силой его дёрнул.

– Пошёл! – решительно сказал он и, не попрощавшись, широкими шагами побежал вперёд, туда, откуда слышалась всё учащавшаяся ружейная стрельба.

– Вопросов нет? – спросил капитан Енакиев наводчиков.

– Никак нет.

– По орудиям!

И оба наводчика поползли каждый к своему орудию. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг – а их было довольно много: и ба-тарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и головой, – все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли.

Кроме того, Ваня заметил, что иногда в воздухе раздаётся звук, похожий на чистое, звонкое чириканье какой-то птички. Теперь же ему стало ясно, что это посвистывают шальные пули. Тогда он понял, что находится где-то совсем близко от пехотной цепи. И сейчас же он увидел эту пехотную цепь. Она была совсем рядом.

Ваня давно уже видел впереди, посередине картофельного поля, ряд холмиков, которые казались ему кучками картофельной ботвы. Теперь он ясно увидел, что именно это и есть пехотная цепь. А за нею уже никого своих нет, а только немцы.

Тогда он, осторожно пригибаясь, подошёл к своему орудию, поставил снаряды на землю и лёг на своё место шестого номера, возле ящика.

Ване казалось, что всё то, что делалось в этот день вокруг него, делается необыкновенно, томительно медленно. В действительности же всё делалось со сказочной быстротой.

Не успел Ваня подумать, что было бы очень хорошо как-нибудь обратить на себя внимание капитана Енакиева, улыбнуться ему, показать дистанционный ключ, сказать: «Здравия желаю, товарищ капитан», – словом, дать ему понять, что он тоже здесь вместе со своим оружием и что он так же, как и все солдаты, воюет, – как впереди хлопнул слабый выстрел и взлетела красная ракета.

– По наступающим немецким цепям прямой наводкой – огонь! – коротко, резко, властно крикнул капитан Енакиев, вскакивая во весь рост.

– Огонь! – закричал сержант Матвеев. И в этот же самый миг, или даже, как показалось, немного раньше, ударили обе пушки. И тотчас они ударили ещё раз, а потом ещё, и ещё, и ещё. Они били подряд, без остановки. Звуки выстрелов смешивались со звуками разрывов.

Непрерывный звенящий гул стоял, как стена, вокруг орудий. Едкий, душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый металлический вкус.

Дымящиеся гильзы одна за другой выскакивали из канала ствола, ударялись о землю, подпрыгивали и переворачивались. Но их уже никто не подбирал. Их просто отбрасывали ногами.

Ваня не успевал вынимать патроны из укупорки и сдирать с них колпачки.

Ковалёв всегда работал быстро. Но сейчас каждое его движение было мгновенным и неуловимым, как молния. Не отрываясь от панорамы, Ковалёв стремительно крутил подъёмный и поворотный механизмы одновременно обеими руками, иногда в разные стороны. То и дело, закусив съеденными зубами ус, он коротко, злобно рвал спусковой шнур. И тогда пушка опять и опять судорожно дёргалась и окутывалась прозрачным пороховым газом.

А капитан Енакиев стоял рядом с Ковалёвым по другую сторону орудийного колеса и пристально следил в бинокль за разрывами своих снарядов. Иногда, чтобы лучше видеть, он отходил в сторону, иногда бежал вперёд и ложился на землю. Один раз он даже с необыкновенной лёгкостью взобрался на кучу ботвы и некоторое время стоял во весь рост, несмотря на то что несколько мин разорвалось поблизости и Ваня слышал, как один осколок резко щёлкнул по щиту пушки.

– Вот-вот. Хорошо. Ещё разик, – нетерпеливо говорил капитан Енакиев, снова возвращаясь к пушке и что-то показывая Ковалёву рукой. – А теперь

правей два деления. Видишь, там у них миномёт. Давай туда. Три штучки. Огонь!

Пушка снова судорожно дёргалась. А капитан Енакиев, не отрываясь от бинокля, быстро приговаривал:

– Так-так-так. Молодец, Василий Иванович, угодил в самую ямку. Замолчал, мерзавец. А теперь, пожалуйста, опять по пехоте. Ага, черти! Прижались к земле, не могут головы поднять. Дай им ещё, Василий Иванович.

Один раз, при особенно удачном выстреле, капитан Енакиев даже захохотал, бросил бинокль и похлопал в ладоши.

Никогда ещё Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживлённым, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром. Но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость – гордость сына за своего отца.

Вдруг капитан Енакиев поднял руку, и обе пушки замолчали. Тогда Ваня услышал торопливую, захлёбывающуюся скороговорку по крайней мере десяти пулемётов, собранных в одном месте. Звук был такой, что мальчика мороз подрал по коже. Он не понимал, хорошо это или плохо. Но когда он посмотрел на капитана Енакиева, то сразу понял, что это очень хорошо.

Впоследствии мальчик узнал от солдат, что это были двенадцать пулемётов Ахунбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко. Тогда они внезапно и все разом открыли огонь.

– Ага, бегут, – сказал капитан Енакиев. – А ну-ка, по отступающим немецким цепям – шрапнелью! Прицел тридцать пять, трубка тридцать пять. Огонь! – закричал он, и тогда пушки выстрелили каждая шесть раз; он снова лёгким движением руки остановил огонь.

Пулемёты продолжали заливаться, но теперь, кроме их машинного, обгоняющего друг друга звука, слышался уже знакомый звук многих человеческих голосов, кричавших в разных концах поля: «Ура-а-а-а!..»

– Вперёд! – сказал капитан Енакиев и, не оглядываясь, побежал вперёд.

– На колёса! – крикнул сержант Матвеев, у которого по щеке текла кровь.

И пушки снова покатались вперёд. Теперь они катились ещё быстрее. Навстречу им выбегали разгорячённые боем пехотинцы и с громкими, азартными криками помогали артиллеристам толкать спицы колёс. Другие несли или волокли ящики с патронами.

Между тем капитан Ахунбаев продолжал гнать немцев, не давая им залечь и окопаться. Двенадцать пулемётов были не единственным сюрпризом, приготовленным Ахунбаевым. Он держал в запасе миномётную батарею, которая тоже была надёжно укрыта и не сделала ещё ни одного выстрела.

Теперь, пока пушки были на ходу и не могли стрелять, настала очередь миномётной батареи. Она сразу сосредоточенным веером обрушилась на бегущих немцев. Немцы бежали так быстро, что преследующая их пехота, а вместе с нею и пушки долго не могли остановиться.

Не сделав ни одной остановки, пушки Енакиева продвинулись до середины возвышенности, откуда до основных немецких позиций было рукой подать. Здесь немцам удалось зацепиться за длинный ров огорода. Они стали окапываться. Но в это время подоспели пушки. Бой разгорелся с новой силой.

Теперь пушки стояли среди стрелковых ячеек. Справа и слева Ваня видел лежащих на земле стреляющих пехотинцев. Он видел раздатчиков патронов, которые быстро бежали и падали позади стрелков, волоча за собой цинковые ящики. Ваня слышал крики офицеров, командующих залпами.

Вся земля была вокруг изрыта дымящимися воронками. Всюду валялись стреляные пулемётные ленты с железными гильзами, раздавленные немецкие фляжки, обрывки кожаного снаряжения с тяжёлыми цинковыми крючками и пряжками, неразорвавшиеся мины, порванные в клочья немецкие плащ-палатки, окровавленные тряпки, фотокарточки, открытки и множество того зловещего мусора, который всегда покрывает поле недавнего боя.

Несколько немецких трупов в тесных землисто-зелёных мундирах и больших серых резиновых сапогах валялось недалеко от пушек.



Сначала Ване показалось, что здесь они простоят долго.

Но, видя, что атака захлёбывается, капитан Ахунбаев выложил свой третий, и последний, козырь: это был свежий, ещё совсем не тронутый взвод, который капитан Ахунбаев приберёт на самый крайний случай. Он подвёл его скрытно, с необыкновенной быстротой и мастерством развернул и лично повёл в атаку мимо орудия Енакиева – на самый центр немцев, не успевших ещё как следует окопаться.

Это была минута торжества. Но она пролетела так же стремительно, как и всё, что делалось вокруг Вани в это утро.

Едва орудийный расчёт взялся за лопаты, чтобы поскорее закрепиться на новой позиции, как Ваня заметил, что вдруг всё вокруг изменилось как-то к худшему. Что-то очень опасное, даже зловещее показалось мальчику в этой тишине, которая наступила после грохота боя.

Капитан Енакиев стоял, прислонившись к орудийному щиту, и, прищурившись, смотрел вдаль. Ваня ещё никогда не видел на его лице такого мрачного выражения. Ковалёв стоял рядом и показывал рукой вперёд. Они негромко между собой переговаривались. Ваня прислушался. Ему показалось, что они играют в какую-то игру-считалку.

– Один, два, три, – говорил Ковалёв.

– Четыре, пять, – продолжал капитан Енакиев.

– Шесть, – сказал Ковалёв.

Ваня посмотрел туда, куда смотрели командир и наводчик. Он увидел мутный, зловещий горизонт и над ним несколько высоких остроконечных крыш, несколько старых деревьев и силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не увидел.

В это время подошёл капитан Ахунбаев. Его лицо было горячим, красным. Оно казалось ещё более широким, чем всегда. Пот, чёрный от копоти, струился по его щекам и капал с подбородка, блестящего, как помидор. Он утирал его краем плащ-палатки.

– Пять танков, – сказал он, переводя дух. – Направление на водокачку. Дальность три тысячи метров.

– Шесть, – поправил капитан Енакиев. – Расстояние две тысячи восемьсот.

– Возможно, – сказал Ахунбаев.

Капитан Енакиев посмотрел в бинокль и заметил:

– В сопровождении пехоты.

Капитан Ахунбаев нетерпеливо взял из его рук бинокль и тоже посмотрел. Он смотрел довольно долго, водя биноклем по горизонту. Наконец он вернул бинокль.

– До двух рот пехоты, – сказал Ахунбаев.

– Приблизительно так, – сказал капитан Енакиев. – Сколько у вас осталось штыков?

Ахунбаев не ответил на этот вопрос прямо.

– Большие потери, – с раздражением сказал он, перевязал на шее тесёмочки плащ-палатки, подтянул осевшие голенища сапог и широкими шагами побежал вперёд, размахивая автоматом.

Как ни тихо вёлся этот разговор, но в тот же миг слово «танки» облетело оба орудия.

Солдаты, не сговариваясь, стали копать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Твёрдо помня своё место в бою, Ваня бросился к патронам.

И в это время Енакиев заметил мальчика.

– Как! Ты здесь? – сказал он. – Что ты здесь делаешь?

Ваня тотчас остановился и вытянулся в струнку.

– Шестой номер при первом орудии, товарищ капитан, – расторопно доложил он, прикладывая руку к шлему, ремешок которого никак не затягивался на подбородке, а болтался свободно.

Тут, надо признаться, мальчик немножко слукавил. Он не был шестым номером. Он только был запасным при шестом номере. Но ему так хотелось быть шестым номером, ему так хотелось предстать в наиболее выгодном свете перед своим капитаном и названным отцом, что он невольно покривил душой.

Он стоял навтыжку перед Енакиевым, глядя на него широко раскрытыми синими глазами, в которых светилось счастье, оттого что командир батареи наконец его заметил.

Ему хотелось рассказать капитану, как он переносил за пушкой патроны, как он снимал колпачки, как недалеко упала мина, а он не испугался. Он хотел рассказать ему всё, получить одобрение, услышать весёлое солдатское слово: «Силён!»

Но в эту минуту капитан Енакиев не был расположен вступать с ним в беседу.

– Ты что – с ума сошёл? – сказал капитан Енакиев испуганно.

Ему хотелось крикнуть: «Ты что – не понимаешь? На нас идут танки. Дурачок, тебя же здесь убьют. Беги!» Но он сдержался. Строго нахмурился и сказал отрывисто, сквозь зубы:

– Сейчас же отсюда уходи.

– Куда? – сказал Ваня.

– Назад. На батарею. Во второй взвод. К разведчикам. Куда хочешь.

Ваня посмотрел в глаза капитану Енакиеву и понял всё. Губы его дрогнули. Он вытянулся сильнее.

– Никак нет, – сказал он.

– Что? – с удивлением переспросил капитан.

– Никак нет, – повторил мальчик упрямо и опустил глаза в землю.

– Я тебе приказываю, слышишь? – тихо сказал капитан Енакиев.

– Никак нет, – сказал Ваня с таким напряжением в голосе, что даже слезы показались у него на ресницах.

И тут капитан Енакиев в один миг понял всё, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное – уже нет времени.

Чуть заметная улыбка, молодая, озорная, хитрая, скользнула по его губам. Он вынул из полевой сумки листок серой бумаги для донесений, приложил его к орудийному щиту и быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листок в небольшой серый конвертик и заклеил.

– Красноармеец Солнцев! – сказал он так громко, чтобы услышали все.

Ваня подошёл строевым шагом и стукнул каблуками:

– Я, товарищ капитан.

– Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба. Понятно?

– Так точно.

– Повторите.

– Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба, – автоматически повторил Вайя.

– Правильно.

Капитан Енакиев протянул конверт.

Так же автоматически Ваня взял его. Расстегнул шинель и глубоко засунул пакет в карман гимнастёрки.

– Разрешите идти?

Капитан Енакиев молчал, прислушиваясь к отдалённому шуму моторов. Вдруг он быстро повернулся и коротко бросил:

– Ну? Что же вы? Ступайте! Но Ваня продолжал стоять навтыжку, не в силах отвести сияющих глаз от своего капитана.

– Что же ты? Ну! – ласково сказал капитан Енакиев. Он притянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто прижал его к груди. – Выполний, сынок, – сказал он и слегка оттолкнул Ваню рукой в потёртой замшевой перчатке.

Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и, не оглядываясь, побежал. Не успел он пробежать и ста метров, как услышал за собой оружейные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Енакиева.

Когда Ваня, трудно дыша и обливаясь потом, добежал до артиллерийских позиций и наконец разыскал командный пункт дивизиона, на той высоте, где он оставил капитана Енакиева, уже давно кипел бой.

Вся высота была сплошь покрыта смешавшимися клубами белого, чёрного и серого дыма, тугого и кудрявого, как новая овчина. В дыму мигали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем, как будто всё время где-то распахивали и запахивали огромные ворота.

И десятки снарядов наших ближних и дальних батарей каждый миг проносились над головой по направлению к этой высоте.

Не глядя на Ваню, начальник штаба взял пакет, прочитал, нахмурился, сказал:

– Да. Я уже знаю.

И положил пакет в папку боевых донесений.

Ваня вышел из штабного' блиндажа и побежал назад. Только теперь он заметил, что бой идёт не только на той высоте, где находился капитан Енакиев.

Теперь бой уже шёл по всему фронту, медленно перемещаясь на запад.

Ваня бежал, а мимо него, обгоняя, проносились грузовики мотомеханизированной пехоты; танки косо переваливались через глубокие канавы, как утки; на вид медленно, а на самом деле быстро двигались, скрежеща гусеницами, самоходные пушки; бежали со своими палками и катушками телефонисты, наращивая свои линии; ехал на прыгающем «виллисе» генерал в дымчатой папахе с красным верхом, держа перед глазами карту, развёрнутую, как газета.

Словом, всё вокруг перемещалось, всё было в движении, всё торопилось вперёд. Ваня с трудом узнавал знакомую местность, которая, казалось, тоже переменилась, стала какой-то чужой, странной. Ваня не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил своё оружие. Ему казалось, что прошло несколько минут. На самом деле прошло несколько часов. Он думал, что на высоте продолжается бой, и очень торопился.

Он не знал, что там уже давно всё кончено: танки уничтожены, атака отбита, взятая высота закреплена, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это всё случилось. Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение сорока минут отбивались от окружавших их немцев ручными гранатами, а когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседавать, то капитан Енакиев позвонил в дивизион и вызвал огонь батарей дивизиона на себя.

Ничего этого Ваня не знал. Но необъяснимая тревога мало-помалу охватила его душу, когда он стал приближаться к знакомому месту.

Впрочем, это место тоже теперь было незнакомым. Ваня с трудом узнавал его.

Вот позиция, откуда они первый раз стреляли прямой наводкой. Ваня узнал её только по куче картофельной ботвы, немного сбитой набок, когда на неё взбирался капитан Енакиев. Возле этой кучи раньше лежал пустой расколовшийся ящик от патронов. Он и сейчас лежал здесь. Но теперь из него кто-то неизвестно зачем вынул внутренние перегородки с луночками для патронов и бросил их тут же, на замёрзшую землю.

Больше ничего знакомого не было. Главное, не было тех людей, которые тогда здесь находились и которые-то и делали это место знакомым.

Мальчик пошёл дальше.

На том поле, где раньше лежала в цепи пехота Ахунбаева, теперь дымился обугленный грузовик, со всех сторон окружённый взорвавшимися и разлетевшимися орудийными патронами. И Ваня понял, что это был грузовик, который, наверное, пытался подвезти капитану Енакиеву патроны.

Ещё дальше Ваня увидел два разбитых немецких танка, которых тут раньше не было. Из одного развороченного танка торчала нога в серой обгоревшей обмотке и в толстом башмаке, подбитом стёршимися железными гвоздиками. Возле другого танка, с расщеплённым орудийным стволом, в воронке валялась какая-то треснувшая склянка, похожая на электрическую лампочку. Из этой склянки медленно вытекала густая прозрачная жидкость, горя неподвижным пламенем – жёлтым и неярким, как фосфор.

Дальше всё поле было изрыто воронками. Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Всё время приходилось опускаться вниз и подниматься вверх. Ваня прошёл по этому полю шагов тридцать и совсем устал.

Горячий пот покрывал его голову под тяжёлым шлемом. Тяжёлая шинель давила на плечи.

Несколько незнакомых артиллеристов прошли мимо Вани. На спине у одного из них был зелёный ящик с зелёной антенной, похожей на камышинку с тремя узкими листьями.

Проехал незнакомый артиллерийский капитан на незнакомой рослой вороной кобыле и за ним – незнакомый разведчик с автоматом на шее.

Всё вокруг было незнакомым, чужим под этим сумрачным, низким небом, откуда холодный ветер нёс первые снежинки.

И вдруг Ваня увидел свою пушку. Она стояла немного накренившись, и вместо одного колеса, которого почему-то не было, её подпирало несколько ящиков от патронов, поставленных один на другой. Недалеко от пушки стоял грузовик с откинутым бортом, и несколько человек в него что-то осторожно грузили.

С замершим, почти остановившимся сердцем мальчик подошёл ближе.

Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись кучи стреляных гильз, пулемётные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, раздавленные гильзы, порванные письма, документы.

И на лафете знакомой пушки, которая одна среди этого общего уничтожения казалась сравнительно мало пострадавшей, сидел капитан Енакиев, низко свесив голову и руки и боком, всем телом повалившись на открытый затвор.

Ване показалось, что капитан Енакиев спит. Мальчик хотел броситься к нему, но какая-то могучая враждебная сила заставила его остановиться и окаменеть.

Он неподвижно смотрел на капитана Енакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит.

Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Енакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем валялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Енакиева серые волосы, в которые уже набилось немного снега.

Лица капитана Енакиева не было видно, так как оно было опущено слишком низко. Но оттуда всё время капала кровь. Её уже много натекло под лафет – целая лужа.

Руки капитана Енакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями. Между тем ноги в тонких старых, но хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты, и казалось, вот-вот поползут, царапая землю каблуками.

Ваня смотрел на него, знал наверное, что это капитан Енакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек – неподвижный, непонятный, страшный, а главное – чужой, как и всё, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика.

И вдруг чья-то рука тяжело, но вместе с тем нежно опустилась на Ванин погон. Ваня поднял глаза и увидел Биденко. Разведчик стоял возле него, большой, добрый, родной, и ласково улыбался.

Одна его могучая рука лежала на Ванином плече, а другую руку, толсто забинтованную и перевязанную окровавленной тряпкой, он

держал, неумело прижимая к груди, как ребёнка.

И вдруг в душе у Вани будто что-то повернулось и открылось. Он бросился к Биденко, обхватил руками его бёдра, прижался лицом к его жёсткой шинели, от которой пахло пожаром, и слезы сами собой полились из его глаз.

– Дяденька Биденко... дяденька Биденко... – повторял он, вздрагивая всем телом и захлёбываясь слезами.

А Биденко, осторожно сняв с него тяжёлый шлем, гладил его забинтованной рукой по тёплой стриженной голове и смущённо приговаривал:

– Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь! На то война.

## 26

В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Он написал её перед тем, как вызвать огонь на себя. Хотя она была написана второпях, но можно было подумать, что капитан Енакиев писал её в совершенно спокойной обстановке, у себя в блиндаже. Такая она была аккуратная, чёткая, без единой помарки.

А между тем в ту страшную, последнюю минуту, когда он её писал, вокруг него почти уже никого не осталось.

Капитан Ахунбаев лежал на земле, раскинув из-под плащ-палатки руки. Пуля пробила его широкий упрямый лоб в самой середине. Только что Ковалёв сел на землю в такой позе, как будто он хотел снять сапог и перемотать портянку, но вдруг повалился на бок и больше уже не двигался.

Однако капитан Енакиев в своей записке не забыл проставить число, месяц, год и час, когда он её писал. Он даже обозначил место: «В районе цели номер восемь». Подписав свою фамилию, не забыл поставить точку.

Записка была свёрнута треугольником и положена в наружный карман гимнастёрки с таким расчётом, чтобы её легко можно было найти.

В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил



командование оказать ему последнюю воинскую почесть – похоронить его не в Германии, а на родной, советской земле.

Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии – достойного офицера.

Последняя воля капитана Енакиева была свято выполнена: его похоронили на советской земле.

...После того как вьюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцева потребовали на командный пункт полка, к командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдата обозначает перемену судьбы.

Командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в суворовское училище, и сказал:

– Собирайся.

А через четыре дня по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шёл Ваня Солцев в сопровождении ефрейтора Биденко.

Они шли не спеша, с тем выражением достоинства и некоторого скрытого недовольства, с которым обычно ходят фронтовики по улицам тылового города, удивляясь тишине и беспорядку его жизни.

Биденко шёл налегке, с подвязанной рукой. За спиной у мальчика был зелёный вещевой мешок. В этом мешке лежало множество нужных и ненужных вещей, которые подарили Ване разведчики и орудейцы, соединёнными усилиями собирая своего сына в дальнюю путь-дорогу.

Была в вещевом мешке и знаменитая торба с букварём и компасом. Был кусок превосходного душистого мыла в розовой целлулоидной мыльнице и зубная щётка в зелёном целлулоидном футляре с дырочками. Был зубной порошок, иголки, нитки, сапожная щётка, вакса. Была банка свиной тушёнки, мешочек рафинада, спичечная коробочка с солью и другая спичечная коробочка – с заваркой чаю. Была кружка, губная гармоника, трофейная зажигалка, несколько зубчатых осколков и два патрона от немецкого крупнокалиберного пулемёта – один с жёлтым снарядиком, другой с чёрным. Была буханка хлеба и сто рублей денег.

Но, главное, там были тщательно завёрнутые в газету «Суворовский натиск», а сверх того ещё в платок погоны капитана

Енакиева, которые на прощание вручил Ване командир полка на память о капитане Енакиеве и велел их хранить как зеницу ока и сберечь до того дня, когда, может быть, и сам он сможет надеть их себе на плечи.

И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник сказал так:

– Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева – хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я надеюсь, ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду: всегда и везде, прежде всего и после всего ты должен быть верным сыном своей матери-родины. Прощай, Ваня Солнцев, и, когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя как родного. А теперь – собирайся.

Ваня и Биденко прошли через весь город, заваленный сугробами, и остановились перед большим домом екатерининских времён, с колоннами и арками.

Город в сорок втором году некоторое время находился в руках у немцев, и дом этот в иных местах ещё хранил на себе следы пожара.

Узорная чугунная решётка была покрыта инеем. Несколько столетних берёз росло вокруг дома. Воздушные массы ветвей с тёмными шапками вороньих гнёзд, так же как и решётка, покрытая инеем, хрупко висели в нежном, розоватом воздухе и казались совершенно голубыми.

Низкое солнце, лишённое лучей, плавало в морозном дыму, как яичный желток, и над старинной пожарной каланчой с выгоревшими стенами летали галки.

Биденко и Ваня прошли через контрольную будку, и в громадных сводчатых сенях Биденко сдал Ваню и пакет с документами дежурному офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и принялся ждать.

Он ждал довольно долго. Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил. Раздирающие звуки трубы оглушительно ревели в этих просторных сенях с каменными толстыми

стенами и каменными плитами пола. Они уносились вверх по громадной каменной лестнице с медными перилами, медленно утихали, и только слабое эхо ещё долго носилось где-то в глубине здания по коридорам, классам и залам.

Здесь всё совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканья сотен ног. Она же вдруг водворяла такую мёртвую тишину, что ни одного звука больше не слышалось, кроме шлёпанья капли из рукомойника в умывальной и резкого

тиканья часов под лестницей. Один раз труба приказала выстроиться невидимой роте, и Биденко слышал, как в тишине где-то строилась эта невидимая рота, рассчитываясь на первый-второй, сдваивала ряды, поворачивалась, а потом быстро прошла, враз отбивая шаг сотней крепких башмаков: «Ать-два, ать-два, ать-два... Лево! Лево!»

А один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик в чёрном мундирчике и длинных брюках с красными лампасами. Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время и он это сделал сам по себе, без спросу.

Думая, что он один, мальчик лёг животом на перила и с выражением блаженства на курносом веснушчатом лице съехал вниз. Но, заметив Биденко, страшно смутился, обдёрнул мундирчик и строевым шагом прошёл по каменным потёртым плитам, юркнув в боковую дверь.

А Биденко сидел пригорюнившись и гладил свою раненую руку, которая к вечеру стала побаливать. Ему жалко было расставаться с Ваней, потому что он чувствовал, что теперь они расстанутся навсегда.

На первой площадке лестницы висела большая, во всю стену, картина. На ней была нарисована белая лестница, похожая на ту, над которой она висела. Нарисованная лестница казалась продолжением настоящей. По сторонам её были нарисованы старинные пушки, барабаны, знамена и трубы. По ступеням поднимался маленький мальчик в чёрном мундирчике с красными погонами. Сверху к нему протягивал руку Суворов в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над высоким сухим лбом.

И Биденко представилось, что это его Ваня, его пастушок между труб и знамён шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку.

Но вот открылась боковая дверь, и в сени вошли дежурный офицер и Ваня. Биденко вскочил с ларя и вытянулся. Биденко ожидал увидеть Ваню уже в форме суворовского училища. Но мальчик ещё был в своём армейском обмундировании, хотя без шинели и без чубчика, который уже успели состричь.

– Воспитанник Солнцев, можете проститься с провожатым, – сказал дежурный офицер и отошёл в сторону.

Ваня подошёл к Биденко. Они некоторое время молчали, не зная, что нужно делать.

В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь. И он понял, что эта жизнь навсегда кончилась, а теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

– Прощай, пастушок, – сказал наконец Биденко.

– Счастливого пути, – сказал Ваня.

Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда, у разбитого орудия в районе цели восемь, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная, могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его.

Биденко молча протянул ему руку. В первый раз мальчик пожал эту громадную, грубую руку, почувствовал всю её силу и всю её нежность. И в это время Биденко не удержался и опять, как тогда в районе цели номер восемь, погладил Ванину стриженую голову своей забинтованной рукой.

– Дядя Биденко, прощайте! – вдруг изо всех сил крикнул Ваня, когда Биденко открывал тяжёлую входную дверь с медными пружинами.

Но разведчик, не оглянувшись, вышел на улицу.

А через несколько часов, получив у каптенармуса и примерив форменное обмундирование, с тем чтобы надеть его на другой день с

утра, Ваня, исполняя приказание трубы, уже спал вместе с другими воспитанниками в большой тёплой комнате, на отдельной кровати, под новеньким байковым одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъёмом, старый генерал, начальник училища, который всегда просыпался раньше всех, обходил, по своему обыкновению, спальни, для того чтобы посмотреть, как спят его мальчики.

Он остановился возле Ваниной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоко, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение.

Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была так далека от тела, что он не почувствовал как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку.

Генерал смотрел на его одухотворённое спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую её глубину, прочесть самые его сокровенные чувства.

Генералу была известна Ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батарее мальчика прозвали пастушком. И это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи. Он любил иногда вспоминать своё детство.

И теперь, глядя на спящего пастушка, генерал – совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко, – вспомнил своё детство: раннее деревенское утро, коров, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зелёному лугу, разноцветные искры росы – огненно-фиолетовые, синие, красные, жёлтые, – и в руках у себя вспомнил маленькую, вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные однообразные и вместе с тем весёлые звуки.

Он невольно посмотрел на руку мальчика, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирали скважины свирели.

И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под Царицыном, под Кронштадтом и под Орлом и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, – этот мужественный, суровый человек, с седой лысой головой, грубым морщинистым

лицом и светлыми бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по сивым усам и-нежно улыбнулся.

И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравшей подъём.

Ваня тотчас услышал властный, резкий, требовательный голос трубы, но проснулся не сразу. Он ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна.

Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку.

В то самое время Ване снился последний, предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву.

Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вёз тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своём зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шее стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах.

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещённые звёздами, блестели, словно были натёрты фосфором.

Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высоки. По сравнению с ними телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но ещё выше было небо, всё засыпанное зимними звёздами. Особенно прекрасно сверкали звёзды впереди, на том чёрном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были выгранены из самых лучших и самых крупных алмазов в мире.

Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звёздам. Но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск – они играли ещё ярче, ещё прекраснее.

А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звёзд и даже выше самого чёрного бездонного неба.

Внезапно какой-то далёкий звук раздался в тёмной глубине леса. Ваня сразу узнал его: это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас всё волшебным образом изменилось. Ели по сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес

превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окружённую пушками, барабанами и трубами.

И Ваня бежал по этой лестнице.

Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом.

Он взял Ваню за руку и повёл его по ступенькам ещё выше, говоря:

– Иди, пастушок... Шагай смелее!

*Москва, 1944.*

## *Киноповесть*

Концертный зал консерватории в одном из больших южных городов на Черном море. 1918–1919 годы. Эстрада обставлена с претензией, в виде некоего салона. Кресла, кушетка, диван, рояль. Посредине – небольшой бамбуковый столик, покрытый бархатной скатертью, лампа. В «салоне» в напряженно небрежных позах разместились провинциальные поэты. На столике декоративно брошена большая афиша: «Вечер поэтов». В числе поэтов Тарасов, рядом с ним Орловский, Арчибальд Гуральник, студент в обдрипанных штанах и многие другие. За роялем пианист, который аккомпанирует выступающей поэтессе. Поэтесса стоит у рампы и жеманно читает свои стихи.

Это мелодекламация. Публики в зале довольно много.

### **Поэтесса.**

Мне снился сон, что я маркиза  
И что виконт в меня влюблен.  
Мои малейшие капризы  
Всегда готов исполнить он.

Он о любви твердит послушно –  
В камзоле, в белом парике, –  
А я внимаю равнодушно  
И думаю... о пастушке.

Ах, почему я не пастушка,  
Ах, почему мы не вдвоем...  
И горько вздрагивает мушка  
Над маленьким пунцовым ртом.



Публика аплодирует. Поэтесса и аккомпаниатор жеманно раскланиваются. Поэтесса идет на свое место и томно, с плохо скрытым торжеством, опускается на козетку. На эстраду выходит Аметистов – устроитель вечера, он же конференсье. Чрезвычайно развязен.

**Аметистов.** Сейчас выступит поэт Арчибальд Гуральник!

Слабые аплодисменты. С кресла встает Арчибальд Гуральник и идет к рампе. Это довольно известный в городе провизор, владелец небольшой аптеки – Арон Гуральник. Арчибальд – это его псевдоним. На нем зловещий фрак. Кривое пенсне на черной ленте, заложенной за ухо, еле держится на потном, деревянном носу. У Арчибальда Гуральника вид высокомерный и несколько безумный. Говорит он с завыванием и необыкновенно назидательно.

**Гуральник.** Я вам сейчас прочту небольшое стихотворение из цикла «Глаза сатаны» под названием «Бокал с ядом». *(Откашливается.)*

**Тарасов** *(наклоняясь к Орловскому)*. Ну, мы сейчас хлебнем горя.

**Орловский.** Когда провизор пишет стихи, это кошмар.

**Гуральник.**

Я не мудрец, не гений, не философ,  
Не Спенсер я, не Гегель, не Сократ.  
Не занимаюсь я решением вопросов  
И потому мудрее их стократ.

Среди поэтов оживление, кто-то тихонько хихикает.

*(Строго оглянувшись.)*

В моей руке бокал цианистого кали,  
И прямо надо мной – божественная твердь.  
Хотя я страшный яд держу в моем бокале,  
Я никогда не славословлю смерть.

Я славословлю жизнь! Я славословлю женщин!  
Пьянящий поцелуй вакханки молодой...

В публике, в первом ряду, сидят жена Гуральника и взрослая дочь. Они очень переживают выступление главы семьи.

**Мадам Гуральник.** Арон, ты торопишься, как на пожар. Не так быстро.

**Дочь.** Папа, не волнуйся.

**Гуральник** (*делает великолепный жест ладонью вниз*). Не беспокойтесь!

...Пьянящий поцелуй вакханки молодой...

В этот миг на улице раздается несколько винтовочных выстрелов. Небольшой фрагмент уличного боя. Шальная пуля разбивает верхнее стекло высокого консерваторского окна. Падают треугольные осколки. Штукатурка сыплется с карниза на фрак Гуральника. В публике тревога. Но Гуральник величественно опускает руку ладонью вниз и водворяет спокойствие.

Не беспокойтесь. Это стреляют на Малой Арнаутской.  
(*Продолжает декламировать.*)

...Пьянящий поцелуй вакханки молодой...

В зале и на эстраде хихикают. Гуральник строго смотрит на публику через пенсне. Внутри кассы Аметистов и кассирша в каракулевом саке. Кассирша укладывает деньги в переносную несгораемую кассу-шкатулку.

**Аметистов.** Сколько в кассе?

**Кассирша.** Триста восемьдесят миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч с копейками.

**Аметистов** (*потирая руки*). Фантастика. В городе переворот, а публика идет. Никуда не идет, а к нам идет!

**Кассирша**. Поэзия. (*Презрительно пожимает плечами.*)

**Аметистов**. Дай бог ей здоровья. Запирайте кассу.

Возле запертой двери в зал. Аметистов подходит к двери и приоткрывает ее. Смотрит в зал. Видит: на эстраде студент в обдрипанных штанах.

**Студент** (*декламирует нараспев в духе Северянина*):

Я с гривуазной куртизанкой на фешенебельной машине  
Люблю лететь по Ришельевской пить кюрасо на  
Ланжерон...

**Аметистов** (*с отвращением, закрывая дверь*). А рубленые котлеты ты не любишь? Тьфу! Голодранец.

Аметистов идет по коридору.

Эстрада. Выступает Орловский.

**Орловский**.

Еще пожар на гребнях крыш  
Бушует при народных кликах,  
Еще безумствует Париж  
И носит головы на пиках,

А уж, подняв лицо от карт,  
В окно своей мансарды тесной  
На толпы смотрит Бонапарт –  
Поручик, миру не известный.

С улыбкой жесткой на лице  
Он, силой внутреннего взора,

Проводит отблеск термидора  
На императорском венце.

Публика холодно похлопывает. Орловский с презрительной улыбкой идет на свое место и садится рядом с Тарасовым.

На улице два выстрела.

**Орловский** (*Тарасову*). Ну? Стоит им читать? Что они понимают в настоящих стихах?

**Тарасов**. А по-моему, Сережа, твои стихи им понравились.

**Орловский**. Ты думаешь?

**Тарасов**. Безусловно.

**Орловский**. А тебе?

Публика начинает нетерпеливо стучать ногами и аплодировать.

**Голоса**. Тарасова! Тарасова!

На эстраду из-за кулис выходит Аметистов и сзади наклоняется к Тарасову.

**Аметистов**. Сейчас я тебя выпущу.

**Тарасов**. А дублоны?

**Аметистов**. Будут.

**Тарасов**. Я их не вижу.

**Аметистов**. Можешь мне поверить. Еще не подсчитали кассу. Как только подсчитают, сейчас же получишь.

Аплодисменты усиливаются. Крики: «Тарасова!»

Публика нервничает. Я тебя умоляю. Иди.

**Тарасов**. Пистолы! Пезеты! Рупии!

**Аметистов**. Клянусь матерью. Святой истинный крест.

**Тарасов**. Но имей в виду, Аметистов!

**Аметистов**. Конечно. (*Идет к рампе, объявляет.*) Сейчас выступит поэт (*делает паузу*) Николай Тарасов.

Взрыв аплодисментов. Тарасов встает. Поэты тоже хлопают. Аметистов воровато уходит на цыпочках за кулисы.

**Орловский.** Видишь, как тебя любят. Что ты будешь читать?

**Тарасов** *(похлопывая себя по карману)*. Я тебе еще не читал. Новенькое. *(Идет к рампе.)*

**Голоса из публики.** Тарасов, «Зимнюю ночь»! «Рыбаков»! «Фальстафа»! «Сказку»!

**Тарасов.** Зачем? У меня есть новое. Только что написал. Сейчас попробуем. *(Вынимает из кармана клеенчатую общую тетрадь, на которой выскоблены якоря, сердца, инициалы – типичная гимназическая общая старенькая тетрадь. Похлопывает по ней ладонью.)* Еще горяченькие. Только что из духовки. *(Читает.)* «Море». *(Задумывается.)* А может быть, и не «Море». Еще не знаю. Одним словом:

Посмотри, как по заливу  
Крепкий ветер волны пенит,  
Свищет в мачтах, треплет вымпел,  
Брызги свежие несет.  
Посмотри, как круглый парус,  
Голубого ветра полный,  
Плоскодонную шаланду  
В море яростное мчит!

**Гуральник** *(наклоняясь к Орловскому)*. А? Это стихи! Это вещь!

**Орловский.** Помолчите!

**Тарасов** *(продолжает, размахивая тетрадью)*.

Скрылся берег. Только парус,  
Голубого ветра полный,  
Только волны, только небо,  
Только жемчуг за кормой.  
Хорошо в открытом море  
Среди синих брызг летучих,

Среди чаек в сизых тучах,  
Между небом и водою  
Ветру с парусом вдвоем!

**Поэтесса** (*наклоняясь к студенту*). Изумительно!  
**Студент**. Недурно.

В это время отряд матросов и красногвардейцев занимает все входы и выходы. Среди них в одной двери – матрос Царев и Оля Данилова, в другой – солдат и т. д. Они слушают чтение. Их никто не замечает.

**Тарасов**.

Неужели ты не знаешь,  
Неужели ты не видишь,  
Неужели ты не хочешь  
Оплянуться и понять,  
Что в тумане тонет берег,  
Что вокруг бушуют волны,  
Вьются чайки в черных тучах,  
Крепнет ветер штормовой.

Оля Данилова слушает в дверях, полуоткрыв рот.

Неужели ты не видишь,  
Неужели ты не знаешь,  
Что моя душа, как парус,  
Переполнена тобой!

Овация. И вдруг голос Царева.

**Царев**. Здравствуйте.

Тишина. Публика видит в дверях вооруженных. Пауза.

*(Поднимая маузер.)* С места не сходить. Тихо. Что за собрание?

**Тарасов.** Вечер поэтов.

**Царев.** Какой политической организации?

**Тарасов.** Никакой. Мы политикой не занимаемся.

**Царев.** На! Собралось триста человек в одном помещении – и не занимаются политикой. Кому вы говорите! Чем же вы тогда занимаетесь?

**Гуральник** *(бурно вскакивая с места)*. Поэзией! Вы слышите: по-э-зи-ей!

**Мадам Гуральник.** Замолчи, тебя не спрашивают.

**Дочь.** Папа, не волнуйся.

**Гуральник.** Не беспокойтесь.

**Солдат** *(он уже давно кипит)*. Да что ты с ними цацкаешься? *(Поднимает винтовку, страшным голосом.)* Какая ваша платформа, душа с вас вон?!

**Царев.** Тихо!

Оля Данилова показывает на афишу, наклеенную возле двери.

**Оля.** У них вечер поэтов. Это бывает.

**Тарасов.** Вот, вот. Именно вечер поэтов. Тонко подмечено. Можно продолжать?

**Оля.** Ух, какой вы скорый!..

**Тарасов** *(всматриваясь в Олю)*. Откуда ты, прелестное дитя?

**Оля.** Кто? Я?

**Тарасов.** Конечно. Какой сюрприз!

**Оля.** А чего сюрприз?

**Тарасов.** Я думал, вы – фурия революции, а вы – мадонна Мурильо!

**Оля** *(не совсем поняв, но с гневом)*. Сами вы Мурильо.

**Тарасов.** Нет! Клянусь небом! Откуда вы взялись?

**Оля.** С Малого Фонтана.

**Тарасов.** Рыбачка?

**Оля** *(высокомерно)*. Гражданин, вас это не касается.

**Царев.** Оружие есть?

**Тарасов.** А как же. Имеется. Вот оно. *(Вынимает карандаш и потрясает им над головой.)* Оружие поэта. Карандаш. Графитный, граненый, как штык вороненый!..

Вокруг смех, аплодисменты.

**Царев.** Брось дурака валять. Я спрашиваю: оружие есть? Объявляйте. А то найдем – расстреляем на месте. Ну?

Публика в нерешительности переглядывается, выворачивает карманы.

**Голоса.** Нет оружия. У меня нет. У меня нет. Тоже нет.

**Орловский** *(осторожно вынимает из кармана и кладет под стул маленький браунинг).* Нет.

**Царев.** Хорошо. По распоряжению губревкома вечер закрывается. Идите домой.

Публика и поэты выходят из зала мимо Царева, Оли и солдата. Тарасов гордо держит перед собой карандаш. Царев смеется.

**Царев** *(Тарасову).* Спрячьте свое оружие. Пригодится.

**Тарасов.** Гран мерси. *(Проходит.)*

**Царев** *(оглядывая Орловского).* Бывший офицер?

**Орловский.** Прапорщик.

**Царев.** Проходи.

Орловский проходит.

Публика и поэты спускаются по лестнице. Тарасов, студент, Гуральник бегут, обгоняя всех.

Возле кассы. Тарасов, Гуральник, студент и другие поэты.

Тарасов стучит в дверь кассы. Молчание. Колотит кулаками. Молчание. Открывает дверь. Заглядывает. Никого. На столике банка гуммиарабика и длинные ножницы. Тарасов оборачивается к поэтам.

**Тарасов.** Так я и знал.

**Гуральник.** Что? Унес кассу? Опять?



**Тарасов.** Опять.

**Студент.** Ах, пададь! Ах, сук-кин сын!

**Гуральник.** А мой гонорар? Где мой гонорар?!

**Дочь.** Папа, не волнуйся. Можно подумать, что мы не имеем на обед.

**Гуральник.** «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!» Я принципиально требую свой гонорар! Я не уйду отсюда без моего гонорара.

**Тарасов.** Ну, так вам придется сюда переселиться вместе с вашей аптекой. До свидания, Гуральник.

**Гуральник.** Спасибо за эстетическое наслаждение, доставленное вашими стихами. *(Жмет ему руку.)*

Тарасов бежит в гардероб, где его ждет уже одетый Орловский.

**Тарасов.** Опять Аметистов унес кассу и ни черта не заплатил. Сколько раз я давал себе честное слово не выступать, пока не получу денег. Ну, не мерзавец?

**Орловский.** Мерзавец.

Тарасов берет свое жиденькое, коротенькое пальтишко, одевается, наматывает шарф. К Тарасову подходит поэтесса в хорошенькой шубке. Ее держит под руку аккомпаниатор в бобровой шапке и бобровом воротнике.

**Поэтесса.** Изумительно. Чеканно. Вдохновенно. Даже завидно. Спасибо, Тарасов. *(Крепко, по-мужски встряхивает его руку.)* Пойдемте, Базиль. *(Уходит с аккомпаниатором.)*

Тарасова окружают окололитературные девицы и совсем юные поэты.

Они протягивают ему альбомы.

**1-я девица.** Извините, что, не будучи знакомой... Пожалуйста... Тарасов, умоляю вас... хоть два слова...

**2-я девица.** Да, да. Пожалуйста. И мне. Вот здесь.

**Тарасов.** Ой, нет, что вы! Я не умею. Я хочу спать. Попросите у Орловского.

**1-я девица** (*вежливо Орловскому*). Да, пожалуйста, и вы тоже.

**Орловский.** Я в альбомы не пишу. Я не барышня.

Орловский идет к выходу. Тарасов за ним. За Тарасовым поклонницы с альбомами.

Они стонут:

**Голоса поклонниц.** Тарасов, напишите! Пожалуйста! Напишите!

**Тарасов.** В следующий раз, в следующий раз!

Улица возле консерватории. Орловский под фонарем. Один. Подбегает Тарасов.

**Тарасов.** Насилу отбился.

**Орловский.** Пошли.

Тарасов и Орловский идут по улице. Всюду следы недавнего боя: то согнутый фонарный столб, то убитая лошадь, то простреленная штора магазина, иногда под ногами хрустит битое стекло. Изредка проходит красногвардейский патруль. Сухая, холодная лунная ночь. Маленькая резкая и яркая луна. Четкие тени. Голубые стены домов. Шаги звенят, как по чугуну. Панорама прохода Орловского и Тарасова по городу.

**Орловский.** Между прочим, как это ни странно, но, говорят, Лермонтов не имел успеха у женщин. Вообще не имел успеха в свете.

**Тарасов.** Наоборот. Колоссальный.

**Орловский.** Это так раньше думали. А теперь найдены новые материалы. Оказывается, совершенно не имел успеха. По-моему, он был выше своего времени.

**Тарасов.** Безусловно. Над чем ты сейчас работаешь?

**Орловский.** Пишу цикл о французской революции. То, что я сегодня читал, это начало. Тебе понравилось? Только честно.

**Тарасов.** Откровенно говоря, не очень.

**Орловский.** Спасибо за откровенность. Что же тебе не нравится?

**Тарасов.** Стихи нравятся. Термидор не нравится.

**Орловский.** Я влюблен во французскую революцию. А ты?

**Тарасов.** И я влюблен. Только ты влюблен в ее конец, а я в ее начало.

**Орловский.** Это остроумно. Ты всегда был остроумный мальчик. Осторожно, не зацепись за проволоку.

**Тарасов.** Спасибо.

**Орловский.** Посбивали провода, покалечили фонари... Тьфу, мерзость! А ну-ка, что это такое?

Орловский и Тарасов подходят к стене, где наклеены воззвания и декреты.

**Тарасов** (*читает*). «Мир хижинам, война дворцам».

**Орловский.** Мир хижинам, война дворцам... Чистейший четырехстопный ямб. Пэонизированный.

Орловский и Тарасов доходят до перекрестка и останавливаются.

**Орловский.** Тебе куда?

**Тарасов.** Налево.

**Орловский.** А мне направо.

**Тарасов.** До свидания.

**Орловский.** Лермонтов был выше своего времени. Прощай.

Расходятся.

Тарасов идет городом. Проезжает грузовик с вооруженными матросами. Тарасов идет вдоль моря по совершенно пустынному бульвару. Останавливается. Слышатся мерные вздохи прибоя. Над морем светает.

**Тарасов** (*бормочет*).

Неужели ты не знаешь,  
Неужели ты не видишь,

Неужели ты не хочешь  
Оглянуться и понять?

Тарасов идет через грязный двор дома в рабочем предместье. Мусорный ящик. Железная пожарная лестница. Покосившиеся деревянные саран. В полном смысле слова трущоба. Тарасов спускается в подвал. Темно. Он зажигает спичку. Обитая рваным войлоком и клеенкой дверь. Тарасов открывает осторожно дверь и входит на цыпочках. Это его «квартира». Он боится разбудить мать. Каморка Тарасова. На столе коптит маленькая керосиновая лампочка с рефлектором. Она освещает швейную машину и пожилую усталую женщину с наперстком на пальце, которая сидя спит, положив голову на руки. Жалкий комодик, железная кровать, сундук, на котором приготовлена для Тарасова постель. На подоконнике ящик, в котором растет зеленый лук. Несколько клеток с птицами. Обои отстают от сырости. В одном месте с потолка каплет, и под капли подставлена жестяная коробка из-под консервов. Фотография покойного отца Тарасова – мелкого чиновника. Образ.

Осторожно, чтобы не разбудить мать, Тарасов снимает пальто, а затем начинает искать еду.

**Мать** (*сонно*). Это ты, Коля?

**Тарасов**. Я, мама.

**Мать**. Что ты там возишься?

**Тарасов**. Чего-нибудь покушать.

**Мать**. Возьми на комодке хлеб. Под блюдечком.

**Тарасов**. А борща не осталось?

**Мать**. Борща не осталось.

**Тарасов**. Прискорбный факт.

**Мать**. Поздно.

**Тарасов**. Не так поздно, как рано. Уже утро. Птицы проснулись.

**Мать**. Где ж ты шлялся до сих пор?

**Тарасов**. Выступал на вечере поэтов.

**Мать**. Деньги хоть, по крайней мере, заплатили?

**Тарасов** (*сумрачно*). Не заплатили.

**Мать**. Ой, Коля, Коля, горе мне с тобой.

**Тарасов.** Я ж не виноват, что этот негодяй Аметистов кассу унес.

**Мать.** Опять унес!

**Тарасов.** Опять. У него такая паршивая привычка.

**Мать.** Ты бы хоть на работу куда-нибудь поступил, Коля.

**Тарасов.** Куда ж я поступлю, мама?

Разговаривая таким образом с матерью, Тарасов отщипывает небольшой кусок хлеба, солит его, рвет из ящика лук, наливает в кружку воду и завтракает, стоя перед клетками с птицами. Отливает из кружки воду птицам, бросает им кусочки хлеба. Птицы поют. Тарасов слушает.

Мама, смотрите, красноголовая славка таки запела.

Мать зевает.

Мама, вы, наверное, устали. Ложитесь.

**Мать.** Ой, что ты! Где там. Шить надо. Что слышно в городе?

**Тарасов.** Переворот.

Мать шьет на машинке. Тарасов ложится на свой сундук, предварительно сняв костюм и положив под матрас брюки.

Тарасов берет клеенчатую общую тетрадь, карандаш и бормочет про себя стихи, собирается писать.

**Мать.** Переворот? Какой?

**Тарасов.** А черт его знает. (*Бормочет, слюня карандаш.*) Раскаты уличного боя умолкли... Всюду тишина... Умолкли, всюду тишина... Мир хижинам, война дворцам...

Тарасов засыпает. Из его руки выпадает тетрадка. Много помарок. Мать берет тетрадь и с трудом разбирает.

**Мать.**

Раскаты уличного боя  
Умолкли. Всюду тишина.

Печально вздохами прибоя  
Глухая ночь потрясена.  
Лишь два не спят: поэт и море.  
Тарасов спит, вздыхая во сне.

*(Продолжает читать.)*

Их день грядущий озарен  
Веселым залпом на «Авроре»  
И алым пламенем знамен...

*(Осторожно закрывает тетрадь и начинает подметать пол старым просяным веником.)*

Один из богатых кварталов города. Красивая улица без магазинов. Палисадники, решетки. В перспективе – кусочек моря, маяк. Великолепный дом Орловских. По улице идет отряд матросов. Царев. Солдат. Сзади тащат ручную пулемет. Отряд входит в ворота дома Орловских.

Квартира Орловских в бельэтаже. Столовая. Утренний чай. Все очень хорошего, английского тона. Отец Орловского, мать, Орловский. Орловский-сын пьет чай и читает книжку, очень хорошую маленькую книжку в парчовом переплете; он в халате и сапогах, его голова зеркально причесана.

**Орловская.** Сережа, сливок?

**Орловский-сын.** Не хочу, мерси.

**Орловская.** Все-таки я тебе налью.

**Орловский-сын** *(яростно)*. Маман, я вас прошу.

**Орловская.** Боже мой, какие все нервные!

**Орловский-отец.** Софи, либо ты по-прежнему наивна, как институтка, либо у тебя металлическое сердце. Разве ты не понимаешь, что делается вокруг?

**Орловская.** А что делается вокруг?

**Орловский-сын** *(бешено)*. Революция! Рушится мир. Мир рушится, вам это понятно?

**Орловский-отец**. Сережа, возьми себя в руки. Выдержка.

**Орловский-сын**. Хорошо. Я возьму себя в руки, но когда я только подумаю, что эти хамы... Этот грядущий хам...

**Орловская**. Сереженька, ради бога...

**Орловский-сын**. Хорошо. Больше не произнесу ни слова.

Вбегает испуганная горничная в фартучке и наколке. Она очень бледна и недурна собой. Бровки чуть нарисованы, глазки чуть подведены, ротик чуть подкрашен.

**Горничная**. Барин, во двор матросы пришли.

**Мать**. Господи Иисусе Христе. *(Крестится.)*

**Орловский-отец**. Матросы? Нуте-ка...

Он надевает пенсне и подходит к окну. Он видит.

Двор. Клумба. Подстриженные деревья. Фонтан. Посреди двора испуганная кучка жильцов. Два матроса устанавливают в воротах пулемет, направленный во двор.

Нуте-ка, нуте-ка. *(Идет поспешно к двери, застегивая вестон на все пуговицы.)*

**Мать**. Константин, ради бога. Они тебя убьют.

Орловский-сын совершенно безучастен, читает; только губа чуть кривится.

**Орловский-отец**. Успокойся, Софи. Я с ними умею разговаривать.

**Мать**. Только, умоляю тебя, не горячись.

**Орловский-отец**. Будь спокойна, будь спокойна.

Орловский-отец идет в переднюю и перед зеркалом надевает пальто и котелок. Смотрит некоторое время на себя в зеркало, затем снимает котелок и надевает мягкую плюшевую шляпу. Смотрит некоторое время в зеркало, затем снимает плюшевую шляпу и

решительно надевает охотничью каскетку, по его понятиям наиболее приближающуюся своим видом к кепке.

Двор. К кучке жильцов подходит Царев. С другой стороны, не торопясь, с портфелем приближается Орловский-отец. Жильцы почтительно пропускают его.

**Царев.** Кто хозяин дома?

**Орловский-отец.** Хозяин? Простите, я вас не совсем понимаю. На основании декрета Советской власти этот дом, так сказать, национализирован. Вот выбранный жильцами домовый комитет, а я, так сказать, председатель. На основании декрета...

**Царев.** Это вы нам не объясняйте. Это мы сами хорошо знаем. Я спрашиваю, кто из вас хозяин дома?

**Орловский-отец.** То есть вы хотите знать, кто бывший хозяин?

**Царев.** Ну, ясно, что бывший. А то еще какой?

**Орловский-отец.** Этот дом, так сказать, до национализации принадлежал мне.

**Царев.** Ну вот. Что ж вы дурака валяете? Так бы и говорили. Подходящий домик выстроили. Сколько квартир?

**Орловский-отец.** Двадцать две. А что?

**Царев.** Ничего. По сколько комнат в квартире?

**Орловский-отец.** От пяти до восьми.

**Царев.** Подходящее дело.

**Орловский-отец.** А что?

**Царев.** Ничего. Я говорю, широко живете. Оружие есть?

**Орловский-отец.** Лично у меня? Нету! *(Растерянно заглядывает в портфель.)*

**Царев.** Да не только лично у вас, а я спрашиваю – оружие в доме есть?

**Орловский-отец.** Что вы, помилуйте... Какое в моем доме, то есть, простите, – в нашем доме – может быть оружие? Откуда? Здесь живут мирные граждане.

**Царев.** Мирные?

**Орловский-отец.** Конечно. Так сказать, вполне лояльные по отношению к Советской власти...



**Царев.** Лояльные?

**Солдат-красногвардеец.** Лояльные... Да что ты с ним цацкаешься? *(Орловскому.)* Оружие есть, душа с тебя вон?!

**Орловский-отец.** Позвольте...

**Царев.** Тихо! Не балуйся с винтовкой. *(Орловскому-отцу.)* Я там не знаю – лояльные, не лояльные, а чтобы мне через десять минут сдали все оружие, какое есть в доме. Отвечаете головой.

Царев, расставив ноги, стоит посреди двора, подняв голову к зеркальным окнам четырехэтажного дома. В окнах мелькают лица жильцов. Царев кладет в рот пальцы и свистит.

Эй, мирные граждане! Господа! Кидайте во двор оружие!

В окнах неподвижные лица.

Больше жизни! Шевелитесь!

**Солдат-красногвардеец.** Да что ты с ними цацкаешься? *(Подымает винтовку.)*

**Царев.** Тихо? *(Глядя на окна.)* Дается десять минут срока. Потом сделаем повальный обыск. У кого будет обнаружено что-нибудь, тогда не взыщите! Ну? Веселее!

Окна дома. В них небольшое движение.

Не стесняйтесь, не стесняйтесь! Ищите хорошенько. Прямо в форточку!

В третьем этаже открывается форточка, в нее просовывается винтовка и неуклюже падает на асфальт. Со звоном подпрыгивает. Сыплются патроны.

*(Грозит пальцем.)* Полегче, полегче. Не ломайте казенное оружие. Кидайте на клумбы. *(Орловскому-отцу.)* Что ж это ваши лояльные так неаккуратно обращаются с оружием? Это нехорошо.

**Орловский-отец.** Уверяю вас честным словом...

**Царев.** Ладно, слышали.

Окна дома. Открывается несколько форточек, откуда вылетают и падают на клумбу револьвер, шашка, охотничье ружье, кинжал. Матросы и красногвардейцы ходят по клумбам, поднимают оружие и складывают посередине двора на разостланную палатку. Пауза.

Ну! Больше жизни!

Квартира Орловских. Столовая. Мать. Горничная. Орловский-сын читает, но, видно, прислушивается к тому, что делается во дворе.

**Орловский-сын** (*не отрываясь от книги*). Поля, возьмите в передней мою шашку и выбросьте в форточку.

Горничная убегает, прибегает с шашкой, подходит к окну и некоторое время в нерешительности стоит. Потом крестится, становится на подоконник коленями и осторожно выбрасывает в форточку шашку. Орловский напряженно улыбается.

Окна дома. Во втором этаже на подоконнике появляется пожилая дама. Она открывает форточку и на веревочке очень бережно и аккуратно опускает револьвер, коробочку патронов и мичманский кортик. Все это перевязано бантиком.

**Царев.** Правильно, мадам. Большое вам спасибо. (*Орловскому-отцу.*) Видите, какая милая старушка?

Царев отвязывает оружие и бросает его на разостланную палатку. Царев машет пожилой даме фуражкой. Пожилая дама кивает головой с миндальной улыбкой. Из форточек вылетает оружие. Красногвардейцы подбирают.

(*У его ног на палатке порядочная кучка оружия. Орловскому-отцу, который обливается холодным потом.*) Ну? Видите, сколько ваши мирные-лояльные накидали. У, сволочь!

**Орловский-отец.** Товарищ комиссар...

**Царев.** Молчать! Какой я тебе товарищ?

**Солдат-красногвардеец.** Да что ты с ним цацкаешься?

**Царев.** Тихо. *(Домовому комитету.)* Так вот что, господа мирные-лояльные. Чтоб завтра ровно к двенадцати часам дня вы мне освободили в вашем доме тридцать комнат. Понятно? Будем переселять рабочих с окраины в центр.

**Орловский-отец.** Товарищ комиссар... то есть господин комиссар... Простите, гражданин комиссар...

**Царев.** Ну?

**Орловский-отец.** Я вас не совсем понимаю. Вы говорите – тридцать комнат... Как же это возможно тридцать комнат, когда...

**Царев.** Тридцать хороших комнат. С мебелью. Понятно? Отвечай головой. Я на тебя не посмотрю, что ты с портфелем и в очках. Понятно? *(Отряду.)* Забирайте игрушки.

Матросы несут на палатке оружие. Увозят пулемет. Царев идет со двора. Его мощная спина чуть покачивается. Домовый комитет в оцепенении. Орловский-отец снимает каскетку и вытирает лысину платком. Вертит перед глазами каскетку.

Знакомый нам двор, где живет Тарасов. Во дворе необычайное оживление. На порогах любопытные жильцы. Из окон смотрят старухи, старики. Множество детей в лохмотьях. Через двор идет комиссия Совета рабочих депутатов по переселению рабочих с окраин в центр: несколько работниц, солдат, пожилая интеллигентка-партийка с папкой под мышкой. Оля Данилова с блокнотом и карандашом в руках, два вооруженных комсомольца. Обитатели трущобы идут, окружив комиссию тесным кольцом. Маленький мальчик, босяк, тина чистильщика сапог, идет задом перед пожилой интеллигенткой, задрав голову и щурясь на нее, как на солнце.

**Мальчик.** Тетя, вы скедова?

**Пожилая.** Из Совета, мальчик, из Совета.

**Мальчик.** Тетя, вы что – переселять нас будете?

**Пожилая.** Непременно, непременно.

Из окна выглядывает худая женщина.

**Женщина** (*кричит вниз*). Товарищи, не забудьте к нам зайти! Квартира номер девятнадцать, третий этаж!

**Оля.** Зайдем. Обязательно.

**Женщина.** У нас восемь душ в одной комнате и один чахоточный. Обратите ваше внимание. Больше нет никаких сил. Живем хуже собак. Квартира номер девятнадцать, третий этаж! Фамилия – Мельниченко.

**Оля.** Да, да. Не беспокойтесь. Зайдем. (*Записывает.*)

Из другого окна выглядывает старик.

**Старик** (*кричит вниз*). Товарищи, зайдите в квартиру номер сорок восемь. В полу вот такие щели! (*Показывает грубыми, деревянными пальцами.*) С горища дует, с потолка течет, из нужника воняет! Невозможно терпеть!

**Оля** (*записывает*). Зайдем. Ко всем зайдем.

Щель между двух слепых стен. Железная пожарная лестница. Мусорный ящик. Он переполнен. В мусоре сидят несколько больших крыс. Их глаза в потемках светятся фосфором. Мимо проходит комиссия. Крысы прыгают вниз, разбегаются. Мальчик бежит за убегающими крысами, кидает в них камень.

**Мальчик.** Киш, проклятые! Киш!

Крысы бегут через двор.

Конура Тарасовых. Мать шьет на машинке. Тарасов сидит на табуретке перед подоконником и пишет в тетради. Над ним клетки с птицами. Входит комиссия.

**Пожилая.** Здравствуйте, товарищи. К вам можно?

**Мать.** Пожалуйте, милости просим.

**Тарасов.** А в чем, собственно, дело?

**Солдат.** Комиссия Совета. Хотем посмотреть, как вы тут живете.

**Тарасов.** Как видите, прелестно живем.

**Оля.** Это вся ваша жилищная площадь?

**Тарасов.** Вы хотите сказать – апартаменты? Да, это все – наши апартаменты. Вот зимний сад (*показывает на окно с растениями и птицами*). Вот, так сказать, будуар моей маман (*показывает на кровать матери*). Вот козетка, на которой я отдыхаю, утомленный шумными наслаждениями высшего света (*показывает на свой сундук*).

**Мать.** Коля, перестань.

**Тарасов.** Пардон. А вот наш семейный рояль, на котором моя маман играет по вечерам сонаты Людвига ван Бетховена. (*Быстро крутит швейную машину, поет.*)

Эта швейная машина  
Заменяет нам пьянино,  
Потому что брюки клеш  
На пьянино не сошьешь.

Комиссия смеется.

**Солдат** (*восхищенно*). Ах, черт! (*Матери, с уважением.*) Он у вас что – автор-куплетист?

**Оля.** Это товарищ Николай Тарасов. Поэт.

**Тарасов.** Откуда вы знаете?

**Оля** (*улыбается*). Вот странно. А на вечере поэтов? Мурильо.

**Тарасов** (*с удивлением*). Вы?

**Оля.** Конечно. Не узнаете?

**Тарасов** (*всматриваясь*). Будь я проклят! Так это вы? Ряд волшебных изменений милого лица. Тогда вы были отчасти фурия революции, а отчасти мадонна Мурильо. А теперь вы...

**Оля.** А теперь я кто?

**Тарасов.** Добрая фея Берилюна. Бе-ри-лю-на!

**Оля.** Это для меня что-то новое.

**Тарасов** (*со значением*). И для меня тоже.

**Солдат.** Стало быть, знакомые?

**Тарасов.** Определенно. Она меня даже один раз разоружала. Карандаш хотела забрать. Вас как зовут?

Оля молчит.

**Солдат.** Оля ее зовут.

**Тарасов.** Сознайтесь, Олечка, ведь вы хотели у меня отнять мой... графитный, граненый, как штык вороненый, мой друг карандаш боевой?

**Оля.** Неправда, товарищ Тарасов, неправда. Мы карандашей у товарищей поэтов не забираем. У вас очень хорошие стихи.

**Тарасов.** Вам понравились?

**Оля.** Понравились.

**Тарасов.** Чем же?

**Оля.** Не знаю. Понравились, и все.

**Тарасов.** Ага, понимаю. Малый Фонтан. Шаланда. Парус. Хорошо в открытом море ветру с парусом вдвоем.

**Оля.** Да, красиво.

**Тарасов.** Только жаль, что вы не парус, а я не ветер.

**Оля.** Ну, это вы можете говорить своим гимназисткам. А за стихи большое спасибо.

**Тарасов.** Видите, мама, какой я имею успех в районе Малого Фонтана.

Оля начинает покусывать губы.

**Мать.** Я ничего не говорю, стихотворения у тебя действительно красивые, но, к сожалению, на них не пообедаеть.

**Пожилая.** Ну, товарищи, так что вы скажете?

**Солдат.** Переселять!

**1-й комсомолец.** Надо дать людям условия.

**2-й комсомолец.** Безусловно.

**Оля.** Я – «за».

**Пожилая** (*весело*). Так вот, значит, товарищи, собирайтесь. Завтра мы вас переселяем в центр. Дадим вам хорошую, сухую, светлую комнату.

**Мать.** Нам? Я что-то не понимаю.

**Тарасов.** Мир – хижинам, война – дворцам.

Оля записывает в ведомость.

**Оля** (*матери*). Ваше социальное положение?

**Мать**. Как это? Извините, я не знаю. (*Тарасову, шепотом.*) Коля, ты не знаешь, они спрашивают какое-то социальное положение. Я не понимаю, как это?

**Тарасов**. Социальное положение? (*Комиссии.*) Она графиня.

**Мать**. Коля, что ты?

**Тарасов**. Мама, не притворяйтесь. Вы графиня. Товарищи, разве вы не замечаете, что она типичная представительница родовой аристократии?

**Мать**. Вы его не слушайте. Он несет невесть что. Коля, да что же это такое?..

**Тарасов**. Мамочка, не волнуйтесь. Я пошутил. Вы не графиня. Кто был покойный отец?

**Мать**. Покойный Николай Федорович... (*смотрит на увеличенный фотографический портрет мужа*) служил в земстве статистиком.

**Тарасов** (*Оле*). Пишите: вдова земского статистика. Годится?

**Оля**. Вполне.

**Тарасов**. Спасибо. (*Подходит к клеткам.*) Птички, собирайтесь. Поедем в центр.

Перекресток в центре. Пролетарская публика. Изредка в толпе пробирается испуганная фигура буржуа. Афишная тумба. Возле нее стоит Орловский, небогато одетый. Рядом с Орловским – переодетый полковник Селиванов. Они всматриваются в демонстрацию. Слышна какая-то музыка. Бежит народ, наполняя перекресток.

Селиванов и Орловский прижаты к афишной тумбе.

**Селиванов**. Что это?

**Орловский**. Торжествующий пролетариат.

**Селиванов**. Тэк-с. Доигрались.

**Орловский**. Что-с?

**Селиванов.** Я говорю: доигрались. Достукались. Как вам нравится этот кабак?

Орловский оглядывается на Селиванова.

Поручик Орловский?

**Орловский.** Не имею удовольствия.

**Селиванов** (*тихо*). Полковник Селиванов.

**Орловский.** Андрей Васильевич, батюшки!

**Селиванов.** Что, не узнали?

**Орловский.** Помилуйте. В таком виде?

**Селиванов.** Да и вы тоже, так сказать. А я думал, что вы давно в Крыму.

**Орловский.** Застрял.

**Селиванов.** Но надеюсь...

**Орловский.** О, будьте уверены.

**Селиванов.** Я четыре дня назад из Крыма. Разыскиваю наших людей. Надеюсь, вы наш? Пройдемте со мной в переулок.

**Орловский.** Слушаюсь.

Орловский и Селиванов идут в переулок.

Толпа приближается. Теперь видно, что это такое. Это торжественное переселение рабочей бедноты с окраин в центр. Впереди несут портрет Ленина. Дальше – большой ленточный лозунг: «Мир – хижинам, война – дворцам». Несколько матросов с гармониками. Танцующие работницы. Дальше грузовики с переселяющимися. На грузовиках жалкий скарб, веселые переселенцы. Некоторые переезжают на новые квартиры на извозчиках. Сзади на извозчике матрос и шарманщик с шарманкой. Матрос размахивает шапкой, шарманщик играет. Все это окружено веселой пролетарской толпой. Играет оркестр. Внушительная процессия движется медленно. Летят вверх шапки. Крики «ура». Едет очередной грузовик. На нем среди других переселяющихся – Тарасов с матерью. Они сидят на своем комодe. Мать поддерживает швейную машинку; тут же клетка с птицами. Тарасов держит в руках на двух палочках шуточный лозунг, хорошо видный всем:



Стоит буржуй обиженный,  
Пришел ему конец,  
А мы простились с хужиной  
И едем во дворец.

Народ читает плакат и смеется. Лозунг Тарасова имеет шумный успех. Проезжает извозчик с шарманщиком и матросом. Шарманщик играет «Бывали дни веселые», и на этот мотив матрос громко, во весь голос, поет:

Поют печальным голосом  
Помещик, царь, купец:  
Бывали дни веселые,  
Гулял я, молодец.

Теперь другое времечко,  
И разговор не тот:  
Для нас восходит солнышко,  
Для них – наоборот.

Стоит буржуй обиженный,  
Пришел ему конец,  
А мы простились с хужиной  
И едем во дворец.

За матросом бегут мальчишки и орут во все горло эту же песню.

В переулке.

**Селиванов.** На днях вы получите подробные инструкции.

**Орловский.** Слушаюсь.

Известный нам двор богатого дома. Вселение рабочих.

Светлая, большая, хорошо обставленная комната в богатом доме, куда только что переселился Тарасов с матерью. Это была гостиная. Тарасов прибавляет клетки с птицами над окном. Мать робко устанавливает возле другого окна швейную машину. Стараются ходить на цыпочках. Чувствует себя крайне неловко. Открывается дверь. Появляется высокомерная старуха (*та, которая спускала на веревочке револьвер*). Она с лорнетом.

**Старуха.** Я бы вас попросила прекратить стук. Это совершенно невозможно.

**Мать.** Извините, пожалуйста. Коля, перестань стучать.

**Старуха.** И будьте любезны, ничего не ставьте на крышку рояля.

Мать испуганно смотрит: на рояле ничего не лежит.

**Мать.** Мы не ставим.

**Старуха.** Я говорю для того, чтобы на этой почве у нас в дальнейшем не возникало нежелательных конфликтов. Это дорогой концертный инструмент Бехштейна. Впрочем, вам это, по всей вероятности, ничего не говорит.

Бросив презрительный взгляд, старуха исчезает и довольно громко захлопывает за собой дверь, но сейчас же опять открывает ее.

Кроме того, я бы вас очень просила не пользоваться нашей ванной. В кухне есть раковина.

**Тарасов.** «Старуха! – закричал Герман...»

Ошеломленная старуха некоторое время стоит неподвижно, величественно, не зная, что сказать. Затем скрывается, хлопнув дверью.

**Мать.** Коля!

Тарасов открывает с треском балконную дверь и выходит на балкон. Он видит море. На соседнем балконе лежит чахоточный рабочий и тоже смотрит на море. Возле него хлопчет жена. Из

какого-то окна высовывается матрас, который проветривают новые жильцы.

Общий вид дома. Видно, что въехали новые жильцы: на балконах и в окнах оживление.

Во двор входит Царев в сопровождении товарищей.

**Царев** (*снимает фуражку и машет*). Здравствуйте, товарищи! С новосельем!

Из окон и с балконов Царева приветствуют криками, машут руками, полотенцами.

Комната Тарасовых. Стук в дверь.

**Мать.** Войдите.

Входит Царев.

**Царев.** Здравствуйте. Я вам не помешал? С новосельем. Ну как? Понемножку устраиваетесь?

**Мать.** Спасибо. Уже устроились. Не знаю, как вас и благодарить, товарищ.

**Царев.** Ну, чего там благодарить. Живите, дышите воздухом. Чья власть? Наша или не наша? Так в чем вопрос!

Входит с балкона Тарасов.

**Тарасов.** А! Старый знакомый!

Пауза. Царев всматривается в Тарасова.

Не узнаете?

**Царев.** Что-то не признаю.

**Тарасов.** А кто меня на вечере поэтов разоружал?

**Царев** (*настороженно*). Разве?

**Тарасов.** Последний карандаш хотели забрать.

**Царев.** Верно! Графитный, граненый, как штык вороненый.  
(*Смеется.*) Ну, здравствуйте.

**Мать.** Что ж вы стоите, товарищ? Присаживайтесь.

**Царев.** Спасибо. Времени нет. Я бы с удовольствием.

**Мать.** Может быть, чаю?

В это время дверь распахивается и появляется старуха.

**Старуха** (*не видя Царева, повышенным тоном*). Кроме того, я бы вас покорнейше просила... (*Замечает Царева.*) Пардон.  
(*Скрывается.*)

**Царев.** Что, буржуазия донимает?

**Мать.** Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Мы еще не познакомились.

**Царев.** А пошлите вы ее к чертовой матери. Я извиняюсь.

Царев видит в углу шуточный плакатик Тарасова и машинально берет его, рассматривает.

**Мать** (*извиняясь*). Это так, Колины глупости.

**Царев.** Сами составили?

**Тарасов.** Сам. А что?

**Царев.** А, чтоб ты! Дай пять. (*Жмет Тарасову руку.*) Будет десять.  
(*Очень серьезно.*) Спасибо.

Тарасов не знает, смеется над ним Царев или нет. Но Царев серьезен. Тарасов смущен.

Спасибо. Вот это нам просто-таки до зарезу надо.

**Тарасов.** Ну что вы!..

**Царев.** На! Он не понимает! Чудак, да ты пойди на улицу. Сегодня твой стих весь пролетариат поет. Даже я запомнил. (*Поет.*)

Стоит буржуй обиженный,  
Пришел ему конец,  
А мы простились с хужиной

И едем во дворец.

Чудак человек! Это же настоящий политический, массовый лозунг. С таким лозунгом можно мировую революцию сделать! Долго составлял?

**Тарасов.** Как это долго? Сразу.

**Царев.** Врешь!

**Тарасов.** Конечно.

**Царев.** А ну составь.

**Тарасов.** Что?

**Царев.** Что-нибудь политическое. Только покрепче. Чтоб можно было под «Яблочко» петь. «Яблочко» знаешь?

Царев открывает рояль, садится и бодро, хотя и не совсем правильно, наигрывает «Яблочко» и поет.

Эх, яблочко,  
Куда ты котишься?  
На «Алмаз» попадешь –  
Не воротись.

Что-нибудь подходящее подобрать можешь?

**Тарасов** *(с улыбкой)*. Конечно. Но насчет чего?

**Царев.** Насчет чего? *(Задумывается.)* Насчет попов, что-нибудь сильно антирелигиозное. А то знаешь, попы нам все время палки в колеса ставят. Можно?

**Тарасов.** Можно. *(Мгновенно поет.)*

Стоит поп у ворот –  
Удивляется,  
Что народ не несет  
Ему яйца.

**Царев** (*в восторге*). Ах ты, туды твою! (*Матери.*) Я извиняюсь, не удержался. (*Тарасову.*) Как тебя звать?..

**Тарасов.** Николай Николаевич.

**Царев.** Слышь, Коля, ты же для нас золотой человек! Как это: стоит поп у ворот... Погоди. (*Играет пальцем на рояле и поет.*)

Стоит поп у ворот –  
Удивляется,  
Что народ не несет  
Ему яйца.

Тебе, Коля, цены нет. Едем!

**Тарасов.** Куда?

**Царев.** В губком.

**Тарасов.** Когда?

**Царев.** Сейчас.

**Тарасов.** Зачем? Что я там буду делать?

**Царев.** Ты чудак, Коля. Надевай робу и едем.

**Мать.** Боже мой, куда?

**Царев.** Мама, не расстраивайтесь. Мы вашего Колю привезем, отвезем и опять привезем. Он у нас будет главный человек по Первому мая.

**Тарасов.** Мама, не забудьте переменить птицам воду. До свидания, птички.

Улица. Стреляя и чадя, мчится автомобиль выпуска 1914 года, марки «бенц», в котором сидят, подпрыгивая, Царев и Тарасов. На переднем крыле лежит матрос, выставив вперед маузер.

В роскошном здании крупного банка помещается губком. Двусветная зала со стеклянным потолком. Здесь раньше производились главные банковские операции. Сейчас здесь отдел изобразительной агитации: художники пишут плакаты, портреты и лозунги ко дню Первого мая. Часть громадных плакатов разостлана на полу: часть стоит вдоль стен, часть – поперек залы. Портреты Ленина. Политические карикатуры. Большинство плакатов написано в духе

кубизма и Пикассо. Это живописный хаос, пересекающиеся плоскости двухэтажной высоты. На печках-«буржуйках» варятся клеевые краски. Всюду рулоны картона, листы фанеры, кисти. Возле громадного декоративного паяно – в кубистском духе написана группа пролетариев всех стран, разрывающих цепи капитализма, – группа спорящих художников. Это художники разных направлений. Спор очень жаркий. Оля Данилова заведует «Изо». Она не знает, как примирить спорящих.

**Оля.** Товарищи, будет! Надо работать. Идите работать, потом будете спорить. Вот наказание!

**Голоса спорящих:**

- А я вам говорю – только Пикассо!
- Пикассо непонятен рабочим.
- А Репин понятен?
- Репин понятен.
- Репин – контрреволюционер в живописи!
- Возьмите свои слова назад.
- Ни за что!
- Товарищи, новая тема требует новых изобразительных средств.
- Матисс – гений!
- Чушь. Рабочие не понимают вашего Матисса.
- Не расписывайтесь за рабочих.
- Это непонятно массам.
- Нет, это понятно массам!

**Оля** (*чуть не плача*). Товарищи! Идите работать! Ей-богу, я позову коменданта.

Галдеж продолжается.

Входят Царев, за ним Тарасов. Царев слушает галдеж.

**Царев.** Здравствуйте, Олечка. Что за шум, а драки нету? Что они тут не поделили?

**Оля.** Целый день ругают друг друга.

**Кубист** (*Цареву*). Товарищ матрос, очень хорошо, что вы к нам зашли. Скажите свое веское слово.

**Царев.** Об чем речь?

**Кубист.** Вопрос стоит принципиально: или – или. Вот вы, например, матрос, человек массы, с парохода, большевик, авангард рабочего класса. Идите сюда. Я вам сейчас все объясню. *(Тащит Царева к своему панно.)* Идите сюда. Я – кубист. Понимаете?

**Царев.** Это что за кубист, какая-нибудь фракция?

**Кубист.** Нет. Это не фракция, товарищ. Это направление в живописи. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Вот вы, например, революционер, простой человек с парохода. Вы делаете революцию. И я делаю революцию. Мы оба делаем революцию. Только вы делаете революцию в жизни, а я – в искусстве. Понимаете?

**Царев.** Чего ж. Понимаю.

**Кубист.** Видите. А тут есть разные реакционные типы, которые утверждают, что наше искусство непонятно массам.

**Реалист.** Прошу без личных выпадов.

**Кубист.** Спрячьтесь вы со своим Репиным. Противно. *(Цареву.)* Идите сюда. *(Отводит Царева подальше от панно.)* Станьте здесь. Смотрите.

Царев смотрит на панно.

Понятно?

**Царев** *(нерешительно)*. Вроде бы...

**Кубист.** Ну, вот, например, эта фигура в центре. Кто? Обратите внимание на желтый цвет лица и на характерный разрез глаз. Ну? Ки...

**Царев.** Китаец?

**Кубист** *(в восторге)*. Абсолютно! У вас точный глаз. Китайский рабочий. Кули. А они утверждают, что непонятно массам. А вот смотрите – вот этот? *(Показывает на другую фигуру.)*

**Царев.** Вроде бы...

**Кубист.** Вот, вот. Совершенно верно. Вы заметили, какой черный? Жженая кость. И курчавые волосы. Ну? Не-е-е...

**Царев** *(нерешительно)*. Негр?

**Кубист.** Совершенно! Негр. А у того замечаете в руках что? Молоток и кувалда.



**Царев.** Молоток?.. Гм... Он у вас кто – кузнец?

**Кубист.** Верно! Кузнец. Понимаете: мы кузнецы, и дух наш молод!

**Царев.** Ну так что ж. Это все политически вполне правильно.

**Кубист** *(с жаром)*. Спасибо! *(Жмет Цареву руку.)* Вопросов больше не имею. *(Испепеляюще смотрит на реалиста.)* Ну, теперь вы убедились, что кубизм – это единственно мыслимое революционное искусство? Вот и товарищ матрос может подтвердить.

**Царев.** Кубизм у тебя правильный.

Реалист бросается к Цареву.

**Реалист.** Идите сюда.

Реалист тащит Царева за рукав к своему плакату, изображающему в реалистическом духе летящего вверх тормашками Врангеля.

Что скажете?

**Царев** *(смотрит на плакат и смеется)*. Ловко ты его обрисовал, гада! Правильный кубизм.

**Реалист.** Это не кубизм. Это – чистейший реализм!

**Царев.** Ага. Правильный реализм. Только тут еще надо какой-нибудь стих написать. Коля, где ты? Иди сюда. Видишь картину? Можешь сюда составить стих?

Тарасов подходит.

**Реалист.** Только что-нибудь, если можно, классическое.

**Тарасов.** Классическое? Хорошо, можно классическое. *(Лениво зевая.)*

По небу полуночи Врангель летел,  
И старую песню он пел.  
Товарищ, барона бери на прицел,  
Чтоб ахнуть барон не успел.

**Царев** (*в восторге*). А, чтоб тебя! Ну, Коля, ты золотой человек! (*Жмет Тарасову руку.*) Оля, ты все время плакала, что у тебя не хватает для агитации хорошо грамотных людей. Тарасов, иди сюда, познакомься с товарищем. Олей.

**Оля.** Мы знакомы.

**Царев.** Знаешь, что это за человек? Он тебе какой хочешь политический лозунг может застругать в рифму. Я его специально для тебя нашел и мобилизовал в первомайскую комиссию.

**Тарасов.** Как это – «мобилизовал»?

**Царев.** Обыкновенно как. Ну и с тем, товарищи, до свидания. У меня еще делов выше головы. Мне еще надо сейфы экспроприировать.

Царев быстро пожимает всем руки.

(*Тарасову.*) Ты ее слушайся. (*Уходит.*)

**Тарасов.** Это что же – выходит, что я мобилизован?

**Оля.** Всего на три-четыре дня, не больше. Ничего?

**Тарасов.** Переживу. А что я должен делать?

**Оля.** Это мы сейчас поговорим. Пойдем. Здесь невозможный галдеж.

**Тарасов.** Пойдем.

Тарасов и Оля идут по зале. По сравнению с двухэтажными фигурами плакатов они кажутся трогательно маленькими. Художник-реалист белой краской выводит на своем плакате:

По небу полуночи Врангель летел  
И старую песню он пел...

А я уже думал, что потерял вас навсегда.

**Оля.** А я вдруг нашлась. Вот видите, как хорошо.

**Тарасов.** Теперь вы уже не фурия революции, и не мадонна Мурильо, и не фея Берилюна.

**Оля.** А кто же я?

**Тарасов.** Вы просто Оля. Даже, если хотите, Олечка. Пожалуйста ручку. Я ее нежно поцелую в ладошку.

**Оля.** Товарищ Тарасов. *(Краснеет, сердится. Строго.)* Я вас призываю...

**Тарасов** *(в другом смысле, нежно).* Я вас тоже призываю.

**Оля.** Ох, какой же вы пустой человек!

Одна из комнат губкома. На стенах – печатные плакаты, портреты Ленина. За столом банкира сидит Тарасов и пишет. Чуб на лоб. Вокруг масса исписанной бумаги. Четвертка табаку. Тарасов зажигает сигарку большой медной зажигалкой. Курит. Пишет. Ночь.

Туча сонного табачного дыма. В углу на громадном ундервуде спит обессиленная работой машинистка. Тарасов кончает писать, подходит к машинистке.

**Тарасов.** Мадам, проснитесь. *(Машинистка продолжает спать. Тарасов кричит ей в ухо.)*

Я пришел к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало!

Машинистка просыпается. Это немолодая женщина с отеком лицом. Она быстро поправляет волосы, сердито смотрит на Тарасова и кладет руки на клавиши.

**Машинистка.** Ну?

**Тарасов** *(диктует с выражением).*

Знамена цветут, проплывая,  
Горит боевая звезда.  
Да здравствует Первое мая –  
Сияющий праздник труда!

Машинистка быстро щелкает, после каждой строки шумно переводя регистр, и звоночек машинки как бы ставит ударение на каждой рифме.

Входит Оля с ворохом только что напечатанных лозунгов. Она шатается от усталости, но пытается держаться бодро.

**Оля.** Готово?

**Тарасов.** Диктую.

**Оля.** А ну, дай посмотреть. *(Заглядывает через плечо машинистки, читает про себя.)* Хорошо. Диктуй дальше.

**Тарасов** *(машинистке, которая уже опять заснула).* Мадам, встрепенитесь.

Машинистка вздрагивает, просыпается, сердито поправляет волосы.

**Машинистка.** Ну?

**Тарасов.**

Пусть враг не сдастся упорный,  
Но множатся наши полки.  
Вздувайте, товарищи, горны,  
В огне закаляйте клинки.

Машинистка стучит, Оля слушает.

**Оля.** Хорошо.

**Тарасов.**

Знамена цветут, проплывая,  
Горит боевая звезда.

**Оля.** Подожди. *(Собирает морщины на лбу, думает.)* А ну покажи, как у тебя дальше.

Тарасов показывает. Оля смотрит в рукопись.

Опять «сияющий праздник труда»?

**Тарасов.** А что?

**Оля.** Пролетариат еще не победил. Это надо выделить.

**Тарасов.** Я ж пишу – «боевая звезда».

**Оля.** Еще определеннее.

**Тарасов.** Ну, так пиши сама, а у меня голова больше не работает. Я сутки не спал.

**Оля.** Я тоже сутки не спала. Думай!

**Тарасов.** Я думаю. *(Бормочет про себя.)* Совершенно котелок не варит.

**Оля.** Колечка, последнее напряжение.

**Тарасов.** Смотри, я и так за сегодняшний день написал полное собрание сочинений. *(Показывает на столе бумаги.)*

**Оля.** Понимаю. Но надо.

Тарасов садится за стол и засыпает.

Проснись, Тарасов.

**Тарасов.** А?

**Оля.** Ну!

**Тарасов.** Погоди, сейчас. *(Вскакивает, думает.)* Есть. *(Идет и будит машинистку.)*

Машинистка вздрагивает, сердито поправляет волосы, кладет руки на клавиши.

**Машинистка.** Ну?

**Тарасов.**

Да здравствует Первое мая,  
Наш праздник борьбы и труда!

«Борьбы и труда» – это тебя устраивает?

**Оля.** Хорошо. Теперь хорошо.

**Машинистка.** Все?

**Тарасов.** Все.

Машинистка идет к дивану, ложится и засыпает. Оля вынимает лист из машинки, идет к двери.

**Оля** (*кричит*). Вайнштейн!

Входит заспанный комсомолец Вайнштейн. Он в самодельных шлепанцах, с наганом, в косоворотке, с расстегнутым воротом. Оля дает ему лист.

**Оля**. В типографию! Немедленно!

Вайнштейн берет лист, чешет голову и, шлепая самодельными туфлями, уходит. Роскошные банковские часы шумят и бьют три раза.

Кушать хочешь? (*Берет с подоконника кусок хлеба и солдатский бачок с похлебкой.*)

**Тарасов**. Спать хочу.

**Оля**. Ну, так спи.

**Тарасов**. А ты?

**Оля**. И я.

Тарасов сгребает все свои рукописи, делает из них подушку. И ложится на письменный стол. Оля занавешивает бумажкой лампочку и ложится на этот же стол головой в другую сторону. Пауза.

Тарасов?

**Тарасов**. А?

**Оля**. Тебе не холодно?

**Тарасов**. Немножко. А что?

**Оля**. Подожди. (*Идет в угол, берет кучу лозунгов на кумачовых полотенцах и укрывает Тарасова.*)

**Тарасов**. Спасибо, Олечка. А тебе не холодно?

**Оля** (*укладываясь и укрывая ноги своей кожаной курткой*). У меня кожаное.

Оля вертится. Ей мешает револьвер. Она его снимает и кладет под голову.

**Тарасов.** Как ты думаешь, завтра будет хорошая погода?

**Оля.** Должна быть хорошая. Ну спи, спи, не разговаривай.

**Тарасов.** Спокойной ночи.

**Оля.** Спокойной ночи.

**Тарасов.** Это будет хамство, если завтра пойдет дождь. Весь праздник нам испортит.

**Оля.** Не будет дождя. Спи. Завтра горячий день.

**Тарасов.** Сплю.

Берег моря. Ночь. Сквозь туман в море проступают контуры военных кораблей. На берегу два человека: Орловский и Селиванов. Они обнимаются. Шум прибоя.

**Селиванов.** Возьмите пакет и карту. Здесь нанесены береговые батареи, прожектора, заставы. Передайте начальнику штаба в собственные руки. На словах доложите, что ждем десанта в районе, указанном на карте стрелкой. И чем скорее, тем лучше.

**Орловский.** Слушаюсь.

В море – световые сигналы.

**Селиванов.** Вас ждут на французском миноносце.

Они целуются. Селиванов осеняет крестным знаменем Орловского. Орловский садится в шаланду. Шаланду сталкивают в воду. Уключина и весла обернуты тряпками. Орловский садится за руль. Вздохи весел. Туман. В море сигналы. Лодка уходит вдаль.

**Орловский** (*бормочет*).

Еще безумствует Париж  
И носит головы на пиках.

В море сигналы. Вздохи весел. Шум прибоя.

День Первого мая. Солнце. Город весь в знаменах, в огромных плакатах – тех самих, которые мы видели в «Изо» губкома. Толпы праздничного народа. Гремят оркестры, гармоники. На всех стенах пестрят первомайские лозунги. По улице едет «агитконка», украшенная флагами, лозунгами, плакатами. Конка – открытая, так называемая летняя. Ее тащит пара лошадей. В конке сидят артисты и поэты. Они на каждом большом перекрестке дают агитконцерты. Выступают с крыши.

Оля Данилова распоряжается выступлениями. В тот момент, когда мы видим конку, на ее крыше гармонист и эстрадная пара исполняют популярную в то время «польку-агитку» – с рефреном «раз, два, три, четыре, пять». За конкой бежит народ, мальчишки. Кричат «ура». С конки им отвечают поэты, выкрикивая первомайские лозунги. Много портретов Ленина.

Проезд конки панорамой. Здесь надо показать южный город, со множеством вывесок, с террасами закрытых кафе, с балконами, с полосатыми маркизами, и надо показать очень демократическую, пролетарскую, красногвардейскую толпу, столь несвойственную этому торговому, буржуазному району.

Агитконка останавливается возле площади, посредине которой воздвигнута первомайская арка. Арка украшена плакатами, лозунгами Тарасова, флагами. Под аркой проходят демонстранты. Поэты по очереди вылезают на крышу конки и оттуда кричат первомайские лозунги:

Да здравствует Ленин!  
Да здравствует Первое мая!

Арчибальд Гуральник карабкается на крышу конки. Его поддерживают за ноги дочь и жена. Арчибальд Гуральник выкрикивает свой лозунг.



**Арчибальд.**

Я, кубок мудрости над миром поднимая,  
Кричу «ура» в честь солнечного мая!

**Демонстранты** (*весело кричат*). Ура! Ура-а-а-а!

Арчибальд раскланивается, а затем, кряхтя, спускается в конку. Его дочь и жена неистово аплодируют. На крыше студент в обдрипанных штанах.

**Студент** (*выкрикивает лозунг*).

Слова весеннего приветая,  
Гремящие из края в край,  
От лучезарного поэта  
Прими, товарищ Первомай!

**Демонстранты.** Ура-а-а-а!

Внутри агитконки. Среди прочих – Оля и Тарасов.

**Оля.** Иди, Коля. Скорее. Приветствуй колонну моряков. Идут матросы с «Алмаза».

**Тарасов.** У меня уже голоса нет.

**Оля.** Ну, Колечка, последний раз. Я тебе помогу. Вылезай на крышу.

Тарасов вылезает на крышу. Мимо идет колонна матросов с «Алмаза».

**Тарасов** (*кричит сорванным голосом*).

Еще не разбита белая банда,  
Еще из-за моря лезет Антанта!  
Товарищ, праздную Первый май,  
Винтовку из рук не выпускай!

Матросы кричат «ура».

Тарасов спускается в конку. Оля ему помогает. Он плохо себя чувствует: видимо, у него кружится голова.

Внутри конки. Тарасов садится на скамью, опускает голову на спинку. Глаза полужакрыты.

Конка едет. Останавливается. Ее окружает толпа. Оля на крыше.

**Оля.** Товарищи! Сегодня, в день нашего пролетарского, международного праздника Первого мая, перед вами будут выступать лучшие наши артисты.

Овация.

Сейчас соло на виолончели исполнит артист оркестра Городского театра Николай Петрович Самойлов-Петренко.

Овация.

Поддерживаемый снизу поэтами и артистами, на крышу конки вылезает старик. Ему подают виолончель и стул. Он усаживается.

Серенада Шуберта.

Старик начинает играть. Толпа слушает с громадным вниманием. На площади полная тишина. Оля спускается в конку.

**Тарасов.** Оля, мне совсем плохо. *(Ложится на скамейку.)*

В глазах Тарасова рябит праздничный город. В ушах гудит виолончель. Арчибальд расстегивает ему куртку и смотрит грудь. На груди – пятна. Арчибальд застегивает куртку.

**Арчибальд** (*Оле, шепотом*). По-моему, у него сыпной тиф.

Арчибальд подносит к губам Тарасова кружку, Тарасов отводит ее вялой рукой и с отвращением отворачивается.

**Оля** (*кучеру*). Поезжайте. Скорей!

**Кучер**. Куда?

**Оля**. В городскую больницу.

Кучер отпускает тормоз и стегает лошадей. Конка дергается, едет. На крыше едущей конки играет солист на виолончели. Качается. С недоумением оглядывается, но продолжает играть. Тарасов лежит на койке в сыпнотифозном отделении городской больницы и бредит. Несется время. Бред Тарасова. Это какие-то пересекающиеся плоскости, острые углы, дисгармоничная симфоническая музыка, плакатные – непомерно грандиозные – фигуры матросов, красногвардейцев, прищуренный глаз огромного Ленина. Какие-то скалистые горы. Этот бред – впечатления «Изо», Первого мая. Кубизм сыпнотифозного бреда. Тарасову кажется, что он по острым уступам ползет вместе с Олей на какие-то очень трудные горы. Горы так велики, что по сравнению с ними Тарасов и Оля – меньше мух. Тарасов и Оля маленькие, как точки. Они преодолевают невероятные трудности, срываются в пропасть. Бегут среди углов и пересеченья плоскостей. Им надо бежать. Тарасов сжимает в руках Олину руку. И музыка, музыка...

Тарасов на одну минуту приходит в себя, открывает глаза. Он видит сыпнотифозное отделение больницы, видит стонущих и мучащихся в бреду больных; видит Олю и маму, которые туманно и грустно стоят возле его койки; он держит Олину руку, но ничего не понимает и никого не узнает. Снова теряет сознание.

Оля и мать возле его койки. Смотрят на него сквозь слезы. Подходят доктор и сестра.

**Мать.** Плох?

**Сестра.** Очень.

**Доктор.** Физиологический раствор.

Мать обнимает Олю. По щеке матери ползет слеза. Бред Тарасова продолжается.

Та же палата для сыпнотифозных. Тарасов после кризиса. Выздоровливает. Он сидит в серой бязевой рубашке на койке. Худая белая шея. Наголо бритая голова. Острые колени подняты. Положив на них тетрадь, Тарасов пишет. Входит няня. Это простая пожилая добрая баба с сердитым лицом. Тарасов прячет тетрадь под подушку.

**Няня.** Тебе кто позволил садиться? Тебе кто позволил писать? Ложись сейчас же.

**Тарасов.** Тетя Дуся, ей-богу, я здоров как бык.

**Няня.** Ложись, слышишь!

**Тарасов** *(умоляюще)*. Тетя Дуся!

**Няня** *(строго)*. Ну!

Тарасов ложится. Рассматривает свои тонкие руки с длинными пальцами.

**Тарасов.** Тетя Дуся, я сильно страшный?

**Няня.** Обыкновенный. *(Подает Тарасову узелок.)*

**Тарасов.** Кто принес? *(Разворачивает и с жадностью ест хлеб и колбасу.)* Ух ты! Папиросы! Кто принес?

**Няня.** Ольга твоя принесла.

**Тарасов.** Почему она моя? Ничего подобного. Такая же моя, как и твоя.

**Няня.** Ври.

**Тарасов.** Люблю приврать.

**Няня.** И чего это ты все пишешь?

**Тарасов.** Стишки сочиняю. Хочешь, прочту? Садись! (*Читает по тетради.*)

*Послушай, послушай...*

**Няня.** Ну, слушаю.

**Тарасов.** Да нет, это я уже начал.

Послушай, послушай, товарищ бессонный,  
Восторгов и дум соучастник ночной...

**Няня.** Это кто же?

**Тарасов.**

Графитный, граненый,  
Как штык вороненый,  
Мой друг – карандаш боевой.

*(Воодушевляясь.)*

Я знаю, в руке гениальной народа  
Поэт – не игрушка, не прихоть, не мода,  
Не луч недоступной звезды, –  
Он голос земной, потрясающий небо,  
Он ломоть ржаного солдатского хлеба,  
Он ковш родниковой воды.

Больные на соседних койках слушают Тарасова.

Вдруг орудийный выстрел сотрясает стекла. Пауза. Еще два орудийных выстрела. Со столика падает кружка. Звенит где-то разбитая склянка. Некоторые больные поднимаются.

**Тарасов.** Что такое?

**Няня.** Лежи.

Няня подбегает к окну.

За окном – улица, по которой быстро едет грузовик с вооруженными матросами и красногвардейцами.

**Тарасов.** Что такое?

Больные смотрят на сиделку.

**Вопросы.** Что такое? Что такое?

**Няня.** Не знаю.

Орудийный выстрел. Пауза. Отдаленное «ура». Тревога в палате. Больничный коридор. В одну и в другую стороны, сталкиваясь, бежит персонал. В коридор входит Оля Данилова в под сумках и с винтовкой, идет по коридору, входит в палату Тарасова. За ней – еще несколько вооруженных.

**Тарасов.** Олечка, что такое?

**Оля.** В городе восстание. В Люстдорфе десант. Кадеты наступают. Как ты себя чувствуешь? Ходить можешь?

**Тарасов.** Не знаю.

**Оля.** Ну, как-нибудь. Одевайся. Коммунисты в палате есть?

**Няня.** Четыре человека.

**Оля.** Товарищи, кто из вас коммунисты?

**Несколько голосов:**

– Я коммунист.

– Я член партии.

– Я.

**Оля (няне).** Одевайте их. Кто не может ходить, того несите на носилках. У меня во дворе подводы.

Тарасов одевается. Пробует встать. У него кружится голова; он садится.

**Тарасов (с напряженной улыбкой).** Разучился.

**Оля.** Держись за меня.

Оля поддерживает Тарасова, ведет его по коридору.

Двор больницы. Подводы, в которые сажают и кладут больных; за оградой видна улица; по улице бегут люди. Очередь пулемета. Оля усаживает Тарасова на подводу.

**Оля** (*кучеру*). Погоняй!

Подвода выезжает из ворот больницы. Оля идет рядом с ней. Выезжают другие подводы. Навстречу с винтовками «на руку» бежит вооруженный отряд рабочих.

**Оля** (*кучеру*). Езжайте прямо по Николаевской дороге. До свидания, Коля.

**Тарасов.** Куда же ты?

**Оля.** Езжайте, езжайте, не задерживайтесь.

Оля бежит за отрядом и присоединяется к нему.

Подводы с ранеными быстро уезжают. Тарасов трясется на подводе. Кучер-красногвардеец нахлестывает лошадей. По опустевшей улице вскачь мчатся подводы и сворачивают одна за другой за угол. Остается последняя подвода, та, в которой Тарасов. Свист снаряда. Снаряд разрывается возле подводы. Одна лошадь убита, другая ранена. Раненая лошадь бьется в постромах. Кучер убит. Подвода опрокинута. Больные частью убиты, частью выброшены на мостовую. Тарасов выброшен на мостовую. Он поднимается и с большим трудом доходит до угла.

Тарасов поворачивает за угол и видит идущий цепочкой отряд офицеров. Тарасов бросается назад. Ковыляет в подворотню. Почти бежит через двор. Прижимается к выступу дома. Оглядывается. Офицерский отряд проходит мимо ворот. Тарасов ковыляет дальше закоулками, через проходной двор, выходит на другую улицу. Силы

оставляют его. Он кладет узелок на землю и садится на тротуар. Мимо идет знакомая нам старуха из квартиры, где живут Тарасовы.

Старуха останавливается и злобно хватает Тарасова за руку.

**Старуха.** А!

**Тарасов.** Ради бога... Не надо... Я только что из больницы...

**Старуха.** Держите его! Не пускайте! Сюда!

Подбегают несколько обывателей и офицер.

**Тарасов.** Что вы делаете?

**Старуха** (*кричит иступленно*). Это большевик! Я его знаю! Хватайте его!

Кабинет Орловского в контрразведке. Высокие окна. Орловский в английском обмундировании с русскими погонами и трехцветным шевроном на рукаве. Дежурный юнкер.

**Орловский.** Пусть войдет.

**Юнкер.** Слушаюсь.

Юнкер впускает в кабинет мать Тарасова, а сам уходит. Сразу заметно, что мать Тарасова надела на себя все самое лучшее, от чего стала беднее и жальче.

**Мать.** Спасибо, что вы согласились меня принять. Я мать Тарасова. Он арестован и находится у вас в контрразведке.

**Орловский.** Я знаю. Стало быть, вы Колина матушка. Очень рад с вами познакомиться... Простите, не знаю вашего имени-отчества... Кажется, Екатерина...

**Мать.** Васильевна.

**Орловский.** Совершенно верно. Прошу вас, Екатерина Васильевна, садитесь. Вот сюда. Здесь вам будет покойно.

Орловский почтительно усаживает мать Тарасова в удобное кресло, а сам скромно садится рядом на стул. Все это имеет вид очень интимной, дружеской беседы.



**Мать.** Спасибо, спасибо. Я знала, я чувствовала, что вы добрый. Мне Колечка так много говорил о вас. Он всегда так хвалил ваши стихи.

**Орловский** (*живо*). Да? Он хвалил мои стихи?

**Мать.** Конечно. (*Робко, с надеждой смотрит Орловскому в глаза.*) Ведь вы с моим Колечкой, кажется... были прежде... друзьями?

**Орловский.** Почему же «были»? Мне кажется, что и сейчас тоже. Мы оба, Екатерина Васильевна, прежде всего поэты.

**Мать.** Вот и я тоже так думаю. Помогите же нам. Велите, чтобы Колю отпустили домой.

**Орловский.** Признаться, мне и самому хочется, чтобы Коля как можно скорее вышел на свободу. В конце концов это просто глупо – держать за решеткой такого талантливого человека. Кому это нужно?

**Мать.** Не правда ли?

**Орловский.** Но я не знаю, как посмотрит полковник Селиванов на Колину работу у большевиков. Все зависит от него. Вы не знаете полковника Селиванова? Это превосходный человек. Очень прямой, честный, преданный делу. Но, к сожалению, немного узкий. Ему совершенно безразлично, кто обвиняемый – матрос, красногвардеец, сотрудник чрезвычайки, агитпропщик или поэт... Раз активный большевик – кончено. Военно-полевой суд. Очень жестокий человек. Мы его называем Фукье-Тенвиль. Только между нами.

**Мать.** Вы меня пугаете! Боже мой, но что же делать?

**Орловский.** По правде сказать, Коля себя очень скомпрометировал. Но я думаю, все же мне удастся убедить полковника Селиванова, что с Колиной стороны это было простое легкомыслие. Если угодно, я даже могу за него поручиться.

**Мать.** Да, да. Пожалуйста. Поручитесь! Бог вам это зачтет.

**Орловский.** Хорошо. Я поручусь, и его освободят. Но для этого необходима одна небольшая формальность. Коля должен подписать коротенькое письмо, в котором он бы заявил, что его работа у красных была вынужденной. Ведь она была вынужденной?

**Мать.** Видите ли, строго говоря...

**Орловский.** Будем считать, что она была вынужденной. Это во всех отношениях удобнее. Вот я набросал. Мы напечатаем Колино письмо в нашей прессе, и все будет забыто. Я думаю, он не откажется подписать?

**Мать.** Он подпишет! Конечно! Он подпишет, он сделает все, что вы посоветуете.

**Орловский.** Восхитительно. *(Идет к двери, открывает и говорит в коридор.)* Тарасова.

Тарасов входит в кабинет.

**Мать.** Колечка!

Мать бросается к Тарасову, обнимает его и целует. Орловский деликатно отворачивается к окну и смотрит на рейд, где стоят несколько французских броненосцев, и на бульвар, вдоль которого идет часть союзных оккупационных войск. Черные сенегальцы, с глазами белыми, как облупленные крутые яйца; едут высокие двуколки, запряженные верблюдами; зуавы; британская морская пехота.

**Орловский** *(оборачиваясь)*. Ну, здравствуй, Коля.

**Тарасов** *(нерешительно)*. Здравствуй, Сережа.

Рукопожатие.

**Орловский.** Ты что, сыпняком болел?

**Тарасов.** Да. Чуть не умер.

**Орловский.** Что ты говоришь! Теперь тебе надо хорошо питаться. Appetit есть?

**Тарасов.** Ого!

**Орловский.** Екатерина Васильевна, вы ему побольше какао давайте.

**Мать.** Да уж вы мне его только отпустите. А уж я... Колечка, вот Сергей...

**Орловский.** Константинович.

**Мать.** Сергей Константинович ручается за тебя перед полковником Селивановым. Тебя выпускают.

**Тарасов** *(радостно)*. Ну?

**Орловский.** Да. Мы тебя выпускаем. Эх, Коля, Коля! Честное слово, я от тебя этого не ожидал. Сочинять – ты меня прости – какие-то плоские агитки, чуть не частушки, водиться со всякой швалью – с матросней и солдатней, бегать по разным этим губкомам, агитпропам... Зачем? Кому нужно? Разве это дело настоящего поэта? Впрочем, не будем об этом больше говорить. Что было, то было. И кончено. Все забыто. Правда? Курить хочешь? *(Протягивает сигареты.)*

**Тарасов** *(закуривая)*. Шикарный табак.

**Орловский.** Я думаю. Египетские, «Абдулла». Сейчас я тебе напишу пропуск, и можешь идти домой. *(Идет к столу, пишет.)* Над чем работаешь? А я, брат, за это время выпустил в Крыму новую книжку стихов. На чудесном верже. Смотри. *(Достает книжку и подает Тарасову.)* Эпиграф из «Возмездия» Блока:

Жизнь – без начала и конца.  
Нас всех подстерегает случай.  
Над нами – сумрак неминучий,  
Иль ясность божьего лица.

**Тарасов.** Мрачно.

**Орловский.** Но гениально.

**Тарасов.** А я бы взял дальше из того же «Возмездия». *(Читает наизусть.)*

Но ты, художник, твердо веруй  
В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.  
Тебе дано бесстрастной мерой  
Измерить все, что видишь ты.  
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.  
Сотри случайные черты –

И ты увидишь: мир прекрасен.

**Орловский.** Мир – прекрасен? Нет, это не для моей книги.  
Помнишь, из «Пляски смерти»:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи еще хоть четверть века –  
Все будет так. Исхода нет.

**Юнкер** (*входит*). Господин поручик...

**Орловский.** Вы видите, я занят.

Юнкер скрывается.

Умрешь – начнешь опять сначала,  
И повторится все, как встарь:  
Ночь, ледяная рябь канала,  
Аптека, улица, фонарь.

**Тарасов.** Мрачно.

**Орловский.** Но гениально.

**Тарасов.** Нет, Сережа, это не гениально. Не гениально, потому – неправда.

Живи еще хоть четверть века –  
Все будет так. Исхода нет.

Четверть века! Да через четверть века жизнь будет неузнаваема!  
Мы живем в счастливейшее, изумительнейшее время! Старый мир  
рушится. Неужели ты не чувствуешь?

Неужели ты не видишь,  
Неужели ты не знаешь,

Неужели ты не хочешь  
Опляннуться и понять?

Надо смотреть в будущее. А ты смотришь в прошлое. В этом вся штука, Сережа.

**Орловский.** Ну, это нас заведет слишком далеко. *(Протягивает Тарасову бумагу.)* Подписывай и можешь идти домой.

Тарасов читает бумагу. Мать и Орловский напряженно всматриваются в лицо Тарасова. Мать – с надеждой, Орловский – подозрительно.

**Тарасов.** Я это должен подписать?

**Орловский.** Ну да.

**Тарасов.** За кого ты меня принимаешь?

**Орловский.** За Колю Тарасова, способного поэта и крайне легкомысленного человека, который наделал массу глупостей. Надо, Колечка, выкручиваться. Пиши.

Тарасов молча кладет бумагу на стол.

Не хочешь?

**Мать.** Коля!

**Тарасов.** Мама, это не ваше дело.

**Орловский.** А ты знаешь, в чем тебя обвиняют?

**Тарасов.** Не знаю.

**Орловский.** В коммунистической пропаганде. Имей в виду, что у меня имеются все твои шедевры. *(Достает папку «Дело Тарасова» и показывает черновики, бумаги и общую тетрадь.)* Знаешь, что это значит? Это военно-полевой суд и смертная казнь.

**Тарасов.** Пугаешь?

**Орловский.** Предупреждаю.

**Мать.** Он не знает, что говорит! Не слушайте его! Коля, умоляю тебя... Ведь все было так хорошо, сидели, разговаривали, читали стихотворения...

**Тарасов.** Мама, успокойтесь. *(Орловскому.)* Купить меня хочешь?

**Орловский.** А что? Может быть, ты уже куплен? Ах да, я и забыл – за советский паек, по ржавой селедке за строчку.

**Тарасов.** Замолчи! Замолчите, я не желаю с вами разговаривать.

**Мать.** Только не ссорьтесь. Умоляю вас, не ссорьтесь.

**Орловский.** Вы забываете, кто из нас арестован. Встать!

**Тарасов.** Вот, вот. Это ваше настоящее лицо. Вы не поэт, а золотопогонник.

**Орловский.** Большевик!

**Тарасов.** Ага, сообразил? *(Разрывает бумагу и бросает в корзину.)*

**Мать.** Коля, что ты делаешь?

**Орловский.** Хорошо. Вы сами этого захотели. *(Подходит к столу и нажимает кнопку звонка.)*

Входят юнкера.

Взять. В тринадцатую камеру.

**Мать.** Коля, что ты сделал! *(Бросается на колени перед Орловским.)* Простите его! Пощадите его, пощадите. Он же мальчишка. Скажите, чтобы его не уводили! Скажите!

**Тарасов.** Прощайте, мама.

Юнкера ведут Тарасова к двери.

*(В дверях, Орловскому.)* Бездарность.

Тарасова уводят. Мать рыдает.

**Орловский.** Мадам, я сделал все, что было в моих силах. Простите. Я занят. *(Кричит.)* Проводите даму.

Слышен крик Тарасова.

Камера с арестованными большевиками. Среди арестованных Оля, солдат, пожилая интеллигентка и другие. Дверь распахивается. Тарасов с кровоподтеком на лице влетает в камеру и падает на товарищей.

**Оля.** Тарасов! И ты?

Дверь захлопывается.

Кабинет Орловского Орловский у окна.

**Орловский.**

Ночь, ледяная рябь канала.

Аптека, улица, фонарь...

Улица. Фонарь. Аптека. Рассвет. По пустынной улице ведут осужденных под конвоем.

Внутренность аптеки. Гуральник и дочь в халатах делают лекарство. Они смотрят через окно с накладным орлом на улицу и видят, как ведут осужденных. Среди них они узнают Тарасова и Олю, которые идут рядом, обнявшись. Кроме Оли и Тарасова, в рядах осужденных – солдат, пожилая интеллигентка, комсомолец Вайнштейн. Впереди вахмистр на лошади. По бокам – конвойные. Сзади на извозчике юнкер с пулеметом.

Проход осужденных по улице. Медленно. Небольшой прудутренный дождик, туман. В рядах осужденных – Тарасов и Оля, обнявшись.

Через окно аптеки на них смотрят Гуральник и его жена.

**Жена.** Ты видишь?

**Гуральник.** Вижу.

**Жена.** Куда их ведут?

Гуральник молчит.

Почему ты молчишь.

**Гуральник.** Вот Тарасов.

**Жена.** Где, где?

**Гуральник.** Вон...

**Жена.** Арон, куда их ведут?

**Гуральник.** Замолчи.

**Жена.** Такие молодые!..

**Гуральник.** Замолчи!.. Или я... Или я не знаю, что сделаю.

*(Слезы текут по его лицу.)*

Идут по улице Оля и Тарасов.

**Тарасов.** Вот и жизнь прошла, Олечка...

Неужели и жизнь отшумела,  
Отшумела, как платье твое?..

**Оля.** Тебе страшно?

**Тарасов.** Страшно. А тебе?

**Оля.** Представь себе, не страшно. Я не верю... в это.

**Конвойный.** Эй, там, не разговаривать!

**Тарасов.** Мы могли бы так любить друг друга... Ах, гады, гады!..

**Оля.** Еще ничего не известно.

**Тарасов.** Эх, что говорить!

Движение осужденных по городу – панорамой. По дороге попадаются одинокие прохожие. Они останавливаются. Это рабочие, идущие на работу. Они поворачивают и идут за осужденными по тротуару. Они накапливаются. Их уже кучки, их уже небольшая толпа.

**Вахмистр.** Разойдитесь!

Никто не расходится.

Процессия доходит до того перекрестка, где в день Первого мая стояла арка. Ее остатки стоят и сейчас. Жалкие остатки.



**Оля.** Арочка наша. Помнишь, какой день был? Эх, до чего обидно!

**Тарасов** (*безучастно*). Да. Обидно.

**Оля.** Коля, возьми себя в руки. Еще ничего не известно.

**Тарасов.** Все известно, Олечка. Обидно. Главное – обидно, что эта сволочь Орловский забрал у меня тетрадку со стихами. Там есть новые. «Ода Карандашу» – ты еще не знаешь. Так и пропадут. И никто не прочтет.

**Конвойный.** Не разговаривать!

**Солдат** (*видя, что вокруг собралась довольно большая толпа, кричит вызывающе*). Слушаюсь, ваше превосходительство. (*Толпе.*) Товарищи, нас ведут убивать!

Французский солдат стоит в толпе и смотрит на арестованных. Видит Тарасова.

**Французский солдат** (*восклицает по-французски*). Ах, как глупо! Ах, как все это глупо!

Толпа растет и окружает процессию. Процессия останавливается. Ее что-то задерживает впереди. Это несколько наемных экипажей, так называемых «штетеров», застряло поперек улицы. В одном из них сидит Царев, одетый буржуем: в котелке, с тростью, в зубах сигара – барин барином.

**Вахмистр.** Проезжайте! Не задерживайте! Господа!

**Оля** (*поднимаясь на цыпочки*). Коля, Царев.

**Тарасов.** Где?

**Оля.** Вон. Впереди. Тише. Бежать сможешь?

**Тарасов.** Бесполезно. Зачем?

**Оля.** Не валяй дурака. Будешь держаться за мной. Слышишь?

Толпа напирает на конвой. Царев возвышается над толпой, стоя в экипаже. У него в руках револьвер. Он убивает вахмистра.

**Царев.** Товарищи, тикайте!

Свалка, хаос.

**Оля.** Держись за мной! Кому я говорю? Ну, пошли.

Оля выталкивает Тарасова из рядов, и они бегут сквозь толпу, которая задерживает конвой. Оля и Тарасов толкают французского солдата.

**Французский солдат** (*сердито смотрит им вслед, бормоча по-французски*). Ах, как глупо! Это просто глупо!

**Царев** (*над хаосом свалки*). Тикайте! Тикайте! Тикайте!

Комсомолец Вайнштейн пытается бежать. Его закалывают. Конвой отбивает атаку толпы. Солдат бросается на конвойного.

Конвойный стреляет в солдата. Солдат падает.

Улица. По ней бегут Оля и Тарасов.

**Оля.** За мной. Держись за мной.

Выстрел. Пуля разбивает фонарь. Выстрел. Оля спотыкается. Из ее руки течет кровь. Оля и Тарасов бегут, поворачивают за угол.

За углом. Улица. Фонарь. Аптека Гуральника. Оля и Тарасов бегут.

**Тарасов.** Боже мой, ты ранена, что делать?..

**Оля.** Не ной, ради бога. Беги. Скорей. Сюда.

Оля тащит Тарасова в аптеку. Он упирается.

**Тарасов.** Зачем? Что ты хочешь делать?

**Оля** (*яростно*). Дурак. Ш-ш-ш! Сюда. Скорей. Это аптека Гуральника. Ну? Сзади никого нет.

Оля почти силой втаскивает Тарасова в аптеку. Захлопывает за собой здоровой рукой дверь. Звякает колокольчик.

В аптеке. Мимо пораженной кассирши, в которой мы узнаем мадам Гуральник, Оля тащит и толкает Тарасова за прилавок, во внутреннее отделение аптеки, где готовят лекарства. Внутреннее помещение аптеки. Арчибальд Гуральник и его дочь готовят лекарства. Вторжение Тарасова и раненой Оли производит на них ошеломляющее впечатление. Они в столбняке.

**Гуральник.** Тарасов!

**Тарасов.** Слава богу, это вы. Она ранена. Нас ищут. Надо что-то делать.

**Гуральник.** Все понятно. Не беспокойтесь. *(Оле.)* Вы ранены?

Оля, обессиленная, садится на скамью.

Первое помещение аптеки. Входят два юнкера с винтовками. Осматриваются. Видят кассиршу – мадам Гуральник.

**1-й юнкер.** Никто не входил в аптеку?

**Мадам Гуральник.** Никто.

**2-й юнкер.** Посмотрим.

Оба юнкера идут за прилавок и входят во внутреннее помещение. Гуральник, его дочь и Тарасов в халате Гуральника, в его ермолке и в его же очках готовят лекарства. Тарасов сыплет из большой банки с черепом порошок в фарфоровую ступку и усиленно толчет. Оли не видно. Но из нижней щели шкафа торчит кончик платя и тоненькой струйкой течет кровь, образуя на полу довольно большую лужу. Гуральник незаметно косится на кровь.

**Гуральник** *(юнкерам).* Что вам угодно?

Юнкера молча осматривают помещение, один из них идет и заглядывает в соседнюю комнату – там пустая столовая Гуральников: висючая лампа, бархатная скатерть на столе, черный буфет, картина на

библейский сюжет в широкой бархатной раме, серебряные подсвечники. Ничего подозрительного.

**1-й юнкер.** Ничего.

Юнкера медленно уходят. 2-й юнкер ступил ногой в кровь, и теперь его сапог отпечатывает на полу темные следы. Но юнкера этого не видят.

Оставляя на полу следы, юнкера уходят из аптеки, сумрачно откозыряв мадам Гуральник. Ушли. Дверь за ними закрылась, звякнув колокольчиком. Мадам Гуральник некоторое время сидит за кассой, неподвижная, как мраморная статуя.

Внутреннее помещение.

**Гуральник** (*с ужасом смотрит на Тарасова, толкущего порошок в ступке*). Что вы делаете?

**Тарасов.** Порошки от кашля.

**Гуральник.** От кашля? Безумец! Это синильная кислота!

Входит мадам Гуральник.

**Мадам Гуральник** (*яростно*). Арон, что это значит?

**Гуральник.** Соня, зачем ты здесь? Ты хочешь, чтобы обокрали аптеку? (*Грозно.*) В магазин! Ну!

Улица, на которой находится аптека. Вечер. По улице тревожное движение: торопятся куда-то офицеры, проходит отряд британской морской пехоты; сотрясая стекла окон, полает несколько старомодных французских танков – образца 1918 года.

На дверях аптеки табличка: «Заперто».

Кухня в квартире Гуральника при аптеке. Гуральник и его жена. Самовар. Мадам Гуральник наливает в стаканы чай. Стаканы стоят на подносе. Стаканов много – штук восемь. Мадам Гуральник

раздражена, испугана, взволнована. Гуральник, по своему обыкновению, хладнокровен. В углу сидят Оля и Тарасов.

**Мадам Гуральник.** Арон, я в отчаянии. Почему мы в кухне? Кто эти люди? Что им надо? До каких пор они будут сидеть у нас в квартире? Ты знаешь, какое теперь время. Кончится тем, что мы все попадем в контрразведку. Я тебя предупреждаю. Какое горе, какое горе...

**Гуральник.** Ты уже кончила? Так неси людям чай.

Мадам Гуральник берет поднос и идет к двери. В дверях останавливается и смотрит на Гуральника горестными глазами.

**Мадам Гуральник.** Мы таки, кажется, потеряем аптеку из-за твоей поэзии.

**Тарасов.** Поэзия – вещь щекотливая. И вообще – лирика.

Мадам Гуральник выходит из кухни, идет по коридору.

Мадам Гуральник входит с подносом в столовую. В столовой дым коромыслом. За столом сидят какие-то странные, незнакомые люди, среди которых Царев. Накурено. При входе мадам Гуральник все замолкают.

**Мадам Гуральник.** Извините, я вас перебыю. Может быть, вы, по крайней мере, хоть выпьете по стаканчику чаю? Не знаю, кто как любит, но на всякий случай я налила четыре стакана покрепче и четыре послабже.

**Царев.** Спасибо. стакан чаю не повредит.

Все разбирают чай.

Вы нас, мадам, конечно, извините, но у вас такая исключительно подходящая квартира. Не беспокойтесь. Мы сейчас уйдем.

**Мадам Гуральник.** Ах, пожалуйста. Сидите, сколько вам угодно. Нам это только приятно. Но вы понимаете, какое теперь опасное

время. Не дай бог, придет контрразведка... Извините, не буду мешать. Пейте чай.

Мадам Гуральник уходит в кухню. Там она демонстративно шумно проходит мимо Оли и Тарасова, которые, стараясь занимать как можно меньше места, сидят в углу. Через некоторое время открывается дверь, и заседавшие один за другим проходят через кухню, прощаясь с Гуральником, его женой, Олей и Тарасовым.

**Каждый говорит:**

– Извините за беспокойство.

– До свидания.

– Спасибо.

**Жена Гуральника.** Милости просим. Заходите.

Все уходят. Царев задерживается.

Арчибальд! Закрой двери на все засовы.

Гуральник и его жена уходят.

**Царев.** Коля, ты знаешь, где находится деревня Сычевка?

**Тарасов.** Знаю. А что?

**Царев.** Да вообще ничего. Ты где, Коля, учился?

**Тарасов.** В гимназии. А что?

**Царев.** Да, в общем, ничего. У вас там по-французскому обучали?

**Тарасов.** Обучали.

**Царев.** А ну, скажи что-нибудь по-французскому.

**Тарасов.** Зачем тебе?

**Царев.** Ну, если я тебя прошу.

**Тарасов.** Пожалуйста:

Ля бонн апорт ля лямп,

Ле пети муш тур-о-тур.

Ля флямм атир ля муш.

Повр пети муш!

**Царев.** Ты мировой парень, Коля. *(Жмет ему руку.)*

Тарасов в недоумении.

Ты, конечно, на меня, Колечка, не сердись, ты уже и так через нас имел неприятности. Но сделай нам еще одно маленькое одолжение...

**Оля** *(тревожно)*. А что?

**Царев.** Видела этого?.. С бородой...

Входят Гуральник и его жена.

**Тарасов.** Ну?

**Царев.** Только строго между нами. *(Смотрит выразительно на Гуральников.)* Мадам!

**Жена Гуральника** *(иронически)*. Может быть, нам выйти из собственной кухни?

**Гуральник.** Пойдем в столовую.

**Жена Гуральника.** Я уже не хозяйка в собственном доме. Меня это отчасти смешит.

**Гуральник** *(строго)*. Соня!

Гуральник с женой снова уходят из кухни.

**Царев.** Мерси. *(Тарасову.)* Так этот человек с бородой – представитель подпольного губревкома. В семь часов утра в городе начнется восстание. Нас поддержит Котовский. К Григорию Ивановичу от губревкома послан связной, но... Кто знает? А вдруг ему не удастся пройти?.. Улавливаешь мою мысль?

**Тарасов.** Ты хочешь, чтобы я прошел в Сычевку?

**Царев.** Я тебя почему прошу? Потому, что ты хорошо знаешь по-французски.

**Тарасов.** Да ты мне не объясняй. Понятно.

**Царев.** Тебе будет не так трудно пройти через французскую заставу. Они тебя остановят, а ты с ними поговори по-французски.

Они это страшно любят. Кто с ними по-французски говорит, они для того все на свете сделают. Скучают по своей Франции.

**Тарасов.** Да ты меня не агитируй. Когда идти?

**Царев.** Сейчас. Я бы, понимаешь, сам пошел, да, во-первых, я плохо по-французски понимаю, а во-вторых, у меня здесь работы выше головы.

**Тарасов.** Перестань размазывать. Все понятно.

**Царев.** Держи пропуск. Посмотри. Все честь по чести. Чудная липа. Только тут немножко печать подгуляла. Гравер нас подвел, будь он проклят. Пьяница человек. Но у французов сойдет. А если попадешь к белым. – вата. Белым ее лучше не показывай.

**Тарасов.** Понятно. *(Подходит к Оле.)* Ну, Олечка, значит, я пошел.

**Оля** *(долго рассматривает пропуск).* Иди, Коля.

**Тарасов.** Будете брать контрразведку, не поленитесь забежать в кабинет Орловского. Там у него осталась тетрадка с моими стихами. Не забудешь?

**Оля.** Не забуду. *(Притягивает к себе Тарасова.)* Колечка... Умоляю тебя... Будь осторожен... *(Строго.)* Ну смотри же!

**Тарасов.** Что?

**Оля.** Смотри же, теперь ты... теперь я... На всю жизнь.

Оля и Тарасов целуются.

**Царев.** Я не вижу! *(Отворачивается.)* И когда это они успели, не понимаю...

Окраина. Перед рассветом. Тарасов пробирается из города. Он в лучшем костюме Арчибальда Гуральника. Слышатся аккордеон и голоса, которые поют французскую песенку «О ле фрез, ле фрамбуаз». Возникает французский часовой. Дальнейшие диалоги идут по-французски.

**Часовой.** Стой! Пропуск.

**Тарасов.** Прошу вас.



**Часовой.** А! Вы говорите по-французски! Это хорошо. *(Берет пропуск, читает.)* Руки из карманов. Идите вперед.

**Тарасов.** Куда вы меня ведете?

**Часовой.** К лейтенанту. У вас русский пропуск. Пусть посмотрит лейтенант.

Часовой приводит Тарасова к лейтенанту. Возле походной кухни французские солдаты чистят картошку и поют «Ле фрез, ле фрамбуаз» под аккордеон. Лейтенант сидит, завернувшись в плащ, на ящике, подпевает.

Господин лейтенант! Я на всякий случай задержал этого человека. У него русский пропуск. Но он говорит по-французски. Вот его пропуск.

**Лейтенант.** Вы говорите по-французски?

**Тарасов.** Да. Немного.

**Лейтенант.** Великолепно. *(Рассматривает пропуск; строго.)* Почему вы шляетесь в такое позднее время?

**Тарасов.** Извините, но у меня больна мать. Мы живем на хуторе. Я ходил в город за лекарством. *(Показывает бутылку с рецептом.)*

**Лейтенант.** О, ваша бедная мать больна! Что с ней?

**Тарасов.** Воспаление легких.

**Лейтенант.** При таком собачьем климате это очень опасно. Вам надо спешить.

**Тарасов.** Да, но меня задержал ваш солдат.

**Лейтенант.** Он исполнил свой долг. Но я сейчас сделаю распоряжение вас пропустить. *(Шутливо.)* Надеюсь, вы не большевик и не шпион?

**Тарасов.** О нет, что вы! Разве я похож на большевика?

**Лейтенант.** Нисколько. Кроме того, черт возьми, вы совсем недурно говорите по-французски. Вы жили во Франции?

**Тарасов.** Нет. Я изучал французский язык в гимназии.

**Лейтенант.** Жаль, что вы не жили во Франции. Я уверен, что Франция бы вам очень понравилась. Это прекрасная страна. Когда у вас кончится эта ужасная гражданская война, вы непременно побывайте во Франции.

**Тарасов.** С удовольствием.

**Лейтенант.** Вы даете мне слово? Впрочем, мы здесь с вами разболтались о Франции, в то время как ваша бедная, больная мать ждет лекарства. Идите. *(Рассматривает пропуск.)*

**Тарасов.** Благодарю вас. *(Хочет идти.)*

**Лейтенант.** Подождите. Остановитесь. Мне не совсем нравится ваш пропуск. Очень неясная печать. Лучше всего показать ваш пропуск на русской заставе. Это совсем недалеко. Вас проводят. *(Кричит.)* Андрэ!

Входит Андрэ, французский солдат, которого мы видели в сцене прохода осужденных.

**Андрэ.** Я, господин лейтенант.

**Лейтенант.** Возьмите документ и проводите этого господина на русскую заставу. Пусть русские посмотрят пропуск. Я не уверен в печати. Но надеюсь, что все выяснится. Передайте привет вашей бедной матери.

Андрэ смотрит на Тарасова и узнает его.

**Андрэ** *(Тарасову)*. Пойдемте. Руки из карманов. Идите впереди и не пытайтесь бежать.

Андрэ берет винтовку на изготовку, щелкает затвором и ведет Тарасова. Он молча ведет Тарасова мимо французских танков и батарей в степь, на дорогу и здесь останавливается.

Ну, здесь я вас покидаю. Идите дальше один.

**Тарасов.** Вы... вы... Я могу идти один?

**Андрэ.** И возьмите вашу ужасную бумагу. *(Отдает Тарасову пропуск.)* Ах, как глупо! Как ужасно глупо!

**Тарасов.** Спасибо!

Рукопожатие. Тарасов идет.

**Андрэ** (вслед ему, лукаво, на ломаном русском языке). До свидания, то-ва-рыш!

Гудит заводский гудок. Белый пар вылетает из гудка и клубится в туманном утреннем воздухе. Сквозь рвущийся пар видна панорама одного из предместий города: фабричные трубы, заводские корпуса, хибарки рабочих. Видны кое-где море и рейд с военными кораблями. Заводский двор. Его заполняют вооруженные рабочие. Улица в предместье. Из заводского двора выливается толпа вооруженных рабочих. Баррикада, с которой отстреливаются юнкера и офицеры. Восставшие наступают. Во главе наступающих – Царев, с ним Оля. Бой. Белые бегут. Взятие баррикады восставшими. Улица ближе к центру. Бегство белых. Наступление красных – перебежка. Царев. Оля. Знакомый нам перекресток в центре. Зеленые сундуки цветочниц. Ведра, миски с цветами. Масса цветов. Цветочницы под полотняными зонтиками. Разодетая толпа. Тревога. По улице рысью едут части интервентов. Это бегство. Греческие солдаты на осликах, нагруженных какими-то лоханками. Сенегальцы. Двуколки на громадных колесах, запряженные верблюдами. Одиночные фигуры французских и английских солдат. Все в панике толпятся, наезжают на тротуары. Падают ведра и миски с цветами. По цветам, упавшим на тротуар, шагают солдатские бутсы. Буржуа бегут, роняя котелки и трости. У дам отрывают шлейфы. Шторы магазинов и кафе с грохотом падают.

Паника продолжается.

Кабинет Орловского в контрразведке. Несколько юнкеров торопливо связывают кипы дел, укладывают бумаги в ящики; всюду листы бумаги. Хаос. Орловский. Он делает сразу два дела: заряжает маузер, раскладывает по карманам патроны и вместе с тем вынимает из ящика стола разные бумаги, бегло прочитывает их, некоторые разрывает и бросает в камин. Вбегает юнкер с депешей.

**Юнкер.** Сергей Константинович, союзники сдают город.

**Орловский.** Как? Уже? Сегодня?

**Юнкер.** Так точно. Сейчас. Посмотрите.

Орловский кидается к окну, распахивает его. Он видит:

Море, рейд. Уходят французские корабли. В порту слышны тревожные гудки. Густо дымят пароходы.

Бульвар. Вдоль бульвара по направлению к гавани на извозчиках, в экипажах, на автомобилях, нагруженных чемоданами, сундуками, мчатся обезумевшие буржуа. Шансонетки в мехах, спекулянты, чиновники, финансисты... Тревожные гудки пароходов. Орловский смотрит на бегущую буржуазию.

**Орловский.** Действительно, буржуазная сволочь!

**Юнкер.** Красные наступают с Пересыпи. Полковник Селиванов приказал немедленно грузить архивы и везти в порт.

**Орловский.** Нас предали. Драться до последнего патрона!

Улица недалеко от контрразведки. Поперек улицы лежит опрокинутый грузовик. За ним, укрываясь, ведет наступательный бой отряд Царева.

**Царев.** Товарищи, первое дело – берем контрразведку! Надо выпустить арестованных, пока их не поубивали. Перебежка. По одному. За мной!

Царев спрыгивает с грузовика и бежит вперед. За ним Оля. За ними другие. Наступление.

У ворот контрразведки. От наступающих красных отстреливаются юнкера и офицеры. В их числе Орловский. Он особенно ожесточен.

По степи широкой рысью во главе своего штаба едет Котовский.

**Котовский** (*попридержав коня*). А где же поэт? Товарищ поэт, где вы там?

За Котовским – Тарасов, неумело сидящий на скачущей лошади.

**Тарасов** (*поравнявшись с Котовским*). Я здесь!

**Котовский**. Не отставайте.

**Тарасов**. Я не отстаю. Только у меня уже кончается лошадь. Пегас, так сказать...

Котовский смеется.

**Котовский**. Ничего. Кончится один, мы вам выдадим другого. Вы когда-нибудь видели, как конница берет город?

**Тарасов**. Откровенно говоря, нет.

**Котовский**. Так сейчас увидите. (*Смотрит в бинокль.*)

Панорама города и моря с дымящимися броненосцами.

(*Подает команду.*) Лавой!

Трубач трубит. Конная атака. Штурм красными контрразведки. Белые, в том числе Орловский, бегут.

Царев и Оля во главе своего отряда врываются в контрразведку. Отряд сильно поредел. Много убитых.

Коридор контрразведки. Запертые двери камер. Из-за дверей камер слышатся крики, стук в двери, гул.

Царев и с ним несколько человек сбивают замки, взламывают прикладами двери камер. Открывается первая дверь. Царев на пороге. В камере арестованные.

**Царев**. Товарищи! Тикайте!

Арестованные выбегают из камеры.

**Арестованные**. Ура-а-а!

Из других камер выбегают арестованные.

Оля одна бежит по лестницам и коридорам контрразведки. Отворяет двери, заглядывает в пустые комнаты с хаосом опрокинутой мебели, разбросанных бумаг и ящиков. Оля вбегает в кабинет Орловского. Она начинает среди кип наваленных бумаг и папок искать тетрадь Тарасова. Одна за другой летят на пол папки. Оля взламывает стол Орловского, выбрасывает бумаги, ищет. Тетради все нет.

Царев и освобожденные вбегают в караульное помещение. Стойка с винтовками. Ящики патронов.

**Царев.** Берите оружие – и на улицу.

Освобожденные разбирают оружие и выбегают на улицу. На улице перед контрразведкой отряд Царева, пополненный освобожденными, быстро строится в боевой порядок и начинает наступать на отряд Орловского, закрепившийся на бульваре.

Кабинет Орловского. Оля продолжает рыться в бумагах. Пол завален папками, бумагами.

Бой Царева с Орловским. Орловский наступает. Атака белых на красных. Красные отступают. Красные бегут мимо контрразведки назад и занимают исходное положение за опрокинутым грузовиком.

За опрокинутым грузовиком. Царев ведет оборонительный бой.

**Царев.** А где же Оля? Товарищи, кто видел Данилову?

Улица. Несколько человек белых во главе с Орловским входят в контрразведку. Кабинет Орловского. Оля роется в бумагах, находит дело Тарасова. Открывает. Находит тетрадь.

**Оля.** Вот она. Слава тебе господи!

Идет, на ходу машинально перелистывает тетрадь, останавливается, читает. Читает про себя, с нежной улыбкой. Входит Орловский. Видит Олю. Опешил от неожиданности. Оля видит Орловского. На миг каменеет. Ей становится все ясно. Она быстро прячет тетрадь на грудь, под кожаную куртку, и в то же время бросается за несгораемый шкаф я, пользуясь его открытой дверцей как щитом, стреляет в Орловского из револьвера. Промахнулась. Орловский стреляет в Олю, пуля звенит, ударившись в дверцу несгораемого шкафа. Оля стреляет в Орловского, но наган щелкает. Оля смотрит в барабан. Патронов больше нет.

**Орловский.** Руки вверх!

Орловский бросается на Олю и хватает ее за больную руку.

**Оля.** Ай! Что вы делаете! (*Растерянно.*) Палач, шкура!

Боль приводит ее в ярость. Она бьет Орловского револьвером и выбивает из его руки револьвер. Начинается страшная рукопашная схватка. Чувства смертельной опасности и ненависти удесятеряют силы девушки. Схватка не на жизнь, а на смерть. Но все же Орловский начинает одолевать.

Улица возле контрразведки. Один из эскадронов Григория Ивановича карьером мчится на выручку отряду Царева. В гривы лошадей вплетены красные ленты. Эскадрон смешивается с отрядом Царева, засевшим за опрокинутым грузовиком.

**Царев.** Молодец Коля!

Эскадрон вместе с отрядом Царева стремительно атакует отряд юнкеров и офицеров, защищающий контрразведку; белые опрокинуты. Котовцы рубят белых.

Кабинет Орловского. Орловский повалил на пол Олю и скрутил ей руки за спину. С улицы слышен шум боя и крики «ура». Орловский

прислушивается, отпускает Олю и подбегает к окну. Он видит: красные врываются в контрразведку.

Оля вскакивает с пола, кричит в окно: «Товарищи!» – и бросается на Орловского. Орловский с силой отбрасывает ее в другой угол комнаты. Оля стучается о несгораемый шкаф и на миг теряет сознание. Орловский выбегает из кабинета.

Черный ход в контрразведке. Орловский бежит вниз по витой железной лестнице. Коридор контрразведки. В коридор вбегают толпой отряд Царева. Царев впереди.

Царев с товарищами вбегают в кабинет Орловского, видит Олю, которая сидит возле несгораемого шкафа, держа здоровой рукой больную руку, стонет и прижимает к груди тетрадь. Царев наклоняется над нею.

**Царев.** Олька! Будь ты проклята. Что ты здесь делаешь?

**Оля** (*с трудом, сквозь стон*). Искала тетрадь Тарасова. (*Показывает Цареву тетрадь.*) Вот. (*Закрывает глаза.*)

Улица в предместье. Горячая встреча Котовского населением предместья. Котовский со своим штабом впереди. Цветы. Немного позади штаба – рядом с трубачом, неумело сидя верхом на лошади, едет Тарасов.

Мать Тарасова стоит на приступочке во дворе возле своего подвала. Вокруг нее соседи, которые когда-то переезжали в буржуазный квартал. Во двор входят Царев и солдат.

**Царев** (*весело*). Здравствуйте, мамаша.

**Мать.** Здравствуйте. Опять переселяться?

**Царев.** Да нет. Коля не появлялся?

**Мать.** Только что заснул.

**Царев.** Досадно. А он нам как раз до зарезу нужен.

**Мать.** Ни в коем случае!

**Царев.** На полчаса. Мы его привезем, отвезем и опять привезем.

**Мать.** Ни за что!



**Царев.** Митинг в цирке. Художественная часть без поэта не обойдется. *(Нагибается к окну, кричит.)* Коля, спишь?

Царев входит в комнату на цыпочках, чтобы не разбудить Ольгу, которая спит на кровати матери Тарасова. У нее забинтованная голова.

**Мать.** Не будите их.

**Царев.** Я потихонечку. *(Трогает спящего Тарасова за плечо.)* Коля, спишь?

**Тарасов** *(вскакивает).* А? Где? Что такое? Кто?

**Царев.** Это мы. Надевай сапоги.

Тарасов, ни о чем не спрашивая, начинает одеваться. Входит мать Тарасова.

**Солдат.** Мы всего на полчаса, мамочка...

**Царев.** Ну как, уже готов, Коля?

**Тарасов.** Куда идти?

**Царев.** Ты, Коля, золотой человек.

Митинг в цирке. Тарасов на арене, читает стихи.

**Тарасов.** «Ода Карандашу»!

Послушай, послушай, товарищ бессонный,  
Восторгов и мук соучастник ночной.  
Графитный, граненый,  
Как штык вороненый,  
Мой друг – карандаш боевой.

В это время на галерке мы видим переодетого Орловского, который впился ненавидящими глазами в Тарасова. Осторожно Орловский вынимает пистолет и, упершись в барьер, целится в Тарасова. Выстрел. Замешательство. Орловского хватают. Тарасов невредим: Орловский промахнулся.

Товарищи, не волнуйтесь. Я жив, цел и невредим. (*Видит Орловского.*) А, это вы? Вы так же бездарно стреляете, как и пишете стихи.

**Орловский.** Я вас ненавижу!

Орловского уводят.

**Тарасов.** Итак, на чем мы остановились? (*Продолжает читать.*)

Шахтер и художник, матрос и рабочий,  
Поэт и крестьянин, литейщик и зодчий,  
Мы братья, мы дети народа-творца.  
Из рук наших с силой невиданной рвутся  
Слепящие молнии революций,  
И песни, светясь, раскаленные льются,  
Как лава из сердца певца!..

Глаза Тарасова сияют.

1957

## Комментарии

### **Я, сын трудового народа...\***

Работу над повестью писатель начал в 1936 году.

Впервые она опубликована в ноябрьской книжке «Красной нови» за 1937 год.

Вскоре после выхода повести вокруг нее началась острая полемика. Высокую оценку новому произведению Валентина Катаева дал в статье «Повесть о народном счастье» («Красная новь», 1937, № 11) критик В. Ермилов. Резко отрицательно характеризовал книгу В. Перцов, который в статье «Эпос и характер» («Литературная газета» от 30 января 1938 г.) критиковал ряд произведений современной литературы – в том числе роман-фильм «Мы из Кронштадта» Всеволода Вишневского и «Я, сын трудового народа...» В. Катаева – за слабое изображение характеров. О повести последнего В. Перцов писал, что она напоминает «живописью нравов» физиологические очерки сороковых годов прошлого столетия. Возражая критику, автор повести выступил в статье «Скрытая групповщина» («Правда» от 23 апреля 1938 г.) с протестом против пережитков рапповского схематизма в решении эстетических вопросов.

В 1939 году в содружестве с В. Катаевым известный советский композитор Сергей Прокофьев создает на основе повести оперу «Семен Котко». Писал он эту оперу с большим увлечением и написал ее очень быстро.

Прокофьев, рассказывая о том, почему он обратился к повести Катаева, признавался: «Мне давно хотелось написать советскую оперу, но я долго не решался взяться за работу, пока постепенно не выработал точку зрения на то, как надо подойти к этой задаче... Хотелось живых людей с их страстями, любовью, ненавистью, радостью и печалью, естественно вытекающими из новых условий. В этом отношении меня заинтересовала повесть Валентина Катаева „Я, сын трудового народа...“. Люди у Катаева абсолютно живые, и это самое главное. Они живут, радуются, сердятся, смеются – и вот эту жизнь мне хотелось передать» (Сборник «С. С. Прокофьев.

*Материалы, документы, воспоминания», Госмузиздат, М. 1961, стр. 235–236).*

Премьера оперы «Семен Котко» состоялась 20 сентября 1940 года в Театре имени Станиславского.

### **Жена\***

Материалом для повести послужили военные очерки писателя, посвященные великой битве на Орловско-Курской дуге. Очерки эти публиковались летом 1943 года в «Правде» и в «Красной звезде».

«„Жена“ мною написана, когда я во второй раз был в Куйбышеве, – в связи со смертью брата» (*Евгения Петрова*), – говорит Вал. Катаев, датируя, таким образом, работу над этим произведением серединой 1943 года (*Беседа с В. П. Катаевым, 20 июня 1948 г.*). Впервые повесть публиковалась в журнале «Новый мир», № 10–11 за 1943 год.

Книга была переведена за рубежом и вышла после войны в ряде европейских стран: в 1945 году – во Франции и Швеции, в 1946 году – в Англии, Болгарии и Австрии, в 1947 году – в Германии.

### **Электрическая машина\***

Впервые повесть публиковалась во время Великой Отечественной войны в № 5–6 журнала «Новый мир» за 1943 год. В том же году вышла в Детгизе отдельной книжкой, а затем, в 1946 году в «Библиотечке „Огонек“».

Сюжетно и тематически она примыкает к повести «Белеет парус одинокий», продолжая рассказ о ее героях – Гаврике Черноиваненко и Пете Бачей.

### **Поэт\***

Впервые напечатана в ленинградском журнале «Нева» в № 1 за 1957 год.

В этом произведении Валентин Катаев обращается к воспоминаниям о периоде гражданской войны в Одессе, к 1918–1920 годам, ко времени литературных вечеров «Зеленой лампы», а позднее «коллектива поэтов». Один из участников «Зеленой лампы» вспоминает: «1917 год, сентябрь. Просторная аудитория Новороссийского университета полным-полна. Молодежь.

Студенты... Попадаю туда в момент чтения с кафедры стихов» (*Здесь и далее: Г. Долинов, Воспоминания об одесском литературно-художественном кружке «Зеленая лампа». Рукопись. Ленинградская Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 260, ед. хр. 1*). Г. Долинов рассказывает, как на одном из этих вечеров среди студенческой молодежи появился фронтовик – Валентин Катаев. «Это был, – говорит автор воспоминаний, – молодой офицер в чине подпоручика. Он все время молчал, подергивая в тике головой и напуская на себя вид ветерана войны. Когда до него дошла очередь читать, он, постукивая ладонью о ручку кресла, начал так: „Я прошу снисхождения, так как громко читать не могу, ибо отравлен газами и контужен“». Валентин Катаев действительно еще находился в госпитале и залечивал раны, полученные на передовой линии сражений. Но присутствующие прониклись интересом, услышав имя молодого фронтовика – «так как Катаев уже в то время был известен по множеству появившихся в печати чудесных стихотворений, и в этот раз он прочел действительно обаятельные по своей лирической насыщенности „Три сонета о любви“, напечатанные впоследствии в изданном нашим кружком альманахе: „Душа полна, как звучный водоем...“»

Вечера «Зеленой лампы» происходили в дни немецкой оккупации Одессы, а затем при интервентах. Молодые поэты города, в их числе В. Катаев, Ю. Олеша, Э. Багрицкий, собирались чаще всего в доме молодой талантливой актрисы Софьи Соколовой. «Ходили мы с Олешей на Малый Фонтан, далеко за город, пешком, – вспоминает один из зеленоламповцев, Б. Бобович. – Время было военное, после девяти часов вечера никому не разрешалось появляться на улицах. А мы с Юрием Олешей в одиннадцать ночи идем по городу. Висят на стенах объявления, угрожающие нам расстрелом за нарушение приказа, подписанные комендантом города, а мы идем после чтения стихов Бодлера, Баратынского, Верлена, Рылеева, своих... Олеша как-то мне вдруг сказал: „Ах, хорошо бы заглянуть в щелочку в будущее...“» (*Беседа с Б. В. Бобовичем, 1 июля 1963 г.*)

Повесть «Поэт» была экранизирована, премьера состоялась 9 февраля 1957 года. Режиссер-постановщик фильма – Б. Барнет, композитор – В. Юровский. Актеры – Н. Крючков, И. Извицкая, П. Алейников, И. Коваль-Самборский и др.

---

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Скракли – игра в городки. (Прим. автора.)